

ТОГДА

ТОГДА

Шахматные эссе

Генна Сосонко

Генна Сосонко

«Сосонко видится мне сегодня бесспорно пишущим шахматистом номер один».

Гарри КАСПАРОВ

Книги Г. Сосонко переведены на английский, голландский, немецкий, испанский, чешский, польский и другие языки.

«Восхитительная книга».
«ВАШИНГТОН ПОСТ», США

«Каждое слово в эссе Сосонко — правда о том времени».
«САН ГЕРАЛЬД», АВСТРАЛИЯ

«Одна из самых замечательных книг,
прочтенных мною в последнее время».
ГУС ЛЮЙТЕРС, «ПАРОЛЬ», ГОЛЛАНДИЯ

«Это захватывающая книга. Читаешь ее на одном дыхании. Казалось бы, о ее персонажах создана целая библиотека, все они хорошо известны, стократно описаны, процитированы, любые открытия уже сделаны, но выясняется: это не так, мы словно знакомимся с ними заново».

ЛЕОНИД ЗОРИН, «64»

«Блестяще написанная книга. Она полна историй и анекдотов, но каждый из них приведен не просто так. Они всегда обогащают портреты, которые рисует Сосонко».
«ЧЕСС КАФЕ»

Генна Сосонко

ТОГДА

Шахматные эссе

Русский шахматный дом
Москва 2011

УДК 794
ББК 75.581
С66

Сосонко Г.

С66 Тогда. Шахматные эссе. – М.: «Russian CHESS House/
Русский шахматный дом», 2011. – 408 с. + 32 с. вкл.

ISBN 978-5-94693-219-6

Genna Sosonko (Геннадий Борисович Сосонко, 1943) – международный гроссмейстер, двукратный чемпион Голландии. Эмигрировал из Советского Союза в 1972 году и с тех пор живет в Амстердаме. Победитель и призер многих международных турниров. В своей новой книге автор рассказывает о выдающихся людях, чьи судьбы неразрывно были связаны с шахматами, многих из них (Ботвинника, Смыслова, Таля...) он знал лично, играл и постоянно общался с ними.

«Генна Сосонко видится мне сегодня бесспорно пишущим шахматистом номер один», говорит о нем многократный чемпион мира Гарри Каспаров.

Для широкого круга любителей шахмат.

УДК 794
ББК 75.581

Генна Сосонко

ТОГДА. ШАХМАТНЫЕ ЭССЕ

Редактор *Яков Нейштадт*

Корректор *Андрей Панеях*

Оформление и компьютерная верстка *Андрей Ельков*

Подписано в печать 25.02.2011. Формат 60x90/16.

Гарнитура «Ньютон». Усл. п. л. 25,50 + 2,00 вкл.

Тираж 2000 экз. Заказ № 357

Издательство «Russian CHESS House»

(директор Мурад Аманназаров)

Тел./факс: (495) 963-80-17

e-mail: murad@chess-m.com или andy-el@mail.ru

<http://www.chessm.ru> – Интернет-магазин

Отпечатано с готового оригинал-макета в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.

Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52

www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru

ISBN 978-5-94693-219-6

© Сосонко Г., 2011

© Издательство «Russian CHESS House», 2011

ТОГДА

Словарь дает слову «тогда» определение: «в то время, не теперь», приводя в качестве примера — «тогда он был молод». Не стану утверждать, что когда я был молод, все было лучше, скажу только, что тогда было лучше только потому, что я и не думал ни о каком «тогда» — его просто не существовало.

В 1972 году, догоняя самого себя, давно прибывшего на Запад и нетерпеливо дожидавшегося там своего телесного двойника, я оказался в Амстердаме и с тех пор живу в городе, имеющем репутацию самого свободного в мире.

Известно, что «тот, кто едет за море — меняет небо, не душу», но Сосонко, которого я вывез из Советского Союза, похож на своего тезку Sosonko разве что тремя спасательными кругами буквы «о».

Сегодня мне легче понять старую слониху, чем молодого себя самого, и я больше похож на всех людей, которым сильно за шестьдесят, чем на Гену Сосонко, жившего в Ленинграде. Но притаившись во мне, он нет-нет да и выскочит в самых неожиданных ситуациях, и я давно смирился с тем, что вынужден иметь дело с обоими, живущими в одной шкуре.

Генрих Бёлль утверждал, что чем дальше письменный стол находится от отечества, тем лучше для писателя. От страны, которую я покинул, мой письменный стол, на котором тогда стояли шахматы, находился на расстоянии многих световых лет. Несомненно, это пошло на пользу обоим моим занятиям, и я никогда не забываю, что значила эмиграция в моей жизни. Перефразируя известного писателя, скажу, что знаю больше, чем могу выразить словами, а то немногое, что мне удалось выразить, не было бы выражено, если бы я в начале семидесятых годов не оказался на Западе.

В течение собственной шахматной карьеры я не столь состязался с другими, сколь боролся с самим собой. Оставив практическую игру, я занялся составлением комментариев к первой половине жизни, тем

более что материала накопилось немало: живя в Советском Союзе, а потом колеся по странам и континентам, я бессознательно заготавливал пищу для жадной памяти, превращавшей события в воспоминания о них. В конечном итоге мне удалось перехитрить судьбу: под маской шахматиста я всегда оставался рассказчиком.

Кто-то писал, что можно сочинять стихи о любви, не будучи влюбленным. Рассказывать о сельском хозяйстве и самому никогда не ходить за плугом. Не знаю, можно ли писать о шахматах, совершенно не умея в них играть, но уверен: судьбы людей этого своеобразного мира не менее интересны, чем представителей других профессий. Сознавая жестокую быстротечность жизни и зная, как коротка человеческая память, я решил спасти этих людей, предоставив им страницы книги, которую вы держите в руках.

Странная компания собралась под ее обложкой: чемпионы мира и претенденты; знаменитый гроссмейстер, родившийся в России, живший в Австро-Венгрии, воевавший на стороне Германии в Первую мировую войну, а во время Второй сражавшийся против нее; «бетонный король», встречавшийся с Фишером и сумевший в маленьком голландском местечке создать команду, за которую играли только гроссмейстеры. Известный международный мастер, потерявший обе ноги во время Второй мировой войны и живущий сейчас в стране, сделавшей его инвалидом. Выигрывавший матчи у гроссмейстеров голландский врач, которого принимали короли и премьер-министры и сам едва не ставший во главе независимого государства. Международный мастер из Якутска, убитый за то, что, живя в Москве, имел иной разрез глаз, чем у большинства жителей столицы — трудно представить более разных людей. Но всех их объединяло одно — беззаветная любовь к шахматам.

Известные чемпионы, не разговаривавшие и даже не здоровавшиеся друг с другом, долго и с азартом разбирали сыгранную партию, чтобы после анализа снова перейти к привычным для них отношениям «холодной войны». Кроме того, что честный и чистый мир деревянных фигур был выше их размолвок и ссор, я не могу найти этому другого объяснения.

Читая о великих шахматистах, которых мне посчастливилось знать близко, я нередко ловил себя на мысли, что их жизнеописания больше похожи на жития. Не оттого ли возникало желание развеять расхожие представления, соскрести покрывающий их хрестоматийный глянец. Не задаваясь целью демистификации их образов, я хотел показать выдающихся мастеров игры в человеческом, каждодневном. И не по-

тому, что хотел взять на себя функции глянцевого издания, а только чтобы приблизить к нам этих необычных людей. Показать их заботы, цели, личные отношения, хитрости, заблуждения и маневры в жизни, порой не менее интересные чем в их партиях. Рассказать, как они могли быть добродушны, эгоцентричны, щедры, деспотичны, капризны, ревновать к чужой славе, вступать в досадные конфликты друг с другом. Показать, что они такие же люди, как мы с вами, но отмеченные редким талантом, божьим знаком.

Чем быстрее отдаляется от нас двадцатый век, тем гуще разрастается трава забвения. Скоро под нею скроется и мир шахмат, который я знал. В бурных событиях ушедшего столетия потерялись хранившиеся в специальном мешочке атрибуты, делавшие мужчиной умершего недавно в глубокой старости последнего евнуха китайского императора. Эта потеря препятствовала ему возродиться после реинкарнации в человеческом облике: свидетельства того, что он был рожден именно мужчиной, должны были быть похоронены вместе с ним. «Ничего, — сказал евнух, не унывая о пропаже, — тогда я возвращусь собакой или котом». Было бы обидно, если бы шахматы их золотого периода потерялись как тот мешочек, даже если они возродятся потом в новом обличье: игры с известным конечным результатом.

Шахматы — это жизнь. Шахматы — это борьба. Шахматы — это ментальный бокс. Шахматы — это океан, из которого комар может пить и в котором слон может купаться. Про шахматы можно было сказать все что угодно, и все было правдой. Так было до появления компьютера.

Подвергнутые чистке, партии выдающихся шахматистов прошлого, как это случилось с коммунистами в Советском Союзе в двадцатых-тридцатых годах, тоже не прошли бы контроля на безгрешность. На нелицеприятную критику у шахматистов, увы, не нашлось бы аргументов, и письма в высшие инстанции не помогли бы: компьютер просто ознакомил бы жалобщиков с беспощадными фактами.

Шахматы XXI века настолько изменились, что мы не должны притворяться, что это та же игра, в которую играли Стейниц и Капабланка, что Каисса все еще живет на небесах, а гроссмейстеры — ее полномочные представители на Земле. Лишенные сантиментов, затянутые в жесткий компьютерный корсет, шахматы начала двадцать первого века отличаются от докомпьютерных шахмат, как машинное шитье отличается от рукоделья.

Будущее шахмат уже наступило, и все, что ожидает нас, станет только коррекцией этого будущего. Завтрашний день перестал быть миром чудес: для этого у нас есть сегодняшний. В шахматах остается все меньше неизвестного. Когда-нибудь неизвестного не будет вовсе, это время не за горами. Может быть, слово «шахматы» будет напечатано в словарях будущего с пометкой в скобках (арх.) или (устар.),

Конечно, ничто в мире не исчезает бесследно, но много ли мы знаем о знаменитых музыкантах, игравших на чрезвычайно популярной когда-то лютне? Да и сам инструмент можно встретить разве что в музее, как и клавесин, полностью вытесненный фортепиано. Когда компьютер разгадает последнюю тайну, потеряют ли шахматы свою красоту? А может быть, шахматы «с человеческим лицом» вообще исчезнут? Не думаю. Ведь радуга не стала менее прекрасной от того, что мы узнали законы преломления света, согласно которым она возникает.

«Нет ничего скучнее на этом свете, чем читать описание итальянского путешествия, — заметил однажды Гейне. — Разве только описывать такое путешествие. Автор может сделать свой труд до некоторой степени сносным, говоря как можно меньше о самой Италии». Во всех своих рассказах я старался как можно меньше говорить о самих шахматах.

В рецензии американского критика на одну из моих книг, вышедших в шахматном издательстве, можно было прочесть: «О чем хотел сказать автор? Это шахматная книга? Что это?» Не нашедший в тексте ни одной диаграммы рецензент попал в точку. В этой книге тоже нет рассуждений о слабых полях, преимуществе слона над конем в открытой позиции или о тонкостях защиты Каро-Канн. Шахматы в ней являются просто предлогом, чтобы рассказать о жизни, всегда оказывающейся сложнее самых изощренных сюжетов, тем более жизни фантазмагорических времен Советского Союза. Вспоминая эпоху, давшую великих чемпионов, приходилось порой разгребать мусор времени, чтобы обнаружить под ним многоликого сфинкса советских шахмат.

Рассматривая ту эпоху не в перспективе короткой человеческой жизни, но исторического опыта, приходишь к выводу, что та действительность, несмотря на весь ее трагизм и уродливые отношения, была значительно интереснее, чем скучные материально-накопительские сегодняшние времена. Что ж, здесь нет ничего нового: интересные личности чаще всего рождает репрессивное время ограничений, запретов и наказаний. Но жизнь всегда трудная штука, всегда и во все времена.

И может быть, когда есть свобода выбора, именно из-за этой свободы еще более трудная.

Так и в шахматах. Казалось бы, появление компьютера значительно облегчило жизнь шахматиста. На деле же — существенно усложнилось: значение кабинетной подготовки возросло невероятно, и шахматы на высоком уровне требуют многочасовых занятий, исключаящих другие. Понятно, что при таком режиме не может быть и речи о получении профессии, и среди лучших шахматистов сегодняшнего дня не сыскать врачей, психологов, математиков, музыкантов, философов или ученых, как это было в прошлом веке.

Михаил Моисеевич Ботвинник в годы восхождения Фишера не раз говорил, что американцу не бывать чемпионом мира, потому что он не кончил школы и ему не хватит интеллекта. Жизнь показала, что Ботвинник был неправ. Мне думается, что именно наличие интеллекта (или того, что Ботвинник понимал под этим) препятствует достижению высоких вершин в современных шахматах. Для развития многогранной личности требуется в первую очередь время, необходимое для совершенствования в игре.

Процесс обучения шахматам резко ускорился. В соревнованиях в датах рождения детей, становящихся гроссмейстерами, счет идет на дни. Двенадцатилетние секундируют девятнадцатилетним, а те играют матчи на мировое первенство. Девочки с бантиками побеждают маститых гроссмейстеров. Наше время создано для молодых, и молодость правит бал не только в жизни, но и в шахматах. Серьезная Каисса, совсем недавно предпочитавшая зрелых, а то и пожилых, оказалась на редкость легкомысленной и еще больше, чем другие музы, оказывает предпочтение молодым и напористым.

Люди разбили время на часовые зоны; попадая в другую, мы переводим стрелки часов. Я попытался перевести стрелки не только в другое временное измерение, но в другую эпоху. Хотел дать возможность говорить Времени, начинающему жить, когда замолкают колокола привычного времени, в которое мы погружены суетой каждого дня.

Покинув свой остров, последние годы жизни Робинзон Крузо провел в пансионе в Бристоле. Его попугай умер, превратившись в чучело, стоявшее на камине его комнаты, а состарившийся Робинзон каждый день приходил к морю и тоскливо вглядывался вдаль.

Вглядываясь в даль шахматного прошлого, я хотел рассказать не только о характерах и судьбах людей, но и увидеть то, что они сами не

замечали за собой, задуматься, какой отпечаток на них нанесло время, показать шахматы как культурный феномен. Очистить память от забвения, под которым похоронено когда-то живое, а теперь увядшее прошлое. Дать объяснение событиям и фактам неведомого для молодых мира. Запасть прошлым для их будущего.

«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...» — пел бард. Легко сказать! Как же не печалиться, когда осталось столько произнесенных слов, обиженных людей, неверных решений, несовершенных поступков. Совершенных поступков. И исправить ничего нельзя и никогда уже будет нельзя.

Былое, конечно, нельзя воротить, но только о былом можно с уверенностью сказать: оно будет длиться вечно, будущему это еще предстоит. Повернуться спиной к прошлому, бесчувственно пожать плечами, сказав: сделанного не вернешь, все было и быльем поросло — на самом деле означает расстаться с тем, что создает вдохновение, делает человека человеком.

Латинское выражение — «книги имеют свою судьбу» — имеет продолжение: «книги имеют свою судьбу, зависящую от того, как их понимает читатель». Пренебрегая заветом классика, настаивавшего, что автор пишет в первую очередь для самого себя, в процессе писания я не забывал о моем читателе. Только ли это человек, играющий в шахматы? Или когда-то игравший? Какого он возраста? События, в сознании молодых относящиеся к далекому прошлому — к «тогда», для моих читателей происходили еще в «наше время». И дело даже не в том, что они лично помнят то время — эти события вошли составной частью в их собственную культуру и ментальность.

В шахматах есть люди, увлекавшиеся игрой в детстве или юности, а теперь только эпизодически играющие партию-другую под настроение с подходящим партнером. Или в ночной тишине, когда домашние уже спят, выходящие в шахматную паутину Интернета. Это мои читатели: у них нет времени следить за новинками в дебюте, а в шахматных журналах они предпочитают комментарии к партиям, рассказы о турнирах и о старых временах.

В годы моей юности на некоторые фильмы дети до шестнадцати лет не допускались, и я до сих пор помню грозный взгляд билетерши, направленный на старающегося расправить плечи семиклассника. То время было не только временем запретов, но и всяческих инструкций и рекомендаций, и в книгах можно было прочесть: «для среднего и

старшего школьного возраста». Не думаю, что моя книга для этой категории читателей. И не потому, что на некоторых страницах ее встречаются лихие словечки; молодые употребляют сегодня выражения, взрослым людям не снящиеся. Просто в ней идет речь о вещах, которые юные не могут понять по определению: они просто никогда не задумывались над этими проблемами. Прошлое редко выходит у них за пределы турниров последних лет, и в это специфическое прошлое они отправляются только по практической нужде: посмотреть партии, не забираясь в далекое «тогда».

Что ж, известно ведь: юность мало что смыслит в юности, это дано только старости. Поэтому рекомендация «для зрелого и пожилого возраста» была бы для книги более уместна. Читатель такого возраста обычно не любит новшеств: новое чтение должно быть похожим на знакомое, читанное ранее.

Когда был опубликован очередной сборник рассказов Сомерсета Моэма, «Таймс» поместил рецензию на книгу под заголовком «Потому же рецепту». «Смысл в эти слова был вложен, разумеется, уничижительный, — заметил Моэм, — но я не увидел в них ничего дурного. Более того, я позволил себе смелость воспользоваться ими для сборника, который сейчас предлагаю публике».

Сначала, не мудрствуя лукаво, я подумывал дать книге моэмовское название. Поразмыслив, назвал ее по-другому, надеясь, что читатели не будут разочарованы, увидев, что моя новая книга написана «потому же рецепту».

В японской литературе одна из основных жанровых форм — роман от первого лица, автобиографическое повествование, содержащее выдуманные эпизоды. Моя книга не роман — в ней ничего не выдуманно. Но при том — выдуманно все. Я ведь старался проникнуть в психологию людей, понять мотивы их поступков и намерений, а говорить о личности другого — задача безнадежная. Человек ведь всегда загадка и тайна: своя душа — потемки, что же заглядывать в бездну чужой.

Известный филолог XX века, посвятивший немало лет изучению жизни великого поэта, сказал однажды: «А что мне Пушкин... Я, может быть, знал его лучше, чем он знал себя сам». Подолгу размышляя о судьбах героев книги, я не забывал об этих словах.

Помня, что попытки найти «последнюю правду» заранее обречены на неудачу, и не желая быть судьей героям книги, порой я давал слово им самим, предоставляя вынести приговор читателю. Нередко я пытался скрыться за звонкими именами, другими словами, перекладывал

бремя ответственности на авторитеты. Не уверен, следовало ли это делать, но пробежав глазами написанное, решил: «ежи писах — писах».

В ряде случаев я считал своим долгом восстановить пропорции, в наше время часто утрачиваемые даже в такой области, как шахматы, где, казалось бы, имеются неопровержимые свидетельства: тексты партий и турнирные таблицы.

В других рассказах по очевидным причинам (или кажущимся очевидными мне) я не мог сказать всего, и когда перечел их, возникло чувство: осталось еще что-то не написанное и оно-то есть самое важное. Но «соблазну продолжения есть великий противовес: не все сказать. Не договорить. Вовремя опустить занавес».

Знаменитый футбольный тренер говорил своим подопечным: «Завтра я могу утверждать совершенно противоположное тому, что говорил вчера. Может быть. Но в обоих случаях я поступаю искренно».

С некоторыми персонажами вы уже встречались в моих предыдущих книгах. Обогащенный новыми фактами, я рассматриваю их под другим углом, но главное — с другой временной дистанции. Не удивляйтесь поэтому, заметив в моих рассказах разночтения, а то и прямо противоположные вещи: изменилось время, изменился и рассказчик. Но во всех случаях я старался говорить искренно.

Некоторые истории мне советовали не писать вообще. Хотя кое-что в моих повествованиях, как в формуле американского правосудия, может быть использовано против меня, я пренебрег этими советами. Но даже если я и не всегда говорил полной правды, я нигде не написал того, что не думаю.

Всю жизнь я играл в шахматы или писал о них. Казалось бы, человек пишущий и играющий занят одним делом: писатель идет от мысли к слову, шахматист — от мысли к ходу. Но есть и разница. В шахматах сделанный ход нельзя взять назад: ошибка часто оказывается непоправимой. В то время как переписывая (или нажимая на кнопки клавиатуры), можно менять текст до бесконечности.

Еще больше разница между пишущим и читающим: если писатель идет от мысли к слову, читатель — от слова к мысли. Делясь с вами мыслями о людях замечательной игры, хочу верить, что эти мысли тоже приходили вам в голову, но у вас просто не нашлось времени высказать их или записать. Теперь вы их прочитаете.

ТАЛЬ

«У каждого спортсмена есть в жизни звездные часы. Мне было двадцать три года, когда пробил этот звездный час моей жизни. За два промелькнувших с тех пор десятилетия я сыграл в целой веренице турниров, сражался чуть ли не в дюжине матчей, где взлеты чередовались с падениями. Но самым памятным, самым главным событием моей жизни и спортивной карьеры был матч с Ботвинником. Я и сейчас до мельчайших деталей помню каждый час той битвы» (М.Таль).

В этом году юбилейная дата: полвека назад, весной 1960 года Михаил Таль выиграл матч на первенство мира у Михаила Ботвинника и стал восьмым в истории шахмат чемпионом мира.

«Нас интересуют книги, а не люди. Об изувеченной руке Сервантеса вы узнаете не от меня», — начал Владимир Набоков курс лекций о Дон Кихоте. О деформированных от рождения пальцах на правой руке Таля вы узнаете не от меня. Тем не менее, речь в моем рассказе пойдет не только о том, как играл в шахматы Михаил Нехемьевич Таль.

Его жизнь нельзя рассматривать как придаток к творчеству: без понимания его характера, слабостей, комплексов и пристрастий не будет понят феномен одного из самых блистательных игроков в истории игры и его удивительный, уникальный взлет.

Прошло полвека с тех пор, как он стал чемпионом мира. Шахматы того времени останутся великими и без него, но рассказать о них без упоминания имени Таля — значит не дать истинного представления, чем стала игра с его появлением.

Когда в 1959 году к власти пришел Фидель Кастро, в кубинском посольстве в Москве был устроен пышный прием. На этот прием были приглашены многие знаменитости, в том числе и чемпион мира по шахматам. «Я особенно уважаю Капабланку за его нелюбовь к авантюрной игре...» — со значением заметил Ботвинник, когда его стали расспрашивать о молодом претенденте. Ботвинник был тогда олицет-

ворением шахмат в Советском Союзе: река – Волга, балет – Уланова, вратарь – Яшин, шахматист – Ботвинник. И вдруг – мальчишка с коротким как выстрел именем: Таль!

В ряду чемпионов мира фигура Таля до сих пор стоит особняком. Его вторжение в устоявшийся регламентированный мир шахмат напоминало скорее карательную экспедицию: он взял самую главную вершину приступом, растолкав уснувших современников. В застоявшийся воздух того времени Таль ворвался, возвратив в шахматы уже известное, но при современных методах защиты ушедшее, думалось, навсегда.

«Мое сердце полно радости, потому что путешествие меня очень забавляет. Потому что в карете жарко, потому что наш кучер славный малый и везет нас очень быстро» – писал двадцатилетний Моцарт. Жизненный настрой двадцатилетнего Таля был таким же. Тогда – конец пятидесятых, начало шестидесятых годов – все кипело, улыбалось ему, казалось, он мог проламывать стены и перешагивать через реки. Он нанес точный удар в точное время. В те годы Таль стал человеком судьбы.

Инфляция в наше время коснулась всего, даже понятия «гений». Тогда же знали: живых гениальных шахматистов не бывает. И только про него произносилось слово, означающее высшую степень таланта у человека. О партиях Файна сказано: по ним можно учиться, но восхищаться ими нельзя. Переиграв партии Таля того периода, можно сказать противоположное: ими можно восхищаться, но учиться по ним? Как можно научиться тому, чем вас не одарила природа?

«Он явился нам таким, словно был создан из другого вещества, мы не завидовали ему, как не завидовали бы существу, упавшему с планеты, где воздух легче нашего...» – писали о молодом Вацлаве Нижинском. «Но зачем опускаться сразу же? Почему бы не остаться в воздухе немного, прежде чем опуститься...» – недоумевал сам великий танцовщик, когда спрашивали о секрете его необыкновенных прыжков. Таль тоже мог бы сказать: рассматривая вариант, вы прекращаете расчет после шестого хода. Зачем же? Ведь можно пойти дальше, продолжить до десятого, двенадцатого, восемнадцатого хода. Право, это не стоит никакого труда.

В старые времена в горах Швейцарии можно было встретить предостерегающую надпись: «Nur für Schwindelshelfreie» – только не для боящихся головокружений. Головокружений должен был опасаться каж-

дый игравший с ним; даже у следивших за его партиями захватывало дух от его невероятных комбинаций. Бывало, соперник, отбив первую волну атаки, успокаивался и переводил дыхание. Напрасно: Таль шел вперед, следуя завету Пильсбери: ведите атаку таким образом, что когда огонь атаки погашен, ... он все-таки еще не погашен!

Стиль его был так привлекателен, а победа в матче на мировое первенство настолько оглушительна, что многие пытались имитировать его манеру игры. С тем же успехом, что и бухарцы, перед боем падавшие и махавшие ногами в воздухе, увидев, что так делали шедшие на штурм русские солдаты (после прохождения брода, чтобы вытекла вода из сапог).

Опасность опасна для других, но не для меня, а если мои атаки не вполне определяются требованиями позиции, тем хуже для этих требований — было написано на его штандартах. Его комбинации были так естественны, что казалось, «выливались у него сами собой» и «не стоили никакой работы». (Закавыченные строки взяты не из характеристики творчества Таля. Они относятся к рецензиям начала XIX века на стихотворения молодого Пушкина.)

В стоячее болото длительного маневрирования ворвался мальчишка, добровольно сдваивающий пешки на пятом ходу, чтобы открыть линии для атаки. Когда молодому графу из сказки братьев Гримм пришлось петь мессу, в которой он не знал ни единого слова, два голубя сидели на плечах и подсказывали верные слова. Когда Таль играл с Ботвинником, он не знал в шахматах еще очень многого. Но два голубя сидели у него на плечах и подсказывали ему ходы, самые неприятные для его могучего соперника.

Только один человек жил тогда в шахматном мире полной жизнью, остальные стремились наполнить легкие тем воздухом, которым дышал он. Таль внес веселую бесшабашную струю в игру, все более превращавшуюся в науку. Он совершил тогда революцию в шахматах, когда неписанный закон побеждает писанный и устанавливает власть, которая не может долго продержаться (что и произошло), но которая придает игре новый импульс.

Для того, чтобы понять феномен Таля, достаточно переиграть десятков-другой партий его раннего периода, дав отдых глазам, о которые и так трется слишком много партий на компьютерном экране. Посмотреть не спеша, по-старомодному, с доской и фигурами, не оставляя без внимания комментарии и варианты, оставшиеся за кулисами.

Но даже переиграв эти ранние партии Таля, по-настоящему почувствовать их можно только повернув время вспять, окунувшись в атмосферу бурлящего турнирного зала, услышав вздохи сотен болельщиков, аплодисменты, то и дело раздававшиеся после его ходов, несмотря на предостерегающие таблички «Соблюдайте тишину». Увидеть Ботвинника, по-профессорски поправляющего очки на сцене театра Эстрады и настаивающего на перенесении партии из-за шума в зале в комнату за сценой. Корифеев того времени, застывших с недоуменным вопросом, так ясно сформулированным Корчным: «Почему? Почему он? Разве он понимает шахматы лучше меня?»

Так же как Архимед стал Архимедом до того, как воскликнул «Эврика!», Таль стал Талем еще до победы над Ботвинником. Казалось, ничто не предвещало столь бурного взлета: совсем недавно рижский кандидат в мастера выиграл матч у Владимира Сайгина на звание мастера 8:6 (+6-4=4). Не бог весть какие впечатляющие цифры, да еще со средней руки мастером из Белоруссии. Два года спустя Таль единолично победил в двух чемпионатах страны кряду, — и каких чемпионатах! — выиграл межзональный турнир и турнир претендентов, одержал между делом победу на турнире в Цюрихе и вприпрыжку взбежал на чемпионский трон.

В шахматах страсть, молодость и напор иногда могут подменить талант и даже казаться им. Но его выдающийся талант настолько бил в глаза, что ни у кого не было и тени сомнения: этот человек рожден для шахмат. Он вернул шахматы к их истокам: сопернику должен быть поставлен мат, причем не путем накопления позиционных выгод, а самым brutальным способом. Его мишень была ясна: неприятельский король! И хотя Таль мог целить в эту мишень с разных точек, он почти всегда попадал в нее. Комбинация стала его рабочим клеймом, а вечную присказку его тренера Александра Кобленца: «если у Миши есть открытая линия — мат будет!» — знали все.

Взрослым людям, давно забывшим сказки, он напомнил, что тыква иногда может стать каретой. Шахматы Таля для любителей игры были более привлекательны, чем шахматы Ботвинника. Так крынка молока и горбушка хлеба вкуснее для голодного человека, чем сбалансированный набор таблеток витаминов и минералов, даже если научно доказано, что соотношение их идеально для здоровья.

Парадокс: корректные комбинации ему частенько не удавалось довести до конца, в то время как комбинации с ходом, ставившем ее под сомнение, с «душком», наоборот, завершались счастливым для него

финалом. В его манере игры было что-то, напоминавшее игру любителей на скамейке в парке.

«Когда он был чересчур точен, его исполнение теряло какую-то долю своего восхитительного обаяния. Он был воистину несравненен, может быть даже и потому, что был полон человеческих порывов, а его исполнение — далеким от совершенства машины...» Сказанное Сергеем Рахманиновым об Артуре Рубинштейне может быть повторено и о Михаиле Тале.

В старинных персидских трактатах говорится, что прежде чем приступить к сочинению стихов, следует выучить наизусть 10 000 лучших арабских бейтов и 10 000 персидских, потом забыть все и тогда уже братья за перо — чернилами в этом случае станет кровь собственного сердца. Мальчиком Таль просмотрел не только всю классику, но и переиграл 10 000 партий. Тогда он мог исступленно заниматься днями, неделями подряд, забывая о еде и сне.

Ему повезло с тренером: Александр Кобленц знал Мишу с детства и прекрасно чувствовал его эмоциональное состояние. Мастер, влюбленный в комбинацию, он был для Таля полезнее любого знатока теории и как никто умел создавать для обожаемого Мишеньки игровое настроение. Не знаю, кому принадлежит шутка: «если бы у Таля тренером был Эбралидзе, а у Петросяна Кобленц, оба так и остались бы средними мастерами». Не исключено, что так бы и произошло.

Таль напомнил всем, что шахматы — не более чем игра. Игра, в которую играют два человека. Он никогда не превращался в философа шестидесяти четырех полей: не поисками истины занимался Михаил Таль, он хотел подчинить эту истину себе. Законы игры нарушались им ради законов, писанных только для него одного. Человек из плоти и крови, он старался превзойти другого человека из плоти и крови именно в этот момент, в этой партии; он ставил перед соперником проблемы, на которые ответ следовало дать немедленно за доской — завтра или даже через два часа будет поздно.

«Шахматы были его страстью, вернее, не шахматы вообще, а игра в шахматы» — эти слова Ботвинника очень точно характеризуют феномен Михаила Таля — гения импровизации, больше всего в шахматах любившего сам процесс игры.

Если бы он исчез после матча с Ботвинником, ушел из шахмат как Морфи, или просто умер, в истории игры он все равно остался бы пиратом, взорвавшим крюйт-камеру величественного лайнера, следо-

вавшего курсом, вычерченным опытейшим лоцманом. Мальчишкой с пронзительным взглядом и шевелюрой цвета вороньего крыла, который смотрит на нас со стендов шахматных клубов, напоминая о том незабываемом времени.

От вдохновенного облика его в те годы исходило ощущение мощи, колоссальной витальной энергии человека, у которого между желанием и исполнением нет места сомнению. Если Альберт Эйнштейн формулой «вдохновение важнее знания» объяснял истоки своих гениальных открытий в науке, что же говорить об игре в шахматы. Взгляда горящих глаз, пронизывающих доску и соперника, невероятного напора мысли не выдерживали слабые духом. Игорь Зайцев старался не смотреть на него во время игры, а Пал Бенко явился на партию с Талем в темных очках. Но и такие меры не всегда помогали: его блик пронизывал насквозь, и не один гроссмейстер жаловался не только на его взгляд, но и на исходящие от него лучи концентрированной энергии. Таль сам знал это. Однажды он сказал Корчному в ресторане: «Хочешь, посмотрю на того официанта, и он подойдет к нам?..»

Голландский гроссмейстер Хейн Доннер видел Талья во время его триумфов на турнирах конца пятидесятых годов: «Как известно, подавляющее большинство шахматистов, сделав ход, прогуливается по сцене. Но никто не может сравниться с этим черноволосым молодым человеком. После того как Таль делает ход, он опирается двумя руками на стол и выбрасывает свое тело наверх. Потом он бросает еще раз взгляд на доску, после чего это начинается. В его походке немалую роль играют плечи, но задействованы и руки. Это очень сложное движение, он напоминает подкрадывающегося тигра. В нем есть что-то и от слона. Каждый, кто встречается ему на пути, вынужден делать шаг в сторону. Да, пожалуй, с его немалого размера носом и далеко расставленными глазами он больше всего напоминает слона».

Много раз играл с Талем Ян Тимман: «Создавая напряжение на доске, он излучал какое-то поле вокруг себя... Он позволял себе, особенно в начале карьеры, такую степень риска, которая переходила все допустимые нормы. В партии с Келлером, например, из цюрихского турнира 59-го года Таль мог спокойно играть в дебюте на позиционное преимущество, и немалое. Вместо этого он предпринял жертву фигуры, кажущуюся некорректной, но на доске был создан такой накал — в

какой-то момент у белых висели все фигуры, — что соперник не выдержал напряжения. Это была невероятная партия, и для того, чтобы так играть, нужно было обладать чем-то, что я не могу выразить словами. Почему, почему он так играл?»

Юрию Разуваеву было одиннадцать лет, когда он впервые увидел Талья. На первенство Москвы по блицу в парке Горького будущий гроссмейстер пришел с родителями: «Все звезды принимали участие в том турнире — Бронштейн, Петросян, Спасский, Авербах, Симагин... Все. Миша набрал 17 из 19. Как он играл! Это было чудо, настоящее чудо! Заснуть в ту ночь я не мог. Много лет после этого я не шел спать, прежде чем не послушать в последних известиях, как сыграл Таль. Его партия с Панно из межзонального в Портороже часто снилась мне потом...»

В молодые годы каждый шахматист представлялся Талю существом прекрасным и возвышенным. Это не вполне подтвердилось в дальнейшем, но тогда он был полон иллюзий и болен редкой формой деликатности. Играя в первенствах страны, перед началом тура он здоровался за руку не только со всеми участниками и судьями, но и с демонстраторами. Было видно: он пришел на праздник, спектакль, в котором участвуют не только актеры, но и статисты, и рабочие сцены (для нешахматистов: представьте, что теннисист, играющий в Уимблдоне, перед матчем пожимает руки судьям на линии и мальчикам, подающим мячи и приносящим полотенце).

Когда откладывалась партия первого, уже безнадежно проигрываемого Ботвинником матча и Патриарх думал в одиночестве на сцене над записанным ходом, Таль маялся где-то в отдалении: как же уйти, не попрощавшись с соперником? Наконец Ботвинник решился: взяв в руки конверт, он оглянулся и заметил стоящего возле кулис претендента. «Вы, можете быть, позвольте мне записать ход?» — не разжимая зубов, как он это умел, выдавил из себя Ботвинник.

Перед началом матча Таль согласился на все условия чемпиона мира, включая место проведения, время начала партий, двух обязательных конвертов в случае откладывания, возможности переноса игры в случае шума в зале в комнату за сценой и т.д. и т.п. Ни с Бронштейном, ни со Смысловым, ни с Петросяном такого безмятежного обсуждения условий матча на мировое первенство у Ботвинника не было — зачастую стороны не могли прийти к соглашению и были вынуждены даже обращаться к президенту ФИДЕ.

От болезни сверхделикатности Таль постепенно исцелился, но джентльменство осталось. Находящемуся в цейтноте сопернику Таль любезно сообщал о количестве остающихся до контроля ходов. Увидев, что партнер потянулся за сигаретой (тогда разрешалось курить во время партии), он всегда подносил тому огонек, когда и за свое время. Не помню, чтобы Миша с громким стуком перевел часы или, играя блиц, первым нажал кнопку часов соперника перед началом партии.

Ян Тимман вспоминает: «Он был всегда исключительно дружески настроен к коллегам, я не помню, чтобы он, в отличие от многих гроссмейстеров сегодняшнего дня, сказал что-либо, могущее обидеть кого-нибудь или задеть...»

Но оставаясь джентльменом, деликатный и мягкий, в шахматах он совсем не был добряком. Отнюдь. Неаккуратный и вечно опаздывающий, за доской он был предельно собран и внимателен. Эта расчлененность личностного «я» на бытовую и творческую составляющие была очень заметна у Таля. Безалаберный и беспомощный в быту, во время игры он преображался в нестигаемого и бескомпромиссного бойца и был тверд как кремень.

Василий Аксенов вспоминал, как Таль упрекал его за рассказ «Победа»: настоящий игрок никогда так просто не отдаст партии. Даже в сеансах одновременной игры ему были совершенно не свойственны милосердие и снисходительность. Любезно разрешая пропустить очередь хода, галантно соглашаясь на ничью с дамой, обмениваясь шуткой со знакомым, он не давал спуску никому, когда доходило до настоящей борьбы. Осенью 1967 года в бесконечных партиях блиц, иггранных нами под аккомпанемент песен Окуджавы и звуков, доносящихся из кухни огромной ленинградской коммунальной квартиры, он играл с полной отдачей, хотя и перебрасывался шутками с друзьями.

Дело было даже не в старой присказке, услышанной им еще мальчиком — у картишек нет братишек; эта игра была для Таля самым главным в жизни. Франц Кафка сказал: «я не “интересуюсь” литературой, я состою из литературы». Михаил Таль состоял из шахмат.

«Да, он мог потерять и терял все. И деньги из кармана, и стыд из души, и последнего друга, и любимую женщину, и шапку с головы, и голову в кабаке — только не стихи», — писал Мариенгоф о Есенине. Шахмат Таль не терял никогда, они были для него всем. Шахматы и его имидж в них, к которому он всегда относился очень ревностно.

В отличие от молодых коллег по цеху чемпионов мира, у него не было желания первенствовать всюду, но в шахматах цену себе знал. На закате карьеры вспоминал о межзональном турнире в Портороже в 58-м: «Не стану говорить, что я считал себя слабее остальных участников. Нет! И еще раз нет! Признаюсь, что комплексом неполноценности за все время игры в шахматы я не страдал никогда».

Когда Виктор Корчной впервые играл с шестнадцатилетним кандидатом в мастера в 1953 году, Корчной был уже признанным мастером, занявшим шестое место в первенстве страны: «В эндшпиле без пешки Таль предложил мне ничью. Я отказался и ходу на девяностом выиграл, но тогда я не поверил своим ушам...»

Долгое время после этой партии Корчной оставался для Таля самым неприятным соперником: Таль проигрывал ему партию за партией, но каждый раз снова и снова шел в бой с открытым забралом. Рефлекса щуки, получавшей крепчайшие удары после нападения на карася в аквариуме, разделенном перегородкой, и полностью прекратившей свои попытки после снятия ее, он никогда не приобрел. Чувство страха, казалось, было совершенно неизвестно ему. Точно так же как осторожности и благоразумия.

Журналисты порой называли его комбинации музыкой, записанной не нотами, а шахматной нотацией. Только чьей музыкой? Когда Талю задавали этот вопрос, явно имея в виду Моцарта, а зачастую и прямо называя великого композитора, Таль отвечал обычно: «Да нет, скорее Кальмана...» Иногда называл Гершвина. Действительно, его партии очень часто напоминали оперетту, мюзикл, шоу, бурлеск.

Владимир Горовиц, закончив какой-нибудь головокружительный пассаж, скромно спрашивал: «Ну что, пальчики еще бегают?» Бродский называл стихотворения «стишатами». Выиграв красивую партию в Брюсселе в 1988 году у А. Соколова, Таль сказал: «А я, кажется, неплохую партийку сгонял сегодня...»

Не следует заблуждаться в этом наигранном кокетстве выдающихся мастеров своего дела: они были в полном разумении, что вылилось из-под бегающих пальчиков, какого качества получились «стишата» или были сыграны «партийки».

Если чемпионов мира прошлого века разделить на две категории, отнеся к первой стремившихся царствовать как можно дольше, а ко второй — завоевавших высший титул и посчитавших свою миссию выполненной, в последней оказались бы Эйве, Смыслов, Петросян,

Спасский. Казалось бы, по внешним признакам Таль тоже входит в эту категорию, но и здесь он стоял особняком. Он так стремительно взлетел вверх, что у него просто не было времени, чтобы оглянуться, обдумать, проанализировать, взвесить. Какие еще обязанности перед шахматным миром? Причем здесь цель, да еще великая, о которой писал Ботвинник?

Ему было двадцать три, когда пришла слава. Не просто известность, а слава. Со времен Капабланки — малоизвестным мастером приехавшим в Европу и выигравшим турнир в Сан-Себастьяне, в котором приняли участие почти все маэстро Старого Света — еще никто не возносился так стремительно к Олимпу. Но даже Капабланке до официального завоевания звания чемпиона мира пришлось ждать долгих десять лет.

После победы Таля над Ботвинником принцип, провозглашенный свергнутым чемпионом, — первый среди равных — потерял смысл. Если в пятидесятых годах можно было поставить в один ряд имена Ботвинника, Смыслова, Бронштейна, Кереса, после матча 1960 года осталось только одно имя и никакое другое нельзя было написать через запятую. Даже далекие от шахмат люди знали это имя, а ротационные машины всего мира привыкли к печатанию его на разных языках: Таль, Tal, Talj, Tâls...

Ему было приятно шумное обожание, когда его узнавали, когда по залу шелестело — «Таль, смотрите, — Таль», и он знал, что множество глаз устремлены на него. Что ж, дело известное. Даже Демосфен признавался, что ему приятно, когда каждая афинская рыбачка узнает его в толпе. Для того, чтобы не обращать внимания на это, надо быть уж совсем неземным существом. Миша был очень земной.

Цена славы всегда одна и та же: человек перестает принадлежать самому себе, он становится общественным достоянием. Талю тоже не удалось избежать этого: слава и молодость одновременно — слишком много для смертного, это знали еще в древней Греции. Он привык к славе, этой сладкой отраве, и ему трудно было обходиться без нее. Пояс Паскаля с гвоздями, который тот пожимал локтями всякий раз, когда чувствовал, что похвала ему приятна, был сделан не для него. Он не чуждался лести, любил комплименты, хотя и фыркал, когда вынужден был выслушивать особенно топорные.

Однажды в ресторане один из посетителей, изрядно подшофе, стал признаваться ему в любви, повторяя: «Миша, я люблю вас за ваши комбинации». Хотя Таль и отвечивал деланно-жеманные поклоны и смот-

рел на окружающих с видом «ну что я могу сделать», видно было, что ему это нравилось. В Югославии, где шахматы были не менее популярны, чем в Советском Союзе, он был всеобщим любимцем. Когда Таль выигрывал кандидатский турнир в Белграде в 59-м году, из турнирного зала в гостиницу его провожали толпы. Всем хотелось взглянуть на чудо вблизи, и до глубокой ночи поклонники Таля стояли под балконом его номера, начиная время от времени скандировать его имя.

После проигрыша Фишеру Спасский, оглядываясь на годы своего чемпионства, заметил: «На таких высотах очень холодно и одиноко». Таль даже не понял бы, о чем идет речь. Одолевший главную вершину, он стал жить, руководствуясь полинезийской формулой: я живу и мне весело!

Он любил атмосферу Москвы шестидесятых годов, любил застоля, шумные пиры в кругу друзей и подруг, актеров и актрис, журналистов и спортсменов. «Пекин» и «Узбекистан», рестораны Дома журналистов и Дома актера, да мало ли какие еще. Любимый «Арагви». Там лилось разлитое море отборного коньяка и подносились новые «батареи» — «От нашего стола — вашему!» — «А это — вашему!». И громогласное: «Миша — твоё здоровье!! Ты непобедим!! Ты — лучший в мире!!» Перекрываемые доносящимися с соседних столов возгласами с ясно слышимым кавказским акцентом: «Это же наш Михо! Михо Таль! Твое здоровье Михо!!»

В Грузии популярность его не знала границ. Грузинское гостеприимство трудно описать человеку, никогда не бывавшему в тех краях, но в мишином случае оно напоминало фейерверк, залп из ста одного орудия. Тосты в его честь состояли из прилагательных в превосходной степени и конца им не было. А когда был расстрелян весь набор славословий, оставались еще сидевшие с ним за одним столом, автоматически возводившиеся в ранг апостолов, оруженосцы, друзья и друзья друзей. Имя Таля было окружено таким сиянием, что отблески его ложились на всех, и проворные официанты стремглав мчались за подкреплениями, гремел приученный ко всему оркестр, вечер плавно перетекал в ночь и много еще чего было впереди.

Круг его знакомых был необычайно широк: за ресторанным столом рядом с ним можно было увидеть поэта и футболиста, врача и режиссера, партийца и фарцовщика, парикмахера и барда. Многим хотелось погреться в лучах его славы или просто прикоснуться к нему. Не было недостатка и в случайных собутельниках, самолюбию которых льсти-

ло, что сам великий Таль оказался рядом с ними. Уровень их мог быть самым разнообразным: в состоянии подпития на первый план выйдут заменяющие мысль эмоции, и после нескольких рюмок каждый может показаться остроумным собеседником и замечательным человеком.

Хмельной образ жизни был крайне распространен тогда у людей искусства, литературы, спорта. Шутка советских времен: писательский успех — это когда напишешь повесть, а потом пьешь, пьешь, пьешь...

«Тот, кто водочки не пьет, в основной состав не попадет». «Кто не пьет, тот не играет». «Пивка для рывка, водочки для обводочки». Эти и многие другие выражения были в ходу в высоких эшелонах советского спорта. В профессиональных шахматах тоже можно было найти немало людей, регулярно нарушавших спортивный режим, как эвфемистически было принято говорить тогда, но Таль и здесь занимал особое место. Хотя советское общество было закрытым, и жизнь звезд не была так представлена на всеобщее обозрение, как сегодня, слишком он был на виду.

Но пока был на вершине, многое сходило с рук и на многое закрывали глаза. Когда же на шахматном небосводе зажглись новые звезды, он испытал на себе, что режим любит только силу и доказательство этой силы — успех.

В свое время Солженицын выпрашивал у филологов, одного ли корня слова «беда» и «победа». Не знаю, что отвечали ему специалисты, но до сих пор кое-кто считает, что победа Таля над Ботвинником обернулась бедой для него, нанеся непоправимый урон здоровью и оставив так никогда и не заделанные бреши в его личной жизни. После матч-реванша с Ботвинником мать Таля вздохнула: «Миша никогда бы не уступил звания чемпиона мира, если бы между матчами его держали в тюрьме».

Многие полагают, что причиной проигрыша Таля явилась его болезнь. Нет сомнения, проблемы со здоровьем сыграли роль в поражении молодого чемпиона мира, повлияв и на его подготовку, и на игру. Когда из Риги поступили просьбы о переносе матча, Ботвинник сказал председателю Спорткомитета Романову: «Ну что вы говорите — Таль болен. Таль же всегда болен...» Трудно сказать, как сложился бы второй поединок Таля с умудренным, прекрасно подготовленным Ботвинником образца 1961 года, если бы Таль был абсолютно здоров и серьезно отнесся к матч-реваншу, но тогда он считал, что ему море по колено.

Весной 1968 года Александр Кобленц рассказывал о подробностях переговоров о переносе сроков матч-реванша.

«Знаем мы этих рижских врачей, они любую справку дадут, — говорил Ботвинник, когда его ознакомили с ходатайством Латвийского Спорткомитета. Вот приедет врач из Москвы, осмотрит, засвидетельствует, что Таль не может играть — тогда другое дело...»

«И знаешь, Геня, что Мишенька сказал тогда?» — лукаво спрашивал меня Кобленц.

«Как я могу знать, Маэстро?»

«Так он настаивает на враче из Москвы, из Спорткомитета? Да я старого пердуна и полуживым прибью!»

«Правда, Мишель?» — спрашивал я Таля, не без удовольствия слушавшего рассказ Кобленца. Улыбаясь и закуривая очередную сигарету, Миша кокетливо склонял голову.

All work and no play makes Jack a dull boy — прочла в 1967 году в номере харьковской гостиницы Лариса М., тогдашняя мишина подруга, изучавшая английский язык. Она не успела закончить фразы. «Именно dull, именно! — воскликнул Миша. — Пора заказывать такси в «Родничок!»

Так назывался ресторан на окраине Харькова, где каждый вечер после тура отмечался любой его результат. Ресторанный оркестр был довольно убог, но убогость компенсировалась энтузиазмом и ударными, особенно старавшимися в рефрене песни: «Опять от меня сбежала последняя электричка. И я — по шпалам! Опять — по шпалам! — иду домой по привычке!»

Хорошо вижу смеющегося Мишу, поднимающего рюмку в грохоте оркестра: «Именно по привычке! В высшей степени — по привычке!»

В ресторане «Кавказский» на Невском в Ленинграде сказал ему: «Знаешь, Миша, я вот вычитал: первая рюмка колом, вторая соколом, прочие мелкими пташечками». Он, поднимая стопку: «Именно пташечками, батенька, именно пташечками. Будем!...»

Будем! Я тоже тогда частенько смотрел на небо не иначе, как через дно бутылки, и небо это было всегда в алмазах.

Остались в памяти несколько дней, проведенных с ним осенью 1969 года в Ленинграде. Сеансы, которые он должен был давать в морском пароходстве, свелись к крутым застольям в кают-компаниях кораблей с рассказами на шахматные и всякие другие темы. Хотя с тех пор прошло более сорока лет, из памяти не выветрилось: бутылки коньяка и рома с разноцветными, невиданными дотоле этикетками, лица бравых

флотских офицеров, смотрящих на Таля влюбленными глазами, тосты, в скоростном темпе сменяющие друг друга.

«Мой стакан мал, но я пью из своего стакана», — сказал как-то с пафосом за ресторанным столиком знакомый журналист. Мишина реакция последовала незамедлительно: «А стаканчик-то можно еще раз наполнить!»

«Во время игры, — вспоминал после партии с Матановичем, на которую приехал после веселой ночи, — я старался дышать в сторону: от меня можно было закусывать».

«От меня можно было закусывать» было одной из его присказок, нередко, увы, соответствовавшей действительности. Партия с Матановичем из московского турнира 1963 года получилась, кстати, одной из типично талевских: атака, жертвы, и к тридцатому ходу все было кончено.

Осенью 1985 года в голландском Хилверсуме Таль играл матч с Яном Тимманом и вел перед последней партией 3:2. Вспоминает мастер Ханс Бем: «Я пришел в гостиницу во втором часу ночи, но не отправился сразу спать: надо было что-то написать для газеты и подготовиться к завтрашнему репортажу на радио. Через четверть часа у меня раздался телефонный звонок. Таль. «Ханс, у меня тут бутылочка водки, не мог бы ты зайти, мы ее вместе и разопьем...»

«Спасибо, Миша, но я еще должен поработать, да и поздно уже...» Через десять минут снова звонок. «Ханс, это не только я прошу тебя, это еще и бутылочка просит, хорошая такая бутылочка, ну только на полчаса...» Я подумал, что если и сейчас откажусь, через пять минут снова ведь позвонит. Захожу. На столе непочатая бутылка водки, сам Миша уже сильно под градусом. Наливает стакан. Не рюмку, а стакан, обыкновенный стакан. Потом еще один, ушел я от него не раньше четырех...»

На следующий день до Таля насилу добудились, довезли до турнирного зала, помогли взобраться на сцену. Играл он черными и Тимман ничего не мог с ним поделаться: партия кончилась вничью. Таль еще подробно анализировал со своим соперником перипетии борьбы, а потом отвечал на вопросы журналистов...

Известен незамысловатый есенинский коктейль: чайный стакан, в одинаковой пропорции наполненный водкой и пивом. Коктейль Миши был более изощренным. В 1987 году во время Кубка Мира в Брюсселе его не раз можно было встретить в баре «Селект», находившемся совсем рядом с «Шератоном», где жили и играли участники турнира. В полутемном баре обычно пилось шампанское, которое, как

и во всех подобного рода заведениях, предпочитали работавшие там девушки. Но Миша всегда заказывал свой фирменный напиток: двойной тоник-джин. Это не описка: в высокий стакан бармен под веселые шутки присутствующих наливал маленькую меру тоника, доверху наполняя стакан джином.

Миша повторял эту процедуру неоднократно, порой комментируя ее: «Наливай по-скифски!» В Брюсселе я читал Геродота и обнаружил у того спартанца, слишком часто общавшегося со скифами, научившегося у них кое-чему и говорившего эту фразу, взятую Мишей на вооружение.

Однажды около трех часов ночи в том же «Селекте» он решил перейти к подготовке к партии: «Кажется, я завтра играю с Винантсом. А что, собственно, он исполняет черными?» Миша проснулся за час до партии, тут же закурил, выпил несколько чашек крепчайшего кофе, что-то для вида пожевал и отправился на игру. Пока был молод, удавалось отдать Бахусу — Бахусово, а Каиссе — Каиссово, и богиня шахмат смотрела сквозь пальцы на его шалости, но пятидесятилетнему Талю это уже не сошло с рук: борьбы с бельгийцем не получилось, и на четырнадцатом ходу Таль сам предложил ничью.

«В 1988 году на Кубке Мира в Рейкьявике Миша лидировал после стартовых туров, но потом начал делать короткие ничьи, — вспоминает Ян Тимман. — Закончив партию, он немедленно отправлялся в комнату для участников, где был устроен бар. Обычно он заказывал виски, потом еще одно... Как-то я сидел рядом и увидел, что лицо его побледнело, и Таль отключается. Это продолжалось секунд двадцать, после чего он крепко заснул. Он не проснулся ни в такси, куда его погрузили, ни в гостинице, когда его внесли в номер...»

В другой раз в том же Рейкьявике он просто заснул в конце банкета. Корчной и Спасский, тоже игравшие там, были тогда в натянутых отношениях. Но делать было нечего, они посмотрели друг на друга. «Понесем, что ли?» — спросил один. «Понесем», — ответил другой. Соперники его юности справились со своей задачей превосходно, а ошарашенному портье гостиницы было объяснено, что вот шахматист — долго думал, сильно устал...

Но даже скатываясь в бездну опьянения, он никогда не становился агрессивным, злобным, неприятным. Шахматы, его шахматы всегда оставались с ним. После шестнадцатой партии матча Карпова с Каспаровым в 1986 году Юрий Разуваев, получив ходы, начал диктовать их Талю. Когда дошли до критической позиции, Разуваев на секунду

перевел дыхание, а Миша, уже очень сильно под градусом, улыбнулся: «Неужели db пропустил? Попался на такой дешевке?»

Три года спустя вместе с Разуваевым Таль летел на партии бундеслиги. Оказавшись в самолете, он первым делом извлек бутылку виски и посмотрел многозначительно на коллегу. «Миша, в девять утра?» — начал сопротивляться Разуваев. «Юра, — поджимал губы Таль, — вы же мне никогда не отказывали...» К концу полета бутылка была пуста.

Эдгар По писал, что никакая болезнь не может сравниться с пристрастием к алкоголю, а Нил Армстронг, первым ступивший на Луну, говорил лечащему врачу: «по сравнению с алкоголизмом, доктор, трудности космического полета — детская игра». Михаил Таль тоже мог бы немало сказать по этому поводу.

Почему он пил? Стал ли алкоголь средством подавления каких-то его комплексов? Или, будучи человеком от рождения не вполне здоровым, он пытался таким образом обмануть организм, и алкоголь был своего рода заглушающим средством? Было ли это наследственным, запрятым где-то глубоко в генах — ведь вязью ДНК объясняется сейчас очень многое, если не все? Или просто это вошло в обязательную программу жизненного карнавала, в котором ему так весело было кружиться под восхищенные взгляды друзей и подруг? А войдя в привычку, стало необходимо, и организм требовал алкоголь постоянно. Сказано ведь: «чем больше пьешь, тем больше хочется, а жажда все не отпускает».

Чем это не было точно — попыткой уйти от окружающей действительности. Такое предположение делает Таля таким внутренним диссидентом, кем он ни в коем случае не был: Миша слишком любил жизнь во всей ее соблазнительной банальности, чтобы думать о каких-то политических и философских проблемах.

Весной 1968 года я в первый раз приехал в Ригу и пробыл вместе с ним целый месяц. Мы работали, конечно, только над дебютом, но в фундаменте его успехов лежали не дебютные познания. Не в дебюте было дело, и неслучайно, что ни системы Таля, ни варианта, носящего его имя, в шахматах нет.

За анализом Таль мог зажечься идей, особенно если в ней был тактический элемент. Немало дней провели мы в поисках компенсации за пожертвованную фигуру в крайне сомнительном варианте ферзевого гамбита. Пять лет спустя все вспомнилось, когда в выходной день турнира в Вейк-ан-Зее после ужина у голландского гроссмейстера

Принса были расставлены шахматы, и хозяин дома, сам отчаянный тактик, решил показать «любопытный вариант, в котором у черных богатая игра». Когда Принс начал показывать анализы «любопытного варианта», мы только переглянулись и понимающе улыбнулись друг другу.

Кобленц вспоминал о варианте защиты Каро-Канн с маршевым броском всех пешек королевского фланга, регулярно применявшемся Талем в матч-реванше с Ботвинником. Лихой вариант был показан Талю на карманных шахматах Яковом Юхтманом в холле гостиницы, где жила рижская делегация, и был с энтузиазмом встречен молодым чемпионом мира.

После часа-полтора занятий Таль предлагал обычно: «А не посмотреть ли нам партии последнего чемпионата Америки (Колумбии, Болгарии) — мне только вчера прислали. Или чаще: «А не обкатать ли нам эту позицию в блице?..»

Довольно часто в квартиру Таля на улице Горького приходил Александр Кобленц, для друзей — Маэстро. «На сегодня достаточно, — говорил Миша. — Блиц, блиц». Жертвуя нам поочередно фигуры (большей частью некорректно), приговаривал: «Неважно, сейчас я ему уроню флаг...» А в острейших ситуациях, когда у самого оставались считанные секунды, излюбленное: «Спокойствие — моя подружка». Не помню, чтобы он играл блиц без удовольствия, были ли то партии чемпионатов Москвы или Ленинграда, первенство мира или просто пятиминутка с поймавшим его в фойе гостиницы любителем.

«Может быть, передохнете немного?» — раздавался голос Мишиной мамы Иды Григорьевны, энергичной, импозантной женщины. Она была средней из сестер буржуазной еврейской семьи из Риги, которых судьба разбросала по всему свету. Поселившись в Амстердаме, я изредка навещал ее сестру Риву, жившую с конца тридцатых годов в Гааге и с которой Миша всегда виделся во время приездов в Голландию.

Молодой девушкой она уехала на полгода в Париж, чтобы совершенствоваться во французском, но судьба повернулась по-другому. Впервые тетя Рива увидела своего знаменитого племянника в 1959 году в Швейцарии. Узнав о предстоящем там шахматном турнире, она специально приехала в Цюрих. «Миша был весь полон энергии, такой искрящийся, — вспоминала она, — и этот худой высокий американец, мальчик совсем, прямо ловил каждое мишино слово...»

Фамилия мишиной мамы была Таль, как и у отца Миши: она вышла замуж за двоюродного брата. В огромной (по моим тогдашним поня-

тиям) рижской квартире жили: мама Миши, его старший брат Яша, ненадолго переживший мать; сам Миша с подругой, которая эмигрировала в 1972 году в Германию, первая жена Миши – Салли, живущая сейчас в Антверпене, их сын Гера – прелестный мальчик с каштановыми вьющимися кудрями, сейчас отец трех детей и зубной врач в Израиле. В начале 80-х Миша встречался у меня дома в Амстердаме с сыном, уже эмигрировавшим и приезжавшим к отцу из Германии, где жил некоторое время.

Почти каждый день в рижскую квартиру Талей приходил дядя Роберт, друг отца Миши, врача, умершего в 1957 году. Дядя Роберт – Миша называл его Джек – был шофером такси в Париже в 20-х годах. В шахматы он играл довольно слабо, но мог часами следить за нашими анализами и блицпартиями, глядя на Мишу влюбленными глазами.

Иногда он выговаривал ему за что-нибудь, Миша слабо защищался, и Ида Григорьевна, всегда занимая сторону дяди Роберта, говорила: «Миша, ты можешь отвечать нормально? Не забудь, в конце концов, что это твой отец». Это было семейным секретом: в действительности дядя Роберт был отцом Миши. Сейчас, когда никого из них уже нет в живых, вижу хорошо дядю Роберта с неизменной сигаретой в пожелтевших от никотина пальцах, нередко и с рюмкой коньяка и Мишу, и впрямь так похожего на него обликом, манерой говорить, держаться. Я во время этих пикировок смущенно отводил глаза, но на меня никто не обращал внимания, считая за своего.

Летом 1968 года в период подготовки к его матчу с Корчным часто отправлялись на Рижское взморье, где ему была выделена дача, вернее, три комнаты на втором этаже домика. Пляж был совсем рядом, в солнечную погоду брали с собой мяч, и Миша азартно, как и всё что он делал, отражал мои попытки забить гол в створ импровизированных ворот (майка и пляжная сумка). Он играл вратарем в университетской команде и привязанность к футболу сохранил навсегда.

На лбу его были заметны шрамы – следы жуткого удара бутылкой по голове в ночном баре Гаваны во время Олимпиады 1966 года (известна шутка Петросяна: только с железным здоровьем Таля можно было перенести такой удар). Он часто бывал в больницах, перенес за свою жизнь восемь полостных операций. Нередко случались почечные приступы, в конце концов одну почку пришлось удалить, и источник болей временно исчез.

Когда я в первый раз приехал в Ригу, «Скорая» навещала его регулярно: считалось, что у Миши тогда «шел камень», и только немед-

ленная инъекция могла снять боль. Однажды врачи не могли попасть ему в вену: вся она на сгибе локтя была усеяна следами от уколов. Наконец им удалось это сделать, Миша сразу повеселел, и глядя на голубые прожилки моей руки, заметил: «У тебя таких проблем не было бы...»

В Москве «Скорой помощи» было запрещено приезжать на вызовы Таля. Слухи об этом носились по городу, и на одном из выступлений его прямо спросили: «Правда ли, что вы морфинист, товарищ Таль?» Его реакция последовала незамедлительно: «Что вы, что вы, я чигоринец».

Салли Ландау, первая жена Таля, вспоминает: «У него начался дикий приступ. Он побледнел, лицо его покрылось испариной, в глазах появилась та самая неземная жуть, которая делала его страшным... «Скорая» приехала достаточно быстро. Медики взглянули на Мишу, на недопитую бутылку коньяка, переглянулись друг с другом, мол, все понятно и занялись делом... Через минуту Мише сделали инъекцию понтапона, и ему стало легче... Он вяло улыбнулся, извинился перед врачами за доставленное беспокойство, потом сказал: “Это мои дела... Ты же знаешь...”»

Бесстрастные медицинские справочники сообщают: «понтапон — наркотическое лекарственное средство, содержащее 50% морфина. При длительном применении развивается привыкание и болезненное пристрастие (наркомания)».

Трудно сказать, когда у Миши развилась наркологическая зависимость. Может быть, это случилось после операции, когда ему давали различные препараты для обезболивания. Может быть, в Москве, где он жил месяцами после выигрыша матча у Ботвинника и вел образ жизни, далекий от аскетического.

Альберт Капенгут, работавший в 1979-80 годы с Талем, вспоминает, как предложил пригласить на сбор молодого Каспарова. Хотя тому только исполнилось шестнадцать, было уже видно, какого калибра этот шахматист: «Когда я обронил фамилию Каспарова, Миша начал как-то мяться, что-то говорить о Холмове... Геля, жена Миши, странно посмотрев на меня, улучила момент, и отведя в сторонку, шепнула: “Ты что? Миша на дух не переносит молодых талантов...”»

Мне все же удалось уговорить его сыграть с Каспаровым, и зимой 1980 года мы приехали в Баку. Из планировавшихся шести партий, к сожалению, были сыграны только две. Первая партия закончилась вничью. Вторую Миша проиграл белыми. Когда Гарик, не скрывая

радости, воскликнул: «Это моя первая победа в Каро-Канне над грессмейстером!» – на Мишу нельзя было смотреть. Как грессмейстером? Просто грессмейстером? Он сильно принял после партии, и тут ему сообщили о смерти брата. Это было уже слишком. «Позвони Кларе Шагеновне, (мать Гарри Каспарова – Г. С.) – сказал он, – чтобы она организовала укол...»»

И снова Капенгут: «Помню и другой случай, когда в Днепропетровске, где проходил Кубок страны, в выходной день мы пошли на футбол. Возвращались со стадиона пешком в густой толпе народа. Ходить он не любил, но другого выхода не было. Пришли в гостиницу, делать было нечего, и он как-то маялся. Я ушел к себе, а когда через четверть часа вернулся к Мише, он уже вызвал «Скорую». Миша попросил сделать ему укол и продиктовал комбинацию компонентов. У врача глаза на лоб полезли. Миша попросил меня выйти... Через пятнадцать минут он зашел ко мне в номер. Веселый, оживленный, он прямо сыпал вариантами...»

Евгений Шварц писал о Заболоцком, что «сила его в том, что он пишет, а не в том, что вещает подвыпивши». Конечно, то же самое можно было бы сказать о Тале и совсем не затрагивать эту тему. Останавливаюсь на ней так подробно потому, что алкоголь и наркотики сыграли значительную, во многом определяющую роль в его жизни, разрушив в конечном итоге физическую оболочку выдающегося шахматиста, и без того такую хрупкую от рождения.

Сегодня, когда можно писать все и обо всем, близкие Таля мимоходом замечают, что «выход от болей он находил в спиртном. Алкоголь снижал темп. И он мог спокойно заснуть. Миша был настолько болен, что я не пыталась бороться ни с алкоголем, ни с чем-либо другим». Или: «Миша был не вполне равнодушен к алкоголю», «баловался со стаканчиком», «я утверждаю совершенно ответственно: Миша не был наркоманом!» и т.д. и т.п.

На самом деле Миша, особенно в конце жизни, ни дня не мог обойтись без алкоголя. Был у него период в жизни, и не такой короткий, когда он находился в наркологической зависимости. Мещанско-пошленькое отрицание этих фактов неуместно и только искажает образ выдающегося шахматиста и такой яркой личности, каким был Михаил Нехемьевич Таль.

Как-то во время анализа Спасский в ответ на очередную, предложенную Талем невероятную жертву, сказал: «Миша, ты же сам пони-

маешь, что так не бывает». «Знаю, — вынужден был согласиться Таль, — но мне так хочется...» Если в шахматах он был вынужден считаться с неумолимыми законами игры, то в жизни...

В Телемской обители никто не был связан никакими правилами, а надпись над входом гласила: «Делай, что хочешь». Он и делал, что хотел. Это тем более удивительно, что жил он не в обители, построенной фантазией Франсуа Рабле, и не в какой-нибудь безмятежной скандинавской стране, а в государстве с суровыми запретами, предписаниями и ограничениями. Основные запреты не мог обойти, конечно, никто, но неписанные, созданные для законопослушных граждан, тем более общественное мнение...

«Общественное мнение — это мнение общества, которое оно должно иметь при себе», — нередко говорил Таль. И ему было все равно, что подумают о нем в Комитете, в «Даугаве», в ресторане, на улице, что скажут, что могут сказать.

В коротком человеческом существовании имеются две основные незамысловатые формулы. Одна: не умирать, все время откладывая смерть на потом. Все время откладывая. Предоставляя это право — умирать — другим. Жить как можно дольше, чего бы этого ни стоило, потому что сам процесс жизни является высшей ценностью. Сентенции «хорошо прожитая жизнь — долгая жизнь» и тем более «чем длиннее, тем лучше: жизнь, пусть даже убогая» — придуманы людьми, следующими этому принципу.

Рассматривая жизнь как авантюру, из которой следует извлечь все, Таль следовал другой формуле: единственный грех в жизни — не полностью ее использовать. Протяженности предпочесть интенсивность, насыщенность. Наполнить мгновение настоящим, потому что мгновения преходящи, и никакое удовольствие нельзя откладывать на завтра, на когда-то, на туманное будущее.

Плотин писал, что «быть» всегда важнее, чем «делать». Платон рассуждал об отношениях безобидных, со спокойными страданиями, податливыми желаниями, любовными увлечениями без неистовости. О жизни в режиме экономии удовольствий, обеспечиваемой господством человека над самим собой. Аристотель утверждал, что хотя все тем или иным образом получают удовольствие от еды, вина и любви, не каждый делает это как следует. Жаль, что я прочел греческих мудрецов слишком поздно, и мы лишились мишиных комментариев по этому поводу.

Думаю, он посмеялся бы над ними, а по вкусу ему бы пришлись слова: «Мне жалки люди, которые книгу жизни прочитывают от доски до доски с напряженным вниманием и добросовестным благоволением: они обыкновенно остаются в дураках. Жизнь надобно слегка перелистывать, ловко и вовремя выхватывать из нее, что найдешь в ней хорошего по вкусу; а прочее пропускать, не задумываясь».

Сегодня стало модным говорить о жизненной стратегии, которую выбирали писатели в советское время. Каким путем шли, например, Ахматова, Пастернак. Уверен, что Миша совсем не задумывался о какой-либо стратегии или формуле существования и просто улыбнулся бы, прочтя, что разноцветную мозаику жизни можно объяснить какими-то философскими выкладками.

Заграничные турниры в шкале его ценностей занимали исключительно высокое место. Многие кардинальные решения, принятые им в жизни (или не принятые), следует рассматривать именно с этой точки зрения. Меньше всего его интересовала практическая сторона таких поездок: хотя Миша всегда выезжал с длинным списком вещей, он старался оттянуть процедуру покупок до последних дней или переложить ее на чьи-нибудь плечи.

«У него с собой был огромный список вещей. По просьбе Ларисы Соболевской он купил ей платье с блестками. Себе Таль не купил ничего, хотя денег у него было полно. На нем был рваный пиджак. С трудом его уговорили купить пиджак и туфли. В магазин он не пошел, достал из бумажника пачку денег и сказал: пожалуйста, купите все сами...» — вспоминал Леонид Шамкович, бывший с ним на турнире в Испании.

То же самое можно сказать о поездках Таля в любую другую страну. После турнира в Тилбурге в 1980 году Миша попросил сопровождать его в походе по магазинам. Даже не бросив взгляд, он соглашался на все, предлагавшееся продавщицей. Зеленые пятигульденные бумажки лежали в его карманах вперемежку с тысячными (надо ли говорить, что кошелек у него никогда не было), и помню его искреннее удивление, когда он обнаружил еще одну такую в одном из боковых карманов. А сколько было потерянных призов, сколько паспортов, оставленных в гостиницах или попросту забытых где-то...

Помню его поверх меня направленный взгляд, когда в Таско я выговаривал ему после того как он заплатил 70 долларов за трехминут-

ный разговор с Нью-Йорком. Вряд ли доходили до него мои слова, что в некоторых странах следует избегать телефонных разговоров из гостиниц.

Не было секретом, что к деньгам он относился наплевательски, цены им не знал. Если у него появлялись деньги, счета им не было, и все могло улетучиться буквально в несколько дней. Так же он относился и к чужим деньгам; его мало интересовало, кто и как платит за ужин, такси, виски в баре. Он был, конечно, настоящий король, а короли, как известно, никогда не имеют при себе денег, предоставляя честь платить другим.

Он знал, что деньги приплывут в руки сами тем или иным образом, и они приплывали, зачастую и немалые по советским понятиям, но долго не задерживались в его дырявых руках. Он относился к типу бедняка-мота, о котором фея в сказке Гофмана говорит, что бесполезно давать деньги человеку с судьбой бедняка — они все равно не удержатся у него. Что ж, здесь у него были великие предшественники. Моцарт, с которым сравнивали Таля, постоянно нуждался в деньгах, хотя давал в год не менее шести концертов, получая за каждый тысячу гульденов. И это помимо жалованья, гонораров за уроки и прочих доходов (для сравнения: годовой заработок служанки составлял тогда двенадцать гульденов).

Корчной утверждает, что Таль не имел привычки отдавать долги. Может быть. Мандельштам ведь тоже был убежден, что поэт, живущий как птица божья, имеет право брать у всех, если он в этом нуждается. Думаю, что сами определения щедрости или тем более скупости для Таля попросту нерелевантны. Приз, полученный им в одном из блицтурниров, вызвал бурный смех присутствующих: действительно, домашний сейф не мог найти более неподходящего владельца.

Он постоянно терял деньги, однажды у него украли приз, но дело было не в этом: он просто не умел обходиться с бумажками, на которых были нарисованы какие-то цифры. Эта разноцветная труха никогда не была важна для него: листовенным деревьям Таль всегда предпочитал лавровые.

Тихо Браге говорил, что место проживания для него безразлично: его отечество там, где видны звезды. Может показаться, что то же самое мог бы сказать и Таль: где есть шахматная доска и фигуры — там мое отечество. Оказалось, что так-то так, да не так.

Находясь за границей, он знал, что через две-три недели вернется в Советский Союз, и чувство это не было неприятным и не только из-за жившей там родни. Он привык к этой стране, врос в эту систему отношений. Возвращение домой совсем не было трагедией для него, и его нельзя сравнить с вернувшимся в Россию из Европы молодым человеком, который только после того, как наступил на грабли, вспомнил, что это такое. Все это совсем не значило, что оказавшись дома, он не начинал предвкушать удовольствие от поездки на очередной заграничный турнир.

Эти два чувства: как можно скорее оказаться за границей и невозможность жить вне России — достаточно распространены. Вспомним Тургенева, разрывавшегося между Россией и Францией, Чайковского, постоянно стремившегося вырваться из России. Множество раз приводившего свое желание в исполнение, но по прибытии в Париж или Флоренцию начинавшего испытывать щемящую тоску по дому. Чтобы по возвращении к березкам с нетерпением ожидать возможности как можно скорее уехать вновь. Список этот можно легко продолжить.

Но была и разница: Таль мог оказаться за границей, только если государство давало разрешение на такую поездку. Что, впрочем, делало ее еще более желанной. Казалось бы, часто выезжая за рубеж, Таль должен был чувствовать себя за границей как дома. На самом деле, встречаясь с ним на Западе, я видел: в обществе соотечественников, порой далеких ему по духу, когда и неприятных, ему было вольготнее и проще, чем с иностранцами: он был среди своих. И дело было не только в языке. Его английский да и немецкий были вполне пристойными, хотя отвечая на вопрос, говорит ли он по-английски, Миша всегда прибегал к формуле: *a little bit*.

У замечательного пианиста Владимира Софроницкого была не легкая судьба: он был лишен заграничных поездок, потом возникли трудности с концертами даже в пределах Союзного Союза. Однажды, играя дома, он с силой захлопнул крышку рояля: «Не могу играть! Мне все кажется, что придет милиционер и скажет: “Не так играете!”»

Филип Хиршхорн, выигравший конкурс королевы Елизаветы в 1967 году, говорил, что это лотерея, дело случая, что ему повезло, что все решают двенадцать стариков с совершенно различным культурным и музыкальным багажом, пониманием музыки, что все зависит от того, как они позавтракали и какой у них был стул.

В шахматах такого быть не может: случайно можно выиграть партию в сеансе одновременной игры или занять однажды приличное

место в турнире; регулярные победы являются фактами. Но хотя Талю не могли приказать, в каком стиле он должен играть, да и его результаты говорили сами за себя, натерпелся он от советской власти немало.

Были вызовы в Спорткомитет и ЦК Латвии, были унижительные предложения, когда ему, взрослому человеку, говорилось: «продолжайте жить с женой или оформите отношения с любовницей». Было безденежье, неприкаянность, запрещение выезда за границу. Случалось, его снимали чуть ли не с трапа самолета. Однажды это произошло перед поездкой в Югославию, в другой раз в 1968 году, когда он должен был ехать в Лугано на Олимпиаду.

Члены команды в полном составе по дороге на аэродром приехали в Спорткомитет, чтобы, как это водилось тогда, выслушать последнее напутствие официальных лиц. После пустых, ничего не значащих слов высокий функционер заключил речь непринужденно-приветливым: «А вы, Михаил Нехемьевич, можете возвращаться домой в Ригу. В Лугано на конгрессе ФИДЕ уже находится Василий Васильевич Смыслов, он вас и заменит».

В шестидесятых годах, когда ходили упорные слухи, что Таль уезжает из Риги — в Москву? в Тбилиси? — у него прямо спросили об этом на стадионе в присутствии сотен людей. «Только если милиция лишит меня рижской прописки», — отвечал Миша под гром аплодисментов. Красиво сказано, хотя тогда речь шла о перемещении внутри той же самой страны.

Когда маленький ручеек настоящей эмиграции превратился в полноводную реку, и у Таля спрашивали, не собирается ли и он навсегда покинуть Советский Союз, Миша отвечал обычно: «В Риге у меня остается слишком много могил, чтобы я уехал оттуда». Но не только рижским кладбищем Шмерли, на котором похоронен он сам, можно все объяснить.

Однажды поклонник Таля, сам довольно сильный шахматист, работавший в республиканском КГБ, показал Мише отчеты его сверстника, регулярно игравшего с ним в международных турнирах. Таль равнодушно прочел отчеты и... продолжал общение с тем как ни в чем не бывало. Ходили упорные слухи, что встреча Таля с эмигрантом — сыном его тренера Кобленца — тоже стала известной в КГБ после письма коллеги-гроссмейстера. Миша и с ним сохранил приветливые, дружеские отношения.

И что? — спросит читатель. Автор же сам настаивает на том, что Таль «забил» на все. «Забил» и на это. Объяснение верное, но недоста-

точное. А верное дал Карл Маркс, главный теоретик строя, при котором Талю выпало жить: «невозможно жить в обществе и быть свободным от этого общества».

Тот строй подминал под себя и корежил все души без исключения. Даже тех, кто скептически относился к нему или даже вовсе не принимал. Тем более тех, кто получал от системы какие-то блага, зависел от нее, вырос при ней, другой не знал. Еще проще было с натурами мягкими, не склонными к разборкам и конфликтам, пусть и умевшими догадаться, когда надо было быть недогадливым, но умевшими и промолчать. И хотя ему пришлось вдохнуть немало мутных испарений, поднимающихся от тяжелого болота советской жизни, законы этой власти и правила игры он принимал как данность и не особенно задумывался об этом.

Кто-то говорит сейчас: если бы не было той жестокой системы, он избежал бы многих унижительных фактов своей биографии. Это верно, конечно. Парадокс заключается в том, что то время и та система породили выдающегося шахматиста. Рискну предположить, что Михаил Таль, выброшенный в двадцать лет в круговорот западной жизни и ставший Майклом Талем, завертелся бы в вихре вседозволенности и удовольствий с такой силой, что шахматы попросту растворились бы в этих удовольствиях. И даже если с его выдающимся талантом ему удалось бы реализоваться и в этом случае, вряд ли Таль сумел бы взлететь такой искрометной ракетой: редкой по насыщенности шахматами атмосферы Советского Союза не было ни в какой другой стране мира.

«Сынок, — говорила Салли, первая жена Миши, ратовавшего за отъезд Таля за границу, — это бесполезно. Твоему папе нравится только в одной стране — в Советском Союзе. Ведь куда его только не звали — в Швейцарию, Канаду, во Францию...»

Один из стадионов Москвы назван именем Эдуарда Стрельцова. Ярчайшая звезда советского футбола, центральный нападающий сборной страны, Стрельцов был осужден к двенадцати годам заключения по крайне сомнительному делу об изнасиловании. После того как он отбыл половину срока, ему разрешили вернуться в футбол, но лучшие годы были безвозвратно потеряны. Диктуя в конце жизни мемуары, Стрельцов сказал: «Напиши: страну нашу очень люблю, хоть она и поднаслала мне».

Миша тоже очень любил эту страну. Это была его страна, действительно его страна, и оказавшись за границей, он очень скучал по ней.

Уверен, что сказав: «Даже если бы я обиделся на весь Советский Союз в десять раз больше, чем Корчной, я все равно бы никуда не уехал», — Таль не покривил душой. И он тоже мог бы произнести вслед за Пастернаком: «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими».

В конце 60-х годов Таля нередко можно было встретить в Москве в доме художника Игина на Мясницкой, которая называлась тогда улицей Кирова. Шахматистом Игин был слабым, но игру любил страстно и Мишу боготворил. Хорошо вижу хозяина квартиры за шахматами, пожелтевшими от никотина пальцами заправляющего сигарету в выдавший виды мундштучок и наполняющего рюмки, пока соперник думает над ходом.

«Я старый коньячник», — говорил о себе Иосиф Ильич, поигрывая во рту время от времени зубным протезом. Однажды Игин сказал Эмилю Кроткому, у которого во рту был виден только один зуб: «У Эмильчика зуб на зуб не попадает», на что Кроткий немедленно прореагировал: «О, Игин! Он порою груб, но вообще сплошная прелесть. Я на него имею зуб, он на меня вставную челюсть...»

Игин, закадычный друг Михаила Светлова, выпустивший совместно с ним книгу шаржей-стихотворений, говорил о себе и о знаменитом земляке: «Мы ведь родом из Пропойска...» — и оба с честью несли звание «пропойчанина».

Городок Пропойск действительно имел место быть в Могилевской области, и дивизия, отличившаяся в боях за него в 43-м году, должна была получить звание «пропойской», как нередко бывало в военное время. По этому поводу Пропойск был переименован в Славгород.

Над столом, за которым работал Игин, висел шарж художника с изображением обоих и с подписью поэта: «Я утверждаю — это враки, что счастья нет в неравном браке!» Иосиф Ильич часто цитировал стихотворения Светлова, в то время уже покойного. Все они были внове для меня: кроме популярных «Каховки» и «Гренады» да меланхолических, непечатных тогда строк — «давно я не ебся на лоне природы, а годы проходят, все лучшие годы» — я не знал ничего.

Раньше Игин жил в Черемушках в одном из блочных домов, построенных в хрущевское время. Так как хозяин возвращался к себе поздно вечером и чаще всего «под градусом», а дом был как две капли воды похож на соседние, на балконе его квартиры на пятом этаже друзья вывесили для ориентира спасательный круг.

Когда он переехал на Мясницкую, этой проблемы уже не было. К тому же двери его квартиры в деревянном флигеле во дворе большого дома были всегда открыты. Здесь можно было встретить художников, журналистов, поэтов, актеров и актрис, шахматистов и множество других разнообразных людей без определенных занятий. Все это создавало впечатление вечной тусовки, хотя такого слова тогда не было и в помине.

Здесь бывали: поэты Евгений Винокуров, Андрей Вознесенский, поэт-пародист Александр Иванов. Поэт Николай Глазков, как и хозяин квартиры, был большим любителем шахмат. Иногда они сражались друг с другом; поэт был явно сильнее художника, и победа почти всегда была на его стороне.

К Игину заглядывали и настоящие шахматисты: кроме Таля помню в игинской квартире Виктора Корчного и Аллу Кушнир, игравшую тогда матчи с Нонной Гаприндашвили на первенство мира. Не раз посещал игинскую квартиру и Александр Борисович Рошаль, которого иначе как Аликом никто там не называл. Я бывал здесь с Мишей, иногда один.

То время отстоит от сегодняшнего на сорок с лишним лет, и я не могу вспомнить, конечно, всех, кого встречал у Игина, но из многих, захаживавших в эту квартирку, можно составить длинный мартиролог спившихся. Миша во время приездов в Москву дневал и ночевал здесь, очень часто в буквальном смысле слова. «Скорая», приезжавшая к хозяину дома, страдавшему разнообразными болезнями, заодно обслуживала и Таля.

Большой стол в квартире был уставлен бутылками, стопками, стаканами и тарелками с воткнутыми в остатки еды окурками. Все это постепенно накапливалось, пока кто-нибудь из милых посетительниц не наводил порядок, впрочем ненадолго. На полу лежала тигровая шкура, а с потолка наблюдал за всеми немалых размеров нарисованный глаз, зрачок которого был в действительности лампой. Здесь завязывались романы, иногда на долгие годы, чаще короткие, когда и однодневные, и курилось во все легкие, и пился коньяк, водка или портвейн, приносимые из близлежащего гастронома.

Нет никакого сомнения, что КГБ знал об этой богемной квартире: кто-нибудь из посетителей ее наверняка состоял там осведомителем, но всемогущая организация смотрела на эти сборища сквозь пальцы, резонно полагая, что все эти люди совершенно неопасны для власти.

Пересказы услышанного вчерашним вечером по «Голосу Америки» или «Би-Би-Си», обсуждение фразы, ускользнувшей от внимания цензуры и проникшей в журнальную статью, последняя публикация в «Новом мире», судьба танцовщика, оставшегося прошлым месяцем на Западе, пушкинские слова на премьере театра на Таганке, брошенные прямо в зрительный зал: «Что же вы молчите?» и долгая, долгая, намекающая понятно на что тишина обсуждались детально и со всеми подробностями. Но все эти образчики смелости по-советски и пассивное неприятие официоза прекрасно уживалось у посетителей квартир-ки с конформизмом перед лицом государственных институтов. Более того, у многих из них, несмотря на анекдоты и шуточки, фрондерство и вольномыслие в узком дружеском кругу, сохранялась вера в страну, где они жили, и даже патриотизм и гордость за нее. Счастливые в своем незнании наступившего через два десятилетия будущего, милые, богемные, элитные, советские, асоветские, для которых понятие «невыезда» являлось едва ли не высшей карой в реестре жизненных неприятностей, почти все ушедшие уже в небытие.

Кончались «шестидесятые годы – железной страны золотая пора». Приехав весной 1972 года в Ленинград, Игин за бутылкой коньяка в «Европейской» с жаром повествовал о последних московских новостях, восхищаясь Солженицыным и ругая на чем свет стоит писательский и прочий официоз. Эту нашу последнюю встречу я запомнил очень хорошо и не потому, что за первой бутылочкой последовала другая. Ровно через неделю я отправился в ОВИР и подал документы на выезд из Советского Союза.

При встрече с Игиным я ничего не сказал об этом давно уже созревшем решении. Дело было не в том, что я сомневался в правильности выбранного пути. Просто человек, объявивший о таком шаге, тут же переходил в особую категорию, и реакция даже близких друзей была непредсказуемой.

Знаю, что Иосиф Ильич к моей эмиграции отнесся неодобрительно. «Как же Гена сможет там без Пушкина. Да и вообще...», – передавали мне слова Игина, когда он узнал о моем намерении покинуть Советский Союз. Такая точка зрения была довольно распространена в кругу московской и ленинградской интеллигенции, разъедаемой, впрочем, уже слухами о коллегах и знакомых, решившихся на рискованный шаг.

Фаина Раневская, крайне иронично относившаяся к стране, в которой ей довелось прожить всю жизнь, писала в дневнике, опублико-

ванном после ее смерти и предназначенном только для себя: «Когда я слышу о том, что люди бросают страну, где они родились, всегда думаю: как это можно, когда здесь родились Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Чехов, когда здесь жили писатели, поэты, как Тютчев, Блок и те другие, которых нет нигде. Когда здесь свои березы, свои тополя, свое небо. Как это можно бросить?»

До моего отъезда я не виделся и не разговаривал с Талем. Впервые встретившись в январе 1973 года на турнире в Голландии, мы говорили каждый день и помногу, но вопроса — почему ты решил уехать? — он мне не задал. Впрочем, этого вопроса не задал мне никто из друзей, с которыми я вновь встретился за пределами Советского Союза. Как в анекдоте о человеке, разбрасывавшем антисоветские листовки, представлявшие из себя чистые листы бумаги — о чем писать-то, когда и так все ясно?

В Москве брежневского периода ночная жизнь замирала уже к полуночи. Возобновить ее можно было только в полулегальном Архангельском или в аэропортах, где рестораны работали до трех утра. Туда преимущественно и направлял свои нетвердые стопы недогулявший контингент ВТО или Дома кино. Самым популярным был ресторан «Внуково», куда на такси можно было доехать за трешку. Зал ресторана, разношерстная публика, коньяк в графинчиках, столичная в бутылках.

Круг его знакомых был весьма пестрым, полярным и многоплановым. Некоторые его приятели принадлежали к далеко не самым интеллектуальным слоям общества — скорее они примыкали к криминогенной его части. Ему импонировал их авантюрный образ жизни, возможность разными путями легко заработать деньги и так же лихо, с особым шиком и куражом их прокутить.

Он никогда не был интриганом, не лез ни в какие склоки, не завидовал успеху других. И совсем не ценил материальное выражение успеха... Был человеком очень неприхотливым, никогда не требовал никаких особых условий и привилегий.

У него были странные черты лица — юношеские, но вместе с тем такие лепные, немного резкие. И его потрясающая энергия — жизненная, человеческая, творческая... В нем навсегда осталось умение выплеснуть всего

себя до дна... Разговаривая с ним, можно было подметить порой отсутствующий взгляд, ответы невпопад — он думал о своем.

Душа его рвалась навстречу новым ощущениям. Все, выходящее за узаконенные параграфы житейской мудрости, привлекало его. У него были знакомые — люди театрального мира, журналисты, спортсмены, просто собутыльники, случайные люди, роем кружившие вокруг него. Никаких иллюзий насчет морального облика этих людей он не строил, но необъяснимым образом тянулся именно к ним.

Он сидел с полукрестом, стискивая время от времени зубы.

Удивительная черта характера его — решившись на что-то, он действовал с таким напором и убежденностью, что просто вынуждал всех поступать по-своему.

Не мешкая, удобно устроились на московский лад на кухне: сидели, пили водку, говорили «за жизнь». Но этот разговор мало походил на кухонные сходки столичного андерграунда. Здесь нельзя было услышать таких мудреных словечек, как «некоммуникабельность», ни таких имен, как Дали или Пруст. И уж тем более не было никакого пафоса обличительства.

Он относился скептически к диссидентству в целом. Именно к диссидентам-профессионалам. Он считал их людьми излишне политизированными и не вполне свободными.

Не без труда удалось уговорить его раздеться и накрыться одеялом. Пристроив у изголовья пепельницу, он садил сигарету за сигаретой — сделав пару затяжек, хватался за новую. Однажды он уснул с зажженной сигаретой в руках и даже не проснулся от сильной боли и ожога.

При поселении в «Ореанду» возникла заминка. У него не оказалось с собой паспорта... Дальше все повторилось по минскому сценарию в интерьерах ялтинской гостиницы. Безвылазно торчали в номере, пили, разговаривали обо всем понемногу. И так трое суток. Ни тебе морских променадов, ни обещанного «морского воздуха». В таком хмельном угаре пролетели три дня и три ночи.

Непостижимым образом удается ему извлечь из своего организма дополнительные ресурсы и пойти по второму кругу. Характерная деталь: только что он почти умирал, глотал воздух, как рыба, но вот чуть-чуть отпустило и — ему нужны новые впечатления. Воистину, талантом оживать он был наделен от природы.

С годами у большинства самых близких к нему людей росло мучительное беспокойство по поводу его здоровья, о его слабостях сплетничали в различных столичных и светских кругах.

Ждавший нас в своей просторной каюте капитан тут же выставил непочатую бутылку рома, под которую и завязался оживленный разговор...

Все время оказывается, что его узнают, кто-то оказывается знакомым его хорошего приятеля, знакомым кинорежиссера, знаком бармен, администратор в гостинице, мэтр в ресторане, благоволящий заместитель министра, знакомый врач выписывает рецепт.

Почему-то многие считали возможным (и считают до сих пор!) обсуждать его семейную жизнь, подсчитывать интрижки и увлечения, строить какие-то догадки и предположения...

Оставались мы в этой блатной компании недолго, ему быстро все приедалось. Нужны были новые впечатления. И вот он уже набирает телефон Аллы.

В сочинском санатории, увидев телефон, он кинулся к нему и стал заказывать Москву... Он искал там Татьяну. Еще утром он уговаривал полететь с ним Марину, а вечером ему была нужна Таня. Метания! Ссоры с Мариной и попытка примирения с Таней. И наоборот. Вечером на следующий день: хорошо бы поехать в город. Ну что здесь торчать, тоска ведь смертная...

Он никогда не самообольщался относительно своей внешности. Одной манекенище он как-то признался: ведь я же знаю, что я урод. Но даже в годы юности магнетизм его личности завораживал девичьи души.

В одном из домов ему стало плохо, пришлось вызывать «Скорую». Врач, замотанная вызовами тетка, не узнала его и решила, что он имитирует страдание, чтобы получить дозу морфия. Стоящий с ней рядом

«какая-то важная шишка» приговаривал: «Ну что вы, что вы, это такой талантливый человек, ему нужно помочь...»

...она вела отчаянную борьбу за его здоровье. Особенно, когда обнаружила, что он употребляет еще и наркотики. А сочетание наркотиков и алкоголя убийственно.

Любому мемуаристу лестно вспоминать, как он пил с ним, тем более, как не давал пить, как спасал.

Он часто выезжал на гастроли. В ходе таких поездок он нередко встречался с самыми различными типами, организаторами таких поездок, норовивших получить свою долю или просто погреться в лучах, исходящих от звезды, сомнительными личностями, подозрительными субъектами и т.д. Его это мало интересовало.

...он наконец-то сумеет совладать с поселившимся в нем демоном саморазрушения.

Очнувшись, он находил силы выкарабкаться, встать на ноги и продолжать свой опасный эквилибр без лонжи и подстраховочной сетки. Можно назвать это безумием, самоуничтожением. Долгожителями такие люди не становятся, напротив – они очень быстро сгорают.

Он был человеком грешным, как все мы. Но и великим, как никто. Одни это понимали, другие нет.

Это отрывки из воспоминаний друзей Владимира Высоцкого и его вдовы Марины Влади. Я оставил их без изменений, разве что в нескольких случаях заменил имя барда безличным «он». Все, что вы прочли о Высоцком, можно едва ли не слово в слово повторить о Тале.

Они были знакомы. Таль несколько раз приходил на Большой Каретный, где жил актер театра на Таганке; были, конечно, и ресторанные встречи. После смерти Высоцкого Таль вспоминал: «...вскоре отчества при общении уже не понадобилось. Мы встречались и отлично проводили время. Но потом Высоцкий уезжал на съемки, а я на турниры, встречи становились все реже, пока в 80-м году, к большому горю, не прекратились совсем».

В цикле Высоцкого «Честь шахматной короны» (песня «Подготовка») упоминается гроссмейстер: «Мы сыграли с Талем десять пар-

тий — в преферанс, в очко и на бильярде, — Таль сказал: “Такой не подведет!”»

Таль говорил, что ни в преферанс, ни в очко они никогда не играли: однажды, правда, сразились на бильярде, а в тексте он оказался потому, что размер требовал короткой фамилии. Скромно добавляя, что Флор тоже рассматривался в качестве кандидата, но фамилия Таль была как-то больше на слуху...

Конечно, они были разными. У Таля совершенно не было страсти к заграничным (и каким-либо вообще) машинам, дорогой одежде, обуви. Не могу представить себе его ни «самозабвенно торгующимся на базаре, доводя продавцов до иступления», ни «сердящимся в компании картежников, проигрываясь в пух, называя их шулерами и обманщиками». Но это все мелочи. Много важнее то, что их объединяло: туго натянутая струна жизни, страстная, иступленная отдача себя творчеству. Речь идет именно о творчестве, а не о таких мелочах, как проблемы с выездом, жизненные невзгоды, пристрастия, угрожающие физическому существованию, смерть саму. И оба они, харизматичные и знаменитые, с запутанными отношениями тела и души, были людьми богемы, что в условиях Советского Союза сближало людей куда больше, чем в каком-либо мягко-демократическом государстве.

И Таль тоже приезжал в ночное Внуково за водочным подкреплением.

И сживал не раз в кают-компаниях с капитаном и офицерами судна за бутылками рома и других редких тогда напитках.

И Таль, чаще всего в состоянии подпития, начинал упрямо покачивать головой и поскрипывать зубами.

И у Таля часто не оказывалось с собой паспорта.

И Таль мог не выходить из гостиничного номера сутками, когда дни плавно переходили в ночи и снова в дни.

И Таль, сделав несколько затяжек, гасил сигарету, чтобы едва ли не тут же начать новую.

И вокруг Таля всегда околачивались всякого рода околошахматные и полубогемные, порой и откровенно сомнительные личности. И его тоже по каким-то необъяснимым причинам тянуло на дно.

И к Талю неоднократно приезжала «Скорая», потому что только «незамедлительный укол мог спасти его».

Демон саморазрушения Владимира Высоцкого был постоянно прописан и в душе Таля.

В компаниях, где бывал Таль, тоже нельзя было услышать словечек

«некоммуникабельность», имен Дали или Пруста, а в разговорах тоже не было пафоса обличительства. Наградив массой самых разнообразных эпитетов обоих, ни один из мемуаристов ни разу не употребил по отношению к ним слова «интеллигент». У свободы много имен, но та, что могла устроить Высоцкого и Таля, не так далеко ушла бы от той, что установивалась в Советском Союзе в конце 50-х. При условии, конечно, всегда поднятого шлагбаума для их заграничных поездок.

«Я смеюсь, — умираю от смеха!

Кто поверил этому бреду?!

Не волнуйтесь, я не уехал.

И не надейтесь: я не уеду!»

Написал Владимир Высоцкий, когда по Москве начали гулять слухи, что он собирается эмигрировать из Советского Союза.

Выезд из страны стал практически свободным, когда такого же рода слухи появились о Тале. Он сам опроверг их: «У меня в Израиле сын, масса друзей, я ездил туда, хочу и буду ездить впредь. Но — с обратным билетом!»

«Пусть впереди большие перемены, но я их никогда не люблю», — пел Высоцкий. Он не дожид до настоящих перемен. Начало больших перемен застал Таль, тоже никогда не любив их.

И Таль в «сильно приподнятом» состоянии звонил поочередно жене, бывшей жене и приятельницам в разные страны мира, чему я не раз был свидетелем. Причина этих телефонные звонков и долгих-долгих разговоров в «Сказках тысячи и одной ночи» передается словами: «Аллах послал на него охоту к соитию».

Так же как Высоцкий, он был несколько раз женат и бывало, совсем как у Высоцкого, сердце его в одно и то же время было занято сразу несколькими любовными увлечениями. Помимо его официальных жен, можно было бы сказать о Ларисе С., Ларисе М., Нелли Д., Маше П., Оле К., Гале Т., Марине Г. и многих, многих других. Не станем распутывать запутанный клубок его отношений, знакомств, связей и уподобляться «Хронике Бычьего Глаза». Так называли собрание скандальных анекдотов из придворной жизни, по названию небольшого круглого окошечка в полутемной прихожей перед спальней французского короля. Скажем лишь, что не только оба любили женщин, но и женщины любили их: знаменитых, легко расстающихся с деньгами, внимательных и заботливых, особенно на первой стадии ухаживания.

Но все это только внешние штрихи незаурядных личностей, живших по невероятному, невозможному для простого смертного принципу: хо-

теть — значит мочь! Двух необыкновенных людей, рвущихся даже не из правил и предписаний того удивительного времени, а «из всех сухожилий» собственных, постоянно требующих новых ощущений душ.

«Чую с гибельным восторгом — пропадаю, пропадаю!» Это и о Мише, конечно. И о Мише. С гибельным восторгом!

И каждым днем сжигаемой ими дотла жизни можно было умолять — «чуть помедленнее! чуть помедленнее, кони!» — их кони никогда не смогли бы перейти на неторопливую иноходь. И не потому, что попались привередливые. Просто оба родились такими и никогда не смогли бы, держась старческой рукой за поводья, закончить дни, тихой поступью бредя к богадельне.

В английском языке существует выражение «he has a genius». Человек может быть гениальным в одной какой-то области, но иметь невыносимый характер, сомнительные политические пристрастия, ужасно относиться к женам и близким, пить горькую. Потомки прощают все, но современники, как правило, менее толерантны.

Высоцкому и Талю прощалось все. И дело было не в том, что об их образе жизни ходили только слухи, пусть и настойчивые. И не в том, что их слабости были очень близки и понятны каждому. Настоящее объяснение проще: их любили. Их обоих по-настоящему любили.

Замечательные остроловы Юрий Олеша, Михаил Светлов, Виктор Ардов, Никита Богословский, Фаина Раневская были очень разными людьми, но шутки их никогда не переходили опасной черты, разве что балансировали порой на грани дозволенного. Не будучи диссидентами, они просто жили в условиях, предоставленных им пространством и временем. То же самое может быть сказано и о Михаиле Тале. Но несмотря на все их различие, остроты этих людей в чем-то схожи: не зная, что и кем сказано, можно ошибиться в первоисточнике.

Никита Богословский был несколько дней без сознания. Очнувшись, он тут же спросил склонившуюся над ним жену: «Когда меня выпишут домой?» «О чем ты говоришь, Никита, ты четыре дня был без сознания...» Он немного помолчал и спросил: «Без классового»? Таль тоже говорил что-то похожее, или уж точно — мог сказать.

«Простите, вы не поэт Светлов?» — спросили однажды у Светлова. Михаил Аркадьевич: «Нет, я Вера Инбер».

«Вы очень похожи на Михаила Таля...» Михаил Нехемьевич: «Да, да, мне об этом уже говорили...»

Светловский ответ на вопрос — что такое «ерш»? — «Когда смешивают не бутылки, а собутыльников», перекликается с талевским: «Официант! — смените собеседника!»

Светловское — «от него удивительно пахнет президиумом» и талевское об одном гроссмейстере-трудяге: «когда я стою рядом с его партией, я чувствую запах пота».

«Знаете Миша, женщины меня больше не интересуют. Пора идти в монастырь». «Нестоятелем?»

«Миша, иди купаться! Вода — двадцать шесть градусов!» «Эх, еще бы четырнадцать, и ее можно было бы пить...»

«Тела давно минувших дней».

«Живой классик» — из чьей-то речи. И поправка — «Полуживой!»

Я не знаю, кто из двух Миш произнес это первым, но сказанное об Олеше: «Он поражал всех глубиной и остротой своего видения мира, своего мышления и в те минуты, когда нетрезвый шутил за ресторанным столиком, когда лежал на больничной кровати...» — слово в слово может быть повторено и о Светлове, и о Тале.

Он постоянно рифмовал, каламбурил, в его речь были вплетены неожиданные ассоциации, явные или скрытые цитаты и перевертыши. Порой создавалось впечатление, что Таль забавляется жизнью, что это все несерьезно. Не у всех была такая быстрая реакция, и нередко после произнесенного он выжидал некоторое время, пока смысл доходил до собеседника. И когда тот начинал смеяться, сам радостно кивал головой.

Функцию остроумия как косвенного пути, нечто вроде обхода с целью выйти из затруднения, Таль использовал довольно часто. Но его балагурство и остроты никоим образом не подходили под фрейдовское определение остроумия как отдушины для чувства враждебности, которое не может быть удовлетворено другим способом. Хотя над другой мыслью Фрейда — «шутка и вызываемое ей веселое настроение очень часто является заменой мышления» — можно призадуматься.

Будучи скорее устным, чем письменным, остроумие Таля было произвольным и совершенно не натужным, напоминая чем-то рефлекс. Его остроты, положенные на бумагу, теряют в интонации, игре голоса, мимике. Почти все они относились к данному случаю, к именно этой ситуации и меньше всего были глубокомысленными сентенциями, афористичными высказываниями. Полет бабочки-однодневки: вот она появилась, еще мгновение — и ее нет. Когда Таль был в ударе, в его речи, как в пряном тропическом лесу, порхали сотни таких

разноцветных бабочек. Уверен, что из острот и каламбуров его можно было бы составить целую книжку, но кто помнит их?

Пороюсь в закромах памяти. Попробую вспомнить его шутки, словечки, любимые выражения. Привычки.

До матча с Ботвинником Таль никогда не встречался с чемпионом мира. Да и виделся с ним только однажды – на Олимпиаде в Мюнхене в 1958 году. (История о том, как маленький Миша с шахматной доской под мышкой не был принят отдохавшим на Рижском взморье Ботвинником, конечно, выдумана журналистами.) Прогуливаясь между столиками, пока его соперник думал над ходом, Ботвинник спросил у Таля: «За что вы пожертвовали пешку?» И получил, по собственному выражению Миши, хулиганский ответ: «Она мне просто мешала». Он любил это словечко и нередко за анализом, предлагая какую-нибудь неясную жертву, добавлял: «А не похулиганить ли немножко?..»

Девятую партию матча на первенство мира 1960 года Таль проиграл после рискованной жертвы коня в дебюте. Когда во время анализа Миша сыпал вариантами, Ботвинник сидел молча и слушал. Улучив момент, он вынес жесткий вердикт: «Мне эта жертва тоже показалась опасной, но потом я понял: надо разменять ладьи, а ферзей сохранить».

Последние слова этой фразы стали одной из талевских присказок, и нередко, говоря о чьей-нибудь безапелляционности, он резюмировал: «Все ясно – ладьи разменять, а ферзей оставить...»

«Пижон – голубая вода!» – тоже одно из любимых выражений, равно как и «я его амнистировал», «он меня амнистировал» – об упущенном выигрыше.

Сплевывал символическим плевком в сторону, когда зевал пешку в блице: «Ничего, оботремся...»

Играя блиц и жертвуя фигуру в надежде создать атаку на короля, приговаривал: «Это вам – романтики», – слова из популярной тогда лирической песни. Нередко заменял последнее словцо: «это вам – распутники», или – «это вам – непьющие», «это вам – калигулы», «это вам – начетчики». Или любым другим, пришедшим в голову.

В анализе же, подводя фигуру к месту боя, замечал: «Так, по идее...» – выражение, бывшее тогда в моде. Или жертвуя материал: «Сами девочки знают, чем заманивает!»

«Ну-ка, ну-ка, ну-ка» или «стоп-стоп-стоп», – возбуждался во время анализа, и впиваясь взором в доску, начинал шарить рукой в поисках сигареты.

«А ничего, со-о-бража-ает», — тянул, переигрывая партию (обычно молодого шахматиста). И это сказанное врасстяжку «со-о-бража-ает» было комплиментом и немалым.

Нередко повторял фразу «маразм крепчал», причем не всегда по поводу событий на шахматной доске.

Когда мне попадает на глаза модное сегодня слово «подпиток», я всегда улыбаюсь и думаю, что сделал бы из него Миша.

Иногда за анализом напевал: «Наша дружба, ох, с Румынией крепка! Если нужно, и туда введем войска» — Это, понятно, только в своем кругу.

«А так играть что, уже запрещено?», — задавал символический вопрос, оппонируя коллеге и делая ход, кажущийся ему очевидным.

Когда видел отступление фигур на последнюю горизонталь: коня на g8, слона на f8 и т.д., комментировал: «Готовя фигуры для следующей партии...»

Иногда за анализом говорил фразу, о происхождении которой я все забывал спросить его: «Кто был удивлен, так это кролики». И только совсем недавно снова услышал его голос и знакомые интонации, обнаружив кроликов в «Письмах с мельницы» Додэ. Запали ли удивившиеся кролики ему в память после прочтения книги французского писателя или фраза просто входила в безбрежный репертуар шахматного фольклора того времени?..

В журнале «Шахс» («Шахматы»), издававшемся в Латвии и выходявшем по-русски и по-латышски, Айвар Гипслис злоупотреблял словом «эвентуальный». Редкая статья гроссмейстера или комментарии к партии обходились без этого слова. За анализом, предлагая какой-нибудь ход, несущий в себе очевидную угрозу, Миша нередко пояснял: «С эвентуальным намерением побить на d5, как написал бы Айвар...»

В чемпионате Советского Союза 1977 года в партии с Дорфманом Талю удалось развить опасную инициативу, но львовский гроссмейстер защищался единственными ходами и свел партию к ничьей. Когда соперники спускались со сцены, Дорфман стал жаловаться: «Не везет мне в этом турнире: столько лучших позиций не выиграл, а вчера с Геллером согласился на ничью в практически выигрышном положении...»

«Но сегодня у вас, мне кажется, не было выиграно...» — робко заметил Таль.

На финише Олимпиады в Валетте в 1980 году жаловался, что команде Советского Союза выпало играть с кем-то из грандов, в то время

как конкурировавшей с советскими шахматистами Венгрии досталась «вынырнувшая из низов» Шотландия. Утешал его: «Может, и вам в следующем туре достанется Шотландия...»

Назавтра, когда мы оба были свободны от игры, подошел ко мне в турнирном зале: «Посмотри с кем играет Шотландия. — И, тихонько пропев: «Она уже в Иране, мы снова говорим на разных языках...», — засеменял к доскам своей команды. Проиграв в предыдущем туре с большим счетом, шотландцы встречались с какой-то командой из пятого десятка.

В той Олимпиаде дебютировал семнадцатилетний Гарри Каспаров. «Он играет уже так хорошо», — заметил Таль, — что теперь может спокойно выступать под своей прежней фамилией».

Любил импровизировать, вспоминая людей и обстоятельства собственной жизни, в которой всегда что-нибудь да случилось. Замечательно изображал в лицах сомнения банковской служащей в 1988 году в Канаде: надо ли окешивать чеки на пятьдесят и двадцать тысяч долларов ему и Ваганяну после выигрыша чемпионата мира по блицу и не хватит ли с них пятисот и двухсот долларов соответственно...

Однажды, после лекции, отвечая на вопрос, почему комбинации не всегда удаются, вздохнул: «От всех жена ушла...» Сатира в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» была темой его дипломной работы, и неудивительно, что Миша нередко цитировал героев книги.

Не помню, чтобы он рассказывал какой-нибудь анекдот «по случаю», хотя знал их великое множество. И никогда не прерывал рассказчика — ты не так рассказываешь, — цепляясь к слову или предлагая «лучший» вариант. Сам же заемному юмору предпочитал импровизацию: мгновенная реакция, острый укол шпаги были его излюбленными приемами.

Брюссель. 1987 год. Один из турниров Кубка мира. Поздним летним вечером затянувшегося застолья Бессел Кок, не помню уж по какому случаю, спросил Таля: «Tell me Misha, is it true, that oral love is forbidden in the Soviet Union?» Не успел Кок закончить вопроса, как Миша в тон ему ответил: «No, Bessel. It is not forbidden. It is just not recommended!».

Он не только сам острил, но ценил юмор других, радовался хорошей шутке, удачному каламбуру. Москва, лето 1968 года. Матч Корчной — Таль. Через два часа очередная партия. Ресторан. За столиком Таль, Кобленц и я. Подходит официант. Кобленц: «Ты что-нибудь выбрал, Миша?» «Не-а. Ничего не хочется, Маэстро, жарко...» «Ну, закажи хотя бы ботвинью».

Я: «Моисеевну». Кивок. Блеск его взгляда, улыбка. Это он сам, он сам мог бы так сказать. Ну, пусть будет ботвинья... И снова уходит в свой мир, тяня какую-то мелодию.

В январе 1973 года я впервые увидел Таля вне России. В голландском Вейк-ан-Зее он услышал, когда я говорил, вернее, пытался говорить с кем-то по-голландски. В этом непростом языке нет буквы «г», зато есть часто употребляемая «х»: Худ — хорошо. Хуе морхен — доброе утро и т.д.

«Нет ничего удивительного, что ты так быстро овладел голландским, — тут же заметил Миша. — Ты прекрасно говорил на нем, когда еще жил в Союзе...»

На турнире в голландском Вейк-ан-Зее перелистывал, хмыкая «Неподцензурную русскую частушку» — изданное на Западе собрание рифмованных неприличных четверостиший. Вдруг засмеялся: «Какая прелесть!» Эту фразу он тоже очень любил и повторял нередко — «какая прелесть!».

«Что, Миша, что?»

«Вот послушай, это из предисловия. Составители оказались люди сурьезные: “Третий тип частушки, довольно близкий ко второму, повествует о бедности колхозной жизни и вообще о непродуктивности колхозного труда. Сюда же примыкают частушки о плохой пище и ее катастрофическом воздействии на гениталии”. Или вот: “Четвертый тип, также затрагивающий колхозную жизнь, объединяется вокруг важной категории твердых экскрементов”».

И заливаясь смехом, повторял: «Нет, какая прелесть, это пожалуй получше самих частушек будет... Исследователи, бля...» Но ругаться не любил, иногда только шепотом или чаще движениями губ воспроизводил непечатные слова. Однажды, сделав неловкое движение и упав со стула, Миша сказал: «Ой!» Только «ой», что было отмечено всеми присутствующими. Впрочем, от ругани других его не коробило, и он спокойно сносил мои тирады по тому или иному поводу.

Читая «Москва-Петушки» Венички Ерофеева, смеялся над рецептами и названиями коктейлей: «Ханаанский бальзам», «Слеза комсомолки», «Сучий потрох», комментируя совет автора — больше пейте, меньше закусывайте: «Сами знаем!»

Он мог быть в жизни разным. Далеко не всегда Таль пребывал в шутовском настроении и только ждал, чтобы отпустить очередную остроту. Мог уйти в себя, стать серьезным, задумчивым. Но когда ему не хотелось принимать решения с далеко идущими последствиями или

заниматься проблемами, к которым не лежала душа, он спасался в первой подвернувшейся остроте, не отягощая ни себя, ни собеседника ненужными переживаниями.

Вспоминая время, проведенное с ним вместе в Советском Союзе, и встречи на разных материках и в разных странах, понимаю, чего не знал тогда: в остроумии, как и в питье, надо вовремя остановиться. В обоих случаях Миша часто не знал меры.

Восстанавливая его привычки, словечки, остроты, пытаюсь нарисовать образ человека, непохожего на других, на нас с вами. Никогда при этом не забывая, что самым главным, что отличало его от застольных балагуров, быстрых и острых на слово кэвээнщиков и юмористов, изливавшихся на двенадцатой странице «Литературной газеты», была его страсть к творчеству, к самовыражению. Его шахматный гений.

У него была очевидная склонность к литературе. Жаль, что Таль не успел сказать о шахматах и о людях шахмат без оглядки на очевидные ограничения, с которыми должен был считаться, надиктовывая свои статьи. Удалось ли бы ему сделать это без постоянного контроля мысли? Не знаю, ведь внешняя цензура порождает внутреннюю, и процесс этот может оказаться необратимым.

Сказал однажды, что если бы не шахматы, выбрал бы, наверное, профессию режиссера. Каким режиссером стал бы Таль? Одно время в Англии было распространено мнение, что Ньютон и Локк были бы такими же великими поэтами, как Гомер или Мильтон, если бы с ранних лет посвятили себя поэзии. Что было бы, если бы рыжий веснушчатый Ося Бродский забрел в юности в шахматную секцию ленинградского Дворца Пионеров на Фонтанке, а мальчик из Риги с пронзительным взглядом предпочел бы поэзию? Не знаю. Энергия и огромное честолюбие, конечно, великие двигатели, но скорее всего, мы потеряли бы двух гигантов — поэзии и шахмат.

Когда он диктовал прямо в газетный номер, я видел, что порой, начиная фразу, он не знал точно, как она закончится, но всякий раз интуиция и талант вели его к счастливому концу. Точно так же как в лучшие годы гений вел его верным путем по шахматной доске.

Не помню его наносящим что-нибудь на бумагу: ничего пишущего у него при себе обычно не было; играя с ним в одних турнирах, я не раз видел, как перед началом тура он подходил к судейскому столу и брал первую попавшуюся ручку.

Когда Спасский готовился к матчу с Фишером, ведущих гроссмейстеров Советского Союза обязали высказать свою точку зрения об американце, отметить сильные и слабые стороны претендента. Запросы Спорткомитета носили, как и многое в Советском Союзе, секретный характер и предназначались для внутреннего пользования. Свое мнение по этому поводу высказали Смыслов, Петросян, Керес, Корчной. Прислал свои соображения и Таль.

Его послание выдержано в тоне мягкой иронии – взять хотя бы заголовок: «Уважаемое товарищи руководство». Заканчивая свой опус, Таль написал: «Прошу извинить за несовершенство стиля. Ведь этот “труд” не будет опубликован, разве что через X+1 лет в антологии, посвященной моему творчеству».

Антологии, посвященной моему творчеству? Нельзя сказать, что ему совсем было наплевать, что скажут о нем потомки, но он никогда не занимался тем, что называется «ретуширование собственной биографии». Читал однажды попавшийся на глаза и написанный о нем загодя некролог. Хмыкал иронически: «Теперь я знаю, кто я и что совершал. Может, поставить на нем визу: Верно. М.Таль»?

В то время на турнирах и сборах большой популярностью пользовались всевозможные карточные игры: преферанс, белот. Были и любители бриджа. Не помню Мишу за длительными карточными посиделками: у него не было терпения к этому. Но обожал разнообразные короткие игры на реакцию, сообразительность. Решение кроссвордов, головоломок. Любил игру, о которой я впервые услышал от него: из четырех цифр номера идущей впереди машины сделать двадцать одно очко (используя каждую цифру только один раз). Мне было трудно проверить, но в сложных ситуациях он с триумфальным видом оперировал корнями, дифференциалами и интегралами.

Если кто-нибудь звонил по телефону, в его рижской квартире начинали дребезжать все аппараты. По продолжительности дребезжания старался определить номер, набираемый из соседней комнаты кем-нибудь из домашних. Телефонные номера запоминал при помощи музыкальной секвенции: до-си-ре...

Его не надо было дважды просить спеть. В брюссельском баре «Селект» с чувством исполнял песни из репертуара Луи Армстронга. Однажды участниками турнира «Интерполис» был устроен импровизированный конкурс певцов. Конечно, с «профессионалом» Портишем тягаться было трудно, но первенство было единогласно отдано Мише, проникновенно исполнившему: «It's long way to Tipperary».

Несмотря на физический недостаток — на правой руке его было только три пальца — играл на фортепиано и неплохо. Чайковский, Рахманинов, Шопен были его любимыми композиторами. Салли Ландау вспоминает, что в вечер их знакомства Миша играл этюды Шопена.

За несколько месяцев до своего первого матча с Ботвинником Таль спросил у известной пианистки Беллы Давидович, есть ли у нее в репертуаре «Элегия» Рахманинова. Узнав, что нет, попросил: «Обещайте, что после моей победы над Ботвинником вы будете играть эту вещь на заключительном концерте». Тогда в Советском Союзе был обычай после официальной церемонии открытия или закрытия шахматных соревнований устраивать большие сборные концерты. Вечером после 17-й партии, когда счет в матче стал 10:7 в пользу Таля, в квартире Давидович раздался телефонный звонок: «Можете начать разучивать “Элегию”». До сих пор Белла Давидович, играя «Элегию» Рахманинова, всегда вспоминает Мишу Таля и тот вечер в Пушкинском театре, когда она играла ее впервые.

Миша курил всегда очень много, обычно две-три пачки сигарет в день (предпочитая «Кент»), но когда играл, к ним приплюсовывались еще две. Часа за полтора-два до партии что-то ел, но больше для проформы, говорил уже мало, уходил в свой мир. Обожал, разумеется, всё что было ему нельзя: острое, соленое, перченое.

Гулять не любил: в 1985 году в мексиканском Таско сидел часами со своей ром-колой на террасе гостиницы, никогда не спускаясь к бассейну, не говоря уже о прогулках по замечательному городку. Или читал книги в своем номере да слушал привезенные мною из Нью-Йорка кассеты с записями песен входящего в моду Вилли Токарева, певшего в русских ресторанах на Брайтон Бич в Бруклине.

Двумя годами позже на межзональном турнире в югославской Суботице ни Багирову, ни мне за все время трехнедельного пребывания ни разу не удалось вытянуть его на прогулку к озеру. Окончательное фиаско мы потерпели в последний выходной на турнире, когда Багиров, исчерпав все аргументы, начал что-то говорить о полезности для здоровья замечательных серных источников, находящихся совсем рядом. «Ах серные! Мне это еще предстоит!» — воскликнул Миша, и мы вынуждены были отступить.

В маленьком голландском Ойстервейке, где жили участники турнира «Интерполис», иногда удавалось вытянуть его на прогулку, если

можно было назвать прогулкой пару сот метров, отделявших гостиницу от загона для животных, расположенного прямо у дороги. Приученные к лакомствам косули, завидя нас, выходили навстречу и вытягивали мордочки сквозь прутья ограды. «Ну что вы, милые, у меня у самого ничего нет, я же из Советского Союза», — разводил руками Миша. Постояв несколько минут у заграждения, смотрел вопросительно: «Ну что, по домам? Погуляли достаточно?»

Записывал ход краткой нотацией, всегда перед тем как его сделать. В редких случаях, когда соперник попадался уж слишком любопытный, закрывал записанный ход ручкой. Если ход не нравился, зачеркивал и писал новый. В последние годы, увы, всё чаще говорил: «Я даже записал на бланке выигрывающий ход, но перечеркнул в последний момент».

Было бы неверно сказать о нем: «My only books were women's looks», но то, что он предпочитал женское общество, веселую обстановку, теплую ткань жизни — факт.

«Телевизор в нашем доме практически не выключался, — вспоминает его жена Геля. — Мы выписывали практически все издания, которые выходили в СССР. Когда он приезжал, перечитывал их от корки до корки». Что здесь сказать. Телевизор советского времени, не выключающийся целый день. Периодика того времени, прочитываемая от корки до корки... Не следует, однако, думать, что он тратил на газетную макулатуру долгие дни и недели. Скорость его чтения поражала, и я не раз видел, как толстенная книга была закончена им буквально в день-два.

В январе 73-го во время турнира в Вейк-ан-Зее остались перед выходным ночевать в Гааге у друзей. «Нет, ты только послушай, Мишель, что писал старик в 18-м году, тем более ты на Горького живешь, будешь вспоминать, домой идучи». Была уже глубокая ночь, но я начал читать вслух из «Несвоевременных мыслей» Горького особенно резкие антибольшевистские места, совсем не похожие на «Песню о Буревестнике», которую все тогда учили в школе. Через пару минут повисла тишина, и я скорее почувствовал, чем увидел отсутствие реакции: сигарета в его руке потухла, и Миша тихо спал, положив голову на валик дивана...

Находясь уже в западном сегменте жизни, я знал, что отправляясь куда-нибудь на турнир, надо взять с собой побольше книг, запрещенных тогда в СССР. На Олимпиаде в Ницце (1974) дал ему вечером только что вышедший «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и свежий номер русской эмигрантской газеты. Наутро, возвращая мне всё, ска-

зал: «Вот в кроссворде в газете не мог найти одного слова». — «Ну а книга-то, книга?» — «Очень уж зло пишет Солженицын».

В Гааге смотрели только что вышедшего на экраны «Крестного отца». Хотя Миша страдал от невозможности курить и с трудом дождался паузы, смотрел на экран с большим удовольствием. Ему вообще нравились остросюжетные фильмы, фабульные книги. Миша читал для развлечения. Даже не для информации, что делают многие, или для получения знаний, а именно для развлечения. В то, что мозг не схватывал мгновенно, вгрызаться не хотел, резонно полагая, что книга должна приносить удовольствие, а не быть истязанием, и бежал глазами дальше.

Никаких книг он, разумеется, не собирал, как вообще ничего в жизни не собирал и не копил. Сколько бесполезного чтения, сколько обременительных знаний. К чему этот громоздкий багаж, когда путешествие так недолго?

Однажды в Тилбурге попросил, как всегда, что-нибудь почитать. Зная о его пристрастиях, дал ему книгу Джона Баррона «КГБ — работа советских секретных агентов», только недавно переведенную на русский.

Самая длинная глава книги посвящена Ларисе Соболевской. Красивая элегантная блондинка, бывшая актриса (и шахматистка первого разряда), не выпускавшая из рук сигарету и совсем не воздерживавшаяся от спиртного, Лариса Соболевская была несколько лет мишиной подругой.

Она играла одну из главных ролей в грандиозной провокации КГБ, целью которой являлся шантаж посла Франции в Советском Союзе. КГБ создал для Соболевской легенду, согласно которой она была замужем за геологом, большую часть года проводящим в Сибири. Актриса справилась с заданием превосходно, стала подругой посла, который «случайно» был обнаружен ночью ее «мужем», тоже, разумеется, сотрудником госбезопасности в «собственной квартире», после чего посол подвергся давлению и шантажу.

Через два дня, возвращая прочитанную книгу и осведомившись: «Что-нибудь еще найдется?», Миша никак не прокомментировал содержание, как будто кто-то другой провел несколько лет вместе с одной из главных героинь повествования. Признаем, впрочем, что в их совместный московский период, Таль не был суров и по отношению к другим поклонницам своего таланта.

«Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то о нем должен заботиться, ведать его дела и выру-

чать из затруднительных положений», — писал Мандельштам о Франсуа Виньоне. Но и с самим Мандельштамом тоже всегда был кто-то рядом: когда друзья и почитатели, всегда — жена. Постоянно думавшие о нем, жившие его проблемами.

«Все порядочные люди радостно служат ей — моют, топят, стряпают, воду носят, дарят папиросы, спички, дрова...» — писала в ташкентской эвакуации Лидия Чуковская об Анне Ахматовой. Звонки в любое время дня и ночи с просьбами немедленного посещения или просто с просьбами раздаются в каждом томе ее воспоминаний. И не было случая, когда бы Чуковская, порой сквозь обиду и слезы, отказала бы поэтессе, принимавшей все как должное и восхищавшейся пушкинской строкой: «Чужие люди за него зверей и рыб ловили в сети...»

В 1920 году в холодном Петрограде Мандельштам, выскочив в коридор, начинал стучать во все двери: «Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник! Помогите!» Миша не стал бы кричать и просить, он просто забился бы в угол и стал ждать, когда кто-нибудь сделает, чтобы в комнате было тепло.

Иосиф Бродский писал: «Сколько бессмыслицы приходится делать всю жизнь: платить налоги, подсчитывать какие-то цифры, писать рекомендации, пылесосить квартиру...» Всего этого Таль и не делал. За него это делали другие.

«И то, что он мучит близких, а нежность дарует стихам...» Заменяя «стихи» «шахматами», то же самое могло быть сказано о Михаиле Тале.

Жены и подруги Таля свидетельствуют: пребывание рядом с ним было тяжелой работой — без праздников и выходных. Ежедневным, ежечасным подвигом. Миша требовал безоговорочного присягания себе, нахождения рядом с ним в любое время дня и ночи.

«Если ему хочется есть, значит и я должна умирать с голоду, таскаться с ним по Риге. Если он дает сеанс детям, я непременно должна там присутствовать. Если...» — вспоминает Салли Ландау.

Он полностью брал человека в плен, подчинял себе, оставаясь при этом милым и по-своему участливым. Так было в 1969 году, когда он переселился во время чемпионата страны из гостиницы к супругам П. Для деликатных П., боготворивших Мишу, это стало настоящим бедствием: превратившись в безвинных и добровольных жертв его, они должны были полностью перестроить свой образ жизни под Таля, не говоря уже о постоянных вызовах «Скорой помощи».

Альберт Капенгут вспоминает: «Когда нужно было сообщить что-нибудь хорошее, приятное, Таль делал это сам. В противных случаях Миша перекладывал это на плечи Гели или кого-либо другого».

Леонид Шамкович был секундантом Таля в 1965 году на матче со Спасским в Тбилиси. Он вспоминал, как Лариса Соболевская нежно ухаживала за ним, причесывала по утрам, кормила с ложечки и т.д. Я наблюдал сцены такого же рода, когда Миша был и с Ларисой Маляренко. Она тоже должна была все время находиться рядом с ним.

Что ж удивительного, что перед матчем с Ботвинником, когда Кобленц предложил Болеславскому стать тренером Таля, тот отказался наотрез: «Талю не нужен тренер. Ему нужна нянька».

Алексей Суэтин: «Он никогда не просил о помощи, но обычно мало интересовался делами других, пропускал мимо ушей сетования на несправедливость даже со стороны тех, кого считал другом. Что говорить, как и все обласканные судьбой, он был подвержен эгоцентризму».

Подобные высказывания слышал я и от Кобленца, который души не чаял в Тале и любил Мишу как сына. Нельзя сказать, что он относился к типу людей, спрашивающих о делах и принимающих любой ответ, потому что не слышат, что им отвечают; но по большому счету Таль был равнодушен к людям: кто пальцем не шевельнет для себя самого, тем более не сделает ничего ради других.

Все это – прописные истины для вращавшихся когда-либо в орбите таких звезд. Только ясное понимание, с кем тебя свела судьба, заставляет добровольно сносить многое, против чего неминуемо восстал бы при контактах с любым другим. Каждодневная жизнь с гением неизмеримо труднее, чем жизнь с обыкновенным человеком. Ведь гений, как и каждый, может быть заикленным на себе, невнимательным, капризным, мнительным или раздражительным. Очень редко женщина может оценить выдающегося человека именно за то, в чем он является выдающимся. Почти всегда на первом плане оказывается другое: известность, поклонение толпы, материальный достаток или другие качества, к гениальности не имеющие никакого отношения. И только после смерти, когда начинают греметь литавры, покрываются дымкой и растворяются обиды, отходит куда-то далеко, что знали и переживали только они и что стало теперь таким маловажным, незначительным. И кажется, что время, проведенное с этим человеком, и было настоящей жизнью, а теперь остается только вспоминать и комментировать для других счастливые годы прошлого.

После официального закрытия чемпионата СССР в 1970 году был прием в Спорткомитете Латвии. Таля не пустили в этот, проводившийся в его Риге турнир, и идти на прием ему очень не хотелось. Но отказаться было неудобно, да и неизвестно, какую реакцию это могло вызвать у начальства, и без того имевшего на него зуб.

За длинным столом, уставленным бутылками и незатейливой снедью, сидели официальные лица, гроссмейстеры и мастера, судьи. Длинные, скучные речи. Обычный елочный набор: большой успех, вклад латвийских шахматистов, дальнейшее повышение мастерства, особенно в свете грядущего съезда партии.

Миша тоже должен был выступить, и я, сидя прямо напротив, украдкой наблюдал за ним и почти чувствовал как металась его мысль: о чем сказать? Назвали его имя, повисла ожидающая тишина. Миша встал, но не пошел к трибуне, как делали предыдущие ораторы, а остался за столом.

«Это не первый чемпионат страны, на котором я присутствую», — и паузу здесь выдержал, если кому-нибудь непонятно было это «присутствую». — И всегда, на всех первенствах СССР у кормила их стоял человек, принципиальность, доброжелательность и честность которого являлись гарантией, что турнир пройдет спортивно и бесконфликтно. Этот человек — Борис Федорович Баранов». И подняв рюмку, сделал легкий реверанс в сторону совершенно опешившего соседа, сотрудника журнала «Шахматы в СССР»: «Твое здоровье, Борис!» Раздалось несколько жидких недоумевающих хлопков, но рюмки подняли все.

Миша и на прием пришел, и выступил, сделав, что от него требовали, и ничего не сказал. Так он поступал нередко. У него не было желания никому и ничего доказывать, он только хотел, чтобы спор закончился, проблема отодвинулась, от него отвязались. Как и многие мягкие люди, он хотел ладить со всеми. Под этим крылось: жажда спокойствия, желание, чтобы его оставили в покое, чтобы можно было играть в шахматы и делать то, что ему нравится.

На его имя приходило немало корреспонденции, но он жил по известной формуле: «письма сами на себя отвечают». У него было собственное представление о понятиях «ровно в девять» или «немедленно». Время в общепринятом смысле для него не существовало; то время, с которым он вынужден был считаться, отсчитывали только стрелки шахматных часов. Обычных он не носил никогда:

вот еще — тикает что-то на руке! Помню не один упущенный поезд, а к дням его молодости относится попытка догнать самолет на такси (пользуясь трехчасовой промежуточной посадкой), завершившаяся, по словам очевидцев, полным успехом.

Моя фамилия редкая, и я всегда полагал, что однофамильцев у меня нет. Четверть века назад еще в догуглевское время я вышел на какую-то поисковую программу, и выстукав фамилию Sosonko, наткнулся на целую гирлянду однофамильцев, а в нью-йоркском Бруклине жил даже полный. Под впечатлением неожиданной находки я тут же связался с Геннадием Сосонко.

«Как? — удивился тезка, оказавшийся любителем шахмат. — Разве вы не получали приветов от меня? Я несколько раз, разыскав Таля и зная, что он едет на заграничный турнир, передавал с ним послания...»

Речь шла, понятно, о времени, когда Геннадий Сосонко еще жил в Советском Союзе. Таль никогда мне ничего не передавал и, разумеется, не по злему умыслу, а просто по безалаберности, забывчивости. Думаю, что письма все время лежали у него в чемодане, и близкие обнаруживали их по возвращении Миши домой, если, конечно, послания моего двойного тезки он брал с собой.

Однажды после возвращения Таля с турнира жена открыла чемодан и обнаружила, что вещи в нем аккуратно уложены. Решив, что здесь не обошлось без заботливой женской руки, она начала допрашивать мужа. Смутившись, Миша признался, что заботливая женская рука принадлежит ей самой: он просто не воспользовался большинством вещей.

Он был чужим в мире предметов и терялся, когда нужно было сделать обычные житейские дела: купить одежду, побриться, зажечь газ, вскипятить стакан чая, приготовить пищу... Его производившая трогательное впечатление неумелость была сродни детской и вызывала желание помочь этому большому ребенку.

Когда Таль стал чемпионом мира, ему подарили «Волгу» — лучшую советскую машину того времени. Но он отдал ее брату. К любой технике относился совершенно равнодушно и, разумеется, у него в мыслях не было учиться вождению. Только в последний период жизни у него появилась электробритва, и следы ее вмешательства можно было заметить там и сям на его лице. В мое же время процедуру бритья его подвергал кто-нибудь из домашних, чаще же, как и всегда вне дома, он отправлялся в парикмахерскую. Галстуков не любил и носил только,

если к тому принуждали обстоятельства. Надо ли говорить, что завязывать их он так и не научился.

Известно, что лучший способ из легкой работы сделать трудную прост: все время откладывать ее. Миша владел этим искусством превосходно — имеются в виду походы в Спорткомитет, необходимые телефонные звонки, заполнение анкет и посылка их в Москву, неприятные разговоры и множество других такого же рода вещей, которыми наполнена повседневная жизнь. Он считал, что все само собой как-нибудь образуется, сделается, напишется, устроится. А если это не произойдет, работу сделает в конце концов кто-нибудь другой. Помимо жен или подруг, в его распоряжении всегда были адъютанты, с радостью готовые выполнить то или иное его поручение, и он с облегчением предоставлял им эту почетную обязанность.

Виктор Корчной полагает, что все неприятности у Таля начались с той злополучной ночи 1966 года в баре Гаваны, где они оказались без разрешения начальства и где Таль получил удар бутылкой по голове. «Этой ночи власти ему так никогда и не простили. — говорит Корчной. — Через несколько лет он стал хронически невыездным. Особенно плохо ему стало, когда вышла секретная инструкция: женатым в третий раз — строжайшая проверка».

В 1978 году выезд Талю был закрыт наглухо. Он был приговорен к гастролям по Сибири, турнирам внутри страны, образу жизни, отличному от того, который он вел последние двадцать лет. Способ борьбы с этим известен: отступление в себя, в свободу мышления. Способ этот старинный, к нему прибегали во все времена. Уходили во внутреннюю жизнь и многие в Советском Союзе, но путь этот оказался неприемлем для Таля. И дело было не только в том, что он привык к зарубежным поездкам с юных лет. Думаю, ему было просто тесно и одиноко внутри себя, и лишение выезда за границу повергло его в состояние глубокого дискомфорта.

Главный редактор «64» Яков Исаевич Нейштадт, к которому Таль обратился за советом, вспоминает: «Мы долго ходили взад-вперед по коридорам Клуба на Гоголевском и говорили, говорили... Посоветовал ему: “Пойди к Ивонину*, скажи тому прямо — я сейчас не имею возможности играть в международных турнирах. Без этого я не могу

* Виктор Андреевич Ивонин — заместитель председателя Спорткомитета, курировавший шахматы.

существовать ни в каком смысле. Это моя работа, моя жизнь. Если этот запрет не будет снят, я вынужден буду эмигрировать. Запишись к нему на прием и так прямо скажи. Ивонин — тот еще фрукт, конечно, но понимает, если ты в самом деле уедешь, ему может попасть, что не среагировал своевременно...» «Да, да, — отвечал Миша, — все так, я подумаю. Наверное, это следует сделать...» А через пару недель мне сообщили, что передавать корреспонденции в «64» из Багио будет Таль. Так он пошел отрабатывать барщину у Карпова».

И на матче в Багио в 1978, и в Мерано три года спустя, официально он был корреспондентом «64», хотя и сам не отрицал, что консультирует чемпиона мира. Американский гроссмейстер Роберт Бирн, улыбаясь, спросил у него в Багио, как происходит этот консультационный процесс. Таль отвечал, что Карпов расставляет на доске отложенную позицию и спрашивает: «Как ты думаешь, у кого лучше»? Но было видно, что вопрос американца был ему неприятен.

В 1981 году в Мерано на матче Карпова с Корчным он был в том же качестве, и мы встречались несколько раз. Происходило это на значительном расстоянии от гостиницы, где жила советская делегация: никогда нельзя было знать, как посмотрят руководители делегации, увидев Таля вместе с эмигрантом.

Стояла удивительно солнечная осень, и мы долго сидели на веранде кафе, он со своей ром-колой, я с белым вином. Повсюду лежали желто-зеленые листья, вдоль быстрой речки гуляли беззаботные тирольцы, и мы повторили заказ еще раз.

«Ну что Виктор, у нас тоже всякое бывает, но Виктор-то, Виктор... — говорил Миша, ссылаясь на какие-то эскапады Корчного. — И вообще, наша компания поинтереснее...» Он говорил «Виктор», он говорил «наша компания», но казалось, он не то что симпатизирует Корчному, но смотрит с удивлением и даже восхищением на этот яростный, не признающий компромиссов бунт одиночки. В словах Таля чувствовалась какая-то оскомина, надрыв: от ситуации, в которой он оказался, от роли, которую должен играть.

Три года спустя, когда соперником Карпова стал молодой Каспаров, Таль отказался помогать чемпиону мира, отшутившись: «Родина теперь вне опасности...» Вспоминая десять лет спустя перипетии матчей Карпов — Корчной, иронизировал: «Мы не могли себе представить последствия, если чемпионом стал бы не советский, а антисоветский шахматист. Не исключено, что шахматы в этом случае были бы объявлены лженаукой и запрещены в Советском Союзе».

Объяснял свою роль в тех матчах: «Отказаться мне не позволили обстоятельства, которые часто становятся сильнее человеческой логики...» Трудно комментировать эти слова. Чтобы делать это, следует быть знакомым и с обстоятельствами, и с логикой, сильнее которых они оказались. И вернуться в то затхлое советское время, которое, казалось, будет длиться вечно.

В любом обществе человек, чтобы жизнь стала возможной, вынужден заключать необходимое количество конвенций с самим собой. Но число конвенций, к которым надо было прибегать в советское время, превосходило, пожалуй, какое-либо общество вообще. Заключая компромиссы с режимом, Таль воспринимал это как норму, подчиняясь законам того строя. Он признавал, как и подавляющее большинство, что этот строй будет существовать всегда, по крайней мере, в течение отпущенной тебе жизни.

В сорок два года начался второй всплеск его карьеры. Уйдя из мира грез, воздушных замков и сказочных комбинаций, он вернулся к реальности. Нельзя сказать, что он стал походить на флоберовский персонаж, который, приобретя часы, потерял воображение, но в нем стало реже встречаться то, что сделало Таля чемпионом мира. Стиль его, став универсальным, мало напоминал стиль Таля 50-х, 60-х годов

Изменились и методы подготовки. Альберт Капенгут вспоминает, как в те, еще докомпьютерные времена, Таль, готовясь к партии, включался как современный компьютер. Капенгут: «Чемпионат СССР 1979 года в Минске. Идет подготовка к партии с Геллером. У Миши белые. Он скороговоркой перечисляет партии последнего периода, где Геллер сталкивался с трудностями. Происходит отбор, остаются четыре-пять партий. Затем идет перебор вариантов, заслуживающих внимания. Полная копия компьютера. Наконец остаются две-три точки соприкосновения, и мы приступаем к непосредственной работе за доской».

Молодец из сказки совершенно не имел чувства страха, пока жена не окатила его ледяной водой, когда он утром нежился в кровати. Нельзя сказать, что Таль приобрел чувство страха, но ледяной водой оказалось для него длительное содружество с Карповым. На смену дерзкому оптимизму пришли профессионализм и практицизм. Его ходы стали более рассудочны, прогнозируемы, мастерство заменило вдохновение и напор.

Зачастую это несет в себе опасность: перестаешь испытывать удовольствие от игры. Но Талю это не грозило: став знатоком, он остался

дилетантом в прямом смысле слова «дилетто» — удовольствие. И получал удовольствие от шахмат до самого конца, даже когда приблизился к состоянию, при котором не получаешь удовольствие почти уже ни от чего.

Объясняя свое превращение, Таль говорил: «Понимание шахмат осталось прежним, любовь к ним тоже. И ветеран начинает менять стиль. Это происходит постепенно и не всегда осознанно. Часто срабатывает инстинкт самосохранения. Если раньше шахматист мог предпочесть лучшему эндшпилю головокружительную атаку, то теперь он на расчет вариантов часто и времени тратить не станет — скорее в эндшпиль! Там он вооружен знаниями, которых нет у более молодого соперника. Куда меньше надо считать, и куда больше знать. Опыт подскажет, куда ставить фигуры, к какой позиции стремиться... Молодые шахматисты, скажем мягко, не умеют думать столь абстрактными категориями. Они ведут за доской огромную счетную работу. Зачастую лишнюю».

Как он в действительности смотрел на себя самого, побеждавшего всех на пути к Ботвиннику, а потом сокрушившего и того? Когда я несколько раз заводил с ним речь о партиях молодости, он говорил о них, будто они сыграны вчера. Таль помнил все до тонкостей, до мельчайших подробностей. Так Наполеон на острове Елены без запинки перечислял расположение полков и батарей при Экмюльском маневре, который считал своим лучшим.

В глубокой старости попался на глаза Микеланджело рисунок, сделанный им в пятнадцатилетнем возрасте; он узнал его и долго с удовольствием рассматривал. «Я больше понимал в этом искусстве, когда был мальчиком, чем теперь, когда стал стариком», — сказал он.

В последний год своей жизни Дюма обливался слезами над «Тремя мушкетерами». Плакал и Свифт, когда ему, дряхлому старику, читали вслух «Сказку о бочке». Последние книги Диккенса написаны превосходно. Он не только не потерял мастерства, он приумножил его. Но кто прав в споре его искренних поклонников: лучше или хуже стал Диккенс в эти последние годы?

О стихах Мандельштама, написанных им в юношеском возрасте, Ахматова сказала: «Они прекрасны, но в них нет того, что мы называем Мандельштамом».

«Я должен сознаться, что мой личный вкус склоняется к произведениям его первой поры, когда он творил со всею мощью своего таланта, не стеснялся в роскоши средств и их не стыдился, а не того

периода, когда он наложил на себя добровольный музыкальный пост и стал музыкальным вегетарианцем. Но и в великих «вегетарианских» своих произведениях он сохраняет все свое великолепное мастерство и уверенность совершенного мастера». Сказанное об Игоре Стравинском, повторим о Михаиле Тале.

Научиться от партий последнего талевского периода можно больше, чем от раннего Таля. Но когда говорят «сыграл в талевском стиле», имеется в виду не Таль с длиннющей беспроигрышной серией, мудрый, все понимающий и умеющий, а мальчишка с горящим взглядом, вешающий коней на d5 и e6 в сицилианской под «охи» и «ахи» восторженных болельщиков.

Корчной обмолвился как-то, что у Таля образца 1960 года была бездна энергии, зато у Таля 1979 года – бездна понимания игры. Но растерзал ли бы новый Таль, «защищенный всей этой броней, того претендента 1960 года», – как однажды сказал он сам? Не уверен.

Выиграл бы, конечно, несколько партий на технике, но выдержали бы постоянный прессинг по всей доске? Удалось ли бы решать «рукой» возникающие новые и новые проблемы? И не смотрел бы многоопытный Таль с восхищением на себя самого: мальчишку, изваянием застывшего за доской и производящего «огромную счетную и зачастую не нужную работу»?

Второй всплеск длился у Таля несколько лет. Вспоминает Ян Тимман: «Когда я играл с ним матч после кандидатского турнира в Монпелье в 1985 году, это уже был не тот Таль, который шестью годами раньше вместе с Карповым с блеском выиграл сильнейший гроссмейстерский турнир в Монреале. Миша мог еще великолепно провести отдельную партию, но порой случались срывы...»

В конце жизни, когда здоровье стало совсем никудышным, срывы случались все чаще и чаще. Талю стало все труднее являть себя самого двадцатилетней давности, сказавшего: «Если партнера все время уводить с проторенных дорог в дебри сложного интуитивного расчета, а потом пожертвовать (хорошо бы под цейтнот!) что-нибудь, то... В такой обстановке дрогнет не только малодушный». Были периоды полной творческой апатии, и немало партий его кончились невзрачными ничьими. «Голова, ну совсем ватная...» – все чаще говорил он. Случалось, ничьи до начала игры по его просьбе предлагал соперникам и я. Однажды сказал: «Слушай, Мишель, он же белыми играет...» «Ничего, – заметил Таль, – N я могу предложить ничью и черными...»

Но иногда на него снисходило вдохновение, и вопреки всем законам логики и медицины в нем вспыхивал молодой Таль. Так было на его последнем турнире в Барселоне в партии с Лотье, когда свершилось чудо: оживший творческий дух торжествовал победу над слабеющей плотью.

Ему мало было, что жизнь и так — постоянный риск, что жить это и значит — рисковать. Ему хотелось большего: поставить на карту судьбу. Смеяться ей в лицо.

В 1988 году в Канаде он выиграл чемпионат мира по блицу, в котором Каспаров и Карпов выбыли еще до полуфинала. Первый приз был внушительным: пятьдесят тысяч долларов. Сразу после закрытия Таль вместе с президентом американской федерации Стивом Дойлем отправился в Америку.

Машина. Хайвей. Сеанс одновременной игры в шахматном клубе Нью-Джерси. Аплодисменты. Автографы. Ответы на вопросы. За окном уже поздний вечер. «Что ты, Стив, я совсем не устал, а поужинать можно и в Атлантик Сити. Заскочить в казино... Как идея?» «Хорошо, Миша, пусть будет Атлантик Сити, но сначала отель, надо оставить вещи, привести себя в порядок».

Гостиница. «Нет, нет, Миша, весь приз останется здесь в сейфе, ты можешь взять с собой только пятьсот долларов». Ночной Атлантик-Сити. Набережная. Море огней. Казино, казино. «Тадж Махал», «Тропикана», «Цезарь»... Стол рулетки. Жетоны. Таль ставит пять сотенных на черное. Черное! Дойль облегченно вздыхает: «Менять жетоны и ужинать!» Улыбка Таля. Десять жетонов остаются на черном. «Миша, Миша, зачем это?» «Все хорошо, Стив, все хорошо!»

Ведь эти пластмассовые кружочки, с нарисованными на них нулями, не более чем детские игрушки, смешная бутафория. Шарик уже описывает круги по колесу рулетке. Снова черное! Миша даже не протягивает руки к башенкам жетонов. Черное выпадает четырежды кряду. Дойль уже давно ничего не говорит и даже не смотрит на Таля. Миша не поднимается из-за стола. Теперь он передвигает всю стопку на красное. Стодолларовые кружочки заменены на солидные прямоугольнички с тремя нулями: восемь тысяч долларов. Шарик снова стремительно разгоняется. Красное! Количество жетонов увеличивается вдвое: шестнадцать тысяч долларов! Таль даже не протягивает к ним руки. Это похоже на колдовство. Снова красное! Тридцать две тысячи долларов! Менеджер зала подходит к столу, где все красное пространство покрыто тысячными прямоугольниками. «Дамы и господа,

делайте вашу игру», — бесстрастно произносит крупье и вновь раскручивает колесо рулетки. Металлический шарик, жужжа, описывает круги. «Ставок больше нет!» Вот шарик замедляет бег, лениво скатываясь к числовому ободку. Перед тем как окончательно опуститься, шарик прыгает из одной лунки в другую, задерживается на красной и раздумывает немного. Дзинь! Черное!

«Ну а теперь можно и поужинать», — улыбается Миша, поднимаясь из-за стола. Его ждет ужин и длинная ночь в Атлантик Сити.

Хорошо вижу его в Вейк-ан-Зее в 1988 году. Сорочка выбилась из брюк, ворот пиджака густо посыпан перхотью, пальцы пожелтели от никотина, на одном мизинце ноготь значительных размеров, черно-белая щетина, Таль уже не напоминал крадущегося тигра, каким казался когда-то Доннеру. Значительная лысина, обрамленная двумя грядками волос, проходила по всему черепу, делая его похожим на актера Михоэлса.

Бросив взгляд на каждую позицию и постояв немного у наиболее интересных, он семенил по сцене. Но в напряженные моменты или в преддверии наступающего цейтнота, нервным движением выхватывая очередную сигарету из пачки, придвигался ближе к столу, впивался взором в позицию, еще ниже склонялся над доской, губы его начинали беззвучно шевелиться. Глядя на него, постаревшего, небритого, беззубого, но все равно с почти ощущаемым накалом мысли, вспомнилось: «губ шевелящихся отнять вы не могли».

Ян Тимман был совершен поражен его видом на турнире кубка Мира в Швеции в 1989 году: «Дело было не в том, что он выглядел старше своих лет: эти тонюсенькие, прозрачные ручки, сильно исхудавший — дунуть и упадет. Главным было полное отсутствие реакции, какое-то безразличие к результату партии, к самому процессу игры».

То же самое было и в Тилбурге, когда Тимман анализировал партию с Камским. Партия получилась на редкость интересной, но Миша, так зажигавшийся при анализе и сыпавший вариантами, смотрел на доску потухшим взглядом, молчал, только курил по-прежнему безумно много. С вечной сигаретой в руке, он сидел в пресс-центре турнира, наблюдая за ходом партий по экрану монитора, и только время от времени односложно отвечал на чьи-либо вопросы.

Он был совсем не стар, но выглядел как глубокий старик. Неудивительно: интенсивность прожигания жизни им была такова, что

месяц можно было смело считать за год. Особенно это было заметно для знавших его в молодые годы, потому что старец с болезненным изможденным лицом на самом деле был тот же самый сверкавший и искрящийся когда-то Миша. Было видно, что он долго не задержится среди нас, и что-что, а кошмар долголетия минует его.

Подавляющее большинство чемпионов мира – эмигранты. Вынужденные или добровольные. Некоторые из них могли вернуться в страну, где они родились, другие были лишены этой возможности. Назову Стейница, Ласкера, Капабланку, Алехина, Фишера, Спасского, Ананда, Крамника и Топалова. Хотя в этот список формально можно включить и Таля, отъезд из Советского Союза он рассматривал не как эмиграцию, а как временное проживание в пределах определенного пространства. Ему не было уютно ни в Германии, ни в Израиле, где поселился сын с семьей и куда он наезжал время от времени. В Израиле? «С кем завтра борешься, Миша?» – спросил его коллега-гроссмейстер в 1967 году в Харькове. Впервые в истории чемпионатов Союза турнир проводился по швейцарской системе, и в Харькове играло немало мастеров и даже кандидатов в мастера.

«Не знаю точно, – отвечал Таль, – то ли с Цадиком, то ли с Кантором». На самом деле он играл с украинским кандидатом в мастера Шамесом, партия с которым кончилась вничью.

Выросший в буржуазной еврейской семье, Таль довольно равнодушно относился к своему еврейству. Он мог при случае объясниться на идише, 22-я рижская школа, которую он закончил, традиционно считалась еврейской, среди его рижских друзей и знакомых преобладал еврейский контингент. Процент евреев был высок и в шахматной среде, евреем был и его тренер.

Перед одной из Олимпиад «Правда» писала, что в команде Советского Союза играют представители многих национальностей: армянин Петросян, русский Смыслов, эстонец Керес, рижанин Таль...

Поездки в Израиль в последние годы жизни ничего не изменили для «рижанина Таля». Национальность никогда не была определяющим фактором в его отношениях с людьми, а вопросы, связанные с тем, что называется национальным самосознанием, его мало волновали. Скупое-неодобрительно подтверждает это и Еврейская Энциклопедия: «Не проявляя большого интереса к еврейской традиции, Таль был привержен языку идиш и еврейским песням».

С переездом в Германию началась последняя и недлинная глава его жизни. Потекли дни, похожие один на другой, так что в старое время китайские летописцы просто-напросто пропустили бы этот период: в нем не происходило ничего, заслуживающего упоминания. Умению стоять обеими ногами на земле, называемому здравым смыслом, он так и не научился и жил ото дня ко дню без привычных практических целей, называемых всеми нами жизнью.

Сын Эйнштейна вспоминал, как они с отцом путешествовали по американской глубинке, где отца никто не узнавал. Сначала великого физика это очень веселило, потом стало огорчать и нервировать. Таль тоже чувствовал себя не в своей тарелке в обществе, где не знают, что он — Таль. Он жил в Германии почти в неизвестности, особенно по сравнению с Советским Союзом, где его имя знал каждый.

«Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянщина жизни...» — писал путешествующий по Европе Есенин, и похожие интонации я слышал в разговорах с Талем после того, как он поселился в Германии.

Всюду, кроме прекратившей свое существование страны, он был чужим. «Взял бы ты меня отсюда», — сказал старинному другу Александру Баху, позвонив тому в Москву за несколько месяцев до смерти.

Рафаэль Ваганян — его друг, одноклубник и сосед в эти последние годы в Германии, вспоминает, что он редко бывал по-настоящему весел, чаще сумрачен и неразговорчив, и что образ жизни его был однообразен: блиц с утра до вечера, застолья... Удовольствия, которые так влекли его в молодые годы, давно уже стали не такими острыми или были ему вовсе не нужны. Немцы, но большей частью выходцы из Союза, поселившиеся в Германии. Шахматисты. Шахматы по-прежнему оставались для него счастьем, но это счастье он вливал в совсем дырявые меха.

Болезни все более грозно напоминали о себе. Тело, даже в молодости требовавшее внимания, в отместку за постоянное наплевательское отношение отказывалось служить, и ему становилось все труднее нести вериги своих многочисленных хвороб. Искусству знать, чем стоит в жизни пренебречь, он так и не научился, и не откладывая на завтра то, от чего можно получить удовольствие сегодня, сполна выпил от наслаждения и страдания — этих сестер-близняшек. Как австралийские аборигены, охотники и собиратели, с огромным трудом воспринимав-

шие внушаемую им миссионерами идею сбора урожая когда-нибудь, в будущем, он жил сегодняшнем днем.

Далекий от религии, он следовал Тому, кто советовал брать пример с птиц и не заботиться о завтрашнем дне. Будущее? И когда это будущее наступит? А даже если? И не позаботится ли это будущее само о себе?

«Завтра? Нет, сегодня! Сейчас!» Именно эти слова он сказал хозяйке маленькой гостиницы в Амстердаме, куда я проводил его глубокой ночью. Немногочисленные постояльцы уже давно спали, но Миша осведомился, открыт ли бар. Заспанная хозяйка стала увещевать его, что сейчас нужно спать, а завтра утром будет завтрак, и она приготовит ему яичницу и кофе. Каким утром? Какая яичница? Какой кофе? Что-нибудь покрепче! И сейчас!

Борьбу с телесными недугами можно вести двояко: по мере сил противодействовать им или стараться их игнорировать. Таль относился к своим болячкам с юмором, по возможности не обращая на них внимания, если уж совсем не брало за горло. Выгодно отличаясь от многих, которые не могут удержаться, чтобы не нагрузить собеседника массой сведений о собственных болезненных ощущениях и способах борьбы с ними.

Он сильно нуждался в эти последние годы. Давал сеансы, если вспоминали о нем, играл за клуб, читал лекции, соглашаясь на любые гонорары; впрочем известно: *beggars can't be choosers*. Как когда-то, начиная рискованные атаки, он не очень заботился о предстоящем эндшпиле, так и в жизни — совсем не думал о материальных тылах. Заготавливать что-либо впрок, чтобы сделать старость по возможности приемлемой и даже приятной, он не хотел и не умел, и умер, как и жил, бессребренником.

В Германии он жил без страховки. Однажды в телефонном разговоре, когда я поинтересовался практической стороной медицинского обследования, он заметил: «Ребята сунули доктору пару бутылок коньяка — обошлось...» Можно представить себе реакцию доктора, которому «ребята сунули пару бутылок коньяка...»

В свое время Ларсен сказал, что Таль ведет такой образ жизни, потому что знает: прожить больше пятидесяти ему не суждено. Он прожил пятьдесят пять. Хотя перед поездкой в 92-м в Барселону и говорил: «это мой последний турнир», надеялся в глубине души: бабушка еще надвое сказала, ведь и со Смысловым в Югославии в 59-м тоже ведь фигуры не хватало, сдаваться надо было, но ничего, обошлось.

Может, обойдется и на этот раз: врачи подштопают, похулиганим еще. Но о смерти всегда говорил легко и спокойно.

Как-то в восьмидесятом, кажется, году, вспомнив о враче, общем знакомце по Риге, спросил у него: «Слушай, а как там Павел Наумович?» Он вскинул голову. «В Израиле?» – не понял я. Миша снова повторил жест, разве чуть более энергично. Я: «В Америке?» Миша укоряюще-удивленно посмотрел на меня. Наконец, дошло: «И давно?» «Да уж с два года как...» Но так же без надрыва говорил и о смерти мамы, брата. А может быть и потому, что ему было ясно – кто на очереди.

В последний раз я видел Мишу осенью 1991 года в Тилбурге. Он сидел обычно в пресс-центре турнира с неизменной сигаретой, говорил мало, но каждое его замечание по части шахмат было всегда по существу. Оживился несколько, когда в своей обычной манере показал слушателям Академии Макса Эйве одну из своих недавних партий – против Панно из турнира в Буэнос-Айресе. Молодые люди смотрели на него, как на Стаунтона или Цукерторта. Чудом было не то, что он живет, а что не умер ранее. Отвечая на приветствие одного из знакомых, сказал: «Спасибо». «За что?» «За то, что вы узнали меня». Но хотя внешний вид его мало напоминал Таля шестидесятых годов, он никогда не ассоциировался у меня с пожилым человеком, оставаясь всегда Мишей.

За пару дней до отъезда на Олимпиаду в Манилу (1992) получил от него письмо: «Дорогой Гена! К сожалению, обещанного рассказа о турнире пока не сделал – очень неважно себя чувствовал. В понедельник лечу в Москву на повторное свидание с медиками. Скорее всего, будет операция. Как бы там ни было, свободного времени, а также записывающих устройств будет достаточно... Во всяком случае, желаю всяческих успехов тебе и всей вашей наименее русифицированной (скажем так) команде. С сердечным приветом. Миша».

Когда очутился в московской больнице, врачи расценили его состояние как безнадежное. Гепатит, хронический сепсис и букет других разнообразных болезней. Но и в больнице не стал цепляться за уходящие недели и дни, скулить, жаловаться на судьбу. Не причитал: «Почему я? Почему именно со мной?» – часто задаваемые вопросы осознавших, что трюизм – человеческая жизнь конечна – касается их самих тоже.

Не стремясь получить отсрочку от уплаты долгов, умудрялся и в последние недели сохранять привычный образ жизни, не отказываясь ни

от водки, ни от привычных двух пачек сигарет в день. Врачи закрывали на это глаза. Они знали: жесткий перевод пациента на безникотинный и безалкогольный режим не изменит уже ничего, разве что принесет тому дополнительные мучения. Когда узнал о большом блицтурнире с участием Каспарова и захотел сыграть, близкие активно отговаривали его, но профессор неожиданно легко согласился: хуже уже не будет. На турнир приехал прямо из больницы, и выиграв у Каспарова, занял третье место. В последний раз собрал в комок фантастическую силу духа и воли.

На могильном памятнике его выбита дата смерти: 27 июня 1992 года. Официальная, сообщаемая всеми справочниками, — 28-е. Но не суть важно, когда именно прекратил свое телесное существование Михаил Таль, главное: он был среди нас.

В августе 2001 года в Верманском парке Риги был открыт памятник. Памятники возводят тем, кто меньше всего в них нуждается: для славы Таля ничего не нужно — он нужен для нашей славы, для славы шахмат. Монумент напоминает скорее тевтонского рыцаря, а не чудного мягкого Мишу, жившего неподалеку. А рука на переднем плане только лишний раз заставляет вспомнить о его физическом недостатке.

На памятнике имя Mihails Tâls, меньше всего ему принадлежавшее. Изваявшие этот монумент и вырубившие эти буквы забыли старую истину, что надписи на памятниках надо делать с осторожностью: к ним нельзя приложить списка опечаток.

Музея его имени в Риге нет. Нет и улицы, хотя недавно (октябрь 2009) появилось предложение переименовать улицу Джохара Дудаева (первый самопровозглашенный президент Чечни) в улицу Таля. Это не единственное предложение. Белорусский поэт Янка Купала, Валентин Пикуль, писатель-историк, живший в Риге в советские времена, Зигфрид Мейеровиц, первый министр иностранных дел Латвии, тоже являются кандидатами. Но главный претендент — Ахмат Абдулхамидович Кадыров, бывший муфтий и первый президент Чеченской республики, отец нынешнего президента Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. Жаль, что мы не можем услышать комментариев самого Миши по этому поводу.

Он жил как хотел и умер, когда жизнь уже совершенно вытекла из него. Дело было даже не в том, что организм его был непоправимо разрушен — прошло его время. Уйти из жизни вместе со своей эпохой —

участь людей исторических, они не должны переживать самих себя. Таль избыл свою миссию на земле и сделал все, что должен был сделать. Наступало время других звезд. Компьютерные шахматы начали уже наступление по всему фронту, но для него ли было: несколько часов кряду до партии, уставясь в стекляшку экрана, освежать в памяти длиннющие разветвления форсированных вариантов?

Кое-кто думает: в его время пробиться наверх было много легче, чем сегодня, когда сыгранные партии в тот же день становятся известными всем, и каждый обладает для подготовки той же самой машиной. Наивные! Невозможно представить, какую колоссальную армию, какую толщу выдающихся шахматистов нужно было пробить тогда!

Хотя со дня смерти его не прошло и двух десятков лет, для молодых имя Таля из такой же седой истории, как имя Морфи или Стейница. Когда я спросил молодого гроссмейстера, знаком ли он с творчеством Таля, тот ответил: это был чемпион мира, многие комбинации которого имели «дыры» и сегодня опровергнуты компьютером. Что и говорить, в партиях Таля есть где разгуляться машине, но для вечности это не играет никакой роли: красота и величие замысла не меркнут.

«Жаль эту гениальную силу, так нелепо распорядившуюся собой физически», — сказал Репин о Мусоргском. Это и о нем, конечно. И о Тале. Но кто знает, если бы не было этого тысячевольтного накала, этого горения и самосожжения, не было бы и этой гениальной силы.

«Во время вспышки той ужасной ссоры его лицо исказилось, стало не его, чужим и пугающим, будто в Мишу вселился демон».

«Его безумные атаки, его неожиданные отступления, его бешеные приливы нежности и любви, за которым следовали необъяснимые исчезновения, до сих пор остаются для меня за гранью понимания...»

«Если ты уйдешь, я выпью все эти таблетки, а если они не сработают, то выброшусь из окна», — вспоминает Салли Ландау некоторые из бесчисленных стоп-кадров никогда не кончающегося для нее фильма их совместной жизни.

Сын Таля пишет, как отец однажды объявил домашним о раке поджелудочной железы, стал отказываться от еды, терять в весе... «И вдруг сказал: «А вы знаете, кажется, у меня нет рака поджелудочной железы...» И выздоровел! Вот какие он себе позволял “игры”...»

Было ли это «игрой, самовнушением, по которому равных ему не было» — как считает Георгий Михайлович Таль? Импровизацией фокусника, который мог ввести в заблуждение не только окружающих, но и самого себя? Кто может знать, какими соображениями руководствовался он, прибегая к игре своего воображения и чем была занята в те моменты его загадочная душа? Что ж, чем ярче, разностороннее, талантливее человек, тем больше в нем и того, и другого, и третьего и столько всего перемешано, и всё переходит во всё.

Биограф Нуриева пишет, что великий танцовщик был удивительно двойственной натурой — в нем одновременно уживались ангел и дьявол: «Многих шокировал его буйный темперамент, особенно людей посредственных и ленивых, у которых не было такой всепоглощающей страсти к балету. Он всегда ощущал в себе эти две волновавшие его сущности и использовал балет для их реализации». Это, конечно, и о Тале. И Миша был тоже всем вместе — блестящий, необъяснимый, замечательный. Ангел и демон одновременно.

Немало людей живут двойной, а то и тройной жизнью, поэтому обрывать человека в слова, возрождая его на бумаге, дело безнадежное. Тем более такого, как Таль. Под этим именем был сконцентрирован сложнейшей структуры конгломерат, в каждом сгустке которого было столько всего... В душе его были такие ущелья, что лучшие фрейдисты и психоаналитики сломали бы голову, пытаясь объяснить черты его характера, мотивы пристрастий и поступков. Оставим эти попытки и мы. Рассказ о любом человеке — вымысел, даже если он увязан с фактами, потому что внутренний мир любого человека не поддается описанию. Ведь многое, происходящее внутри человека, недоступно вообще никому, очень часто и ему самому.

Вся жизнь его была кинолентой. С бутылками, летящими в голову в ночном баре Гаваны, забытыми паспортами, дымящейся сигаретой в реанимационной палате, попытками догнать самолет на такси, потерянными призами, полостными операциями, бегствами из больниц, машинами «Скорой помощи», поднимающими брови врачами, когда им диктовались составляющие уколов. Женитьбами и разводами, восхищенными взглядами поклонников и поклонниц, легендами, обрастающими все новыми подробностями. Всеобщего любимца, охотника за радостями жизни, коллекционера ощущений, еврея из Риги, гражданина несуществующей теперь огромной империи. Гениального шахматиста.

Когда я близко познакомился с Мишей, ему было почти тридцать. Была уже заметна лысина, из висевших на подтяжках брюк проглядывали контуры животика: он расставался с молодостью, но к взрослым еще не пристал. Даже в самом конце, несмотря на внешнее одряхление, не угасало в нем что-то ребяческое и совсем безнадежно взрослым он так никогда не стал.

Общаясь с ним, я понял, что для того чтобы обжигать горшки, совсем не обязательно быть богом. Богом нужно быть, чтобы обжигать такие горшки, которые и не снились другим горшечникам. Выучиться этому нельзя. Хочу верить, что моя в то время сильная память и незамутненный взгляд на позицию были тоже полезны ему.

Глаза, которыми я смотрю на Таля сегодня, совсем не те, которыми смотрел смущающийся, но старавшийся не подавать виду молодой человек, пришедший ранней весной 1968 года в пропитанную буржуазным воздухом квартиру на улицу Горького в Риге. И не те, которыми январем 73-го смотрел живущий уже полгода на Западе эмигрант с длинными по тогдашней моде волосами. Другие глаза смотрели и на грозного соперника в турнирах 70–80-х годов. Читали невозможное сообщение 28 июня 1992 года. Смотрят сегодня из уже набравшего ход XXI века.

Образы расплываются в памяти: с каждым днем становится все труднее рассказывать не только о нем, но и об удивительном времени, когда шахматы в стране, где он жил, были вынесены на заоблачную, недостижимую высоту. Его судьба неразделима с той страной и тем временем. Это время не похоже на сегодняшнее, да и на все другие времена, поэтому задумавшему создать полный портрет Михаила Таля (если такое возможно) надо будет все время держать в голове фон той невероятной эпохи.

Истории, выуженные из памяти, даже совсем невзрачные, не кажутся мне теперь такими. И не только потому, что любое прошлое сюжетно само по себе, но и потому, что это прошлое связано с ним. Пыль того времени делает музейными самые обыкновенные вещи, даже черно-бело-рыжую кошку Мамонтиху, обитавшую в его рижской квартире. Вот она сидит у него на коленях, вот он берется за слона, и описав им в воздухе элегантную петлю, опускает его на g5 — пусть стоит! Вот я делаю ход h7-h6, а он потирает руки: появилась зацепка, скоро пожертвуем что-нибудь!

«Ты сегодня хорошо выиграл», — сказал мне Миша после партии со Смейкалом в межзональном турнире 1976 года, и мне не хочется это забывать. Есть еще и очень личные воспоминания. Бережно хранящиеся в памяти, они не подлежат выносу на бумагу.

Его уход совпал с концом моей карьеры: очень скоро окончательный приговор мне, как шахматисту-практику, вынес безжалостный судья — Время, вместе с судебными заседателями — наступлением компьютерной эры и началом литературной работы.

Мое первое эссе было посвящено Талю. Я писал его на шахматном столике, который, изжив свое прямое назначение, превратился в письменный. Может быть поэтому на всем, написанном мною, проступают шестьдесят четыре квадрата шахматной доски. Сравнивая оба занятия, не могу сказать, какое труднее: играя, борешься с замыслами и волей соперника, а при перенесении мысли на бумагу появляется другой, смотрящий из-за плеча, безжалостный и не терпящий малейшей фальши. Ему известны все твои увертки, отговорки и обманы.

Я звал его Мишей. Иногда Мишелем или Мишелем Деларю: «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Деларю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: “Благодарю”. Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал.

А Деларю сказал: “Какой прекрасный у вас кинжал”».

Ему нравились эти строки, может быть, из-за их несерьезности, может быть, из-за собственного равнодушия к опасности, презрения к жизненным невзгодам и к смерти самой.

Меня он называл по всякому. Когда Геннадием Борисовичем — в шутку, понятно. Когда — Геночкой. Подчеркивая, что речь пойдет о серьезном, — Геной. Такое, правда, бывало нечасто.

«Слушай, сейчас я читаю о матчах на мировое первенство, которые я сам видел вблизи. Приезжай. Напишем что-нибудь вместе. Все было не так, все было по-другому», — говорил он за несколько месяцев до смерти, и слова эти, как будто сказанные вчера, горьким упреком слышу до сих пор. И когда вспоминаю его, всплывают откуда-то строки: «У меня был очень близкий друг, я никак не мог к нему собраться. Далеко... Погода... Недосуг. Что теперь за голову хвататься?»

Один из друзей Михаила Лермонтова писал: «Давно все это прошло, но память Лермонтова дорога мне до сих пор; поэтому я и не возьмусь произнести суждение о его характере, оно может быть пристрастно, а я пишу не панегирик. Пусть, — думал я, — люди, владеющие лучше меня и языком, и пером, возьмут на себя этот труд: дорогой мой Мишель стоил того, чтобы о нем хорошо написали».

Дорогой мой Мишель стоил того, чтобы о нем хорошо написали.

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА

«Звериное лицо империализма смотрит в сторону колоний и полуколоний. Награбленные там средства империалисты используют для подкармливания своих народов, обеспечивая себе тем самым «цивилизованное лицо», обращенное к народам метрополий.

(Для иллюстрации можно привести цифры, не так давно опубликованные в “Правде”».)

Это не памятка из журнала «Блокнот агитатора» советского периода, а цитата из письма Михаила Моисеевича Ботвинника в ЦК КПСС от 24 мая 1954 года.

В письме Ботвинник делится своими соображениями по поводу организации социалистической революции на Западе и, обильно цитируя Маркса и Энгельса, советует, какой политики следует придерживаться коммунистическим партиям капиталистических стран, чтобы «промежуточные слои пошли за рабочим классом, за компартией, и тогда монополисты будут изолированы».

Ботвинник цитирует Маленкова, фактического руководителя Советского государства после смерти Сталина: «Товарищ Г.М. Маленков выразил чувства всех советских людей — и не только советских, — когда сказал, что “да будет священным для всех нас желание народа не допустить пролития крови миллионов людей...” Все стало азбучной истиной после работы В.И. Ленина “Империализм как высшая стадия капитализма”».

В заключение Ботвинник пишет: «Мне кажется, что если гарантировать (в странах Запада) мелкой буржуазии сохранение 100% дохода после революции, а крупной буржуазии некоторую долю дохода, то можно изолировать монополистов от народа, избавить человечество от атомной катастрофы и создать условия для скорой социалистической революции на Западе».

Послание Ботвинника было рассмотрено на самом высоком уровне. Копия письма и записка секретаря ЦК КПСС П. Поспелова «Об ошибках М.М. Ботвинника» поступили Хрущеву и главному идеологу партии Сулову. Вся эта документация сохранилась в архивах ЦК.

Резолюция Поспелова гласила: «Заметки Ботвинника представляют интерес как проявление буржуазной идеологии лейбористского типа и боязни капиталистического окружения. Полагаю, что следует вызвать М. Ботвинника в отдел пропаганды и разъяснить ему анти-марксистский характер его заметок. Если же он будет настаивать на своих некоммунистических взглядах, то он не может, мне кажется, оставаться членом партии».

Ботвинника пригласили в отдел пропаганды и агитации ЦК и устроили разнос, вынудив написать покаянное письмо. «Я — за революцию... — оправдывался Ботвинник, — я за то, чтобы вырвать у монополистов экономическую и политическую власть...»

Это письмо Ботвинник написал на следующий год после того, как было раскрыто дело «врачей-убийц». Фельетоны в «Крокодиле» и «Правде», гневные статьи и письма трудящихся с требованиями призвать к ответу «безродных космополитов»: государственный антисемитизм в январе 1953 года достиг апогея.

В архивах сохранились два проекта письма в «Правду», подписанные почти всеми знаменитыми советскими евреями — писателями и учеными, музыкантами и академиками, с просьбой защитить их от «справедливого гнева народа».

Основными мотивами в поведении этих людей были страх и отчаяние, и многие подписывали письмо не читая. Только единицам удалось избежать морального унижения, и Ботвинник был в их числе. Гарри Каспаров пишет, что было загадкой, как Ботвиннику удалось остаться в стороне и что сам Патриарх не любил распространяться на эту тему.

Сорок лет спустя писателю Аркадию Ваксбергу удалось побеседовать с теми из оставшихся еще в живых, кого приглашали подписать это письмо.

Вспоминает Ваксберг: «Ботвинник зло отказывался от разговора со мной, просил не беспокоить — ни за что не хотел возвращаться к тем, как он выразился “кошмарным дням”. Наконец, после третьего или пятого моего захода (декабрь 1991 года), признался: “Меня донимал какой-то академик: подпишите, все уже подписали”. Но как раз в то время я играл с Таймановым короткий матч на звание чемпиона СССР. Это был очень подходящий повод для того, чтобы не беспокоили. И меня еще предупредил Батуринский, чтобы сразу после окончания матча я не подходил к телефону, а еще лучше — куда-нибудь

бы уехал с глаз долой. Уехать я не мог, но к телефону не подходил. Не зная, в чем дело — просто на всякий случай. Поверил Батуриному — человек осведомленный и зря не посоветует. Домашние тоже на звонки не отвечали, хотя телефон трезвонил с утра до ночи, может быть, впрочем, кто-то хотел просто поздравить, но мне было не до поздравлений».

Дотошный Ваксберг разыскал и Виктора Давыдовича Батуриного. И хотя тот не мог вспомнить такого разговора, думаю, что память не подвела Ботвинника. Общей доминантой атмосферы в стране тогда был страх. Человек начинал перебирать все факты своей биографии, видя перед собой множество примеров, когда репрессивные меры применялись из-за совершенно невинных поступков, в свое время рассматривавшихся под другим углом государственной политики.

Ботвинник знал, конечно, что было объявлено о разрыве дипломатических отношений с государством Израиль, за образование которого в 1948 году так горячо ратовал Советский Союз, а он откликнулся теплым личным поздравлением.

Ботвинник уверял Ваксберга, что Сталин особо покровительствовал ему из-за того, что Алехин слыл убежденным антисемитом (!?!).

После такого заявления можно поставить немало вопросительных и восклицательных знаков, но говорит оно прежде всего о том невероятном времени, когда разум живших в постоянном неведении и страхе мог сплести самые невероятные кружева: любые сюжеты казались возможными.

Три года спустя в 1956 году, во время Суэцкого кризиса в советской прессе появилось воззвание известных еврейских деятелей науки и культуры, резко осуждающее Израиль. Подписи Ботвинника нет и под этим письмом.

В семидесятых-восьмидесятых годах в Советском Союзе несколько раз устраивались пресс-конференции, в которых участвовали известные деятели культуры и науки — «лица еврейской национальности». Эти пресс-конференции транслировались по телевидению, и люди старшего поколения помнят анекдот тех лет — «Новый аттракцион в московском цирке: на арене Дымшиц (тогда заместитель председателя Совета министров СССР) с трупкой дрессированных евреев».

Ботвинник не только не присутствовал ни на одной такой пресс-конференции, его подписи нет ни под одним коллективным письмом протеста или в защиту, бывших тогда в большой моде у властей. Был он и в числе очень немногих советских гроссмейстеров, отказавшихся

в 1976 году подписывать письмо против Корчного, когда тот остался на Западе.

Какие пустяки – скажут молодые люди сегодня. Как посмотреть: пустяки, пустяки, да и не такие пустяки. Кто еще мог бы сказать, вспоминая те времена: «Не в моих привычках подписываться под письмами, где выражены мысли других».

В 1964 году после окончания Олимпиады в Тель-Авиве Бен-Гурион вручал золотые медали советским гроссмейстерам, в том числе и Ботвиннику. Первые двадцать лет жизни израильский политик провел в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, и не забыл еще русский язык.

Бен-Гурион был по натуре человеком жестким, крайне амбициозным, в борьбе за лидерство неумолимым, в Израиле его даже называли «полу-большевиком». Думаю, что у них с Ботвинником нашлись бы темы для более длительного разговора, но беседа их оказалась очень короткой. История сохранила ее только в передаче Ботвинника.

Когда Бен-Гурион выразил мечту, чтобы треть советских евреев эмигрировала в Израиль, Ботвинник отшутился: «А вы не боитесь, что, собравшись вместе, они устроят здесь революцию?» Правда, в другой раз он писал, что просто заметил тогда: «От меня это не зависит».

Свой рассказ о поездке в Израиль Ботвинник заключает словами: «Когда вспоминаю Палестину, прежде всего думаю о трудовых евреях и арабах, населяющих эту красивую землю. Через три года после Олимпиады там вспыхнула война, которой пока конца не видно. Вероятно, там может быть прочный мир, и он будет, если трудовому народу, который там живет (или имеет право жить), никто не будет мешать извне – ни нефтяные магнаты-арабы, ни американские толстосумы-евреи».

Это только выжимка из его пространного письма в ЦК КПСС, написанного в июле 1975 года и посвященного ближневосточной проблеме.

Ботвинник писал тогда: «Если Израиль поможет становлению и процветанию арабского палестинского государства, это будет прочной базой добрых взаимоотношений – постепенно, спустя определенный исторический период, ненависть должна отступить. Что же еще нужно трудовым израильтянам? Им сегодня нужна уверенность в безопасности своего государства, когда еще ненависть существует. Для этого есть только один путь: предоставить Израилю право на строительство и аренду стратегически важных военных баз, которые будут находиться в арабской Палестине и, возможно, частично на

сирийской и египетской землях... Когда ненависть отступит, исчезнут и военные базы. Тогда они просто-напросто будут не нужны. Все остальные вопросы — границы, Иерусалим, проливы и прочее — менее существенны».

По получении письма Ботвинника вызвали на беседу в Международный отдел ЦК. В справке, приложенной к посланию Ботвинника, говорится, что «М.М. Ботвиннику была разъяснена позиция Советского Союза по вопросам ближневосточного урегулирования. При этом было обращено особое внимание на то, что в основе советской внешней политики лежат принципы, разработанные В.И. Лениным. К их числу относятся признание права наций на самоопределение, уважение национальной независимости и суверенитета государств, равноправие, невмешательство во внутренние дела других государств и др. Содержащееся в письме М.М. Ботвинника предложение о создании израильских военных баз на территории соседних арабских государств не учитывает этих принципов. М.М. Ботвинник выразил удовлетворение состоявшейся беседой».

Не буду вдаваться в анализ этого, равно как и других писем Ботвинника в высшие эшелоны власти. Анализировать их было бы неправильно, даже если читать их не с дистанции прошедших пяти десятков лет, и каких лет! — а попробовать вернуться в то время.

Написанные, без сомнения, после долгих раздумий, они замешаны на советской пропаганде и базируются на фактах, почерпнутых из газет «Правда» и «Известия» — единственных доступных ему источников информации. Густо пропитанные советским патриотизмом, эти письма являются следствием не только долгих раздумий, но и наивности, смелости, упертости, своеобразной логики, ограниченности, веры в собственную правоту — качеств, совсем друг друга не исключających, и все они были присущи Михаилу Ботвиннику.

Папка с «делом Ботвинника» оказалась пухлой. В том же фонде под номером 5 имеется более поздняя переписка Ботвинника с секретарем ЦК КПСС Зимяниным и другие документы, касающиеся «неблаговидного» поведения Ботвинника.

Когда университеты в Мангейме и Дортмунде совместно с американской корпорацией «Контрол Дейта» пригласили Ботвинника в США для сотрудничества по совместной разработке его программы «Пионер», партийные функционеры воспротивились этому по причине ее, якобы, секретности.

15 декабря 1978 года Ботвинник отправил письмо Зимянину, в котором настаивал, что от вывоза программы за рубеж Советский Союз, катастрофически отстающий от Запада в развитии вычислительной техники, только выиграет. К письму он приложил карикатуру из апрельского номера американского журнала «Personal computing» за 1978 год. На карикатуре изображены советские компьютерщики-шахматисты, пользующиеся счетами, и текст: «Что за прибор, черт побери, использует эта команда?»

Не получив ответа, Ботвинник посылает 15 января 1979 года еще одно письмо в ЦК. Он пишет, что «... имеет право на уважение, как член КПСС с 1940 года, который всю жизнь трудился на благо советского народа» и требует созыва компетентной комиссии для решения вывоза «Пионера» за рубеж.

Настойчивость Ботвинника принесла плоды: комиссию собрали в феврале 1979 года. Сохранилась запись совещания этой комиссии в отделе науки и техники при ЦК КПСС. Ученые, профессора и академики, в числе которых был даже вице-президент, позже президент Академии наук Г. Марчук, предложение Ботвинника отклонили.

Кто прав был из них по существу вопроса? На собрании присутствовало немало математиков с именами, и Ботвинник утверждал потом, что те ничего не понимают в шахматах, в то время как шахматистам он говорил, что они не разбираются в математике и не могут судить о его идеях.

Не согласный с решением специалистов, Ботвинник послал отчет о комиссии в ЦК, но ответа не получил. А это свидетельствовало, по его мнению, что правда на его стороне. На самом деле его снова вызвали наверх и и вынудили согласиться с критикой в свой адрес. После этого он долго уже не обращался ни в какие инстанции.

Один из его коллег по науке говорил, что у него отсутствует чувство стадности. Стадного чувства у него действительно не было. Но жил он в стране, идеология которой была выстроена на стадном чувстве, и выпадение из этой стадности могло принести одни неприятности. Понятно, что он не был ни диссидентом, ни либералом, но даже если его предложения не подходили под определение «реформаторский зуд», которым диагностировали в психиатрических лечебницах требующих радикальных перемен и уважения собственной конституции, уверен, письма Ботвинника в ЦК раздражали власти не меньше.

Любая партийность предусматривает подчинение, а членство в единственной партии государства — подчинение безоговорочное.

Мыслительный процесс должен быть предоставлен другим, еще лучше — вообще отключен, с чем не мог смириться Михаил Моисеевич Ботвинник.

Но будучи по воспитанию и духу абсолютно советским человеком, был он к тому же человеком думающим и, как следствие — асоветским, таким советским асоветским человеком.

Ботвинник не мог примириться с тем, что система, в которую он безгранично верил, несостоятельна, и все время, не замахиваясь на основы ее, пытался что-то улучшить в ней, подправить, подремонтировать. Не полностью демонтировать, но свести до минимума роль партократии, поручив вопросы экономики настоящим специалистам.

Он искренне верил в правильность выбранного в 1917 году курса, предлагая только скорректировать его, взять другой азимут и, заменив состав держащих штурвал в руках, твердо вести корабль, придерживаясь ленинских принципов.

В одной из своих самых последних статей, признавая, что не только коммунизм, но и подлинный социализм в Советском Союзе так и не был построен, он пишет, что «надлежит (пока человечество не погибло) создать подлинную науку управления, которая с точностью, близкой к инженерной, обеспечит людям благополучие».

Не знаю, был ли он знаком с идеей почитаемого им Ленина, когда тот представлял себе Госплан как «высший совет выдающихся ученых и практиков, состоящий из не более ста человек первоклассных экспертов». Быть может, видел себя в числе членов такого Совета, наподобие Совета экспертов при Гроссмейстерской Ассоциации, чьим горячим сторонником оставался всегда.

Трудно комментировать и слова, сказанные им в конце жизни: «Да, я коммунист в духе первого коммуниста на Земле — Иисуса Христа».

Но какой бы смысл сам Ботвинник ни вкладывал в них и как бы ни представлял себе социализм, был он идейным, с твердыми принципами человеком, в отличие от подавляющего большинства обладателей партийных билетов, «убеждения» которых полностью зависели от цвета окружающей их среды, что и подтвердили события конца восьмидесятых, начала девяностых годов. Он никогда не заявлял после перестройки, что в душе был против советской власти. Ботвинник сам был частичкой этого режима, маленьким камешком этой удивительной мозаики, выложенной, казалось, на века.

Несмотря на то, что в последние годы что-то оттаяло в его застывшем сознании, оставались там и огромные айсберги, которые не мог-

ли подвергнуться таянию ни при каких обстоятельствах. В последних числах февраля 1995 года, за два месяца до смерти он надиктовал статью, в которой не раз встречается вопрос: что же было делать?

Этим «что же было делать?» оправдывается и политика Сталина, который «действовал со всей жестокостью и лет за пятнадцать вполне в этом преуспел», и то, что «для сильной власти ему нужно было сильное государство, и здесь Сталин действовал также весьма последовательно. Он сделал народ образованным, развивал науку, создал промышленность вообще, а оборонную — в частности, после жестокой коллективизации наладил работу колхозов — в итоге построил и сильную армию».

До самого конца он утверждал, что «Шахтинское дело», да и другие процессы тридцатых годов были необходимыми в историческом контексте, и недоумевает по поводу поведения Сталина в первые недели войны, находя, однако, объяснение и этому: «Стиль Сталина был похож на стиль игры тех шахматных мастеров, которые попадают в трудное положение, но затем играют с большой силой».

В своих воспоминаниях Ботвинник с большой теплотой пишет о Борисе Федоровиче Подцеробе, посвятив тому отдельную главу, заканчивающуюся словами: «В последние годы я понял, что такое старость — когда друзья уходят, а новые не появляются; остается лишь помнить тех, кто ушел».

Дипломат очень высокого ранга, посол по особым поручениям, Подцероб не раз встречался со Сталиным. Известно, что тогда в министерствах все работали допоздна, звонок Сталина мог раздаваться и глубокой ночью. Коллеги вспоминают, что Подцероб работал даже после того, как все разъезжались, часов до 5-6 утра и гордился, что Сталин сказал о нем однажды: это человек, который никогда не спит.

После смерти Сталина Подцероб открыто критиковал Хрущева, в его кабинете в Министерстве иностранных дел висел портрет вождя, а в шкафу были расставлены сталинские книги и фотографии.

У него собирался кружок почитателей Сталина из бывших в фаворе в сталинское время людей, в глазах которых Хрущев был не только политической размазней, но и предателем. День, когда сняли Хрущева, был счастливейшим в жизни Подцероба, и он, торжествуя, обзванивал всех своих друзей.

Понятно, что обо всем этом нет ни слова в воспоминаниях Ботвинника, полагавшего, что писать их было нетрудно: «надо лишь думать, что следует публиковать, что нет».

Даже если он не написал всего, что сейчас было бы особенно интересно прочесть, уверен: историки, которым предстоит изучать психологию людей в период удивительного советского эксперимента, найдут золотую жилу в мемуарах Михаила Ботвинника.

Осенью 1983 года он приехал в США на чемпионат мира среди компьютеров. О своих встречах с Ботвинником в Нью-Йорке вспоминает американский гроссмейстер Лев Альбурт.

«...я дал ему несколько книг на русском, изданных на Западе. Книги Солженицына он вернул едва ли не на следующий день, заметив, что пролистал их и нашел мало нового для себя. Вернул журналы и что-то, написанное на злобу дня, но двум книгам, тоже, понятно, запрещенным в Советском Союзе, дал исключительно высокую оценку, изучал во время пребывания в Нью-Йорке и даже попросил взять с собой.

Когда я тут же презентовал ему эти книги, он решительно полез за кошельком: “Лева, я в курсе, сколько стоят книги на Западе, и знаю отлично, каковы заработки профессионального шахматиста...”

И продолжал настаивать до тех пор, пока я не сказал, что книги эти я не покупал, а получил в Центре, занимающимся распространением такого рода литературы в странах Восточной Европы.

“Ну, если так...” – согласился Михаил Моисеевич».

Одной из книг, произведших впечатление на Ботвинника, была «Дорога к рабству» Фридриха Хайека, другой – «Капитализм и свобода» Милтона Фридмана. Основная идея книг нобелевских лауреатов проста: страны, целью которых является установление контроля над рынком, неизбежно превращаются в тоталитарные. Точно так же как любые попытки ввести рынок в тоталитарном государстве в конечном итоге вызовут политические потрясения.

Лев Альбурт познакомился с Ботвинником в мае 1972 года в Одессе. Они виделись ежедневно, а на лекциях экс-чемпиона мира Альбурт, сам уже сильный мастер, почтительно переставлял фигуры на демонстрационной доске.

Ботвинник не мог не почувствовать искреннего уважения, оказываемого ему и, хотя трудно представить себе столь разных людей, между ними установились очень доверительные отношения: когда Альбурт приезжал в Москву, он всегда навещал Михаила Моисеевича дома, в его квартире на Третьей Фрунзенской.

«Ботвинник оказался человеком совсем не сухим и вовсе не застегнутым на все пуговицы, каким воспринимали его многие. Совсем на-

оборот: эмоциональным, участливым, — вспоминает Альбурт. — Мне показалось, что был он человеком довольно одиноким, и по-настоящему близких друзей у него в шахматном мире не было».

В 1979 году их общение прервалось: Альбурт остался на Западе, получив, как и все решившиеся на такой шаг, клеймо «изменника родины». Имя его было вычеркнуто из советских шахматных анналов; даже в книге о турнире в Киеве, где Альбурт принимал участие незадолго до того, как попросил политическое убежище в ФРГ, его фамилия исчезла из турнирной таблицы.

Когда Ботвинник приехал в Нью-Йорк, Лев решил не вступать в контакт с экс-чемпионом мира. Это будет в интересах его самого — решил он: общение с невозвращенцем могло иметь неприятные последствия даже для человека калибра Ботвинника. Но через пару дней Ботвинник сам выказал желание встретиться.

«Он вел себя абсолютно независимо и смело, — вспоминает американский гроссмейстер четверть века спустя. — Хотя М.М. сносно говорил по-английски, иногда он просил меня помочь с переводом, и я присутствовал на нескольких официальных встречах. Когда я напомнил ему, что мы можем вместе оказаться на одной фотографии в газете, он только пожал плечами и сказал, что ничего не боится...»

Во время пребывания в Нью-Йорке Ботвинник дал интервью газете «Новое русское слово», появившееся там 2 ноября 1983 года.

На вопрос, как он оценивает нынешнего чемпиона мира, Ботвинник отвечал, что «Карпов, безусловно, является талантливым и сильным практиком. Он рационален в игре и умеет распределять силы на дистанции. Он вообще старается поменьше тратить собственные силы. Когда он стал чемпионом мира, то сумел заставить работать на себя чуть ли не всех творческих шахматистов Советского Союза. Если какой-нибудь мастер был известен своими разработками в области дебюта, его вызывали на сбор или давали индивидуальное задание составить отчет по заданной теме».

Коснулся Ботвинник и своей излюбленной темы: «Творческое начало в шахматах несут исследователи. Начал это Стейниц, продолжил Алехин. А я уже развил шахматное исследование до такой степени, что сумел поставить подготовку шахматиста на научную основу. Из шахматистов-исследователей моего поколения могу назвать Болеславского, Фурмана, Геллера. Из зарубежных — Файна, который сделал значительный вклад в теорию эндшпиля. Из крупных действующих шахматистов к числу исследователей принадлежит Корчной и Гарик Каспаров.

Что же касается Портиша и Полугаевского, то для настоящего исследования у них просто нет таланта. Они могут работать над позицией по несколько часов и даже найти какой-нибудь шах на двадцатом ходу, но это не будет настоящим научным подходом. Конечно, они занимают пятую строчку в мировой шахматной классификации, что уже говорит само за себя, но все-таки это не то. Ни один, ни другой не стал чемпионом мира и не станет им никогда.

Талантливые шахматисты становились чемпионами мира, если у них на пути не было настоящего исследователя, способного отстаивать свои взгляды. Я сумел победить гениального Таля, когда мне было пятьдесят. Это случилось потому, что Таль никогда серьезно не занимался шахматами.

Не умаляя заслуг Петросяна, Спасского и Карпова, могу сказать, что каждый из них во многом обязан своим тренерам Болеславскому, Бондаревскому и Фурману. Их тренеры писали книги и давали пищу умам, а сами чемпионы мира ничего не написали и никому ничего не передали, кроме своих партий, где зачастую использовали чужие идеи.

Что же касается современных знатоков теории, как например, Белявского, его беда заключается в том, что он слишком поздно начал заниматься шахматным исследованием. Он начал активно работать над шахматами, когда ему было восемнадцать, это довольно поздно. Гарик Каспаров начал работать над шахматами по-настоящему, когда ему было десять лет.

Конечно, среди современных гроссмейстеров есть талантливые шахматисты, но никто из них по-настоящему свой талант не развил. Возьмите советских — Белявского, Романишина, Ваганяна, Цешковского, Тукмакова и других, возьмите зарубежных звезд — Любоевича, Тиммана, Сейравана. Кто из них может похвастаться постоянством успехов? Никто! А почему? Потому что они не исследователи.

Только один шахматист позволял себе не работать над шахматами — Капабланка, но он был гениален. Это был самый гениальный шахматист за всю историю шахмат. Поверьте, если бы Капабланка появился сегодня на шахматном горизонте, он бы в течение полугода разобрался в потоке шахматной информации и громил бы современных начетчиков в пух и прах. Настоящий исследователь, будучи даже в плохой форме, может относительно неплохо выступить в турнире только за счет своей техники. Ведь исследователь знает законы трансформации шахматных позиций. Он знает игру в целом. А у современных молодых

гроссмейстеров все исследование заключается в том, что они могут выловить соперника на какой-нибудь отскок ферзя в забракованном варианте. Да и то, через какой-то промежуток времени найдется другой хитрец, который забракует и этот отскок».

Анатолий Карпов вышел тогда из милости у Ботвинника и все свои надежды Ботвинник связывал с другим своим учеником, пришедшим в его школу маленьким мальчиком: «Сегодня Каспаров является единственным, кто может завоевать шахматную корону. Только он в состоянии бороться с Карповым. И бороться ему будет легче, чем, скажем, Корчному. Против молодого Каспарова не будет работать вся шахматная элита, которую сумел организовать в свое время Карпов. И вот мы посмотрим, на что способен Карпов, когда ему не подадут на блюдечке новые идеи. Против Каспарова на голом таланте не выедешь, тут нужна большая и кропотливая работа.

А Карпов сам работать не умеет. Не заставишь же Рошаля, который пишет за Карпова книги, чтобы он разрабатывал шахматную теорию. Впрочем, все это только прогнозы. Каспаров еще довольно молод, хотя рвется в бой, как зрелый муж. С Карповым сегодня никто не носит как с писаной торбой. Сегодня у него есть достойный соперник, который тоже представляет нашу страну, соперник, завоевавший симпатии болельщиков и квалифицированных шахматистов. Думаю, что ситуация складывается не в пользу Карпова, за которого в случае победы Каспарова в матчах претендентов будут болеть только единицы».

Интервью, напечатанное крупнейшей эмигрантской газетой США, конечно, стало известно в Москве и вызвало бурю гнева в высоких инстанциях.

Ботвинник сам прекрасно знал, что живет в стране, где существует две правды, одна — для внутреннего пользования, другая — для иностранцев, тем более для иностранцев из враждебного лагеря. Он пренебрег этим, превосходно зная правила игры и будучи членом партии, поэтому его поведение в глазах начальства было особенно вызывающим.

Если бы он был чемпионом мира, это могло бы еще сойти с рук, как сходило в свое время Спасскому, но Ботвиннику было тогда семьдесят два, он уже давно не играл в шахматы, а его работа по созданию «искусственного шахматиста» мало кого интересовала.

Особенно не понравился откровенно неприязненный тон Ботвинника по отношению к Анатолию Карпову и его откровенные высказывания о том, что тогдашнему чемпиону миру помогает большое число

советских гроссмейстеров. Все это было секретом полишинеля внутри Советского Союза, но он не должен был сообщать эти факты журналистам Запада.

В папке Ботвинника сохранились и другие депеши из КГБ, где ему приписывались «сионистские, паникерские и антисоветские высказывания, делавшиеся им при встречах с иностранцами», но нью-йоркское интервью оказалась последней каплей, переполнившей чашу.

17 мая 1984 года заместитель председателя КГБ Ф. Бобков направил копию интервью с грифом «секретно» заведующему отделом пропаганды ЦК Б. Стукалину. Тот не решился сам принять меры и доложил секретарю ЦК М. Горбачеву.

Уже на другой день это интервью возвратилось к Стукалину с резолюцией Горбачева: «Подумайте, как призвать к порядку т. Ботвинника. Его поведение цинично, совершенно недопустимо с гражданских позиций. М. Горбачев».

Стукалин поручил побеседовать с Ботвинником зампреду Спорткомитета, бывшему высокому чину КГБ Виктору Ивонину, курировавшему шахматы.

Когда Ивонин указал экс-чемпиону мира на недопустимость заявлений, носящих оскорбительный характер в адрес советских шахматистов, Ботвинник, не отказавшись от самого факта интервью, заметив, что часть мыслей он открыто и неоднократно высказывал в публичных выступлениях в СССР, в передаче же других интервьюер допустил вольности.

Несмотря на малые уступки о якобы не вполне точно перенесенных на бумагу его словах, Ботвинник в кабинете начальства держался твердо, и рапорт Ивонина о нераскаившемся и «не взявшем ход назад» экс-чемпионе мира пошел по инстанциям.

В связи с «непониманием» Ботвинником претензий со стороны руководства Стукалин наложил резолюцию «Полагаем целесообразным впредь ограничить зарубежные поездки Ботвинника М.М.». Резолюция была одобрена Горбачевым, и Ботвинник до начала перестройки не выезжал за границу.

В конце пятидесятых годов в советских шахматах возникла дискуссия: являются ли шахматы искусством? Или это чистый спорт? Или, может быть, наука? Тон дискуссии задал Василий Панов, сославшийся на Маркса, утверждавшего, что искусство отражает объективную реальность, а какой же реальностью является абстрактный мир шахмат?

Было сломано немало перьев, когда точку над I решил поставить сам чемпион мира. Ботвинник написал статью, так и называвшуюся «Искусство ли шахматы?», и лично принес ее в редакцию журнала «Шахматы в СССР». Основным мотивом статьи было: шахматы отражают работу головного мозга, а тот является объективной реальностью, поэтому противоречия с учением Маркса здесь нет никакого.

«Так же как основой искусства для музыканта-композитора, — писал Ботвинник, — является океан звуков, так и основой искусства для шахматного мастера является океан логических умозаключений! Не случайно В.И. Ленин считал, что шахматы “гимнастика ума” — краткое, но меткое определение, иначе говоря, В.И. Ленин считал, что главное в шахматах не фигурки и доска, а то, что они связаны с тренировкой, работой человеческого мозга.

Итак, на мой взгляд, шахматная партия потому и отражает реальность, что она отражает творческую, логическую сторону мышления человека. Поэтому, принимая во внимание силу их эстетического воздействия, а также популярность на земном шаре, мы вряд ли допустим ошибку, если будем считать шахматы искусством. Да, шахматы наших дней являются одновременно и игрой, и искусством. Они, видимо, стали искусством тогда, когда появились подлинники художники и публика, способная ценить красоту шахмат». И т.д. и т.п.

Ознакомившись со статьей, М.М. Юдович, фактически исполнявший роль редактора, сказал Ботвиннику, что статья крайне интересная, но он должен завизировать ее в Институте марксизма-ленинизма. Юдович был много лет на этой работе и прекрасно знал, что может случиться, когда цитирование авторов такого ранга не понравится в высших инстанциях. Из Института марксизма-ленинизма пришел уничтожающий отзыв: голая схоластика и демагогия, публиковать статью нельзя ни в коем случае.

Реакция Ботвинника? Он смертельно обиделся на сотрудников журнала и, посещая Клуб на Гоголевском, принципиально не заходил в редакцию.

Он мог прервать контакт на год, два, а то и на больший срок, и были люди, которые могли бы порассказать о крайне извилистых отношениях с Патриархом.

«Сегодня какое число? — спрашивал Ботвинник у собеседника, — 8 мая? Так вот до 8 мая следующего года мы с вами не разговариваем...» При этих словах телефонная трубка клалась на рычаг и какое-либо

общение до объявленной им даты было исключено. Такое наказание пришлось однажды испытать на себе и Батуриному.

Другим он прекращал подавать руку. Доходило до комичного. «Простите, — говорил М.М., покашливая, если подходил к кому-нибудь, с кем был в хороших отношениях, но замечал рядом попавшего в категорию нерукопожимаемых, — я сегодня несколько нездоров...» Тем самым он избегал подавать руку кому-нибудь вообще.

Была у него и более суровая кара. Рассказывали, как кто-то, будучи у него в гостях, неосторожно упомянул за обедом фамилию Бондаревского. Ботвинник медленно поднялся, подошел к письменному столу, выдвинул ящик, извлек из него лист бумаги с каким-то списком: фамилии этих людей в моем доме не произносятся.

Но если был к кому-нибудь расположен, стоял за него горой. Тем более если считал другом. Григория Гольдберга Ботвинник знал с детства и доверял (как и Рагозину) безоговорочно. Когда в конце войны Гольдберг сильно проштрафился и на нем повисло тяжелое уголовное дело, Ботвинник предпринял все, чтобы спасти его. Кто бы сделал это на его месте? Тогда ведь записочки «Если Никий невиновен, отпусти его; если виновен, отпусти его ради меня. Как бы там ни было, все равно отпусти», написанной спартанским царем правителю, задержавшему его друга, было недостаточно: времена и нравы в Советском Союзе были посуровее царивших в древней Греции.

Когда Борис Гулько с женой Анной Ахшарумовой, любимой ученицей Ботвинника, решили эмигрировать из Советского Союза, Ботвинник пригласил обоих к себе домой.

Вспоминает Гулько: «Великий шахматист принял нас в своем кабинете. Я знал из опыта, что единственной формой общения, которой владел Ботвинник, был монолог. Впрочем, я и пришел послушать Ботвинника, а не уговаривать его уезжать. “Советские шахматисты — лучшие в мире, и с этим, я надеюсь, вы спорить не станете, — начал Ботвинник, строго посмотрев на нас. — А потому, если вы согласитесь остаться, я готов пойти в ЦК КПСС и добиться, чтобы к вам — Ботвинник обратился ко мне, — относились так же, как к Романишину”»*.

Не знаю, как отнеслись бы к его просьбам наверху, но уверен, что слова Ботвинника не были пустыми обещаниями, и что он действи-

* Олег Романишин был тогда одним из ведущих гроссмейстеров Советского Союза и обладал всеми вытекающими отсюда правами, включая участие в международных турнирах, чего автоматически лишился Гулько после подачи документов на эмиграцию.

тельно отправился бы в ЦК и стал бы уверять, что «образумившегося» гроссмейстера не следует больше третировать, и что это только повысит статус советских шахмат и всего советского спорта.

После того как Ботвинник в первый раз в двадцатилетнем возрасте стал чемпионом Советского Союза, обращения к власти имущим, телефонные звонки, письма и просьбы стали для него обычным явлением.

Он не раз обращался к Крыленко, Косыреву, Жданову. К уже упоминавшемуся Подцеробу, министру электростанций Жимерину.

В более поздние времена к Ботвиннику очень благоволил Тяжельников, секретарь ЦК ВЛКСМ, потом заведующий отделом агитации и пропаганды в ЦК. Были у него и другие заступники.

Далеко не всегда он обращался наверх с личными вопросами. Нередко речь шла о проблемах советских шахмат, которые Ботвинник, впрочем, почти всегда отождествлял с собственными.

Например, вопрос о получении разрешения на постройку дачи в Подмосковье, может ведь чемпион мира по шахматам иметь пристойные условия для подготовки и отдыха? Разве он, как и его знаковые музыканты, не защищает тоже честь социалистического отечества?

Как посмотреть на эти письма, просьбы, телефонные звонки, о которых он, не стесняясь, (наверняка не обо всех) написал в своих мемуарах? Будущему историку, исследующему то удивительное, жестокое время, предстоит еще дать оценку и людям того времени. И тем, чьи «личные интересы совпадали с общественными», как он неоднократно говорил о себе. И тем, чьи не совпадали.

Льюис Кэрролл, отличавшийся в жизни абсолютной честностью и безупречным поведением, сказал однажды: «Если ограничивать свои действия и поступки таким образом, чтобы никто и никогда не мог вас ни в чем упрекнуть, не очень-то много в своей жизни вы сумеете сделать».

Михаилу Ботвиннику довелось жить не в безмятежное время викторианской Англии, читая лекции по математике в оксфордском колледже и придумывая чудесные детские сказки. Он жил в советской России сталинского и послесталинского периода.

Как и любую публичную фигуру того времени, его найдется в чем упрекнуть. Особенно, глядя на него из начала XXI века, когда нравы и обычаи того периода кажутся едва ли не сюрреалистическими, а поступки, стоившие тогда мучительных раздумий и бессонных ночей, вызывают сегодня непонимание и равнодушное поднятие плеч.

Повторю еще раз – у него не было стадного чувства. В создании шахматной программы, которой он посвятил последние девятнадцать лет жизни, он тоже шел своим путем, отвергая «брут форс» (термин, всегда употребляемый им самим), за что ратовали американские программисты.

Веру в программу, принцип действия которой основан не на переборе ходов, а на «искусственном интеллекте», Ботвинник сохранил до самого конца. За десять дней до смерти, 24 апреля 1995 года, он продиктовал следующий текст.

Шахматный компьютер разумный *(Chess computer sapiens)*

Данная работа основывается на гипотезе Эшби, что компьютер способен принимать решения по методу человека; а также на предложении Шарона о проверке этой гипотезы путем составления шахматных программ. Сотни программ, составленные за последние десятилетия по методу «полного перебора», не дали научных результатов.

Лишь одна небольшая группа – сейчас в нее входят руководитель, его заместитель, два математика (нужен третий) и технический работник – работает над программой, моделирующей поиск хода шахматным мастером. Метод мастера познан: сражение на всей доске разбивается на множество местных (образуемых небольшими «цепочками фигур»). При этом выделяются наиболее важные цепочки; с помощью небольшого перебора ходов они оцениваются, что и определяет разумный ход в партии.

Сейчас завершается «программа цепочки» – остальное будет сравнительно простым делом. К сожалению, руководитель заболел, но математики настолько овладели данной научной темой, что смогут закончить всю программу самостоятельно.

Это будет большое событие, которого в научном мире ждут уже не один год, также и в корпорации Хьюлетт Паккард, поставившей компьютерное оборудование, в том числе новейший Пентиум.

Последние годы работу поддерживал Комитет по информатизации, но с нового года финансирование прекращено (у Комитета денег нет). Если в ближайшее время не будет оказана необходимая финансовая поддержка, работа будет закрыта. В случае же ее успеха, дискеты с этой шахматной программой будут пользоваться широким спросом во всем мире.

Идеи Ботвинника по созданию шахматной программы, функционирующей по принципу «мыслящего человека», оказались на сегодняшний день ошибочными. Программы, побеждающие сильнейших гроссмейстеров мира, функционируют по принципу «брут форс», и оппоненты Ботвинника торжествуют победу. Но каким окажется будущее?

В наши дни идет углубленная работа по созданию программы, отсекающей при переборе ходов бессмысленные варианты. Программы, действующей по принципу самого сложного прибора, придуманного природой – человеческого мозга. И кто знает, может быть, в процессе этой работы ученые вернутся к идеям Михаила Ботвинника, даже если первые шаги в этом направлении оказались отвергнутыми?

Об этом говорили в фильме «Спасти СССР. Идея Ботвинника» (2005) его коллеги, профессора и академики, люди, сталкивавшиеся с ним не на поприще шахмат. Ботвинник мечтал спасти от развала советскую экономику с помощью мощного компьютера, и проект «Пионер» должен был помочь ему в этой цели. Страсть, с которой он боролся за идею, казущуюся ему правильной, он сохранил до последних дней. Последнее публичное выступление Ботвинника состоялось 13 апреля 1995 года, ему оставалось жить меньше месяца.

«Когда экономикой управляет компьютер, на нее не влияет ни чиновник, ни бюрократ, ни рэкет, – сказал тогда Ботвинник. – Понятное дело, у администрации эта программа не пройдет. Они часть власти не отдадут компьютеру. Им это невыгодно. В 1993 году я ходил в Совмин, там чиновник мне сказал: “Я бы эту вашу работу запретил”. Эти в моей работе не заинтересованы».

Рецензент фильма сокрушался, что зрителю не был показан «психологический надрыв, слом личности главного героя», что на «трагическую грань жизни и творчества последнего спасателя СССР внимания не обратили».

Он писал, что «это чудовищное по своей сути раздвоение личности стало весьма характерным недугом ряда поколений советских интеллектуалов, которые проведя практически всю свою жизнь за «железным занавесом», вдруг в начале 90-х увидели своими глазами совсем другой, огромный мир... Вскочить на подножку уходящего поезда удалось тогда не всем. Михаил Ботвинник оказался в числе опоздавших...». После чего делал вывод: «в этом нет его вины, а есть его беда, боль и трагедия».

Незнакомый с героем фильма, критик ошибается самым решительным образом.

Михаил Моисеевич Ботвинник не был ни в коем случае раздвоенной личностью. Наоборот, это был на редкость цельный человек. Со всеми своими заблуждениями, комплексами, очень часто наивными представлениями, как следствие — неверными выводами, но исключительно цельный и целеустремленный.

Ему было жалко, что экономика огромной страны разваливается и развалилась-таки на его глазах, а горечь он испытывал от того, что одновременно разрушилось огромное здание советских шахмат, возводившееся при его непосредственном участии.

И если кому-нибудь было действительно обидно за державу, это был Ботвинник. Державу, которой он принес звание чемпиона мира, которая дала ему все, и за судьбу которой он чувствовал себя лично ответственным.

Последние годы жизни, нелегкие для каждого, усугубились для него обстановкой в России конца восьмидесятых, но я не помню Ботвинника жалующимся на болезни, трудности, тяжесть бытия. В самый тяжелый перестроечный период он был несколько дней в Амстердаме. Когда у него спросили о пустых полках в магазинах и огромных очередях, он удивился: «Какие трудности? Я ничего такого не заметил, у меня, например, пять кило сахара в шкафу припасено...»

Это было не только глубоко укоренившейся привычкой не говорить о проблемах страны с иностранцами. И не только самообманом, спрятанным настолько глубоко, что и самообманом его назвать было бы неверно: он стал уже свойством натуры. Здесь была и гордость, которая всегда была присуща ему: он был Ботвинник.

Однажды он отказался играть в международном турнире, заявив, что его по-настоящему и не пригласили. Когда работавший в федерации Бейлин пытался возражать, сказав, что переслал ему приглашение, как и всем другим гроссмейстерам, последовала короткая реплика: «Я не все. Я — Ботвинник».

Эту планку он задал себе сам. Задал в детстве и держал ее всю жизнь. Он был Ботвинник.

После эмиграции в 1972 году мое имя не могло появляться в печати Советском Союзе. Три года спустя в январе 1975 года Ботвинник выступал в ленинградском Лектории на Литейном проспекте. Зал был переполнен: чемпионом мира был тогда Фишер, и шансы Карпова в матче с американцем волновали многих. После лекции Ботвинник отвечал на вопросы. Развернув записку с текстом: что Вы думаете о

шахматисте, который в настоящий момент лидирует на турнире в Вейк-ан-Зее? — он, выдержав паузу, задал ответный вопрос: «Вы думаете, я побоюсь произнести фамилию Сосонко?» И добавил: «Мне кажется, что неправильно было бы давать характеристику шахматисту на основании одного турнира, тем более турнира, который еще не закончен...»

Варлам Шаламов писал, что в лагере понял, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов. Михаил Моисеевич Ботвинник не был трусом.

В 1991 году в Брюсселе он вел переговоры с представителями американской фирмы, готовой спонсировать его проект. Американцы предлагали пятьсот долларов в месяц каждому сотруднику (может быть, тысячу, сейчас не помню).

Ботвинник твердо стоял на своем: мои ребята должны получать заработную плату, соответствующую американским стандартам, другими словами, в разы больше.

Американцы, превосходно осведомленные, что сто долларов в месяц считались тогда в Москве вполне пристойными деньгами, тоже не сдвигались с места. Так все и кончилось ничем.

Когда я спросил Ботвинника, будут ли довольны ребята его отказом, он продолжал повторять, что они специалисты и должны получать соответственно, что он бывал в Америке и знает, сколько получает там приличный компьютерщик. На мое робкое вяканье, что цены на жилье, питание и прочее в Соединенных Штатах разнятся с российскими, он не обращал никакого внимания.

Он был мрамором, не поддававшимся на бесспорные аргументы: Ботвинник их попросту не слышал или не обращал никакого внимания, и переубедить его было невозможно. Хрусталь логических доводов отскакивал от уже сложившегося мнения и разбивался вдребезги, а на мраморе не оставалось и зазубринки.

Тот, кто мог выдержать диалог с принявшим для себя самого решение Ботвинником, должен был быть испытан в семи водах и в бесчисленных огнях. Да и диалогом общение с ним назвать можно было с огромным трудом, разговор напоминал две не пересекающиеся в пространстве линии.

У него всегда обо всем есть собственное мнение, оно, конечно же, единственно правильное.

Если речь заходит о классической музыке, он называет пьесу Прокофьева, о существовании которой не знают даже специалисты, а

модный в годы его молодости чарльстон танцует, разумеется, лучше Галины Улановой.

Когда Вениамин Каверин пишет «Два капитана», он обращается за советом к Ботвиннику.

Дату нападению Германии на Советский Союз в 1941 году он тоже знает заранее: ленинградский шахматный деятель С.О. Вайнштейн слушает немецкое радио и в курсе дела: 22 июня!

Однажды на даче возникли какие-то проблемы с водопроводом. Облачившись в рабочую одежду и открыв крышку люка, Ботвинник осторожно спустился вниз с гаечным ключом: ждуть, когда приедет водопроводчик, да и что он понимает? Проходивший мимо Агентов-Александров, помощник Брежнева, живший на соседней улице, вежливо обратился к голове, торчащей из люка: «Простите, пожалуйста, у меня тоже в последнее время какие-то перебои с подачей воды, вы не взглянете и у меня, когда освободитесь?...».

Во время поездки в Германию водитель БМВ, мчавшейся по авто-страде со скоростью 200 километров в час, пожаловался на усталость. Ботвинник: «Немедленно снимайте туфли. Так поступают советские водители ночью при дальних поездках...» Шофер следует совету и восклицает: «Сразу же стало легче!» Комментарий Ботвинника: «Доехали благополучно».

Что это? Гены? Характер? Или таким сделала его невероятная, не-описуемая популярность шахмат в то время в Советском Союзе? Немного было тогда в стране чемпионов мира, но Ботвинник... Ботвинник — это было нечто особое.

Школьником приехал я впервые из Ленинграда в Москву, получив предварительно инструкцию от живущего там дяди: «Выйдешь из вокзала, возьмешь Ботвинника, скажешь водителю...» Машины таксомотора с орнаментом черно-белых шашечек так и назывались тогда на московском жаргоне — «ботвинниками».

Соседом Ботвинника по даче был писатель Ф. Панферов, имя которого вряд ли скажет что-нибудь сегодняшнему читателю. Автор классического советского романа «Бруски», Панферов был одним из столпов советской литературы, но страдал от традиционной русской болезни. Каждое утро с тяжелой головой Панферов выходил на балкон и кричал в сторону соседской дачи: «Ботвинник! Ты умный человек!»

Доктор наук, разгадывающий замыслы любого соперника в самой интеллектуальной игре — кто может быть умнее его? Ботвинником восхищались, его ставили в пример, ему подражали. Это не могло не

вызвать обратную реакцию: Ботвинник стал чувствовать себя непре-рекаемым авторитетом и на других поприщах.

Надо быть философом, чтобы, добившись успеха, пусть и колос-сального, в одной конкретной области – откровенно признаться в ма-лой компетентности в других. Особенно если тебе все смотрят в рот и ожидают откровений. Философом он не был.

Не могу припомнить в его речах и самоиронию, что было, напри-мер, так присуще Талю. Для Ботвинника была характерна скорее са-мокритичность и трезвая оценка.

Мог сказать: «Прошу критически отнестись к моим высказывани-ям, ведь известно, что пожилые люди обычно считают, будто раньше все было лучше...» Это безжалостная констатация факта, но чтобы иронизировать и смеяться над собой?

Популярность его была настолько высока, что даже шахматисты, не знавшие или плохо знавшие его лично, полагали, что он должен из-рекать выдающиеся вещи не только об образовании проходных на раз-ных флангах в разноцветнослоновом эндшпиле. Сталкиваясь поближе с Ботвинником, они бывали разочарованы, услышав вещи, казавши-еся им прозаическими, и категорическое неприятие их собственных суждений.

Илья Кан, игравший с ним тренировочные партии в Подмосковье, сообщил однажды коллегам: «Ботвинник полагает, что он чемпион мира не только в шахматах. На самом деле во всем остальном он самый обыкновенный еврей».

Не могу согласиться с этим. Во многих областях, помимо шахмат, был он человеком довольно ограниченным, к тому же очень свое-нравным, упрямым, нередко изрекавшим банальности, порой и глу-пости, но обыкновенным евреем?

Обыкновенные евреи не пишут писем в ЦК о внешней и внутренней политике государства, о решении израильско-арабского конфликта и о мерах, необходимых для предотвращения Третьей мировой войны.

Однажды гроссмейстеры, члены команды «Буревестник», обсужда-ли человеческие качества Ботвинника.

«Сухарь», – сказал один. «Бездушный, твердолобый», – добавил другой. «Жесткий, бессердечный», – подал реплику третий.

С ними не согласился Лев Альбурт: «А мне вот кажется, что он сов-сем не такой. Если он к кому-нибудь хорошо относится, он и помочь может. Знаю, что и помогал. Ботвинник и за стаканом вина может за-сидеться, и вообще, человек он эмоциональный, теплый...»

Василий Васильевич Смыслов, присутствовавший при разговоре, прервал Альбурта: «Вы это говорите, Лева, потому что никогда не стояли на пути Михаила Моисеевича...»

Кто прав был из них? Смыслов? Гроссмейстеры, видевшие Ботвинника несколько раз в жизни и знавшие его больше понаслышке? Альбурт?

Повторю трюизм мудреца: все мы сделаны из кусочков. Но кусочки, из которых был сделан Ботвинник, были настолько пестрыми, что многие, поддавшись на внешние эффекты, стали рассматривать отдельно взятый лоскуток как весь кусок материи.

На самом деле палитра человеческих качеств Ботвинник была много богаче оттенками и полуоттенками, чем это казалось и его недругам, и даже тем, кто ощущал его благосклонность, кто был близок к нему, чтобы избежать слова «дружил», плохо вяжущееся с его образом.

Даже для небывалого разнообразия типов, созданных той ушедшей цивилизацией, даже на фоне огромного человеческого муравейника советского периода российской истории, его личность выделялась своей необычностью.

В конце жизни он почти ослеп и переходил улицу, ориентируясь на людские тени: когда тени начинали двигаться, начинал движение и высохший, седой как лунь старик, каждый день, независимо ни от чего приходивший на работу на Гоголевский.

Созданный из вещества, не растворяющегося ни в какой среде, он не изменился ни на йоту. Титан шахмат, он был титаном, не растворившимся ни в крепчайшей азотной кислоте советского режима, ни в значительно менее сильных растворах перестроечных лет.

Весной 1994 года он получил приглашение быть главным судьей турнира «Кремлевские звезды» по быстрым шахматам. Чтобы переговорить с Патриархом, в Клуб приехал Гарри Каспаров.

Ботвинник отказался наотрез, еще раз заметив, что быстрые шахматы несут смерть игре, а когда чемпион мира стал уверять его, что в турнире принимает участие едва ли не сотня гроссмейстеров и даже сам Смыслов, отчеканил: «А мне наплевать на мнение большинства! Я привык жить своим умом!»

За несколько месяцев до смерти позвонил Юрию Сергеевичу Разуваеву. Голос Ботвинника звучал очень слабо. Объяснение дал сам Патриарх, и его слова гроссмейстер запомнил очень хорошо: «Вы знаете, Юра, я только вчера вернулся домой — медленно произнес Бот-

винник, — и только теперь понял, почему я живу так долго: никогда в своей жизни я еще не был в советской больнице. Никогда...»

До самого конца он был озабочен земными, мирскими делами, а распоряжения, отдаваемые им едва ли не за несколько часов до смерти, были сродни наказам умирающего крестьянина патриархальной России: тебе зипун, тебе пила, тебе жеребеночек — не устраивать пышных похорон, не приглашать шахматистов, которые пошли по осуждаемому им пути, кремировать тело, урну поставить рядом с урнами матери и жены.

Это поведение материалиста, кем он себя всегда с гордостью называл. Оно говорит не только о его мировоззрении, но и объясняет во многом и его успехи в шахматах.

Он понял, что для игры, пусть и основанной на логике, конечной целью является победа над соперником, и твердость и решительность не менее важны, чем талант.

Любой камешек сомнения, попавший в мыслительные жернова во время партии, может привести к поломке всей машины. Ботвинник понял, что от мыслей — так ли живу? то ли делаю? — вырастает губительное для шахмат самоедство, самобичевание из-за неугаданного дебюта, неверно выбранного плана, не сделанной на предыдущем ходу форточки, а то и совсем губительное — зачем вообще играю в шахматы?

Он пишет о своем тесте, человеке в себе неуверенном, постоянно заглядывавшем в изданную в еще дореволюционной России книжечку «Сила мысли в деловой и повседневной жизни».

«Когда Давид Георгиевич предложил мне ее прочесть, — вспоминает Ботвинник, — я лишь расхохотался...» Молодой Миша Ботвинник сам мог бы прочесть лекцию, и не одну, о том, что такое сила мысли, воля к победе, целеустремленность и уверенность в себе.

Задолго до того, когда термин «программировать» стал общеупотребительным, он программировал себя на борьбу за шахматной доской. Рационализм во всем. Мелочей нет. Все подчинено одной цели: победа!

Трудное вхождение в партию? Занять место за столиком за десять минут, а то и за четверть часа до пуска часов. Создать обстановку, максимально приближенную к боевой. Пусть соперники, беседующие друг с другом перед началом тура и отпускающие шуточки, думают все что хотят; он настраивается на борьбу.

После окончания собственной партии никогда не оставаться на сцене и уж тем более не заходить в пресс-центр. Предаваться бессмысленной болтовне с журналистами, давать интервью во время турнира?

Пустая трата времени, тем более что соперники могут почерпнуть из его слов какую-то информацию.

Концерт после открытия турнира или матча? Оставаться глазеть на артистов, пусть пришедших и ради него? С какой стати, это что — написано в регламенте? Жеребьевка состоялась, цвет партии определен. Подготовка, ужин, сон: на следующий день начинается борьба.

Идти на партию пешком, по возможности избегая оживленных улиц. Желательно полчаса. Секс во время турнира? Избегать! — теряется фосфор, столь необходимый для мыслительного процесса. К тому же накапливается дополнительная усталость.

Газет — не читать. Большинство журналистов ничего не понимает в шахматах и пишет глупости. А те, кто понимает, в глубине души, наверное, желают ему поражения, он знает эту братию. Но не забыть после турнира просмотреть все, что появилось в прессе: все взять на заметку и сделать выводы.

Оглядываясь на его жизнь, спросишь поневоле — когда зародился этот феномен, этот характер? На каком огне выковалась эта железная воля, эта вера в себя? На чем зиждилась эта граничащая с паранойей подозрительность? Эта мнительность и безапелляционность? Это упрямство и недоверие? Эта вера в свое предназначение?

Конечно, можно сказать, что все от родителей, от упрямца-отца, у которого «характер был жесткий, если ему казалось что-то справедливым, то стоял на этом до конца», — как в конце жизни говорил сам Ботвинник. Или, начав лепить себя в детстве, он шаг за шагом изваял себя сам?

В полуфинале первенства Ленинграда 1926 года только победитель получал право играть в главном турнире, и Миша должен был обязательно выиграть у своего конкурента. Партия получилась затяжная и была отложена в выигранном для мальчика ладейном эндшпиле.

«Мой партнер решил использовать последний шанс, — вспоминал Ботвинник. — Окольным путем он сообщил, что если партия закончится вничью, в финал мы будем приглашены оба. А вдруг 14-летний малец поверит? Я не поверил!»

Он не поверил. Не поверил! Как не поверил Сало Флору, сообщив тому на всякий случай другой записанный ход в решающей партии на первенство мира по шахматам. Как не верил своим спарринг-партнерам и тренерам, получая от них под расписку анализы отложенных партий иговоривший с ними по телефону на каком-то шифрованном

языке. Как не поверил рижским врачам, представившим справку о болезни Таля перед матч-реваншем 1961 года. Как не верил многим, многим другим.

Ему было одиннадцать, когда его отец и мать расстались.

«Я вообразил себя в семье главным и требовал, чтобы мама и брат меня слушались, — вспоминал в конце жизни он сам. — Сначала они относились к моим претензиям снисходительно, но однажды взбунтовались. Тогда я схватил стакан: “Или по-моему, или стакан разобью”. Стакан я в азарте прикончил, но на этом и завершилась тирания младшего сына».

Характерная откровенность, но, следя за канвой его жизни, за решениями, им принимаемыми, его поступками, его рассуждениями, закрадывается сомнение: ой ли? Так ли уж завершилась тирания Миши? Действительно завершилась? Или перешла во что-то другое? Так ли легко было с ним его тренерам, его коллегам? Его домашним?

Когда в 1915 году ему едва исполнилось четыре, в Петроград приехал из деревни под Витебском дедушка, мамин отец. Посадив маленького Мишу на колени, он стал о чем-то тихо разговаривать с внуком. После беседы дед сказал: «О, этот мальчик будет ого-го...»

Старик из Креславки не ошибся.

Кроме Стейница, умершего до его рождения, он играл со всеми чемпионами мира ушедшего века — Ласкером, Капабланкой, Алехиным, Эйве, Смысловым, Талем, Петросяном, Спасским, Фишером, а Карпов, Каспаров и Крамник были его учениками.

Не думаю, что слова Таля: «Все мы вышли из Ботвинника», сказанные после матча 1960 года, явились реверансом побежденному сопернику.

Фундамент советской шахматной школы, давшей великих чемпионов, как бы ни открещивались от нее впоследствии некоторые из них, был заложен Михаилом Ботвинником.

Начиная со Смылова и кончая Крамником, все они «вышли из Ботвинника». Ботвинник научил их играть в профессиональные шахматы, научил правильной подготовке, постановке дебюта, психологическим аспектам борьбы, научил тренировать волю, нервы и много чему еще.

Конечно, все устаревает, даже идеи, бывшие когда-то новыми и революционными. Ставятся под сомнение законы физики, считав-

шиеся когда-то непреложными, чего же требовать от конечной математической задачи на 64-х черно-белых квадратах? Все так. Но даже если с помощью сверхмощных компьютеров эта математическая задача будет разрешена окончательно, метод Ботвинника, его подход к шахматам будет существовать до тех пор, пока в них соревнуются люди.

Его образ все больше покрывается патиной, как на недавно открытом барельефе в Клубе на Гоголевском, где он, сморщенный и не похожий на себя, обдумывает ход в партии с Алаторцевым.

Владимир Алексеевич Алаторцев (1909-1987) был сильным мастером, до войны входившим в десятку ведущих в стране (гроссмейстерское звание присвоено в 1983 году по результатам довоенных турниров). Личный счет у Ботвинника с Алаторцевым 9:1 (две ничьи). Но дело не в счете: при жизни обоим никому и в голову не могло прийти сравнивать их, тем более рассматривать как конкурентов.

Сегодня же Алаторцева объявили «великим гроссмейстером» и «основным конкурентом» Ботвинника. Об этом в день открытия ему мемориальной доски сообщили СМИ России, включая шахматные.

Вполне в духе времени: в стране непредсказуемого прошлого не остались в стороне и шахматы: под барельефом нет даже его имени, и можно только догадываться, что это Ботвинник. Не только на барельефах, но и в книгах все чаще на ведущие позиции выдвигаются второстепенные, порой маргинальные фигуры, при жизни стоявшие глубоко в тени Ботвинника.

Но даже в сегодняшней век беспамятства шахматную память невозможно приватизировать: результаты Ботвинника, его творчество говорят больше, чем доморощенные исследования и выпады против него кого бы то ни было.

В отличие от политики, опрокинутой в прошлое, история шахмат всегда пишется набело и ни обжалованию, ни пересмотру не подлежит. Михаил Ботвинник находится еще в пространстве «ближней памяти», еще живы знавшие его лично. И даже если они уйдут, останутся турнирные таблицы и партии, игранные одним из самых выдающихся чемпионов за всю историю шахмат.

Многое из фактов биографии и черт характера Михаила Моисеевича Ботвинника в этом повествовании может показаться ненужным. К чему об этом рассказывать? Речь ведь идет о великом шахматисте; он перестает быть таковым в каждодневной жизни,

сведения или рассуждения о нем не убавят и не прибавят ничего к его славе.

Соглашусь. Человек его калибра не нуждается ни в славословии, ни в осуждении. Он требует гораздо более трудного: понимания. Это понимание невозможно без понимания невероятного, ни с каким другим не сравнимого времени, в котором ему было суждено жить. Пока же, вспомнив Михаила Моисеевича Ботвинника, повторим вслед за Вяземским: «Признаюсь, мне отрадно было писать эту картину и улавливать в ней принадлежности и подробности, которые могут посторонним зрителям казаться неуместными и лишними. Но я сам имею свой уголок в этой картине: и я был в ней действующим лицом».

Шахматы XXI века изменились невероятно, став другой, совершенно другой игрой. Но творчество Михаила Ботвинника, методы его подготовки, страстное отстаивание своей правоты, даже его ошибки и заблуждения, не застыли в истории навсегда. Его идеи продолжают жить и не оставляют нас равнодушными.

АВГУСТ 1991 ГОДА

«Глубокоуважаемый Михаил Моисеевич!

Сердечно поздравляю Вас с восьмидесятилетием. Вы стали первым советским чемпионом мира по шахматам, в течение многих лет одерживали великолепные спортивные и творческие победы, внесли неоценимый вклад в воспитание шахматной смены. Служение шахматному искусству Вы постоянно сочетаете с большой научной работой, в которой хочется пожелать Вам наилучших результатов и творческого удовлетворения.

Дорогой Михаил Моисеевич, здоровья, благополучия и успехов Вам во всех Ваших начинаниях.

М. Горбачев

Москва, 17 августа 1991 года».

Эту телеграмму вместе с бутылкой шампанского утром 17 августа 1991 года вручил Ботвиннику в брюссельской гостинице SAS посол Советского Союза в Бельгии.

Шаблонные, мало говорящие слова, интересные только тем, что написавшему, вернее, подписавшему их, первому и единственному президенту Советского Союза оставалось находиться у власти сорок восемь часов. Равно как и самому государству, хотя официально оно прекратило свое существование только в декабре.

В Брюсселе проводились четвертьфинальные претендентские матчи на первенство мира, и Ботвинник был приглашен в Бельгию в качестве почетного гостя. На матчах былолюдно: помимо участников – Карпова, Ананда, Корчного, Тиммана, Юсупова, Иванчука, Гельфанда, Шорта, в турнирном зале можно было увидеть секундантов гроссмейстеров, тренеров, комментаторов, журналистов, многочисленных гостей.

Днем 17 августа Ботвинник дал интервью еженедельнику «Свободная Голландия». Ответы юбиляра я слышал уже не раз, за исключением вопроса о роли Горбачева и об изменениях, происходящих сейчас

в Советском Союзе. Отвечая на этот вопрос, Патриарх только пожал плечами: «Вы хотите, чтобы я критиковал человека, который только что прислал мне поздравительную телеграмму с днем рождения?..»

Вечером следующего дня был пышный банкет в его честь.

Речи. Цветы. Подарки. Именник, дующий на свечи огромного торта. Оркестр, играющий «Happy birthday to you». Вспышки фотоаппаратов, кинокамеры. Он стоял, склонив мраморную голову, я представлял ему выстроившихся в длинную очередь поздравлявших, переводя пожелания здоровья и долгих лет. Изредка улыбка появлялась на его лице, он с поклоном благодарил, кого по-английски – сэнк ю вери мач, кого по-голландски – данк ю вел.

Устав от повтора однообразных поздравлений, я, усилив голос внушительно-уважительными интонациями, произнес: «Михаил Моисеевич – это Том Ботема!!» И представил юбиляру молодого голландского демонстратора, которого Михаил Моисеевич не знал и знать, конечно, не мог.

Подняв голову и с видимым уважением повторяя: «О! Ботема! Ботема!...» – Ботвинник долго тряс руку опешившего Тома, и потом еще несколько лет в голландских шахматных кругах того называли не иначе как «О! Ботема!».

С Томом, уже много лет бессменным шефом пресс-службы Корус-турнира, мы вспоминаем иногда тот вечер и то незабываемое время: О! Ботема!

Потом Патриарх поднялся на балкон, я переводил как мог ответную благодарственную речь его, а на следующий день мы смотрели прямую телетрансляцию из Москвы пресс-конференции ГКЧП.

Голландский журналист, задержавшийся в Брюсселе, взмолился о продолжении интервью. Неожиданно легко Ботвинник согласился.

«Вы только что получили телеграмму от Горбачева. Сегодня он находится под домашним арестом. Власть в стране в руках Временного комитета. На улицах Москвы танки. Что вы скажете по этому поводу?»

«Телеграмма от президента Советского Союза – большая честь для шахмат, – отвечал Ботвинник. – Это не имеет ничего общего с политикой. У меня есть только два желания. Первое: чтобы не началась гражданская война. Второе: чтобы в стране улучшилась экономическая ситуация. Что же касается танков, то их, как я понимаю, не ис-

пользуют ведь против гражданского населения. Это вопрос политики. Все, что сейчас происходит, следствие перестройки. Перестройка резко ухудшила ситуацию в Советском Союзе. Из-за Горбачева и Ельцина нас теперь ожидает голод.

Волнуюсь ли я? Я советский человек и меня, конечно, интересует все, что происходит в Советском Союзе. Я беспокоюсь о судьбе советских людей, но пока ведь нет речи о гражданской войне? А то, что люди дискутируют с танкистами, так ведь никто же не стреляет. До тех пор, пока никто не стреляет, мы можем быть спокойны. Вы говорите, что Горбачев в Крыму? И что? Я не раз бывал в Крыму, это прекрасное место для отдыха.

Как Запад должен реагировать? Это дело Запада, я не должен ломать голову над этим. Единственный совет, который я мог бы дать: ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны.

Нет, я не дипломатичен в своих ответах, я говорю, что думаю. И никогда не ставил свою подпись под коллективными письмами. Никогда! Я не подписался ни под письмом в защиту Анджелы Дэвис, ни под коллективным письмом советских гроссмейстеров, осуждавших Корчного. Это не в моих привычках — подписываться под письмами, где выражены мысли других.

А то, что я не выказываю эмоций, так сейчас не время их выказывать. В Советском Союзе было всего довольно, в настоящее время у нас нет ничего. Экономическая ситуация в стране катастрофична. Да, то, что происходило в стране в последние шесть лет, мне не нравится...

Вы говорите, что один из первых введенных декретов комитета — декрет о цензуре? Отлично. Это надо было сделать давно. Запрещены забастовки? Тоже понятное решение.

Я не специалист в делах политики. Я смотрю только на результаты, и результаты эти катастрофичны. Горбачев и Ельцин уверяли, что с введением капитализма Советский Союз станет так же богат, как и западные страны. Что же произошло? Советский Союз теперь походит на какую-то южноамериканскую или африканскую банановую республику. Полный хаос, никакого порядка! Почему это произошло? Раньше уверяли, что Советский Союз экспортирует коммунизм на Запад. Этого давно уже не происходит. Теперь Запад экспортирует капитализм в Советский Союз. Но ведь невозможно просто так взять и заменить одну систему другой. Я абсолютно уверен, что требовался

длительный постепенный процесс внедрения одной системы в другую.

Что значит для меня коммунизм? Без сомнения, очень много. Доннер сказал однажды, что пусть Ботвинник и коммунист, но он коммунист со своими собственными идеями. Да, в тридцатые годы я тоже верил в Сталина, но после его смерти, когда стала известна правда о методах его правления, я всегда говорил, что думал. Да так говорил, что наверху на меня смотрели как на диссидента. Пусть Сталин и наделал много ошибок, но я считаю до сих пор, что Октябрьская революция имела огромную положительную роль. Ленин был коммунистом в лучшем смысле слова и совершенно незаслуженно подвергается сегодня критике. И проблемы начались не с Ленина, а с тех, кто пришел после него, извратил его идеи...»

При этих словах в комнату гостиницы вошел внук Ботвинника Юрий, первым делом включивший телевизор. Прямая трансляция CNN из Москвы. Танки, бронетранспортеры, огромные толпы народа, торопливый комментарий репортеров, плохо понимающих, что происходит.

Всеобщее возбуждение царило и в Брюсселе. Забыв о подготовке к партиям и презрев спортивный режим, участники кандидатских матчей до раннего утра следили за событиями в Москве.

Одновременно с матчами в Брюсселе игрался большой опен, в котором участвовало немало шахматистов из Советского Союза. Происходящее в Москве оттеснило на второй план борьбу за шахматной доской и стало основной темой разговоров. Что ждет их на родине? Может быть, это последняя поездка в свободный мир, и турниры за границей снова станут привилегией немногих избранных? Что делать? Возвращаться домой? Переждать смутное время на Западе?

Несколько участников решили отправиться в офис Аэрофлота, чтобы выяснить на всякий случай возможность переноса даты отлета.

Когда они осыпали градом вопросов служащего агентства, тот, высунувшись из окошечка и оглядев молодых людей в приемной, громко объявил: «Бардак кончился! Каждый по одному, в очередь вставайте... Кончился бардак, говорю!»

Вопрос — возвращаться ли в Москву — для Ботвинника не стоял. Когда Бессел Кок предложил остаться, сколько он сам сочтет нужным, его гостем в Брюсселе, Ботвинник, вежливо поблагодарив, твердо произнес: «Нет, в это время мы нужны родине...»

Перед его отъездом мы разговаривали еще раз. Кроме Ботвинника и автора этих строк, в беседе участвовал редактор «64» Александр Борисович Рошаль. Он был свидетелем наших споров по вопросам о путях развития шахмат и предложил обменяться мнениями, с тем, чтобы потом напечатать беседу в журнале.

Был нежаркий августовский день, мы устроились за столиком в саду отеля SAS в самом центре Брюсселя, и Рошаль включил магнитофон.

Александр Рошаль: Между вами, Михаил Моисеевич, имеются существенные разногласия. Хотелось бы почувствовать их суть.

Михаил Ботвинник: Разногласия кардинальные. Геннадий Борисович исходит из групповых интересов гроссмейстеров, а я считаю, что есть групповые интересы двух типов: сиюминутные и учитывающие будущее. Гроссмейстеры будущего не должны пожинать плоды деятельности современных гроссмейстеров.

Генна Сосонко: Они не будут пожинать печальные плоды. Они будут пользоваться этими плодами, ходить по уже удобренной и вспаханной почве. Возьмем теннис. Молодая Граф пользуется почвой, вспаханной Крис Эверт, Мартиной Навратиловой...

М. Б. Вы опять о теннисе. Шахматы нужны не только для того, чтобы миллионы смотрели по телевизору.

Г. С. Они смотрят, наслаждаются...

М. Б. Почему вы все время меня перебиваете? Не забывайте, все записывается на магнитофон.

Г. С. Для вечности.

М. Б. И все будет записано, как вы себя ведете, как вы не умеете спорить, и когда вы неправы, вы затыкаете оппоненту рот...

Г. С. Хорошо, я беру свои слова обратно.

М. Б. И, надеюсь, больше перебивать меня не будете.

Г. С. Вы сами будете делать паузу.

М. Б. Опять! Дайте закончить. Ведь когда я говорю, я не просто воздух сотрясаю, я думаю. А вы мне мешаете думать.

Г. С. О'кей!

М. Б. Нам нужны не просто шахматы, а те шахматы, что получили свое развитие на протяжении столетий. Когда не просто возникло множество соревнований, достойных определения «искусство»... Нам нужны партии, которые останутся жить. Это мы обязаны сохранить. А сиюминутные интересы гроссмейстеров, на которые вы

постоянно ссылаются, этому противоречат и неизбежно приведут к негативным последствиям. Нам же важно, чтобы множество людей играли в шахматы, потому что еще двести лет тому назад Бенджамин Франклин сказал, что шахматы способствуют становлению человеческой личности. А когда человек смотрит по телевизору, как шлепают гроссмейстеры, когда им дается только тридцать минут на партию, его личность изменений, во всяком случае нужных изменений не претерпевает.

Чтобы люди сами играли, недостаточно только наличие турниров, нужна увлеченность красотой шахмат. Сейчас мы это теряем — это не пустые слова, факты это подтверждают. Когда профессионал путешествует с турнира на турнир, когда он дает сеансы не только между соревнованиями, но и во время турнира, когда он готов шлепать партии по тридцать минут и даже блиц, когда он за час делает не шестнадцать ходов, а двадцать, когда он за вечер делает не сорок ходов, а шестьдесят, качество игры катится вниз. Мы должны эту тенденцию переломить. ФИДЕ и Ассоциации гроссмейстеров следует отказаться от проведения соревнований в активные шахматы и блиц, следует восстановить классический регламент, выходные дни и дни доигрывания, которых во многих турнирах нет. Но групповые интересы гроссмейстеров таковы, что они не откажутся от игровых шахмат.

Однако есть очень хороший способ сделать, чтобы профессионалы были в равной мере заинтересованы в получении приза и в создании содержательной партии. Еще нескольких десятилетий назад Эмануил Ласкер говорил, что шахматная партия является продуктом двух выдающихся личностей и должна получить право авторства как литературное или музыкальное произведение. И если такая партия публикуется десятки раз, те, кто ее создал, соответственно получают гонорар. И шахматисту, может быть, будет выгоднее сыграть не пять турниров в год, а два, но при этом хорошо к ним подготовиться и создать хорошие партии. Я закончил. Спасибо.

Г. С. Теперь я могу сказать, что думаю по этому поводу. То, о чем говорит Михаил Моисеевич, это известное положение, которого, к сожалению, всем нам не избежать: в старое время и «ситчик был лучше, и овес дешевле». Да и как сравнивать «Войну и мир» с теми сотнями иллюстрированных журналов, которыми переполнен ближайший киоск за углом. Но что делать, если люди хотят читать эти журналы, а не «Войну и мир»? То, о чем говорит Михаил Моисеевич, на мой взгляд, уже достигнуто, существует в теннисе. Там есть суперпрофессионалы,

о заработках которых мечтают молодые и не очень молодые гроссмейстеры, играющие сейчас в блиц-турнире в зале рядом.

Что же касается вашего предложения о стремлении в первую очередь к творческой борьбе, оно несостоятельно. Это все равно, как если бы в теннисных турнирах предлагали поощрять красивые обводки, удары с задней линии и другие элементы игры и ставить их наравне со спортивными результатами. Обводки и финты красивы сами по себе, но они являются только средствами для достижения высокого спортивного результата.

М. Б. То же самое в шахматах.

Г. С. В футболе и теннисе – суперпрофессиональные организации. Здесь же мы видим только становление такой организации. И такая организация будет в шахматах. Хочет того Михаил Моисеевич или нет, шахматы выйдут на экраны телевизоров, как они уже выходят в Германии, в Голландии. Все это будет, исключая миллиардную индустрию, продажу присущего теннису атрибута.

М. Б. Нет. Соединение спортивного элемента с артистизмом, как это было на протяжении столетий и постоянно способствовало популярности шахмат, вот что необходимо. Только это спасет шахматы от неверного пути, который приведет к падению их настоящей популярности и превращению их в теннис.

Г. С. И тот же Лендл понимает, что совершенствуя технические приемы, он добивается спортивных успехов и тем самым увеличивает свои гонорары. И я вижу гигантскую разницу между теннисом и шахматами. Я имею в виду систему вознаграждения. В шахматах есть только одно соревнование – матч на первенство мира, – способное по гонорару соперничать с теннисными турнирами. Даже Кубок мира, даже приз, получаемый его победителем, не идет ни в какое сравнение с гонорарами участников матча на первенство мира. А вот в теннисе, например, номер один – король, но и номер двадцать – принц. Имена их известны любителям, да и теннисисты, входящую в первую сотню, тоже прекрасно обеспечены. Если вы спросите у интересующегося теннисом, кого он знает из звезд, он назовет вам и Лендла, и Беккера, и Макинроя и много других имен. В то время как на вопрос о шахматистах вам скажут – Каспаров, Карпов, а потом запнутся. В Голландии назовут Тиммана, в Англии Майлса, а вот других – сомневаюсь... В оплате труда звезд и просто очень хороших игроков я тоже вижу большую разницу между теннисом и шахматами. Популярность тенниса такова, что в него играют сотни миллионов людей, и этих людей значительно

больше, чем переставляющих шахматные фигуры, представителей той игры, которыми мы, к сожалению, являемся.

А. Р. Михаил Моисеевич хочет добиться того, чтобы нравилось переставление фигур.

М. Б. Вы оба редакторы теннисных журналов? Можно задать вопрос? Вам не стыдно за качество партий на первенстве мира? Мне стыдно. А вам важно, чтобы там были самые большие деньги за всю историю таких матчей?

Г. С. Мне это не важно: это не мои деньги, это их деньги и их дело. Но когда вы говорите «стыдно», вы опять возвращаетесь к абстрактному вопросу: а миру не стыдно, что сотни миллионов предпочитает теннис шахматам?

М. Б. Скажите прямо, что вы не собираетесь отвечать на этот вопрос.

Г. С. Это не так. Вы задаете абстрактный вопрос. Таково веяние времени, говорить тут «стыдно» или «не стыдно» то же, что сказать: стыдно, что идет дождь. Ничего не поделать — по такому уж пути пошло развитие человечества.

М. Б. А я вам должен сказать, что миллионам людей, так же как и мне, стыдно. Они очень разочарованы, и это неизбежно сказывается на популярности шахмат. Те, кто играют, постепенно остынут, а другие играть перестанут, если будут иметь место такие матчи на первенство мира.

Г. С. Здесь вы по-своему правы, но даже в такой стране, как Голландия, людей — и в том числе шахматистов — больше интересуют околошахматные проблемы. Любителей футбола, хоккея, тенниса и других видов спорта в Советском Союзе тоже интересует процесс игры. Но еще больше их интересует, сколько получает Заваров в Ювентусе, Фетисов в Америке, что сказали о Тихонове, как развивается конфликт Зверевой с теннисной федерацией.

М. Б. Да. Это интересует широкую публику.

Г. С. И мы должны с этим считаться...

М. Б. Не надо считаться с желтой прессой.

Г. С. В таком случае не надо обращать внимание на подавляющее большинство людей.

М. Б. Надо учить их хорошему.

Г. С. Вы считаете, что их надо учить хорошему, а они хотят получать удовольствие от жизни.

М. Б. Всем этим интересуются люди, которые не хотят играть в шахматы по-настоящему. А настоящие шахматисты, становлению личности которых служат шахматы, разочарованы. Вы знаете, у Чехова есть

рассказ о гимназисте, который прославился. Фамилию гимназиста опубликовали в газете. Он сообщил об этом родителям, те счастливы. А потом выяснилось, что опубликовали фамилию гимназиста потому, что он попал под лошадь. Так вот, вы хотите, чтобы шахматы славились своим содержанием или тем, что они «попали под лошадь»?

Г. С. Вы высказываете мнение, а я называю факты. А факты, как говорил Иосиф Виссарионович, которого вы очень высоко оцениваете, вещь упрямая.

М. Б. Что касается Сталина, то у меня тут двойственная оценка.

Г. С. А у меня не двойственная, у меня — однозначная. Так вот — факты вещь упрямая. Вы ратуете за возвращение к «Илиаде» и «Одиссее»...

М. Б. Я ратую за то, чтобы шахматы остались шахматами, а не превратились в теннис.

Г. С. Увы, вы должны считаться с фактами и реалиями жизни: шахматы идут к теннису.

М. Б. Эти — аааа, аааааа, крики, стоны — вот и весь ваш теннис. Нужно это кому-нибудь? Не знаю, что там будет, но теннис в человеческой жизни не играет никакой роли.

Г. С. Категорически не согласен.

М. Б. Шахматная партия, если она достойна шахмат, останется в истории человеческой культуры. А партия в теннис не останется.

Г. С. А футбольный матч тем более не останется?

М. Б. Почему «тем более»? Тоже не останется.

Г. С. Ни в коем случае не перепутай, Алик, и не помести это высказывание Михаила Моисеевича в еженедельнике «Футбол-Хоккей».

А. Р. Михаил Моисеевич говорит о шахматистах, а ты — для широкой публики. В этом все дело.

М. Б. Я шахматист. Я говорю о шахматах и для шахматистов. А что делается в футболе, теннисе — это их дело. И вообще, утверждение, что сейчас в шахматы играют профессионалы, а раньше они были уделом любителей, — беззастенчивое вранье. Шахматы издавна были профессиональными. Я не один раз приводил примеры с Джоакино Греко, который посвятил жизнь шахматам. Он был настоящий профессионал и считал, сколько денег он получит. Надо посвящать свою жизнь шахматам и зарабатывать при этом.

А. Р. Но при этом можно остаться и нищим...

М. Б. Можно остаться нищим, как ван Гог. Он был любителем или профессионалом? Он не мог писать большие картины, потому что у него не было денег на большой кусок полотна.

Г. С. Ни в коем случае, Алик, не отнеси это высказывание Михаила Моисеевича в журнал «Искусство».

М. Б. Во все времена виднейшие шахматисты были профессионалами. Филидор писал комические оперы, но часть своей души посвящал шахматам. Тогда мало в них играли, и он мог позволить себе заниматься другим делом. Профессионал душу посвящает шахматам. А тот, кто думает только о деньгах, тот не профессионал, а ремесленник. И вы защищаете ремесленников и хотите, чтобы шахматы из профессии превратились в ремесло.

Г. С. К большому сожалению, альтруистические и романтические высказывания Михаила Моисеевича не имеют ничего общего с реальностью.

М. Б. Я всю жизнь боролся за то, чтобы шахматисты зарабатывали больше, но не в ущерб профессии, а чтобы имели возможность еще плодотворнее заниматься шахматами как профессией. И я был очень строг, когда договаривался об оплате за мои выступления, книги, статьи. Я следил, чтобы мне все до копейки было выплачено.

А. Р. А в матчах на мировое первенство?

М. Б. Я боролся за высокий, насколько это было возможно, гонорар. Но его все время искусственно снижали некомпетентные люди.

А. Р. Ну, а сейчас они его завышают, эти некомпетентные люди? Может, они полезное дело сделали?

М. Б. Я уже высказался на этот счет. Гонорар может быть любой, но он не может быть таким, чтобы мешать творчеству шахматиста.

А. Р. Есть ли такой гонорар, который может помешать творчеству шахматиста?

М. Б. Да.

Г. С. Нет такого гонорара. И возвращаясь к этим молодым людям за нашей спиной, они скажут нет громко и в один голос.

М. Б. Я в их советах не нуждаюсь.

Г. С. Это не советы. Они – лицо сегодняшних шахмат.

М. Б. Это говорит не в пользу сегодняшних шахмат. Такие, как они, родились не сейчас. Такие были всегда. И Флор с одного турнира переезжал на другой и давал сеансы во время турниров. Это унижительно для шахмат. Они стригут купоны с шахмат и этим унижают шахматы.

А. Р. Вы говорите, что интересы шахмат в ФИДЕ представляют какие-то не очень компетентные люди?

М. Б. Да.

А. Р. Значит, это вопрос личности? Если бы личности были компетентными, все было бы нормально?

М. Б. Такого не может быть. Вся история ФИДЕ это подтверждает. Люди, представляющие там национальные федерации, функционеры. Потому что крупный шахматист не будет руководить национальной федерацией.

Считаю Бесселя Кока очень талантливым организатором, с уважением относящимся к шахматам. И на конгрессе в Пуэрто-Рико он говорил, что надо исходить не из интересов национальных федераций или интересов гроссмейстеров, а из интересов шахмат. Надо создавать законы, защищающие интересы шахмат.

А. Р. Кто их должен создавать?

М. Б. Комиссия экспертов. В нее нельзя включать чемпиона мира. Как защищали чемпионы мира свои интересы до 46-го, мы знаем. Я был единственным чемпионом, который боролся за интересы шахмат. Если личные интересы совпадают с общественными, это просто замечательно. Но все мои претенденты обвиняли меня в том, что я действую против интересов шахмат.

А. Р. Но им тоже казалось, что они действуют в интересах шахмат.

М. Б. Ничего им не казалось. Они защищали свои групповые интересы и занимались клеветой.

А. Р. А чем групповые интересы хуже личных?

М. Б. А чем они лучше, если вредят шахматам? Возьмем групповые интересы гроссмейстеров — их в Ассоциации 250 человек. Им выгодно каждый год определять чемпиона в швейцарке из 100 человек. Вот с этим надо бороться.

Г. С. ФИДЕ — это любительская организация, которая пытается распоряжаться судьбой профессионалов. В этом основа конфликта. Это старая любительская организация. У меня, как у профессионального шахматиста, есть программа, расписанная на полгода вперед, а они не указывают время проведения турниров, делают это в последний момент, разрушая мои планы. Моей профессиональной карьере наносится таким образом ущерб любительской организацией, которая за меня, профессионала, принимает какие-то решения.

А. Р. А если бы они все четко расписали, это было бы нормально?

Г. С. Тогда бы это была не любительская, а профессиональная организация.

М. Б. Когда вы пришли к такой оценке ФИДЕ?

Г. С. Не знаю... Ну, может быть, это был год 80-й.

М. Б. А я пришел к этому в начале пятидесятых.

Г. С. Но вы ведь и старше меня...

М. Б. Я с этим боролся до 1956 года, потом, извините, послал их...

Г. С. Проблема заключается в том, что вы всю жизнь относились к шахматам сугубо профессионально, а получали за это как чистый любитель. Поэтому, когда вы говорите, что настаивали на повышении призов, это звучит... В те времена в Советском Союзе вы не могли настаивать ни на чем. Они могли настаивать....

М. Б. Это все бредни из окружения Каспарова. Они говорят, что Ботвинник завистник и он нам сейчас завидует. Никому я не завидую. Я считаю, что они мне должны завидовать. А когда я не имел возможность зарабатывать шахматами сколько мне нужно, я работал как специалист-ученый, и ничего плохого в этом нет. Это мне помогало и в шахматы играть, и заниматься диссертацией...

Г. С. А теперь я хотел бы сказать, что если мы говорили друг другу резкие слова, перебивали друг друга, это происходило больше от нашего темперамента, наших эмоций. Мое личное отношение к Михаилу Моисеевичу не изменилось ни на йоту. Думаю, что и Михаил Моисеевич на меня не обижается, хотя по его лицу вижу, что это дискутабельно.

М. Б. Геннадий Борисович в корне ошибается. Я умел спорить и до перестройки и спорил точно так же. Менял же отношение к людям только тогда, когда они мешали мне работать. И я очень хорошо отношусь к Геннадию Борисовичу и совсем не собирался сказать ему то, чего он опасался. Я его очень хорошо понимаю: он профессионал и защищает свои профессиональные интересы. Он так смотрит. Но сколько он еще будет профессионалом — лет двадцать. Он рассуждает так же как Смыслов.

А. Р. Если бы вы играли в шахматы, ваша точка зрения могла бы измениться?

М. Б. Ни в коем случае. То, что я говорю сейчас, я говорил всегда. Могу напомнить такой эпизод. Когда в 39-м году я нашел метод подготовки шахматиста, я это опубликовал. И мой тесть меня осуждал...»

На этих словах запись беседы прерывается. Через месяц Рошаль прислал мне этот текст, добавив, что Ботвинник все прочел и согласился на публикацию в «64». Рошаль закончил письмо пожеланием: «Надеюсь, что ты тоже дашь добро и не сорвешь отличную публикацию».

Добро я не дал. Мне стало стыдно за собственные слова. Стыдно за собственную горячность, несдержанность, ерничество, о чем я и ска-

зал Александру Борисовичу. Огорчившись, он поуготоваривал меня еще некоторое время, я заупрямился... В конце концов очередной номер журнала вышел без этого текста, а потом и забылось.

Совсем недавно, перебирая бумаги, я обнаружил текст беседы в своем архиве. Перечтя его, я вынужден был констатировать, что многие наши рассуждения о путях развития шахмат кажутся сегодня наивными. Но не следует забывать, что компьютер тогда имели далеко не все, да и те, кто имел, использовали его исключительно как базу данных. Шахматы были другой, совсем другой игрой.

Что же касается сравнений шахмат с теннисом, то тогда так думали не только мы. Еще немного, полагали многие, и шахматы выйдут на новый, высокопрофессиональный уровень. Напомню, что Гроссмейстерская Ассоциация (в отличие от мертворожденной Ассоциации профессиональных шахматистов), была исключительно сильной, финансово независимой организацией.

Тогдашнее руководство ФИДЕ было готово заключить соглашение с Гроссмейстерской Ассоциацией о предоставлении ей права на проведение мирового первенства, оставив за собой организацию Олимпиад, пропаганду игры, развитие шахмат в школах, детские и юношеские первенства и т.д.

На высочайшем уровне с большим призовым фондом были проведены не только турниры Кубка мира в Брюсселе, Бельфоре, Роттердаме, Рейкьявике, Барселоне и Шеллефтео, но и массовые соревнования на Мальорке, в Москве и в Белграде. В этих турнирах играли сотни гроссмейстеров; каждый обладатель высшего звания, независимо от рейтинга, имел право принять участие в них, причем все расходы Ассоциация брала на себя.

Я и сейчас уверен, что если бы не ошибки, допущенные не в последнюю очередь не знавшим тогда компромиссов Гарри Каспаровым (о чем он впоследствии сожалел), Гроссмейстерская Ассоциация существовала бы и поныне, а профессиональные — да и не только профессиональные — шахматы могли бы выглядеть сейчас совсем по-другому.

Хотя все это стало уже историей, сегодня, двадцать лет спустя, когда нет в живых двух участников этой беседы, мне кажется, что многие проблемы до сих пор не потеряли своей актуальности, и эта публикация может быть интересна не только историкам нашей игры, но и всему шахматному сообществу.

«НАПЕЧАТАТЬ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. СТАЛИН»

«Пятница утром — летний завтрак в честь Алехина. Днем — торжественный обед в честь Алехина. Вечером — горячий холодный ужин в честь Алехина». Так писал остроумец Дон-Аминадо, когда после победы над Капабланкой в январе 1928 года в Париж вернулся новый чемпион мира по шахматам.

Русская эмиграция знала немало имен замечательных писателей, художников, композиторов и балетмейстеров. Но даже среди многих знаменитостей блистали звезды первой величины: Сергей Дягилев, Марк Шагал, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Иван Бунин, Федор Шаляпин, Сергей Лифарь. Теперь засверкала еще одна: Александр Алехин.

Александр Куприн в очерке, посвященном новому чемпиону, писал: «И какое величие быть королем, властвующим не по правам престолонаследия и не по случайности плебисцита, а в силу остроты своего ума». Ликовал весь русский Париж. На время были забыты распри и ссоры, поздравляли друг друга даже непримиримые враги: еще бы! — их соотечественник стал самым сильным шахматистом в мире.

Прием следовал за приемом, одна хвалебная статья сменялась другой. «Теперь чемпион мира в шахматах — русский. Нынешнее хмурое утро скрасилось для нас Вашей победой. Ура!» — с гордостью восклицал Борис Зайцев.

Ему вторил Петр Струве: «В современном душевном состоянии русских и во внутренней России, и в Зарубежье самое несомненное, подлинное и сильное — это подъем и обострение национального чувства нашей русскости, ревности о родине, гордости ее успехами и победами».

4 февраля нового чемпиона мира чествовали в редакции «Иллюстрированной России». Собрался почти весь цвет русской эмиграции. Пришли, конечно, и шахматисты: О. Бернштейн и Е. Зноско-Боровский. Поднимались тосты. Звучали речи и здравицы. Bravo, Алехин!

12 февраля в зале «Лютеция» был дан банкет в честь нового чемпиона мира французской федерацией шахмат: как никак *monsieur Alekhine* был гражданином Франции. Когда матч с Капабланкой подходил к концу, Алехин получил сообщение из-за океана о получении французского гражданства. Хотя Александр Александрович с улыбкой заметил по этому поводу, что «матч на мировое первенство между кубинцем и русским заканчивается победой француза», получение гражданства было чрезвычайно важно для него. Отвечая на поздравления, чемпион мира начал речь с того, что «категорически протестует против утверждения, приписываемого ему прессой, что он рассматривает завоеванное звание как исполнение мечты всей своей жизни. “Благодарение Господу, — заявил Алехин, — мечта моей жизни находится далеко за пределами 64-х клеток шахматной доски”».

Никто из журналистов не догадался спросить у чемпиона мира, в чем же заключается эта мечта, но не думаю, что Алехину легко было дать чистосердечный ответ, да и был ли такой? Мечтой, целью и смыслом его жизни было именно завоеванное звание, тем более что в статье, опубликованной сразу после матча, Алехин писал: «Наконец мечта моей жизни осуществилась, и мне удалось пожать плоды моих долгих усилий и трудов».

15 февраля состоялся прием в честь Алехина в Русском Клубе Парижа. И здесь не было недостатка в знаменитостях. Выступили пятнадцать ораторов; их речи в честь виновника торжества прерывались долгими аплодисментами. Вспоминали прошлое, пили за будущее, после каждой речи следовали бурные аплодисменты и троекратное лобызание первого шахматиста мира.

Через неделю состоялись съемки фильма о русских писателях, показ которого должен был быть приурочен к большому писательскому балу в зале «Лютеция». На съемках можно было увидеть Бунина и Бориса Зайцева, Ходасевича и Берберову, Алданова и Шестова. Струве и Милюков, забыв о партийных разногласиях, сыграли партию, арбитром которой был сам чемпион мира.

На всех торжествах Алехина неизменно сопровождала Надежда Семеновна Васильева, урожденная Фабритская. Это была третья жена чемпиона мира. С Надеждой Семеновной или Надин, как ее все называли, Алехин познакомился в 1924 году на одном из Русских балов, дававшихся по самым различным поводам в Париже. Вдова генерала, Фабритская была значительно старше Алехина. От первого брака у нее была уже взрослая дочь Гвендолина. Надежда Семеновна была родом

из очень богатой семьи, говорила выпендренно и, одеваясь ярко и вульгарно, обвешивала себя с головы до ног драгоценностями. Ганс Кмох вспоминал, что когда Алехины гостили в Вене, и Надин несколько раз выходила с женой Кмоха, официанты в кафе шушукались: опять эта «рождественская елка» пришла...

Надежда Семеновна по-матерински заботилась о своем Шуре, как она называла мужа, и повсюду сопровождала его. Она была с ним на нью-йоркском турнире 1927 года, на матче с Капабланкой в Буэнос-Айресе, на турнирах в Сан-Ремо (1930) и в Бледе (1931), блистательно выигранных Алехиным.

Если супруги бывали в Париже, два вечера в неделю чемпиону мира разрешалось провести в клубе или за бриджевым столом. Алехин часто и с удовольствием играл в бридж. Во время турниров в баре или в лобби гостиницы, зачастую с партнерами, с которыми был в натянутых отношениях, но никогда, разумеется, с Капабланкой. Иногда бриджевые компании собирались у него дома, здесь бывали и шахматисты: Бернштейн, Зноско-Боровский, но чаще Александр Александрович играл в кафе или в клубе. Там можно было встретить и очень сильных бриджистов, и «сапогов». Последнее словечко, означающее слабого игрока, из бриджевого лексикона переключалось в шахматный.

Лев Любимов, вернувшийся впоследствии в Советский Союз, вспоминал, что «Алехин был человеком больших страстей, но с надрывом. Он считал себя не только первым шахматистом, на что имел все права, но и человеком громадного всеобъемлющего ума, которому, естественно, подобает возвышаться над прочими смертными. Выражения «такой человек, как я», «при моих данных» и т.д., часто вырывались у него». По свидетельству того же Любимова, «и в бридже Алехин хотел (впрочем, тщетно) достигнуть самого высокого класса».

В парижском саду Пале-Рояль напротив высоко брызжущего фонтана, в белом с зелеными узорами павильоне находился шахматный клуб. На террасе клуба в многочисленном окружении можно было увидеть и Алехина, если он не играл в каком-нибудь турнире за границей. Здесь Алехин был среди своих, и разговоры велись, естественно, на шахматные или околошахматные темы. В павильоне Пале-Рояль Алехин обычно назначал встречи репортерам. Александр Александрович был на редкость терпелив с профанами, как он называл журналистов, не имеющих никакого понятия о шахматах. В остальном он был насто-

ящий шахматист: в большой пестрой компании говорил исключительно о шахматах, причем не только о турнирах, призах, коллегах. Порой Алехин не гнушался и перебором вариантов вслепую, если, разумеется, находился подходящий собеседник. При этом совсем не обращал внимания, что другие, слушающие его, даже не знакомы с правилами игры.

Нередко он бывал и в помещении масонской ложи «Астрея» на рю Иветт. Если масоны, оставшиеся в России после 1917 года, окончили свои дни на Соловках, русское масонство в эмиграции было очень активно. Они существенно отличались как от дореволюционных российских масонов, так и от регулярного масонства, сведя весь ритуал и мистику к минимуму.

Существовало множество лож, членами которых были люди самых различных взглядов. Масонская ложа «Астрея», членом которой стал Алехин, была основана в 1922 году в Париже, причем наплыв в нее был так велик, что она стала разветвляться на новые ложи («Гермес», «Лотос», «Гамаюн», «Юпитер»).

Алехин, как явствует из документов, заполнил анкету для вступления в ложу 21 мая 1928 года. Недели раньше такую же анкету заполнил другой эмигрант из России – гроссмейстер Осип Бернштейн. Для посвящения в масоны Алехина рекомендовали князь Владимир Вяземский, Тесленко и Гвозданович. Профаны, как назывались непосвященные масоны, должны были изложить свою биографию и ответить на вопросы.

Вот отрывок из опроса Александра Алехина, зафиксированный в протоколах ложи: «Во времени революции политические убеждения отличались неясностью для него самого и не были оформлены. Когда большевики захватили власть, он думал, что начнется что-то новое, хотя определенного представления не имел. До 1921 года служил у большевиков, занимая должность переводчика. Убедился в глубокой разнице между коммунистическими теориями и применением их к жизни. Решил покинуть Россию. Что касается его взглядов в настоящее время, то он не верит в возможность монархии, является сторонником демократического строя, но готов примириться с конституционной монархией, которая осуществит демократические принципы. К партиям не принадлежит...»

Отвечая на вопрос о мотивах, побудивших его к вступлению в масонскую ложу, Алехин сказал, что стремится к этому, тяготясь «духовным одиночеством». Осип Бернштейн назвал причинами своего

вступления в ложу «поиски общения с культурными образованными русскими людьми, стоящими выше всех партийных разногласий».

Рекомендации для обоих желающих стать «вольными каменщиками» были самыми благоприятными, и после открытого голосования Алехин и Бернштейн были посвящены в масоны в один день 24 мая 1928 года. Масоном, хотя и членом другой ложи, был и Евгений Александрович Зноско-Боровский, сотрудничавший в эмигрантской газете «Последние новости».

Алехин, Бернштейн и Зноско-Боровский смотрели на собрания в ложе скорее как на разговоры с людьми одного культурного слоя, клубные встречи, к которым они так привыкли во время жизни в России. Обычно масоны встречались два раза в неделю. Острый на язык Владислав Ходасевич только посмеивался: «Ишь ты! Два вечера имеют свободных в неделю, отдых от семейного счастья. Каждому честь».

Князь Владимир Вяземский, рекомендовавший Алехина в «Астрее», вспоминал, что Алехина можно было нередко видеть играющим в шахматы в большой зале русского масонского дома на рю Иветт, а его постоянным партнером был гроссмейстер Бернштейн. Увлечшись игрой, они не очень внимательно слушали докладчиков. Оба были заядлыми курильщиками, и дым во время этих баталий густой завесой обволакивал все вокруг.

Поначалу оба маэстро бывали в масонском доме довольно часто. В марте 1929 года Алехин был возведен во вторую степень масонства, а еще через год в третью. Тогда же он стал членом другой ложи «Друзья любомудрия».

Дважды в месяц в «Астрее» устраивались общие собрания, проводились чтения и дебаты. Писатели, историки, политики в своем кругу могли позволить себе много больше, чем в газетных и журнальных публикациях и были очень откровенны с братьями. Алехин выступил в ложе в марте 1935 года, за полгода до матча с Эйве, когда рассказал о сильных и слабых сторонах соперника и о собственной стратегии на матч. Несколько раз делал доклады и Бернштейн.

Работа Бернштейна была связана с постоянными разъездами, а с 1929 по 1931 год он и вовсе жил в Берлине. В Париже он работал в филиале большой немецкой фирмы и, когда представилась возможность переезда в Германию, Бернштейн долго не раздумывал. Он писал тогда старому другу Эдуарду Ласкеру, давно обосновавшемуся в Америке: «Знаешь, Берлин так расцвел... Иногда я спрашиваю себя, почему бы

нам не поселиться здесь навсегда». К счастью, за два года до прихода к власти Гитлера Бернштейны возвратились в Париж, и Осип Самойлович снова стал посещать собрания «Астреи».

В 1934 году Алехин развелся с Надин и женился на богатой американке Грейс Висхар. «Я второй муж моей четвертой жены», — говорил чемпион мира, хотя издатель «Бритиш Чесс Мэгезин» Брайан Рейли, близко знавший Грейс, утверждал, что брак с Алехиным был для нее тоже четвертым по счету.

Грейс играла в шахматы на любительском уровне и познакомилась с чемпионом мира, когда попросила его подписать книгу «Двести шахматных партий», полученную за выигрыш в каком-то блиц-турнире.

Окончив в свое время Училище Правоведения в Петербурге, Алехин получил чин титулярного советника. Когда он разошелся со своей третьей женой и женился на Грейс Висхар, в Париже ходила эпиграмма:

Он был титулярный советник,
Она — генеральской вдовой.
Ушел он с Надин не простившись,
Найдя в своем замке покой.

Грейс Висхар действительно была владелицей замка XVIII века* и большого поместья недалеко от Дьеппа, в котором, как утверждал Алехин, они разводили овец. Впрочем, когда у него поинтересовались однажды о размерах поголовья, Алехин признался, что овец всего две, остроумно заметив, что и пары было в свое время достаточно, как доказали Адам и Ева.

Мало того, что Грейс Висхар была богатой женщиной, которой не были чужды шахматы, она полностью освободила Алехина от повседневных забот, домашних дел, вела корреспонденцию, давала полез-

* Замок «Châtellenie» в маленьком местечке St Aubin-Le-Cauf близ Дьеппа сохранился. Когда я летом 1999 года был в Руане, то легко добрался до него на машине за три четверти часа. Сейчас в замке гостиница, насчитывающая всего пять комнат. Каждая комната носит название шахматной фигуры: король, королева, ладья, конь. Самая лучшая комната носит имя Алехина. Замок производит внушительное впечатление, внизу два огромных зала, где время от времени устраиваются приемы. Вокруг замка замечательный парк с гравиевыми дорожками, совсем рядом река.

ные советы. «Она — единственный человек, который меня понимает», — говорил о ней Алехин.

Так же как Александр Александрович, Грейс Висхар была равнодушна к алкоголю, и не проходило дня, чтобы супруги не пропустили рюмочку-другую. Иногда этим дело ограничивалось, но очень часто чемпион мира не знал меры, и Ганс Кмох всегда удивлялся, как Алехин мог так хорошо играть, потребляя алкоголь в столь большом количестве: «Однажды его удалось с трудом погрузить в машину. Это случилось во время матча с Боголюбовым, игравшемся в различных городах Германии, — вспоминал Кмох, бывший тогда секундантом чемпиона мира, — но уже через двенадцать часов он, как ни в чем не бывало, сидел за доской в полной боевой готовности и выиграл партию».

По поводу четвертого брака чемпиона мира иронически шутили, что Грэйс Висхар принесла своему мужу превосходное приданое: значительное состояние, любовь к шахматам и шестнадцать лет впридачу. Действительно, Алехину не было еще сорока двух, в то время как новобрачной было уже пятьдесят восемь. К тому же она выглядела старше своего возраста, так что в шахматных кругах злословили, что Алехин женился на вдове Филидора. Следует отметить, что все жены Алехина были значительно старше его, и по Парижу гуляла история, почти наверняка придуманная, как чемпион мира начал ухаживать за дамой приблизительно такого же возраста как и он сам. Поняв, что Алехин в самом деле проявляет к ней интерес, дама огорчилась: «Нежели я действительно выгляжу так старо?..»

Постоянно играя в заграничных турнирах или находясь на гастролях, Алехин появлялся на общих собраниях в «Астрее» все реже и реже. Если в период с 1928 по 1931 год он был на общих заседаниях только десять раз, в последующие годы посещения ложи братом Александром свелись к абсолютному минимуму, а приглашения, посылаемые ему, нередко возвращались обратно.

К тому же молодым членам ложи масонские ритуалы стали казаться бессмысленной потерей времени. Да и молодых становилось все меньше и меньше, и средний возраст братьев начал стремительно расти. Именно тогда Владислав Ходасевич охарактеризовал русское эмигрантское масонство как «смесь парламента и сиротского приюта для стариков».

12 июня 1937 года на собрании «Астреи» был рассмотрен вопрос об исключении брата Александра Алехина из членов ложи. Примерно в

то же время, разочаровавшись в масонстве, покинул ложу и брат Осип Бернштейн.

Масонство основано на принципе секретности. Эта секретность привлекала тех, чьей специальностью являются секреты, и разведка советской России с самого начала держала русские масонские ложи Парижа под наблюдением.

До середины тридцатых годов «Астрея» придерживалась очевидной антисоветской ориентации, но затем стала относиться к Советскому Союзу более лояльно, все больше «розовея». Не этот факт, конечно, явился причиной прекращения посещений Алехиным ложи: он сам уже искал контакт с Советами, направляя в газеты и журналы Советского Союза поздравления и приветы.

После того как Алехин официально покинул советскую Россию, отношение к нему в метрополии можно было назвать выжидательно-осторожным. В книге М. Когана «История шахматной игры в России», завершённой после нью-йоркского турнира 1927 года и перед матчем с Капабланкой, об Алехине написано еще в доброжелательном духе.

Хотя Алехин официально и был «чуждым элементом», это не мешало ему регулярно направлять корреспонденции в журнал «Шахматы», издававшийся Ненароковым, и состоять в переписке с Григорьевым и Левенфишем.

Отношение к Алехину резко изменилось после его речи в Русском Клубе Парижа после победы над Капабланкой. На следующий день после чествования чемпиона мира эмигрантские газеты цитировали его речь, закончившуюся тостом: «Чтобы миф о непобедимости большевиков рассеялся так же, как рассеялся миф о непобедимости Капабланки!»

Понятно, что и речь, и тост не остались незамеченными в СССР. «Шахматный листок» поместил разгромную статью против чемпиона мира, вылившего «поток грязи и клеветы против Советской России, против борьбы, которую ведет русский рабочий класс».

А Генеральный прокурор и глава советских шахмат Николай Крыленко заявил: «Ренегат Алехин сам поставил себя вне шахматного движения в СССР. После речи в Русском Клубе с гражданином Алехиным у нас покончено — он наш враг, и только как врага мы отныне должны его трактовать. Талант талантом, а политика политикой, и с ренегатами, будь то Алехин, будь то Боголюбов, поддерживать отношений не-

льзя». Отныне в советской прессе имя Алехина употребляется только с эпитетами: ренегат, белогвардеец, перевертыш и монархист.

Но если о Шаляпине можно было написать, что у него кончился голос, великий бас испелся и является только бледной тенью прежнего Шаляпина, с Алехиным было труднее — результаты говорили сами за себя.

Прошло еще несколько лет. Лихолетье, казавшееся поначалу многим эмигрантам тяжелым сном, который вот-вот должен кончиться, становилось повседневной жизнью. Память о родине все более подменялась воспоминаниями о ней, и для подавляющего большинства мечты о возвращении домой окончательно растаяли. Именно тогда Алехин начал посылать телеграммы и поздравления шахматистам «новой стальной России». Он понял, что перемен на родине ожидать не приходится и попросту стал отождествлять Россию и СССР.

Австрийский мастер Ганс Кмох постоянно жил тогда в Голландии. Во время крупных турниров и матчей ему звонили каждый день из Москвы, справляясь о последних новостях. Алехин знал об этом и надеялся, что однажды позвонят и ему.

«Он уже слышал от Флора, Файна и других «открывателей» Советского Союза, — вспоминал Кмох, — что шахматные гастроли там могут быть очень выгодными. Он мог бы заработать в советской России столько рублей, сколько пожелал бы, утверждали они и, превратив их в драгоценности, вывезти во Францию. Алехин просто жаждал получить приглашение из Советского Союза».

Без сомнения, не без влияния рассказов своих коллег о «шахматном Эльдорадо» Алехин принял решение о сближении с Советами. Что с того, что там у власти большевики, от которых он бежал и которых не жаловал? Кое-кто ведь уже и вернулся. Сергей Прокофьев, к примеру, которого Алехин прекрасно помнил еще по Петербургу и не раз встречал в Париже, тоже крайне скептически относился к большевикам, а теперь, съездив несколько раз с концертами в Советский Союз, окончательно переехал в Москву. И по слухам, знаменитый композитор ведет там роскошный образ жизни и собирается снова выехать на гастроли в Европу.

И хотя Дон-Аминадо продолжает шутить в русском календаре 1935 года: «Шесть мостов. Четыре бала. Гамма ветерков. Твердый слух о том, что пала власть большевиков», все понимают, что это только грустная улыбка, вирши очень далеки от действительности, а власть большевиков, похоже, установилась всерьез и надолго.

В записке, составленной Крыленко и адресованной Сталину, главный прокурор республики цитировал телеграмму, пришедшую в ноябре 1935 года из Голландии от Алехина. В этой телеграмме чемпион мира поздравлял советских шахматистов с праздником Октябрьской революции. К тексту алехинской телеграммы Крыленко приложил комментарий: «Печатаемая телеграмма нынешнего чемпиона мира белогвардейца Алехина, редакция «Известий» считает нужным отметить, что политическое предательство и ренегатство не искупается так легко, как, видимо, полагает гр. Алехин... Надо уметь на деле доказать осознание своей вины и готовность загладить ее. Без этого никакие таланты не спасут Алехина от того заслуженного презрения, с которым к нему относятся в СССР. Просьба сообщить Ваши указания по настоящему поводу».

Резолюция была наложена незамедлительно: «Предлагаю телеграмму Алехина напечатать без комментариев. Сталин». Надо ли говорить, что поздравление Алехина было напечатано без каких бы то ни было редакционных комментариев.

Ровно за год до этой телеграммы в 1934 году Алехин играл матч на звание чемпиона мира с Ефимом Боголюбовым. В Германии, где проходил матч, к власти уже пришел Гитлер, и повсюду висели флаги со свастикой. Несколько раз оба гроссмейстера были гостями рейхсминистра Ганса Франка, будущего губернатора Польши.

Франк был большим любителем шахмат и довольно сильным игроком. По словам Алехина, он обладал самой большой шахматной библиотекой, какую чемпион мира когда-либо видел. Франк был единственным крупным чиновником Третьего Рейха, живо интересовавшимся шахматами. На открытии матча Алехин – Боголюбов было послано приветствие президенту Шахматного Союза Великой Германии министру пропаганды Третьего Рейха Йозефу Геббельсу.

Секунданту чемпиона мира на том матче Гансу Кмоху запомнился банкет у какого-то партийного бонзы, когда Алехин, говоря о лидерах, стоявших во главе режима, воцарившегося на его родине, закончил тост словами: «Эти негодяи должны быть изгнаны из России».

Поздравление Алехина, опубликованное в «Известиях» и перепечатанное потом в русскоязычной эмигрантской прессе, оттолкнуло от Алехина немалую часть эмиграции. С Алехиным прекратили здороваться многие, очень многие. Как? Человек, еще совсем недавно проклинавший Совдепию и большевиков, поздравляет этих самых большевиков с годовщиной переворота, сделавшего их изгнанниками?

Бывший поклонник теперь уже экс-чемпиона мира восклицал на страницах парижского еженедельника:

«Мораль имей, читатель, в голове,
А также не забудь при этом
Алехина, разбитого Эйвэ
И битым отошедшего к Советам».

Но самого Алехина, далекого от каких-либо сантиментов, общественное мнение мало интересовало: он всегда поступал так, как это было выгодно в первую очередь ему самому.

Во время Второй мировой войны Рихард Штраус написал письмо, Стефану Цвейгу, в котором излагал взгляды на политику, отличающиеся от официально принятых в Третьем Рейхе. Письмо было перехвачено гестапо и препровождено Гитлеру. Фюрер был в гневе, и композитор, бывший в нацистской Германии президентом Имперской музыкальной палаты, вынужден был подать в отставку.

Письма Алехина гестапо не перехватывались, хотя в шахматных кругах во время войны ходил анекдот о крупных неприятностях, свалившихся на его голову: Алехин перепутал конверты, отправив поздравления с юбилеем Октябрьской революции вождям Третьего Рейха, а письмо со здравицами нацистскому режиму — в Москву.

Рихард Штраус встречался с Гитлером и Геббельсом. Он занимался инструментовкой военных маршей для германского кайзера, затем служил придворным капельмейстером у австрийского императора в Вене, будучи в равной мере персоной *gratissima* и в Австрии, и в Германии. Он продолжал, разумеется, сочинять музыку и при Веймарской республике. Стал президентом Имперской музыкальной палаты при национал-социалистах, написал гимн Олимпийских игр 1936 года и несколько маршей. Он превосходно чувствовал себя и после войны в Федеративной Республике, а если бы оказался в ГДР, кто знает, мог бы и там стать министром культуры. Перечисление всех превращений в полной приключений жизни шахматного чемпиона заняло бы не меньше места.

Можно найти немало общего между гигантами шахмат и музыки, для которых их творчество, их эго стояли выше моральных принципов или таких преходящих вещей, как политические системы, при которых им довелось жить.

Близкий друг Алехина в последние годы Мануэль де Августин, шахматист и журналист, писал: «Я уверен, что среди мусульман он поя-

вился бы загорелым и в сандалиях. Мы знали, что и сам Алехин думает точно так же. Самым главным была для него сама возможность игры: неважно где, когда, против кого. Все это не имело для него равным счетом никакого значения».

Амстердамскому АВРО-турниру 1938 года устроители хотели поначалу придать характер отборочного для матча на мировое первенство, но на открытии соревнования Алехин зачитал заявление, в котором отклонил эти домогательства организаторов. Он объявил, что будет играть с любым гроссмейстером, который обеспечит призовой фонд. Чемпион мира заявил: «Мне безразлично, будет ли противником претендент номер один, или номер восемь, главное, чтобы были внесены деньги...»

Друг Рихарда Штрауса Артуро Тосканини сказал после войны: «Я снимаю шляпу перед Штраусом-композитором. И снова надеваю ее перед Штраусом-человеком». Имя Рихарда Штрауса-человека интересно сегодня разве что историкам музыки. Штраус-композитор всегда будет оставаться гордостью мировой культуры. То же самое можно сказать и об Александре Александровиче Алехине: какими бы ни были его человеческие качества, его творчеством любители шахмат будут восхищаться до тех пор, пока существует сама игра.

В замечательных шахматных книгах Алехина щедро рассыпаны латинские словечки и выражения — без сомнения, следствие классического образования, полученного им в одной из лучших московских гимназий и в Училище Правоведения в Петербурге. Одно из самых любимых и часто употребляемых — *nolens volens**.

Если за доской гений шахмат бескомпромиссно боролся с волей и замыслами соперника, в жизни, склоняясь перед силой, всегда плыл по течению, полагая, что обстоятельства предоставляют единственный выход — *nolens volens* подчиниться им.

* *Nolens volens* (лат.) — волей-неволей, хочешь не хочешь.

Я ЗНАЛ КАПАБЛАНКУ

В 1989 году разговорился с молодым шахматистом из тогдашнего Советского Союза. «Вы видели Левенфиша? — с удивлением спросил он меня. — А Шифферса вы тоже видели?» Он спросил это так искренне, что я до сих пор не уверен, не шутил ли он, ведь у молодости свое представление о времени, определяемое емким словом — давно. Подумав несколько, я отвечал, что Шифферса (1859-1904) я не знал. Я не знал и Капабланку, он умер за год до моего рождения, но каким-то образом видел его вблизи, знал его привычки, манеру говорить и одеваться, играть в бридж, или молчать.

Шестого мая 1984 года в Нью-Йорке я в первый раз встретился с вдовой Капабланки Ольгой Кларк. Просматривая записи тех лет, слушая ее голос, оставшийся на магнитофонной ленте, вижу людей, которых уже давно нет, и в первую очередь Капабланку. По мере того как я все глубже окунался в атмосферу того времени и в его жизнь, мне все чаще приходила в голову мысль, похожая на сформулированную Рейганом на одном из съездов республиканской партии: «Демократы часто любят цитировать Джефферсона. Я знал Джефферсона...» Я тоже знал Капабланку.

Мы познакомились в Манхеттенском шахматном клубе, который размещался тогда на десятом этаже Карнеги-холла. В тот день она передавала в дар клубу, что делала не раз, что-то из личных вещей Капабланки. Я увидел пожилую очень женщину, по-американски неопределенного возраста, с уложенными волосами, сильными следами косметики на лице и сверкающими перстнями на тронутых старческой пигментацией пальцах. Нас представили, я назвал себя.

«Простите, как вы сказали, — переспросила она, — Зноско? Зноско?» Я снова повторил свое имя. «Простите, — сказала она улыбаясь. — Никогда не слышала. Но знали ли вы Зноско-Боровского? Он был другом Капабланки, мы встречались с ним часто в Париже».

После первых фраз мы перешли на русский и всегда потом говорили на этом языке. Она была русской по рождению и владела языком доста-

точно хорошо, выпустив даже сборник стихов, очень слабых, впрочем. Изредка она вставляла в свою речь французские пословицы и словечки, реже англицизмы, хотя ее речь была свободна от *appointment*-ов и *experience*-ов, так часто встречающихся в языке русских американцев последней эмиграции. Иногда она откровенно спрашивала: «Как это сказать по-русски?» Ее звали Ольга Кларк – по имени ее последнего мужа; она легко согласилась на встречу и ужин вечером следующего дня в «Russian Tea Room».

Ровно в четыре я стоял у дверей огромного дома на углу 68-ой и Парк-авеню – очень престижном районе Манхеттена. «Вы к кому? – спросил меня портье в ливрее. – Ах, к госпоже Кларк? – Билл, проводи, пожалуйста, джентльмена на седьмой этаж».

Она стояла уже у распахнутой двери: «Проходите, пожалуйста. Простите, у вас очень трудная фамилия, я не запомнила...» Имея альтернативы: госпожа Кларк, что как-то не вязалось с темой нашего разговора; мадам, по какой-то причине не выговариваемое мною; госпожой Капабланкой-Кларк, звучавшим несколько тяжеловесно; совсем русским Ольга Евгеньевна – я остановился с ее позволения на Ольге, вспомнив совсем юного Джона ван дер Виля, называвшего 75-летнего Эйве просто Максом и пояснившего тогда удивленному мне: «Да ему же только приятно, а то все господин Эйве, да господин Эйве...».

Мы расположились в гостиной, окна в которой были приоткрыты, и слышны были звуки машин, доносившиеся с Парк-авеню и оставшиеся у меня на магнитофонной ленте. «Что мы будем пить?» – спросила она. Рядом с диваном стояла тележка с напитками, но, увидев мой блуждающий взгляд, предложила сама: «Может быть, шампанского? Давайте кликнем Билла, он нам откроет..».

«Ну, что же вы хотели спросить меня о Капабланке? Да, вы можете записать это на магнитофон». В наших беседах она называла его всегда Капабланкой или Капой и никогда Рауль или Хосе – обращения, нередко встречавшиеся в письмах к нему и увиденные мною в его архиве, который она завещала Манхеттенскому шахматному клубу. Не считая, конечно, многих очень личных, например, по-испански – «*Mi querido Sarablanca*», или сугубо официальных, перечисляющих все титулы, до мягкого – *My dear Sarablanca* – всегдашнего обращения Эйве.

Я не решился спросить ее о возрасте, хотя было очевидно, что она уже давно вступила в тот, когда годами скорее гордятся, чем скрывают. Считалось, что она родилась в 1900 году. Только после смерти я узнал точную дату ее рождения. Ольга Евгеньевна Чубарова родилась

на Кавказе 23 сентября 1898 года; к моменту нашей встречи ей было неполных восемьдесят шесть лет.

«...Фамилия моего первого мужа Чагодаев, он был офицером в белой армии, кавалеристом. Я была замужем четыре раза. Моим последним мужем был адмирал Кларк, его фамилию я ношу сейчас — это был замечательный человек. До него я была замужем за человеком много моложе меня, он был олимпийским чемпионом по rowing — как это сказать по-русски — гребле? — фактически все, что у меня сейчас есть — это от него, но я не хотела бы говорить на эту тему». Она иногда употребляла в разговоре эту формулу, и я, разумеется, никогда не настаивал.

«...Ну и, конечно, Капабланка. Что ж вам рассказать о нем? Когда мы с ним познакомились? Это было ровно 50 лет тому назад, здесь в Нью-Йорке весной 1934 года. Была какая-то партия в доме кубинского консула, я была нездорова и плохо выглядела, но моя сестра просто вытащила меня туда. Нью-Йорк был тогда другой, веселый и вообще... Вы, вероятно, не знаете, что это я, а не Марлен Дитрих, ввела в моду черную вуальку, впрочем, какое это все сейчас имеет значение». Она вздохнула: «Вы видите — это я». С противоположной стены на меня смотрела ослепительная красавица — блондинка с карими глазами. «Ну конечно, я вас сразу узнал».

«Ах, душка», — ее узловатая рука коснулась моей. Она и впоследствии иногда называла меня этим труднопереводимым русским словом, блески которого можно встретить в английском *darling*. «Так вот, на этой самой партии я и познакомилась с Капабланкой. Какой он был? Вы понимаете, он был король. И во всем он держал себя как король. Когда до начала одного симультана кто-то попросил показать Капабланку, ему сказали: «Когда все войдут в зал, вы сами увидите, кто — Капабланка». Помню, как я в первый раз приехала в Европу и была с Капабланкой на дипломатическом приеме. Как дипломат, он должен был быть представлен бельгийскому королю. Министр рассказывал мне потом, что когда король услышал имя Капабланки, он как мальчишка подбежал к Капе, что было супротив всякого протокола, и наговорил ему кучу комплиментов: «Я знаю Ваши партии, и вот теперь — какая честь — вижу вас лично». Его любили все, и у него были хорошие отношения со всеми, кроме, конечно, Алехина.

В первый раз я увидела Алехина где-то под Карлсбадом, думаю, это был тридцать шестой год. Было лето, была какая-то партия в саду, я разговаривала со Штальбергом, с которым меня Капа только что поз-

накомил, но через несколько минут к нам подошел какой-то белобрысый господин, похожий на продавца в магазине. Это был Алехин. Был ли он симпатичный? Напротив, он был какой-то кислый; я его сразу узнала по фотографиям — заклятого врага Капабланки, и так и застыла на месте. Он сразу представился: «Я — Алехин. Вы должны нас извинить, — сказал он Штальбергу. — Мне нужно сказать мадам что-то приватно». Алехин провел меня в конец сада, я как сейчас вижу томатные грядки, вдоль которых мы ходили, и начал говорить очень решительно. Он говорил, что Капабланка может думать о нем что угодно, но в обществе они должны здороваться, что Капабланка ему даже не поклонился и т.д. «По-видимому, — отвечала я, — у Капабланки есть для этого сильные резоны». «Может быть, — говорил Алехин, — но ведь весь мир понимает, что, хотя я проиграл матч Эйве и он сейчас официально чемпион мира, я и Капабланка являемся сильнейшими игроками». «Капабланка и вы, — сказала я, — и вы это знаете, потому и не даете реванша Капабланке». Он странно посмотрел на меня и продолжал: «Я не был вполне здоров во время матча с Эйве, но я могу вас уверить, что...» Я снова перебила его: «Так же как не был здоров Капабланка, когда отдал Вам титул тогда в 27-м году в Буэнос-Айресе». «*C'est impossible parler avec vous. Vous etes une tigresse*», — сказал Алехин, и больше мы никогда с ним не разговаривали. Да, по-французски. По-французски и по-русски. Мы переходили с одного языка на другой и бегали вдоль грядок, покрикивая друг на друга.

«Знаешь, — сказала я Капабланке, — Алехин только что назвал меня *tigresse*», — и пересказала ему весь разговор. «Ах ты, моя *tigresse*», — сказал он и поцеловал мне руку. Потом я ему еще раз все это рассказала — он не хотел упустить ни одной детали. В день, когда я приехала в Ноттингем, Капа выиграл у Алехина и был счастлив. Он спросил, какое впечатление производит на меня Алехин. «Мне кажется, — сказала я, — если его ущипнуть, он завизжал бы, в то время как другой мужчина зарычал...» «Ты и в самом деле маленькая *tigresse*», — сказал Капа. Тогда же в Ноттингеме он сказал мне: «*I hate Alekhin*».

Мы говорили почти всегда по-французски, только ругались по-английски, а ругались мы нередко, потому что я всегда опаздывала. Капа замечательно говорил и по-французски, и по-английски. Говорил ли он по-русски? Он знал несколько слов, но их я вам не скажу».

Улыбка появилась на ее лице, но даже получше вглядываясь, не просто было признать в ней красавицу с льняными волосами, по-прежнему с обворожительной улыбкой смотревшую на нас. В этот момент

в гостиную вошел человек на вид где-то под шестьдесят. «Познакомьтесь, — сказала Ольга, — это мой друг N». Мы представились и сказали несколько приличествующих моменту слов. Он спросил, как долго я пробуду в Нью-Йорке. Мы выпили шампанского. Через несколько минут он попросил его извинить и поднялся.

«Барон — очень приличный человек, хоть и немецкого происхождения», — сказала Ольга, снова переходя на русский, когда он ушел.

«Ну, что же вам еще рассказать о Капабланке. Как-то в Париже в отеле «Regina» нас пришел навестить Тартаковер; я была больна и лежала в постели. Тартаковер был очень симпатичный, и Капа с ним очень считался. Они сидели у моей постели, и Тартаковер вдруг сказал: «А что, если нам сыграть в шахматы?» Здесь я должна сказать, что Капа никогда не играл в шахматы private — как это сказать по-русски? Во всяком случае, так было при мне, но не думаю, чтобы он и в молодости когда-либо играл private. Но тут Капа согласился и записал эту игру — он ее выиграл. Потом сложил бумагу, подал мне и сказал: «Вот это тебе, когда-нибудь это будет красивый бриллиант». «Это как же?» — спросила я. «А вот как: с тех пор, как я был ребенком, мое малейшее движение было записано, представлено, рекламировано, а вот этой игры никто не видел». Я об этом забыла, а вот недавно искала что-нибудь для музея Капабланки в Манхеттенском клубе, и нашла ее. Но я им другое подарила, а эту игру оставила. Я хочу теперь ее продать. О какой сумме идет речь? Я думаю, десять тысяч долларов. Тут большие деньги платят за рукописи, манускрипты, а это ведь редчайшая вещь. Как новая симфония Моцарта. Как вы думаете? По части архива Капабланки меня очень просили из Кубы, но я им даже не отвечала...

Нет, Нимцовича и Рубинштейна не знала, они были до меня, Ласкера помню очень хорошо, он держал себя с достоинством старого льва. Ботвинник и его жена держались скромно и несколько особняком, Капа относился к ним хорошо и предсказал, что когда-нибудь Ботвинник станет чемпионом мира. Да, конечно, и Эйве помню очень хорошо, он был безупречный джентльмен, но но был какой-то пресный, бесцветный...

Савелий Тартаковер был нашим приятелем. Я говорила с ним по-русски, но когда мы бывали втроем, конечно, по-французски. Внешне он не был привлекателен: утиный нос, круглое лицо, лысый, но бездна обаяния, искренности, щедрости... Но более всего Капа был расположен кангличанам: он был англофил. Доктор Тейлор почти ничего

не видел, но обладал удивительным остроумием и безупречными манерами, Александер — молодой, красивый, восторженный — помню их очень хорошо, но более всего Капабланка был расположен к сэру Томасу. Можно сказать, что они были друзья, хотя это была очень специальная дружба. Они сидели и молчали, лишь изредка обмениваясь какими-нибудь замечаниями. Меня это удивляло, но оба собеседника были, по-видимому, очень довольны друг другом.

Сэр Джордж Томас вообще мало говорил с кем-нибудь, кроме Капабланки. Он был очень хорошо воспитан и говорил с медленным достоинством. Вообще, по своему поведению и манерам Капабланка относился к английскому высшему классу. И что характерно, к славе своей относился совершенно равнодушно, я находила позже в его бумагах приглашения из очень престижных английских домов, очень престижных. Вообще же он был интроверт, но иногда ему нравилось, чтобы вокруг него были люди, но только иногда. По натуре он был малоразговорчив, и в Гаване говорили, что молодой Рауль думает, что у него золото во рту, которое он боится растратить. Но когда он взрывался, это был ураган, правда, он отходил довольно быстро; тогда он говорил: «Тебе должно быть трудно с человеком такого характера, как у меня, но таков уж я».

Самый большой комплимент я получила от него, когда он сказал мне как-то: «Знаешь, мне все надоело, я от всего так устал, что должен немедленно уехать куда-нибудь в горы, чтобы вокруг никого не было». Я ответила: «Сейчас приготовлю тебе чемодан» — и быстро уложила вещи. Он спросил: «А твой где же?» «Но ты же хотел уехать один». «Нет, Кикирики, ты ведь тоже часть меня. Я имел в виду, чтобы были только ты и я». Он называл меня так иногда — Кикирики — этим смешным прозвищем, взятым из французской песенки. Так называла меня в детстве гувернантка еще в Тифлисе. Я ведь правнучка Евдокимова, знаменитого завоевателя Кавказа, покорителя Шамиля; у нас в роду все по мужской линии были военные.

Капа мог проводить часы над книгами по военной стратегии, но все же его любимым чтением, помимо детективов, были исторические и философские книги. Он вообще не читал fiction — как это сказать по-русски? И перед партией чаще всего читал, нет, никогда не спал...

Нет, что вы, вы меня совсем не утомили. Может быть, еще бутылочку? Давайте я позвоню Биллу...».

Мы вышли в коридор. На стене прямо напротив гостиной висела картина, на ней были изображены люди в морской форме. «Это мой

последний муж – адмирал Кларк», – сказала Ольга, показывая на одного из них. «Он был герой войны и друг Мак-Артура, вы ведь слышали имя адмирала Кларка?» Я сделал жест, который можно было истолковать по-разному; более всего он подходил под библейское: ты сказал.

«Давайте я вам еще кое-что покажу». Мы прошли довольно значительное расстояние по коридору и остановились у открытой двери. В глубине комнаты сидел очень большой человек, что-то ел и читал газету. Я инстинктивно сделал шаг назад. «Можете говорить громко, он все равно ничего не слышит. Это – Фиш, конгрессмен Гамильтон Фиш, ему девяносто шесть лет, он назван в честь Александра Гамильтона – вот его дед сидит на коленях у Джорджа Вашингтона». Она показала на картину, висящую на стене, в центре которой на коленях у человека с лицом, знакомым по изображениям на долларовой купюре, сидел маленький мальчик. Я незаметно оперся рукой о косяк: шампанское в комбинации с живым экскурсом в историю Соединенных Штатов давало о себе знать. «Знаете, он ужасный скупердяй, хотя его род один из самых богатых и древних в Америке, древнее Рокфеллеров и Карнеги. Он был очень силен, а в 1914 году был признан лучшим игроком в американский футбол». Человек не обращал на нас никакого внимания и перевернул страницу газеты. «Он женился на моей сестре, а я вышла замуж за адмирала Кларка, – и мы купили этот апартамент. Фактически – это две квартиры, соединенные переходом. У него маленькая собачка, а у меня кошка. Вы знаете, Капа ведь любил котов, в последние годы у нас была замечательная кошка, с которой он часто играл». Невольно в памяти всплыл сиамский красавец Алехина по кличке Chess, но у меня хватило ума смолчать, понимая неуместность такой ремарки. «Вот мы и живем с ним, как кошка с собакой», – вздохнула Ольга.

Я узнал потом, что конгрессмен Фиш был видной фигурой на политическом небосклоне Америки, запомнившийся, помимо всего прочего, бурным конфликтом с президентом Рузвельтом. Ярый республиканец, он дожил до ста одного года и ещё за несколько дней до смерти произнёс страстную речь против собственного внука, баллотировавшегося в конгресс от демократической партии. За несколько лет до смерти он женился. Его избраннице было около пятидесяти. Надо ли говорить, что этот факт никак не улучшил отношений Ольги с конгрессменом. За каждый прожитый совместно год его жена получала, по утверждению Ольги, миллион долларов. Поступок конгрессмена

был встречен без энтузиазма и его детьми, хотя, опять же по рассказам Ольги, состояние его никак не могло пострадать от такой безделицы.

Билл открыл в гостиной бутылку шампанского. «Santé», — сказал я. Она подняла свой бокал: «*À la bonne vôtre*. Так на чем же мы остановились?» — «Он любил алкоголь?» — не совсем к месту спросил я. «Шампанское. Если же вино, то немного и непременно хорошее; только после знакомства с ним я стала разбираться в вине. Понимаете, Капа был гурман, ел он немного, когда приносили большие порции, махал руками. Но все обязательно должно было быть отличного качества. Случалось, отправлял блюда обратно, но ему все прощалось, его все любили. Он и сам готовил иногда по своим кубинским рецептам, и это у него хорошо получалось, если, конечно, не подгорало. Апельсиновый сок я всегда выжимала для него сама — обязательно через полотняный платочек, чтобы, Боже упаси, ничего не попало в стакан, ведь он был очень капризный.

Он был щедрый и любил угощать друзей, мы ведь жили: когда — густо, когда — пусто. Он и в одежде был такой — у него было немного вещей, но все самого высокого качества. Он был всегда прекрасно одет, об этом даже английские газеты писали: самый элегантно одетый шахматист. Но одевался он, как это сказать по-русски, *sober*? Строго? Пожалуй. Такой был у него вкус. Он всегда заказывал костюмы у одного и того же портного на Savile Row на протяжении многих лет и на Bond street покупал иногда. Галстуки были его слабостью, и он сам завязывал их очень тщательно. Один галстук я ему подарила, он его особенно любил. Нет, суеверен не был, хотя надевал его на важные игры.

И так он был во всем, понимаете, он был перфекционист. Он прекрасно играл в теннис, его тренер говорил, что, если бы серьезно играл, он мог бы стать одним из сильнейших. Машину он водил просто замечательно; он приехал за мной на машине на следующий вечер после нашего знакомства. Очень любил играть на бильярде, я слышала, что, если бы он посвящал больше времени бильярду, то мог бы стать чемпионом. Знаю, что когда он учился в Колумбийском университете, ему предлагали играть в главной бейсбольной лиге, но это было еще до меня. Ну и, конечно, бридж. Он играл великолепно, даже чемпионы спрашивали его совета. Я играла много слабее, примерно как Керес, а вот Вера Менчик играла очень хорошо, я помню ее, мы говорили по-русски. И еще — он был необычайно гордый — это было у него в крови. Я только один раз видела, как он распластался перед кем-то в компли-

ментах. Это был старый плутоватый садовник в Гаване. Он продал нам несвежие цветы, и я очень сердилась и протестовала. И Капа так извинялся и кланялся перед ним, как я никогда еще не видела. Да, старый беззубый кубинский садовник...

На Кубе мы всегда останавливались в одном и том же отеле: хозяин его был другом Капы. Куба была тогда прелестная страна, веселая, часто бывали карнавалы, танцы, музыка, масса цветов, нищих не было вовсе. Капа любил там бывать, но не слишком долго. Вообще, он был непоседа, любил путешествовать — это было у него в крови. Лондон, конечно, был его город, но и Париж, Париж. Помню, в Париже в 37-м году был прием в кубинском посольстве в честь Риббентропа. Он был очень шармантный мужчина и танцевал со мной весь вечер. В конце он пригласил меня в Германию. «Я же славянка, а славян вы ведь не очень любите, к тому же у вас уже есть Ольга Чехова», — сказала я. Он весь рассыпался в комплиментах, сказал, что если бы фюрер меня увидел, то непременно бы влюбился, я была бы королевой Германии. «Зачем же мне быть королевой Германии, — отвечала я, — когда сейчас я королева мира». Капа стоял рядом и весь просиял...

Да, конечно, Амстердам помню очень хорошо, там была еще гостиница на воде, да, да, «Амстел», помню еще чаек над водой. Но знаете, Капе совсем не следовало играть в том турнире, он совершенно не был готов к нему, у него были приватные проблемы с разводом, и главное — он был очень болен, очень. У него были огромные перепады давления, которое поднималось иногда ужасно высоко. Это было у них в семье, от этого и отец его умер, и сын недавно на Кубе. Во время партии с Ботвинником в конце турнира ему стало плохо, и он потом сказал мне, что в уборной едва не потерял сознание. Доктор Гомес очень не советовал ему играть в этом турнире: Капа должен был избегать всяческого волнения. Но я тогда и не могла предполагать, насколько это все серьезно.

Почему он любил бывать в России? Потому что там были очень хорошие игроки, и еще потому, что там его просто обожали, на руках носили. Нет, сама не была, хотя Крыленко и разрешил, но мне посоветовали, намекнули, что лучше не ехать... Если он видел несправедливость, говорил прямо в лицо, но вот в книге, вышедшей недавно на Кубе, сказано, что он боролся за права негров и все такое. Он всегда был за справедливость, но это его совсем не интересовало. Он сам сказал бы в этом случае — *Sa pue* — Как это по-русски? Воняет? Пожалуй...

Музыку он обожал, Моцарта и Бетховена, но особенно Баха. Мы бывали на концертах, он любил и камерную музыку. Вы говорите, он был дружен с Прокофьевым? Быть может, мы встречались несколько раз в Париже, но я его не очень любила. Думаю, он меня тоже. Чем-то он напоминал мне Алехина».

«Вы верите в реинкарнацию?» — неожиданно спросила она. Я снова сделал жест, который можно было истолковать по-всякому. «Знаете, многие находили, что Капабланка был воплощением Морфи, они ведь похожи во многом. И посадкой головы, и всем обликом, и оба были латинского происхождения. Капабланка родился через четыре года после смерти Морфи... Ну, что вы, что вы, вы меня совсем не утомили».

Бутылка была почти пуста, и наступил уже вечер. «Давайте вызовем такси, а я пока приведу себя в порядок», — сказала она.

Я ожидал в холле, и вдруг Ольга появилась в замечательном черном платье, так что я даже застеснялся своего амстердамского вида. «В Ноттингеме на закрытии турнира у меня тоже было черное платье с такими оборочками. Капа даже не догадывался, что я купила его на распродаже. Он и о другом очень часто не догадывался. Ведь он всегда передвигался на автомобиле, а я нередко и в метро ездила, когда и вторым классом... Душка, вы не поможете мне с этой цепочкой?»

До ресторана было совсем недалеко, но как это часто бывает в Манхеттене, такси двигалось очень медленно, иногда и совсем стояло в веренице таких же желтых машин. У дверей «Russian Tea Room» Ольга сказала: «Мы бывали здесь часто, почти каждый день, днем за ланчем, мы жили ведь напротив в доме 157. Нью-Йорк в конце стал его домом. И хотя мы путешествовали всегда в кабинах-люкс на кораблях, я сказала однажды — знаешь, я хотела бы иметь свою квартиру в Нью-Йорке, пусть маленькую. И сняла недорого здесь на 57-й, мы платили что-то около 100 долларов в месяц. Я сама обставила ее; из того, что вы сейчас видели у меня, кое-что и оттуда. Я многое покупала тогда по случаю. Когда Капа вошел в квартиру в первый раз, он был просто изумлен, сразу позвонил приятелю и сказал — приходи немедленно посмотреть, какую квартиру Ольга приготовила для меня. Но жил он здесь, к сожалению, очень недолго. Отсюда почти каждый день он пешком отправлялся в Манхеттенский шахматный клуб играть в бридж. Так было и в последний день. Его привезли в больницу уже без сознания. Тот день помню очень хорошо. Я стояла на углу улицы недалеко от больницы. Был вечер или ночь, уже не помню, я видела звезду. Вдруг она исчезла.

И я поняла, что его нет больше. Через несколько минут вышел доктор и сказал, что он только что умер».

Мы вошли в ресторан, и она сказала: «Здесь все перестроено, но обычно мы сидели в том углу». Официант подал меню. Я много лет жил в Амстердаме напротив ресторана «Вишневый сад» с блюдами типа: «севрюга на вертеле, как ее любил кушать Антон Павлович Чехов» и меня здесь трудно было чем-либо удивить. Настоящую русскую еду тогда можно было найти только в ресторанах на Брайтон Бич в Бруклине, но для Ольги Нью-Йорк ограничивался, разумеется, Манхеттенем. Русские, которых она могла встретить на Брайтоне, вряд ли вписывались бы в Россию, которую она покинула почти семьдесят лет тому назад.

«Знаете, — сказала она, — я России фактически и не знала. Я ведь из Тифлиса, с Кавказа, а это была совсем другая Россия. Мы с Капой никогда не говорили на политические темы, но я слышала, что там сейчас по-другому относятся к таким, как я, к старым эмигрантам, понимают, что это были честные люди со своими принципами... Вам знакома песня о поручике Голицыне?»

«Вы говорите по-русски?» — спросил я у официанта. «Ньет», — отвечал тот с виноватой улыбкой и спросил в свою очередь, желаем ли мы аперитив. Ольга колебалась некоторое время между «Пушкиным» и «Распутиным», остановившись в конце концов на «Павловой». Я взял «Дядю Ваню». «Очень верно», — одобрил наш выбор официант. По тому, как она изучала меню и обсуждала с официантом тонкости соусов, было видно, что к предстоящей процедуре она не относится легкомысленно. Можно было представить красавицу-княгиню и элегантного кубинца в ресторане лайнера, пересекающего Атлантику: накрахмаленные салфетки, хрусталь, серебро. Я помнил старинное правило, что глаза лучшие свидетели, чем уши, и мне было интересно наблюдать за ней. Ей было приятно в полутьме ресторана, в привычной обстановке «выйти», рядом с молодым мужчиной, пусть тогда уже относительно молодым, но по сравнению с ней — всяко.

«Что-нибудь на десерт? — спросил официант, подкатывая тележку, — у нас сегодня замечательный черносмородиновый торт». «Попробуем?» — предложил я. «Ну, если уж вы настаиваете. — Знаете, Капабланка обожал сладкое; помню, перед витриной кондитерской, неподалеку отсюда, он долго смотрел на один торт и сказал: “Кикирики, мне кажется, что тебе хочется попробовать кусочек торта”».

Нет, не курил, а я потихоньку покуривала. Нет, не сигареты, папиросы... Нет, нет, спасибо, душка, я уже давно не курю. А почему вы улыбаетесь? Нет, если уж начали, досказывайте все до конца...»

Я колебался некоторое время, но решив, что все это было до нее и к тому же почти шестьдесят лет назад, рассказал историю, связанную с именем Капабланки. Он был тогда чемпионом мира, но короля, как известно, играет не король, а его приближенные. В России же, помимо приближенных, у него были преданные подданные и восторженные поклонницы. Во время 1-го международного турнира в Москве в 1925 году ему приглянулась миловидная папиросница, и он пригласил ее поужинать к себе в номер гостиницы. «Никак не могу, — отвечала девушка. — День кончается, а еще почти ничего не продано». «В таком случае я покупаю у вас все!» «Как все?» «Весь лоток». Утром следующего дня некурящий Капабланка позвонил портье гостиницы: «Заберите у меня эту утварь...» Еще долгое время портье продавал по дорогой цене «папиросы господина Капабланки».

«Ах, как мило, — улыбнулась Ольга. — Я знаю, что у него, когда он был студентом в Нью-Йорке, было немало романов, но как понимаю, ничего серьезного, впрочем, он не очень любил рассказывать о себе. Капа ведь был красавец: аристократические пальцы, которые он скрещивал, задумавшись, как это бывало во время симультанов, серо-зеленые глаза, замечательная улыбка, женщины прямо преследовали его...».

«Если вы никуда не спешите, пойдём домой пешком — это ведь не так далеко», — предложила она. Я подал руку, официант следовал за нами до дверей и желал нам приятного вечера. На улице было уже темно, но вечер был теплый, и мы медленно дошли по 57-й до 5-й авеню. «Давайте здесь перейдем, мы с Капой всегда здесь переходили и шли по другой стороне». На углу 59 и 5-й авеню у русского антикварного магазина «*A la vieille Russie*» она остановилась и склонившись стала рассматривать медальон с изображением последнего русского царя. Освещенное лицо ее вместе с березкой на картине, стоявшей внутри витрины, замечательно вписывалось в этот кусочек старой России в самом центре Нью-Йорка. Я вспомнил, что какая-то ветвь царской семьи жила в Америке: «Вы знали кого-нибудь из Романовых?» «Да, но я их недолюбливала, впрочем, мне не хотелось бы говорить на эту тему».

Мы двинулись дальше и, свернув на 68-ю, так же медленно дошли до Парк-авеню. Надо было перейти на другую сторону. «Знаете, — ска-

зала Ольга, – когда-то маленькой девочкой с двумя серебряными рублями я бежала в Америку, чтобы бороться за права индейцев. Меня поймали тогда на вокзале. И вот теперь... я здесь... Ну пойдёмте уже. Walk». Портье заметил нас издали и вышел из пролета двери: «Добрый вечер госпожа Кларк, добрый вечер, сэр. Какая чудная погода сегодня...»

Мы виделись еще несколько раз во время моих последующих приездов: тогда я регулярно бывал в Нью-Йорке. Встречи эти начинались у нее дома, где мы распивали бутылочку-другую, до чего она была большая охотница. Может быть, я ошибаюсь, но ей приятно было со мной, приятны и эти визиты, и походы в «Russian Tea Room». Она знала уже обо мне больше, чем мою непричастность к Зноско-Боровскому, хотя, честно говоря, и не намного больше. Просто она привыкла к постоянному вниманию, к мужскому обществу, в котором находилась всю жизнь. И конечно же, ей было приятно возвратиться воспоминаниями, подернутыми дымкой молодости, в весенний Париж, чудный Лондон, к чайкам над рекой в Амстердаме, в безмятежную атмосферу Европы предвоенных лет.

Ольга принадлежала к тем русским женщинам, которые в 20-х, 30-х годах стали женами или подругами писателей и художников Запада. Как правило, аристократки, иногда и авантюристки (в Ольге были черты, подходившие под оба эти определения), они были полны внутренней энергией.

От них пополняли творческий потенциал Пабло Пикассо, Поль Элюар, Ромен Роллан, Сальвадор Дали, Герберт Уэллс, Луи Арагон, Фернан Леже, Анри Матисс, Аристид Майоль. Распад старой России не уменьшил загадочной притягательной силы ее. Скорее наоборот – сквозь слухи о крови, экзекуциях и процессах вставали имена Эйзенштейна, Пастернака и Мейерхольда, Лисицкого и Малевича, и непрос-то было для западных интеллектуалов провести границу между одним и другим. Но Ольга была не только русской; она принадлежала еще к тем женщинам-долгожительницам, которые встречаются в разные времена и социальные формации. Мировые войны, революции, смена стран, языков, все идет своим чередом, но жизнь, жизнь продолжается в любом случае. Как правило, мужчины играют немаловажную роль в их жизни, нередко они переживают детей (если имеют), и умирают не от болезни, просто недопускаемой организмом, а от старости, когда перестает функционировать все.

Жизнь рассматривается ими как данность, и неправильно было бы лететь бабочкой на огонь, забывая обо всем. Это стало, если не было дано от рождения, стержнем поведения, самой натурой. Как бы ни повернулась судьба и что бы ни случилось — не забывать о самой главной и единственной — себе самой. Отпуская уходящие естественным путем желания, они прочно держались за остающиеся, потому что там — кто может знать, что будет там, здесь же — жизнь. И если верно, что надо продолжать жить, хотя бы из любопытства, что бы ни случилось — это о них. И если есть немалый смысл в том, что большинство людей умирает просто потому, что не осмеливается жить дальше, к ним это не относится. Они осмеливались! Они жили!

Несколько раз в наших разговорах всплывало имя Солженицына, жившего тогда в Америке. Было очевидно, что приводимый им крик отчаяния людей, получивших десять-пятнадцать лет лагерей — если отнято столько лет, то зачем вообще жить — ей совершенно чужд. Жить! Чего бы это ни стоило. Стих Мецената *Dum vita superest, bene est* (покуда длится жизнь — все хорошо) выгравирован на гербе женщин этого ордена.

Ольга Книппер-Чехова, игравшая в пьесах своего знаменитого мужа еще в начале века и умершая народной артисткой СССР и лауреатом Сталинской премии в 91 год. Марлен Дитрих, умершая в Париже в том же возрасте. Лиля Брик — муза Маяковского, другая Чехова — тоже Ольга, о которой вспоминала Ольга Кларк, известная киноактриса Третьего рейха, блиставшая на приемах рядом с Гитлером и Герингом и находившаяся в тайной связи с Советами. Лени Рифеншталь, перешагнувшая столетний рубеж. Загадочная Гала Дьяконова, без которой вряд ли Сальвадор Дали стал бы тем, кем он стал. Алма Малер с ее насыщенной бурной жизнью, в которой встречаются имена одно ярче другого, и пережившая многое и многих.

Ольгино созвездие тоже удалось. Первый муж ее — офицер белой армии, кавалерист, впоследствии летчик, что в конце 20-х годов прошлого века звучало значительно более экзотично, чем в наши дни. По словам Ольги, потомок Чингисхана и сам князь, он оставил ей княжеский титул, второй — шахматный король, третий — обладатель золотой олимпийской медали, четвертый — адмирал, герой Америки. Но Ольга не довольствовалась этим: она писала свою биографию широкими мазками, начиная с прадедушки — Евдокимова — знаменитого покорителя Кавказа, о чем говорила при каждом удобном случае. Факт этот проверить было так же сложно, как и далекие корни родства

ее первого мужа с Чингис-ханом, сказать же, что фамилия знаменитого полководца была совсем не Евдокимов, а Ермолов, я как-то не решался.

Русская княгиня — звучало внушительно в любом сочетании — с олимпийским чемпионом, адмиралом, но наибольший эффект это производило в комбинации с шахматным королем. Шахматный король и русская княгиня — звучало замечательно на вернисажах, балах и дипломатических приемах, которые Ольга называла «партиями». На этих приемах можно было встретить кого угодно: бывших и настоящих королей, профессиональных дипломатов и синекурных, каким и являлся Капабланка, обладателей огромных состояний, непонятно каким образом нажитых, махараджу или чудом спасшуюся от расстрела якобы царскую дочь.

Вся жизнь Ольги напоминала одну длинную партию с шампанским и цветами, и ей, так же как и самому Капабланке, было все равно, каких политических взглядов придерживаются Крыленко, Риббентроп или махараджа, приглашения от которого она позже находила в бумагах своего покойного мужа.

Ольга появилась в платье с огромным декольте на торжестве, посвященном 100-летию со дня рождения Капабланки в Манхеттенском шахматном клубе. Ей самой уже было девяносто. Ольга не изменила своей привычке и опоздала на полчаса, но тот единственный, кто мог попенять ей за это, смотрел, улыбаясь, с огромной фотографии на стене шахматного клуба.

Иногда она пускалась в рассуждения о шахматах, мыслях молодого Капабланки во время его первой поездки в Европу, о Сан-Себастьянском турнире, заставляя меня невольно вспомнить строки Гоголя из письма к любящей его матери: «Не судите никогда, моя добрая и умная маменька, о литературе». Сама Ольга не играла в шахматы. Но что с того. Жена Расина никогда не читала произведений своего мужа, так же как и жена Гете. А жена Гейне, француженка, знала по-немецки только одну фразу: *Guten Tag Herr, nehmen Sie, bitte, platz*, утверждая: «Говорят, Генрих умный человек и написал много чудных книг. Я должна верить этому на слово, хотя сама ничего не замечаю». Моего, признаться, нелепого вопроса, играли ли Капабланка и Тартаковер с часами, Ольга просто не поняла, хотя спустя несколько минут говорила об оценке трудной отложенной позиции Капабланки с Боголюбовым из Ноттингемского турнира, напомнив полный изящного достоинства ответ жены другого чемпиона мира: «Я в шахматы

не играю, — сказала однажды Надежда Андреевна Смыслова, — но позицию понимаю».

Я спрашивал ее о многом, помня, что тот, кто много спрашивает, получает много ответов. Но почти все ответы ее, как отшлифованные морские камешки, были похожи на уже слышанные, и разница заключалась лишь в том, что в ресторане она заказывала «Распутина», а я «Пушкина». Было очевидно, что я не первый, кто спрашивал ее о Капабланке. Она лепила его образ, и я встречал потом кое-что из рассказанного мне едва ли не слово в слово где-то еще. Впрочем, и известное — известно немногим, а Ольга знала, чего от нее ждут. Но образ его создавать было нетрудно оттого, что он во многом и был такой. Они были вместе восемь лет, но понимала ли она его так хорошо? Восемь? «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек», — писала Софья Андреевна после смерти мужа.

Хотя Ольга говорила о событиях более чем полувековой давности, я понимал, что даже из ретушированного прошлого всегда может выудить черты и черточки самого легендарного чемпиона за всю историю игры. Конечно, мне хотелось знать, какие шахматные книги были у них дома, как он анализировал, как готовился к партии, если готовился вообще. Ольга отвечала, что шахматы он не любил, что мне представляется неверным, к партиям не готовился вовсе, что, по словам самого Капабланки, если бы шахматы так не захватили его в юности, он, вероятно, стал бы изучать медицину. Знакомый с тем, что он делал на шахматной доске, я снова мягко уводил ее от рассказов об играх, как она называла партии, ибо слово «партия» для нее означало нечто другое: вечерние туалеты, танцы, шампанское. Я старался направить ее в русло чеховской молитвы: «Боже, не позволяй мне говорить о том, чего я не знаю», но даже когда Ольга снова начинала вспоминать вечный карнавал на Кубе или веселую беззаботную жизнь в Нью-Йорке в начале 30-х годов, в глубине души возникало смутное чувство (смотря для кого беззаботная!) — очевидное следствие лекций по диалектическому материализму моей далекой юности.

Не могу сказать, что мне было скучно с ней. Она оживлялась после своего любимого шампанского и могла с воодушевлением рассказывать, какого цвета платье было на госпоже Эйве, о чем шел разговор с госпожой Флор в Ноттингеме, когда она встретила ту утром в парикмахерской в день закрытия турнира, какие именно комплименты говорил ей министр иностранных дел Германии в Париже в кубинском по-

сольстве. Здесь уж можно было поручиться, что память ее не подводит, она была молода и очень женственна в эти мгновения, улыбка играла на ее лице, и можно было представить, как потерял голову летом 1920 года в Константинополе бывший офицер-текинец, а четырнадцать лет спустя немолодой и уже выдавший виды шахматный король.

Но реальность жизни могла быть забыта, и вот через минуту она уже спрашивала, сколько могла бы стоить золотая медаль, полученная Капой на Олимпиаде в БуэносАйресе в 1939 году: Ольга любила окунаться в воспоминания, но не витать в облаках. Она твердо стояла ногами на земле — обязательное условие столь долгого пребывания на ней. И пусть воспоминания эти были не так глубоки, она говорила обо всем с таким удовольствием, что невольно закрадывалась мысль: может, так и надо жить?

И все же не эти скользкие по поверхности воспоминания и повторы, когда не раз повторенное становится фактом, были причиной того, что я не позвонил ей в мой очередной приезд в Нью-Йорк. Скорее, дело было в другом. Ольга говорила о Капабланке как о совершенстве, а у совершенства есть один изъян — оно может наскучить. И если бы у меня спросили, что я, собственно говоря, против него имею, я бы ответил, как прославившийся афинский нищий: я ничего не имею против него, просто надоело постоянно слышать, что Капабланка — лучший бриджист, что Капабланка — лучший бильярдист.

Последний раз я слышал ее голос, позвонив прямо из аэропорта, улетаю обратно в Европу и говоря зыбкую очень правду о такой напряженной поездке и о том, что на следующий год...

Следующего года не получилось. Приехав в сентябре 95-го года на матч Каспарова с Анандом, я спросил о ней. «Как, ты не знаешь? — сказали мне. — Ольга умерла уже как с года полтора тому». Защемило сердце, как всегда бывает в таких случаях, хотя приучено уже было ко многим и не таким потерям. Знал ведь, сказалось себе, что не обойдется, не образуется, и что придет когда-нибудь момент для такого известия. Ольга умерла 24 февраля 1994 года в Нью-Йорке в возрасте 95 лет.

Она завещала весь архив Капабланки Манхеттенскому шахматному клубу — его клубу. Стояла чудесная солнечная осень, и город, который никогда не спит, не спал особенно на 46-й West между 8 и 9-й авеню, где помещалась Американская шахматная Ассоциация, а

теперь и Манхеттенский шахматный клуб. Я приходил туда часам к одиннадцати, с улицы доносился нескончаемый гул машин, а я погружался в совсем другой мир — Маршалла, Ледерера, Купчика, Эйве и, конечно, Алехина. Но все они были только частью его мира — El Morphy cubano, — как его называли нередко кубинские газеты. В толстых папках (Carablanca Clippings), начиная с 1901 года, были аккуратно подобраны письма к нему, бланки его партий матча с Алехиным, налоговые декларации, вырезки из газет, нередко выцветшие, контракты, счета, отчеты от издателей его книг.

Телеграммы, телеграммы, в том числе от гордых родителей, поздравляющих с первым большим успехом: победой в матче с Маршаллом. Фотографии, записки, иногда очень личные. По-испански, по-английски, реже по-французски, еще реже по-немецки. Мне было интересно все: не будучи шахматным историком, как нередко и в жизни, я не мог отличить главное от второстепенного. А вот и голландский — репортаж с АВРО-турнира, фотография, сделанная в Арнеме 19 ноября 1938 года. В этот день ему исполнилось пятьдесят лет. Элегантный как всегда, он стоит перед микрофоном, рядом — Ольга с букетом цветов. Через несколько часов он проиграет партию тому, чье существование отравляло жизнь Капабланке на протяжении последнего десятилетия. Тут же ее пропуск на турнир — в первый раз в качестве официальной супруги: они сочетались браком 20 октября и через несколько дней отплыли в Европу. А вот ее русская весточка: чек на годовую подписку газеты «Новое русское слово», выписанный январем 1942 года, за два месяца до его смерти, и ее тогдашней подписью: Ольга Чагодаева-Капабланка.

А вот письма, телеграммы соболезнования, не так и много, вот — от вдовы Маршалла, вот — что-то по-русски, фактически ничего от шахматистов; с другой стороны, в Европе разгар войны.

На страницах этих писем, контрактов, документов были разлиты честолюбие и денежные расчеты, интимные просьбы и холодная ярость, бушевали страсти людей, которых уже не было, но которые жили, жили...

Когда я поднимал голову, за окном по-прежнему шумел Нью-Йорк, часовая стрелка неумолимо приближалась к трем, и давно уже надо было возвращаться в реальный мир, к тем же и совсем другим шахматам, к другому матчу на первенство мира.

СМЕРТЬ, ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО?

Пили чай у него на даче. Спросил: «Василий Васильевич, а когда мы с вами познакомились-то?»

«Да что ж вы такое спрашиваете, Гена, — Смыслов укоризненно посмотрел на меня, — вы же сами знаете, что мы всю жизнь были знакомы...»

На турнире в Бразилии в 1977 году, когда я близко сошелся с ним, Смыслову было пятьдесят шесть, и я не помышлял, что когда-нибудь буду писать о нем: нас просто связала душевная близость.

Виделись мы бесчисленное количество раз: в Швейцарии, Франции, Бразилии, Англии, Аргентине, Югославии... И конечно, в Москве на турнирах, у него дома и на даче, у меня — в Амстердаме. За несколько дней до того, как он отправился в больницу, откуда уже не вернулся, мы говорили по телефону...

В частных беседах Смыслов был куда интереснее, чем в интервью и публикациях. Мысли, подспудно присутствовавшие всегда: как посмотрит начальство? Не отразится ли это на выезде? Что подумают? — сковывали его. Он скрывался за общепринятыми формулировками и постоянно держал мысль под контролем. Поэтому все интервью с ним, даже последнего периода, когда он позволял себе больше, чем в советские времена, кажутся мне пресными.

У нас выработался особый, шутливый тон разговора, который мы могли поддерживать длительное время. Со стороны могло создаться впечатление, что два великовозрастных студента продолжают пикировку, начатую много лет назад, хотя на самом деле нередко речь шла о вещах нешуточных, порой и трагических.

Несмотря на внешне несерьезный тон разговоров, я никогда не воспринимал Смылова с комической стороны; тем более не делаю этого сейчас. Это было бы большой несправедливостью, а для меня, кроме того, и неблагодарностью.

Его монологи были так интересны, что я начал ловить себя на мысли: этого бы не забыть, а это может быть интересно не только

мне. Начиная с определенного момента, я стал записывать его рассказы.

Думаю, что он сам понимал смысл моих расспросов и к некоторым из них готовился, формулируя мысль четко и недвусмысленно. Распуская пряжу наших диалогов, я вполне осознанно решил сохранить корявость, присущую почти любому разговорному общению, убрав разве здесь и там относящиеся ко мне комплиментарные слова. Чтобы не пострадало смысловое содержание, я оставил их только в считанных случаях, но это совсем не значит, что эти слова забыты.

Я осмелился взять его речь в кавычки: монологи Смыслова не пересказаны мною, а воспроизведены слово в слово. Некоторые из них, записанные на магнитофонную пленку, сохранили живые интонации его московского говора с «што», «канешно», «Масква», «п-а-анравил-ся». Он говорил: «третьего дня», «нынче», «давеча», «все от лукавого», «бес попутал», «суета сует». Часто повторял максимуму, произнося ее то по-французски, то по-русски: *fait ce que dois, advienne que pourra* — делай что должно, и будь что будет.

Как и у большинства людей, почти всё, прочитанное им, относилось к детскому и юношескому возрасту, но сохранилось в памяти навсегда и он часто и с удовольствием цитировал русских классиков. Любил вставить в речь двестишие, а то и четверостишие из Пушкина, Грибоедова, Некрасова, Майкова, врезавшиеся в память слова Гоголя, Островского.

За несколько лет до смерти спросил его: «Василий Васильевич, вы Гоголя когда в последний раз читали? Лет шестьдесят тому?» «Шестьдесят? А все семьдесят не хотите, а то и с гаком...»

Общаясь с ним, я замечал, что стилизуюсь под его манеру разговора и употребляю его словечки. «Ну что, Г., вчера всё к партии готовились, на прогулку не вышли? — спрашивал меня, расстроенного после проигрыша. — Но и вас не обошла участь сия...»

«Да уж, — слышал я собственный голос, — не в коня корм. Звезды, верно, на небосводе не были расположены благоприятственно. Надо было козьею ножкой...»

Видя нас постоянно вместе, коллега-гроссмейстер спросил меня как-то: «Откровенен ли с тобой до конца Василий Васильевич?»

Кто может ответить на такой вопрос? Откровенен он был, конечно, только со своей женой, Надеждой Андреевной, Надюшей, Надин, но это было не откровение, а что-то другое: можно ли быть откровенным с собственной рукой? И куда бы он ни приезжал, войдя в гостиничный

номер, первым делом доставал из чемодана и ставил на столик рядом с кроватью фотографию молодой улыбающейся Нади.

Он говорил мне вещи, которые обычно не говорят другим. И не только потому, что это был я. Просто все сошлось: здесь не надо было держать ухо востро, когда говоришь с соотечественниками. Не надо было мучиться, коверкая английские или немецкие слова. К тому же опыт человека, прожившего почти три десятилетия в той же самой стране, делал само собой разумеющимся многое, чего не мог понять ни один иностранец. И наконец: человек того же цеха, той же профессии, интересы которого к тому же никоим образом не пересекаются с его собственными. Немало!

Памятью обладал замечательной, хотя и воскликнул однажды, когда я начал расспрашивать его о старых временах: «Ой, Г., ничего не помню! Это мне благодать такая дана — забывать. Но удивительный феномен: то, что надо было бы забыть, то и помнишь больше всего...»

Он постоянно и страстно увлекался чем-нибудь. В конце сороковых, начале пятидесятых годов это было столоверчение, спиритизм, которым, по его словам, занималось немало людей из высших эшелонов власти. Со многими он был знаком лично, называл и фамилии.

При мне уже был у него период, когда он только и говорил о свете в конце тоннеля и почти все свои речи начинал словами: «а вот в книге Ляйф авте ляйф сказано...»

Потом увлекался какими-то идолами, божками. Этот период начался у него после посещения Исландии в 1977 году, длился не очень долго и кончился тем, что он в одночасье, разочаровавшись, выкинул все с глаз долой, из сердца вон.

Застал я и период его увлечения НЛО, таинственными явлениями, инопланетянами, время от времени посещающими Землю. На турнире «Интерполис» в Тилбурге в 1979 году, когда он в который раз начал говорить о летающих тарелках, Олег Романишин позволил себе какое-то ироническое замечание, и Смыслов не на шутку рассердился.

После поездки на Филиппины, насмотревшись как местные хилеры без всякой анестезии удаляют опухоли, был под сильным впечатлением увиденного, но потом прошло и это увлечение.

В июле 1999 года в его речах появился новый мотив: «Знаете, Г., что за даты близятся? Да вот именно! Нострадамусовы! А ведь Нострадамус многое правильно предсказал...» Рассуждал о деталях конца мира, приводя мне, сомневавшемуся, решающий аргумент: я сам по телеви-

зору слышал. Но как только все указанные сроки прошли, сошло на нет и это увлечение.

Все победила религия. Такое случается нередко, особенно в годы, когда последний причал становится виден отчетливо. Сам он утверждал, что верующим был с молодых лет, я видел у него крест на золотой цепочке, а во время прогулок, если представлялась возможность, Смыслов заходил в церковь, ставил свечку, крестился на иконы.

Он знал, что я равнодушен к религии, и когда задавал ему вопросы, болезненные для каждого верующего, он сдвигал брови, и я слышал в его голосе интонации: правильный ответ на вопрос, что делал Бог до сотворения мира — занимался сооружением ада для задавателей такого рода вопросов.

Однажды, начитавшись на ночь Шестова, спросил: разве Писание может выдержать очную ставку с самоочевидными истинами? Насупился: «Вы, Г., всяких книжников, фарисеев да садуккеев читаете, а вместо этого полезнее было бы в церковь сходить или хотя бы в синагогу».

Но он благоволил ко мне и позволял высказывать взгляды, несозвучные с его собственными, при условии, что я не делаю этого очень часто и вопросы ставлю не слишком остро. Когда я старался не перечить ему и проявлял смирение, он не мог не чувствовать, что это смирение Агриппы, согласившегося с апостолом Петром: ты меня почти убедил.

Я стал избегать этой темы, поняв, что в споре убедить нельзя, а обидеть нетрудно. Тем более собеседника, слушающего не аргументы логики и рассудка, а обладающего верой, которая идет от сердца и потому не нуждается в доказательствах.

Как и все верующие, он считал земное бытие не более как переходом к вечному. Не знаю, каким виделся ему рай, если удастся «на проскоке» (одно из любимых выражений!) очутиться там. Наверное, представлялся местом, наполненным божественным пением, музыкой Баха, игрой в шахматы, составлением этюдов, прогулками по дивной природе, неторопливой беседой с друзьями.

«В 77-м году был я секундантом Спасского в Рейкьявике на его матче с Гортом, — вспоминал Смыслов, — и пригласили нас на прием в советское посольство. Не помню уж о чем разговор зашел, но Борис Васильевич сказал так иронично советскому послу: а В.В. у нас в боженьку верует... Посол и особенно жена его так прямо и взвились — что за чепуха, прямо-таки мракобесие, поповщина, а у меня спрашивают: «Правда?» А я говорю: «Правда. Все правда...»

Перед тем как записывать в Голландии первую в жизни пластинку, волновался очень. Утром пошел в церковь, долго молился, а вернувшись из студии, где все прошло отлично, сказал: «Не поверите, Г., подмигнула мне мать Мария, давай мол, не робей, все будет хорошо. Так знаете ли — у меня от сердца даже отлегло...»

Гуляя по маленькой деревушке под Тилбургом, доходили до церкви, когда и заглядывали в нее. «Цифры какие-то устрашающие — 50, 100, — спросил в первый раз, останавливаясь у лоточка со свечечками. — Неужели это в гульденах?»

«Да нет, В.В. — это в центах, в центах».

«Точно знаете, Г., что в центах? А то неровен час...»

«Точно, точно, В.В.»

«Ну тогда можно и свечечку поставить... А хотите, Г., я и за вас поставлю? Вы хоть и не христианского вероисповедания, но для души всяко не повредит».

В августе 1998 года в Элисте я разговаривал несколько раз с Майей Чибурданидзе и ее духовным наставником отцом Рафаилом. Прощаясь, отец Рафаил, крупный черноволосый мужчина лет пятидесяти в рясе, спросил: «Ежели предал лучший друг, и друг простил предавшего на смертном одре — будет ли он прощен?»

На следующий день увидел в Москве Смыслова, которому и переадресовал вопрос отца Рафаила. Тот долго не раздумывал: «На том свете разберутся!» К этому ответу он прибегал не раз, когда речь шла не только о религиозных проблемах.

В 1982 году я побывал в Ленинграде. Несмотря на наличие голландского паспорта, мне настоятельно рекомендовали не делать этого: стояли чугунные советские времена, и трудно было сказать, во что может вылиться такой визит. Игнорировав обязательную для пассажиров круизного судна программу с экскурсиями и посещением музеев, я следовал своей собственной. За несколько часов до отплытия теплохода, не удержавшись, заглянул в Чигоринский клуб.

«Двери-то обшарпанные, когда ремонт делать будем?.. Видите: иностранец пришел...» — сказал, войдя в знакомые с детства стены. История обросла подробностями. Рассказывалось, что Сосонко, тайком приехав в Ленинград, обещал выделить десять тысяч долларов на ремонт клуба.

«Слышал, слышал, Г., про ваш набег, — говорил Смыслов, когда я встретил его через месяц в Тилбурге, где мы играли в турнире «Интер-

полис». — На проскок пошел? Совсем голову потерял?» — улыбаясь, выговаривал мне.

Мы играли в пятом туре, у меня были белые. Все наши партии раньше кончались вничью, какие и без игры. Смыслов пассивно разыграл дебют, и с каждым ходом мое преимущество увеличивалось. Когда его позиция стала совсем проигранной, он приподнялся на стуле, протянул руку и торжественно произнес: «Радуйтесь, Гена, но не гордитесь. Я не могу играть против своих друзей!»

Он дулся и ворчал на меня весь следующий день: «Этот? Да он родного отца за пятьсот долларов прирежет, а не то что десять тысяч кому-нибудь пожертвует. Жди от него...» Но потом все вошло в привычную колею: прогулки по окрестностям небольшой деревушки под Тилбургом, где жили участники турнира, и длинные-длинные разговоры обо всем.

Эту партию Смыслов не забыл и через два года в том же Тилбурге взял реванш. Играл он с большим воодушевлением, и я вспомнил Таля, заметившего, как «ввинчивает» в таких случаях фигуры в доску Смыслов. Это была наша последняя партия.

В нем, как и во многих русских людях, было очень заметно преклонение перед иностранным, восхищение качеством изделий, обслуживанием в ресторане, сервисом, вообще отношениями между людьми и ироническим, порой и презрительным подтруниванием над всем этим. Чувства, на первый взгляд противоположные, а на самом деле очень легко уживающиеся друг с другом.

Войдя однажды в большой магазин на торговой улице Амстердама и увидев платья и блузки различных фасонов и расцветок, комментировал: «А ситцы все французские, собачьей кровью крашены...»

Легко объяснимый синдром покупок был у всех, приезжавших из Советского Союза, исключений здесь не было. Но у Смылова был рецидив этого: обмен только что купленной вещи. После осмотра обновки, когда и всестороннего обсуждения ее с коллегами, на следующий день он торжественно нес покупку в магазин для обмена или возврата денег.

Когда у него проявился этот синдром, я не знаю, но в середине семидесятых годов это был уже застарелый недуг, не поддающийся лечению. Думаю, что когда в первый раз обмен безболезненно удался, ему захотелось сладострастно испытывать это ощущение все чаще и чаще, а потом уже и всегда. Как всякий алкоголик, он не считал это

болезнью, стараясь припомнить случаи окончательной покупки, или попросту утверждал, что может легко обойтись без обмена.

«Давайте, Г., погуляем, но прежде в магазин зайдём, купим кофточку Надежде Андреевне. А потом уж отправимся, куда скажете», — предлагал В.В. перед традиционной прогулкой в Тилбурге. «Нет уж, вы сами покупайте, я на улице подожду, а завтра пойдем с вами менять...» Смеялся.

В другой раз обменивали блузку, уже обмененную днем раньше, но в конце концов не показавшуюся ему из-за слишком вольного покрова.

«Вам действительно нравится, Г.? — спрашивал В.В. с той же интонацией как и сутки назад на том же месте. И вздыхая, добавлял: «Знаете, однажды играл я в Швейцарии и выбрал для Надежды Андреевны кофточку. Так она ее в пух и прах раскритиковала. И так получилось, что через два месяца секундировал я Спасскому в Женеве, когда он с Портишем играл. Зашел в универмаг, глаза прямо разбежались, и можете себе представить, Г., из всех фасонов и расцветок выбрал ту же самую кофточку, что в прошлый раз...»

«В.В., а почему говорят — в Москве теперь все есть, а все-таки здесь покупают? В чем штука такая?»

«А помните, Г., еще у Островского, кажется, сказано — вам какого винца налить? — лакей спрашивает. Французского? Высшего качества? Это нам недолго. Наклеечку переменить и дело с концом. Все поняли, Г.?»

Гуляя по Тилбургу, заходили то в один, то в другой банк. Он привез с собой из Москвы 90 норвежских крон мелкими купюрами (что-то около 30 долларов тогда) и хотел их поменять по «самому хорошему курсу». Оправдывался: «Я ведь только пиратские комиссионные им не желаю платить...» — и подкреплял свои слова народными мудростями: копейка — рубль бережет, свой глазок — смотрок, как ни богат, а копейке рад.

Сидели после утренней прогулки 14 октября 1992-го в тилбургском кафе.

«Так вы, значит, Г., в Новую Зеландию собрались? И надолго?»

«Да, В.В., думаю сначала в Австралию, а потом в Новую Зеландию махнуть. Месяца на два, а то и дольше».

«М-да, а я вот, знаете, в книге Тура Хейердала недавно вычитал: отправился он с молодой женой в свадебное путешествие на Таити. Пальмы, океанский прибой, фрукты диковинные, одним словом, рай

земной. Повстречали там одного норвежца, тридцать лет на Таити живущего. Ну, говорят ему: повезло вам... А тот: мне бы сейчас морошки да ветра осеннего...

Или вот — играл в Мар-дель-Плате в 1962 году. Разносолы, рыба всяческих сортов, — ешь не хочу. А хозяйева говорят — это что, вот в выходной день мы вас такой рыбой накормим — пальчики оближете... Действительно, приготовил повар какую-то рыбу в горшочке и соус специальный — попробуйте, говорят, деликатес необычайный. Я пробую, все сидят, на меня смотрят. Батюшки-святые, да это треска! В Аргентине деликатес необычайный и экзотика, а я третьего дня для Надежды моей по рублю кило на базаре покупал. Все поняли, Г.? Ну давайте трогать, уже играть скоро...»

В гостинице, когда я вызвал лифт, советовал: «Знаете, Г., в России есть такой доктор Медведцев, он у нас по телевизору выступает, так доктор этот советует лифтом совсем не пользоваться. Каждая ступенька лестницы — говорит — секунду жизни прибавляет, так что я теперь по лестнице поднимаюсь, и вам полезно было бы... Не пойдете? А зря. Ну, как говорит в таких случаях Марина, жена Бориса Васильевича: *a tout alleur, a tout alleur...*».

Рассерженным видел его буквально считанные разы. Один случай запомнил очень хорошо: было это 13 мая 1981 года. В Амстердаме игрался ИБМ-турнир, и мы вышли по обыкновению на вечернюю прогулку. Сказал ему, что в Риме было покушение на Папу, но тот остался жив, а стрелявшего поймали. «Поймали? Такого злодея надо немедленно и прилюдно повесить на площади Святого Петра, чтобы другим неповадно было. И не просто повесить, а за яйца...»

Испорченный западной демократией, я, охнув, стал говорить что-то о суде, о праве на защиту... Не дал договорить: «Я бы этого негодяя, Г., за яйца повесил и вся недолга, без всяких ваших судов да защит...»

Хотя к ругани других относился снисходительно, бранных слов не употреблял совсем, даже словечек, сегодня считающихся детскими. Однажды рассказывал, как слушал оркестр народных инструментов под управлением Николая Некрасова: «Камаринскую лихо отыграли, там слова, конечно, неприличные, такие и произнести нельзя: ах ты, такой-сякой сын камаринский мужик, заголя это самое место, по улице бежит... Но так уж написано, здесь уж ничего изменить нельзя...»

В другой раз зашел разговор об одном известном гроссмейстере. «Знаете, Г., Кобленц знал его прекрасно еще с довоенных времен и

называл одним нехорошим словом. Не могу вам сказать каким, Надежда Андреевна рядом стоит».

«Что за слово такое, В.В.? Скажите хоть шепотом...»

«Нет, не могу. Даже шепотом не могу...»

«Ну скажите хоть на какую букву, я сам догадаюсь».

«Какой приставучий! Ну так и быть, скажу: на букву “д” начинается...»

«На “д”? Да на “д” и ругательств в русском нет. Дураком?»

«Да нет, не дураком, дураком я сказал бы...»

«Ума не приложу, видно давно я уехал из России. Долбоебом, что ли?»

«Фу, Г., какие слова! Нет, по-другому Александр Нафтальевич его называл...»

Так и не знаю до сих пор, каким словом называл Кобленц гроссмейстера Н.

В Лас-Пальмесе в 1982 году играл в межзональном. Было ему уже за шестьдесят, но играл он с блеском. К партиям почти не готовился, каждое утро еще до завтрака спускался к морю, и окунувшись, сидел один на пустынном еще пляже, вглядываясь вдаль.

«Вы знакомы? — спросил меня в первый день, представляя молодого человека с необыкновенно живыми глазами и темнорыжей бородой, — это гроссмейстер Лев Псахис. Лева у нас вегетарианец. Впрочем, живя в Красноярске, не так и трудно быть вегетарианцем, если вы, Геннадий Борисович, понимаете, что я имею в виду...»

На шансы ветерана в борьбе за первенство мира «наверху» смотрели скептически. Перед полуфинальным матчем с Золтаном Рибли он отправился на прием к председателю Спорткомитета Марату Грамову.

«В вашем возрасте, Василий Васильевич, — без обиняков сказал высокий чиновник, — надо не за мировое первенство бороться, а думать о кое-чем другом...»

Несмотря на годы, у него сохранялось еще честолюбие, энергия и хладнокровие, необходимые для побед. Признавался, что «лет в пятнадцать-шестнадцать играл так же, как играю сейчас» и верил, что удастся победить Рибли. Венгерского гроссмейстера он разгромил. Верил, что ему предназначено выйти на Карпова и снова сражаться за чемпионский титул, но уступил в финальном матче Каспарову.

Сказал: «Когда за звание чемпиона мира борешься, надо постоянно быть готовым к военным действиям. Постоянно. А когда я чемпион-

ское звание в 57-м году завоевал, появилось чувство, будто против меня весь остальной мир восстал. Я – против остального мира. Не способствовало это ни спокойной жизни, ни комфортному состоянию души. Может быть, поэтому матч-реванш Ботвиннику проиграл, а не только потому, что болел во время матча воспалением легких. А может, потому и болел, что дискомфорт внутренний чувствовал...»

Цену себе знал, всегда чувствовал себя в одном ряду с великими. Однажды на гроссмейстерском собрании еще в советские времена, когда его стали попрекать частыми зарубежными поездками, сказал: «Что-то я не припомню, чтобы Капабланка просил у кого-нибудь разрешение играть в заграничных турнирах...»

Чемпионской ментальностью обладал с юных лет. Верил в себя, в судьбу, в собственное предназначение. Когда в 1935 году Алехин проиграл матч на мировое первенство Эйве, Смыслову было четырнадцать. Школьный товарищ спросил его: «Вася, хотел бы ты быть Алехиным?» «Побежденным – нет!» – ответил подросток.

Однажды сказал скептически: «Дважды кряду победить в турнире претендентов? Пожалуй, ему это не удастся...»

«А вы-то сами, Василий Васильевич? Вы-то?»

«Так то ж я!»

1998. «Знаете, В.В., мне тут книгу прислали о знаменитых шахматистах-евреях, в Израиле изданную. Там и вы помянуты...»

Засмеялся: «Ну это они мне польстили так, Г., просто польстили. Помню, говорили что-то об этом... Но нет, не думаю...» И снова: «Да, польстили мне, однако...»

Через несколько лет этот вопрос всплыл снова. «...Мама еврейка была?» Долгая пауза. «Да нет, пожалуй, не была. Хотя Рохлин и говорил что-то об этом, да и другие. Не знаю, не знаю... Нет, не думаю все же, что была... Конечно, ежели вглубь идти, все что угодно можно обнаружить. Да и то скорее по другой линии, по отцовской. Мне тут из Петербурга привезли диплом отца об окончании Технологического института. Так оказывается, был мой батюшка Иосифович, а не Осипович. Отец мой в 1943 году умер, а матушка пережила его почти на сорок лет, она с моим старшим братом жила. Но знаете, если копать, так и до Ивана Грозного можно дойти...

Меня ведь как чемпиона всюду принимали с одинаковым почетом, хоть в Израиле, хоть в арабских странах. Я вообще на вопросы национальности очень спокойно смотрю. Вот звонили мне как-то из

Еврейской Энциклопедии, составляли они список известных евреев. Тот же вопрос задали. Так знаете, Г., я им так же и ответил: был вроде кто-то, но точно сказать не могу... А те: если вы сами точно не знаете, то не можем включить вас в список. Так что мне, в отличие от Михаила Моисеевича, здесь гордиться особо нечем. Но знаете, Г., меня это и не занимало никогда...»

Оставим в покое и мы национальность седьмого чемпиона мира. Не в этом дело. И не в том, что Борис Васильевич Спасский говорил порой при совместном анализе — ах, Василéвич, умная еврейская голова. И не в том, что в последние годы выглядел он как библейский пророк, сошедший с картины Рембрандта.

Россия, его Россия была для него единственной родиной, и был он глубоко русским человеком. Латинская пословица «Ubi bene ibi patria» и ее русский эквивалент — «Где кисель, там и сел» — не о нем.

Говорил: «Перед поездкой за границу волнуешься, живешь этим, дни считаешь, а окажешься где-нибудь, так уже через недельку домой хочется, на природу, рыбку половить... А что Борис Васильевич давеча сказал о двух пушках, у меня на даче стоящих и в сторону Кремля нацеленных, то вы сами, Г., знаете — дряни у нас немало разнообразной, но как там у поэта сказано...» Снял очки, протер стекла: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б хотелось почивать».

Даже в советское время избегал произносить имя Ленина, называя того «батенька», а Ленинград всегда называл Петербургом. После того, как с большим вниманием изучил какую-то книжку издательства «Посев», стал говорит о мавзолее, как о точной копии храма Сатаны в Пергаме. В последние годы называл Ленина «антихристом», мумию которого давно пора убрать с Красной площади.

В 1977 году играли вместе в Бразилии. Гуляя по Сан Пауло, частенько доходили до магазина русской книги, но внутрь Смыслов заходить побаивался — не ровен час кто увидит. Пока я рылся в книгах, запрещенных в Советском Союзе, ожидал меня на скамейке в скверике.

Перед выходным днем дал ему солженицынский «Архипелаг Гулаг». Утром сидел смурной в лобби гостиницы, ожидая работников торгового представительства, чтобы вместе отправиться в какой-то магазин за дешевой кожаной продукцией.

«Ой, Г., что вы со мной наделали... Я до пяти не спал, все читал, читал. Вспомнил то время... Верно, все верно описывает Солженицын. Отец ведь мой тоже Технологический институт еще в Петербурге

окончил. И сокурсников его в тридцатых годах арестовывали в Москве и в Питере. Он меня старался оберегать от всего, но я уже не маленький был, пусть всего и не понимал, но кое о чем догадывался...» И закрывая глаза, прикладывал руки ко лбу.

«Вот они... Идут... Идут, злодеи», — Смыслов уже заметил входящих через дверь-вертушку похожих друг на друга людей среднего возраста с короткими прическами. «Здравствуйтесь, здравствуйтесь, — поднялся им навстречу В.В. — Рад вас видеть! — А где же Никанор Иванович? Не получилось? Обида какая...»

На Олимпиаде 1978 года в Буэнос-Айресе назревала сенсация: команда Советского Союза могла остаться без золотых медалей. Венгерская сборная опережала команду СССР перед последним туром, но играла с сильной Югославией, в то время как советские гроссмейстеры встречались с голландцами. Капитаном команды СССР на той Олимпиаде был Смыслов. Улыбаясь чему-то своему, медленными шажками, как корабль пустыни, он неторопливо курсировал между столиками.

Я играл на второй доске с Львом Полугаевским. Уклонившись от ничьей в дебюте, Полугаевский попал в пассивное положение и заметно нервничал. «Не смей, Г., — едва заметно улыбался В.В., когда мы сталкивались на игровой площадке, — Г. — не смей!».

Несколько ходов спустя Полугаевский осуществил высвобождающий прорыв и предложил ничью. Я подошел к Смыслову: «Тут, В.В., Лева мне ничью предложил, наш капитан куда-то запропастился, не знаю, право, что и делать...»

«Не смей, Г., не смей! Идите и соглашайтесь на ничью, вы на Леву посмотрите, на нем лица нет...»

В 1979 году Лев Альбурт попросил политическое убежище в Западной Германии. «Будем говорить, что его похитили...» — давал нервные инструкции руководитель делегации членам команды «Буревестник». «Похищали раньше девушек...» — невозмутимо комментировал его слова Василий Васильевич.

По возвращении в Москву всю команду прямо с трапа самолета отвезли в здание ВЦСПС, где их уже ждали чиновники, среди которых нетрудно было заметить молодых людей, особенно внимательно слушавших выступавших.

Первым предоставили слово Смыслову. Повисла долгая пауза. По словам очевидцев, Василий Васильевич держал ее по меньшей мере минуту. Наконец он произнес: «Лев Осипович Альбурт был человек

не моей генерации...» После чего замолк снова. «Что же еще можно добавить?» — спросил он скорее самого себя. И продолжал: «Тип демонический. Можно ожидать любых поступков...»

В Монпелье в 1985 году во время кандидатского турнира встречались за несколько кварталов от гостиницы: уж больно много приехало на этот раз с советскими гроссмейстерами «сопровождающих». В последний день за завтраком он шепнул: через полчаса на том же месте?

«Г., я для вас подарок захватил. Все вы меня книгами баловали, а теперь я ответный ход сделаю: это мне местный житель один русский в начале турнира презентовал. Никак не могу везти с собой в Москву...» Он вынул из-за пазухи и вручил мне книгу, на обложке которой я прочел: Данте Алигиери «Божественная комедия. Ад». Перевод Бориса Зайцева».

«Позвольте В.В., Данте был, конечно, диссидент и его изгнали из отечества, но дело было почитай как шесть веков назад, можно сказать, что за давностью...»

«Вы все шутки шутите, Геннадий Борисович, а посмотрите лучше, что там внизу написано. Посмотрите, посмотрите...»

«Утса-Press написано. Название издательства, ну и что?..»

«Вам — ну и что, а ежели таможенник спросит: а где вы книжечку эту купили? Что мне говорить? Вот то-то и оно. Так что, получайте в качестве презента Данте и не сопротивляйтесь. Пусть у вас дома в Амстердаме на полке стоит».

«Спасибо, В.В., у меня, признаюсь, Данте нет. Когда-то пытался осилить и не пошло, дело было, правда, в молодые годы. А вот недавно прочел, что «Ад» — гениальный, а «Чистилище» и «Рай» — много слабее. И объяснение: человек по природе своей порочен, потому и удался так «Ад» Данте. Что скажете?»

«Ох, Г., у нас через час автобус в аэропорт и — в Москву, а вы мне такие вопросы задаете. Давайте прощаться лучше, да возвращайтесь в гостиницу первый, а я уж один добреду, береженого Бог бережет...»

Приехал на турнир ИБМ в Амстердам в 1981 году. «А где же Саша Чернин?» — спросил у него невинно. — «Он ведь в прошлом году вторую группу выиграл и в главном турнире должен играть».

«Чернин? Да у него и душа, наверное, черная, — с чувством отвечал Смыслов. — Нет, не говорите, Г., фамилия человеку зря не дается. Не дается! Я вот такой случай помню. После Олимпиады в Тель-Авиве в 64-м году была у нас экскурсия в Иерусалим. Показывал нам все отец Гермоген, импозантный очень мужчина. Стоим мы, значит, в доме,

где Последняя Вечера была, и объясняет нам все отец Гермоген, кто Его предал, как и что. “А как же он все заранее знал? — спрашивает человек, нас, шахматистов, сопровождавший. — Ему что, сигнал кто дал?” А отец Гермоген подобрался весь и громко так отвечает: “Он все знал! Он Божьим сыном был!” А фамилия нашего сопровождающего из соответствующих органов была Приставка. Так что, Г., видите, фамилия человеку зря не дается...»

«Да о чем вы, В.В.? При чем здесь фамилия? Вы ведь даже не видели Чернина, он же совсем молодой человек, он же не виноват, что вам в турнире захотелось сыграть...» «Нет, Г., сказал я, когда узнал о турнире ИБМ. Не бывать этому. Сказал: снами Бог и Крестная сила, и пошел к Сергею Павловичу!» (С.П. Павлов — председатель Спорткомитета СССР — Г.С.) Когда я качал головой, брал под руку, успокаивал: «Вы, Г., еще сами молодой человек. У вас, Г., фактически, еще вся жизнь впереди...»

«Хороший ведь человек Василий Васильевич?» — задал мне риторический вопрос гроссмейстер, видевший наши ежедневные прогулки. И сам ответил на него: «Хороший, конечно. Но ты ведь знаешь В.В. только заграничного разлива...» И начал объяснять, что есть другой Смыслов, не упускающий своей выгоды, вспоминал случаи, когда он отправлялся на заграничный турнир вместо кого-то, имевшего больше прав на эту поездку. Что здесь сказать. Наверное, молодой гроссмейстер был тоже по-своему прав. Наверное. Отвечу герценовским: правда мне мать, но и Смыслов мне Смыслов!

Лето 1987 года. Межзональный турнир в югославской Суботице. Каждое утро, когда все еще спали, мы встречались в купальне на озере. Смыслов приходил еще раньше меня, и по виду его можно было заметить, что он уже выкупался: белое веснушчатое тело, покрытое красным загаром, было облеплено зелеными нитями так, что он походил на водяного.

«Не беспокойтесь, Г., вода замечательная, а что водоросли, так это только об экологии хорошей свидетельствует», — заверял меня Василий Васильевич, когда я подозрительно косился в его сторону. Спрашивал с невинным видом: «Вы, Г., после завтрака что делаете?»

Делать мне было особенно нечего: дебютный репертуар Льва Альбурта, секундантом которого я был, представлял из себя защиту Алехина да Волжский гамбит, а сам Василий Васильевич к партиям не готовился вовсе. После завтрака мы гуляли по парку, беседуя обо всем на

свете, но главным образом о Советском Союзе: летом 1987 года страна уже мало походила на ту, в которой Смыслов прожил всю жизнь. В конце прогулки В.В. предлагал зайти «хотя бы на минутку» в местный универмаг.

«В какой универмаг, В.В.? Вы же неделю назад в Париже были, а через месяц в Швейцарию едете, ну зачем вам универмаг в Суботице, он и от московского-то не отличается», — слабо сопротивлялся я.

«А вот здесь ты и ошибаешься», — со знанием дела говорил Владимир Багиров, пару раз разделявший с нами прогулочную процедуру. Багиров был секундантом Таля и ждал полудня, чтобы разбудить своего подопечного и начать подготовку к партии.

1994. Смыслов прилетел в Амстердам играть в доннеровском Мемориале. Встретил его в аэропорту. Багажа нет, в руках небольшая сумка.

«А что мне нужно? Все в руках Божьих...» В машине: «Я вот, Г., недавно пословицу услышал: духом к небу парит, а ножками в аду перебирает. И подумал: не обо мне ли пословица сия? А позавчера был в первый раз в жизни на исповеди. Батюшка спрашивает: «Грешен?»

«Как, отвечаю, не грешен. Грешен, конечно».

«А в чем главный грех видите?» «Говорю:»

«Так прямо и сказал?»

«Так и сказал, это же батюшка. Мое дело в грехах каяться, а его — эти грехи отпускать. Вам говорю, Г., доверительно, потому что имею к вам расположение...»

Ужинали часто вместе, а однажды солнечным вечером отправились прямо из турнирного зала пешком ко мне домой. «Я давеча на даче был, так там девочка, малая совсем, листья граблями собирала... Я давай ее хвалить, а она — так я ж большая, мне уже пять лет. И граблями так ловко, ловко... А Надежда Андреевна говорит — ты не то, что листья в кучу собрать, ты и костер разжечь не можешь. А на даче хорошо у нас, *très jolie*, как Альберик О'Келли говорил. *Très, très jolie*... Да, Альберик... А я ведь в Москве живу как барсук. Знаете, Г., барсук норку роет, в ней ход есть и еще один запасной — поднорок. На всякий случай, если кто нежеланный пожалует... Так вот и у меня дача в Раздорах». Вдруг ушел взглядом куда-то: «Я вот все думаю, у меня же сегодня с Рее пешка лишняя была, должно быть я выигрыш где-то упустил, а если бы я слона на b2 расположил, на большой диагонали? Помните позицию?..»

Уже на подходе к дому остановился и, поправляя очки характерным жестом, посмотрел со значением: «Скажу вам, Г., один рецепт.

Но применять его следует в случае тяжелой болезни, если врачи объявили, что спасенья уже нет. Рецепт этот индийский, проверенный, многие поколения...»

«Да не тяните, В.В., что за рецепт такой, рассказывайте уже...» Пристально глядя мне в глаза, торжественно произнес: «Мочу надо пить!»

«Как мочу?..»

«А вот так! Собственную! И четырнадцать дней кряду, потому что ежели меньше, эффекта не будет. Организм не перестроится и прока никакого не будет. Я в журнале статью читал и там говорится...»

Вера к напечатанному была абсолютной. Вера и постоянный контроль: что не может быть вынесено на бумагу. «Хорошо вы, Г., написали о Мише Тале, все правильно. Но уж больно откровенно, как-то по-западному. Пусть все и было так, но даже не знаю... слишком уж по-европейски».

Когда спросил о Тартаковере, которого Смыслов знал лично, стал говорить что-то об остроумии, мяться. Наконец собрался с духом: «Даже не знаю, стоит ли рассказывать... Может быть, не для печати, Г., но, знаете, регулярно в казино ходил Савелий Григорьевич, особенно если приз какой получал, и все там спускал. Но, может, не стоит писать этого, Г., какой это пример для молодых...»

Дома у меня расслабился, выпил белого вина, спрашивал, сколько калорий имеет каждое блюдо — калорийный подсчет в моде был тогда, — а в конце обеда вздохнул печально: «Я, Г., наверное, только за ужином калорий 1500 навернул, а то и больше, хотя мне салата и фруктов за глаза и за уши хватило бы. А вы — для будущего — запишите рецепт супа вегетарианского. Надежда Андреевна его божественно готовит. Записываете? Во-первых, цветная капуста необходима, во-вторых... и сметаны, сметаны не забудьте, без сметаны, Г., совсем другой вкус, знаете...»

Вышли в сад. «А тюльпаны ваши у нас на даче прижились, и лиловые, и красные, но мне белые особенно нравятся... А знаете, я все думаю, неужели не было выигрыша сегодня с Рее? У вас шахматы дома есть?..»

Во время анализа, разминая пальцы, спрашивал: «Всё посчитали, Гена? А под атаку попасть не боитесь? Пешка лишняя, конечно, но ведь и мат получить можно...»

«Вы, В.В., завтра с Бронштейном играете, помните первую партию с ним?»

«С Бронштейном? Помню, прислал мне в 40-м году Юдович партии двух украинских шахматистов, выполнивших нормативы мастерс-

кие, и заключение дать попросил — достойны ли звания? А мне самому девятнадцать только исполнилось, хоть и числился я членом квалификационной комиссии: ведь в то время всех обязывали общественную работу вести. Просмотрел партии и резюме дал: оба достойны! Было это ровно 55 лет назад, а фамилии их были — Болеславский и Бронштейн. Вот так-то!»

5.5.1995. Услышав сообщение о смерти Ботвинника, позвонил ему на дачу. «Да, Г., вот такие дела у нас. Все казалось — вечный. Что переживет всех нас Михаил Моисеевич, царствие ему небесное... Только не верил он ни в какие царствия, думал, что машина будет всем править... Так что я стал теперь, Г., как это говорится — правофланговый? левофланговый? Как вы давеча Тютчева поминали? — Дни сочтены, утрат не перечесать... Так вот и я на роковой стою очереди».

1996. «Пожелайте, Г., мне успеха сегодня: выхожу на большую сцену! Нет, до Большого театра не дошел, но в Большом зале Консерватории пою сегодня вечером. Что? Да весь мой репертуар, а в конце — с хором — Жили двенадцать разбойников, помните пластинку в Хилверсуме записанную?..»

1997. ЦШК на Гоголевском. Он очень возбужден: только что вышел новый диск, дарит его. Говорит о музыке, о карме, о предназначении, о планах на будущее: «Вы знаете, Г., Страдивари наиболее плодотворно работал в период с 72-х до 93-х лет. Так что у меня все еще впереди!»

1997. Комментировал партии турнира в Хоговейне, где играл Смыслов. Сыграл он неудачно. На следующий день вместе — машиной в аэропорт Схипхолл. Рядом Надежда Андреевна.

«Глаза, Г., совсем отказали. Не видел ничего, ну совсем ничего. Думал даже отказаться от турнира, а неудобно: все-таки только четыре участника. Спрашивать у судей, сколько ходов сделано, — нельзя. Только после сорока говорили — контроль сделан. Даже записывать по-настоящему не мог, как-то поднес поближе к глазам собственный бланк, так сам ничего не мог разобрать, каракули какие-то... А вы заметили, Г., как я на закрытии пел и верхнее «ля» взял, уже в тенора перехожу... Выпустил я диск недавно фактически на свои деньги — получил от спонсоров только пять тысяч долларов, пришлось свои восемь докладывать...»

Аэропорт. На двоих один чемодан с оторванной ручкой, вместо нее скрученная вдвое бельевая веревка. По виду — куплен чемодан еще в 53-м году в Швейцарии. «Зато ни с каким другим не перепутаешь!» Попрощались уже, но вдруг отошел в сторону и с истомой душевной

на лице: «Вспомнил снова, какую я партию вчера ван Вели проиграл... Сначала преимущество очевидное было, потом равно, а потом... — нет, ужасно, ужасно. Прямо наваждение какое-то...» — и, качая головой, пошел к паспортному контролю.

Уже в глубоко послеперестроечное время вышли однажды из Клуба на Гоголевском. Он оглянулся по сторонам, мы были вдвоем.

«Хочу с вами посоветоваться, Г. Имею приглашение...» — называется страна, экзотическая, далекая, с разницей немалой во времени и температуре. Условия — в высшей степени скромные. «Что вы думаете?» «Странное приглашение, В.В., наверное, надо отказаться».

«Как отказаться? Так ведь приглашение! Да и заграничный турнир! Вы думаете, нужно больше просить?..»

Для маленького Васи Смыслова, приходившего с отцом на московские турниры тридцатых годов, Ласкер и Капабланка были не только великими шахматистами, но и иностранцами, инопланетянами. Начиная с середины сороковых годов он сам стал регулярно ездить за границу. Что это значило тогда, может по-настоящему оценить только старшее поколение советских людей. Заполнение различных анкет, проверки на всех уровнях, характеристики, собеседования и инструктажи в райкомах, горкомах, а то и в ЦК партии. Бывало, на документах стояла подпись самого Сталина или людей из его ближайшего окружения. Хотя в последующие времена Советского Союза положение смягчилось, все равно — наличие «чистой анкеты», обязательное прохождение всевозможных инстанций, волнение едва ли не до последнего дня, до посадки в самолет, напряжение во время самой поездки, — все осталось прежним.

Эти поездки означали, помимо престижности, материальные блага, получение валюты или ее эквивалента, делавшее обладателя ее богатым по меркам Советского Союза человеком. Выезд на международный турнир был событием для любого советского гроссмейстера и значил совсем не то же самое, что для его западноевропейского коллеги. Поэтому едва ли не до самого конца он с трепетом относился к любой поездке за рубеж. Заграница!

Пение было его страстью. В молодости Смыслов занимался с профессором Злобиным, постоянно навещая того в Петербурге. Задумывался и о профессиональной карьере. В 1951 году прослушивался в Большом театре, прошел первый тур, но срезался во втором... Думал и о Мариинском (тогда Кировском). Художественный руководитель и дирижер театра Борис Хайкин, выслушав Смыслова, отметил его го-

лос, технику и согласился принять в труппу при условии, что на афише «Пиковой дамы» будет написано: «В роли Елецкого — гроссмейстер Василий Смыслов».

Любимым певцом был Карузо, и он часто рассказывал, как великий итальянец явился к нему во сне и дал важные указания по певческой технике. Зная, как доставить ему удовольствие, подарил книгу о его любимце. Жена читала книгу вслух, а открытку, которую послал ему из Сорренто, где умер Карузо, видел однажды у него на даче.

В Тилбурге за завтраком к нашему столу в ресторане подсел Эрик Лоброн. Представив их, сказал, что немецкий гроссмейстер тоже увлекается пением. Оживился В.В. «А как вы это делаете?»

«Обычно я пою по утрам под душем...»

«Нет, я спрашиваю, как диафрагма у вас при этом расположена?.. Вы, Г., переведите ему, что все дело в дыхании, в дыхании. Поэтому расположение диафрагмы очень важно. Я, например, тоже раньше диафрагму неверно держал. Она должна вся работать, а не только часть ее. Мне Карузо все рассказал, пусть симпатичный молодой человек и не сомневается...» Смыслов встал и для подтверждения своих слов в утреннем ресторанном зале взял несколько нот.

Любил поговорить о современных исполнителях: «Я вот давеча концерт Хворостовского по телевизору слушал. Общее впечатление: голос, конечно, сильный, но недостает ему эмоциональности. В конце, правда, распелся, когда песни неаполитанские пел, а вот когда русские народные — суховато выходило. Технически гладко, но какие-то звуки нечетки, у Шаляпина-то ведь как было? Все звуки выпевались. И как! И учитель мой, Злобин, царствие ему небесное, тоже меня всегда учил: требуется отточенность звуков, особенно гласных: о, е, а, у... Хотя, слов нет, певец отличный...»

1998. Он только что вернулся в Москву из Вены, где играл в турнире «сильнейшие женщины — сеньоры».

«...Как было в Вене, В.В.? В Вене три девицы — вени, види, вици?» «Какое там вици, Г., я теперь по види больше. А что вици касается, то девицы сами нам чуть вици не устроили. Если бы не Виктор Львович, гигантский плюс набравший, вообще проиграли бы сеньоры. А главная неудача музыкантов постигла: Портиш и я — по минус два набрали, а Тайманов вообще минус семь. Мы с Портишем, значит, всё пропели, а Тайманов, получается, не на те педали нажимал.

Что? В чемпионате страны отказываетесь играть? Ни в коем случае, Г., играть нужно. Побейте пижончиков. На меня посмотрите: полу-

слепой гроссмейстер, а играет. Но случается, конечно, как сейчас: и меч его выпал из дрогнувших рук, или что-то в этом роде. Помните, как Яков Герасимович Рохлин книгу свою назвал? Мыслить и побеждать. А то — меня возьмите в качестве консультанта. Консультанта с копытом? Вот именно! Вместе что-нибудь напридумаем. Но если уж совсем не вмоготу, поблагодарите за высокую честь, скажите, что в следующем году сыграете. А так — ведь в другой раз не пригласят... Хотите практическую игру окончательно оставить? Нет, делать этого не следует. Хоть время от времени, но играйте. Ведь самое главное — что? Найти место шахматам в жизни и честно определить это место для себя — вот и все...»

1999. Турнир памяти Петросяна. Москва. Гостиница «Космос». В казино гостиницы поздно вечером разыгрывается машина. Вглядываясь почти ничего не видящими глазами, терпеливо ждет, что именно его номер выиграет. Всякий раз после появления цифр на табло, смеется: опять мимо денег проехали! Но видно, что действительно надеялся и верил крепко.

1.1. 2000. Трубку взяла Надежда Андреевна: «...вышел вчера В.В., как всегда, к гаражу, костей снести: у нас пес во дворе живет, вот В.В. его и прикармливает. Возвращается через четверть часа, а я ему говорю — Ельцин в отставку ушел! Смеется Смыслов — не успеешь на минутку выйти — президенты от престола отрекаются!

2001. Торжествующе: «Составил 64 этюда! Приближаюсь к сакраментальной цифре 66. Хотите продиктую? Вы говорите, что Тимману мои этюды понравились, что селезневские напомнили? Яну привет, конечно, передавайте, только этюды мои не похожи ни на селезневские, ни на григорьевские. Смысловские этюды! Какой темы последний? А кто его знает. Моя тема. Смысловская! Никогда еще такой темы не было... Вы, Г., узнали, хотят ли издать книжечку моих этюдов в *New in Chess*? И сколько предлагают? Всего-то? Пусть к этой сумме еще нулек пририсуют, а то и два, я ведь не кто-нибудь, а седьмой чемпион мира! ... А спонсоры? У них что там, спонсоров нет?..»

2001. Амстердам. Турнир «сеньоры против женщин». Зашел к нему вечером, он только что выиграл у Алисы Галямовой. «Г., вы помните анекдот о племяннике, получившем приглашение от ослепшего дяди в Америке приехать и перенять бизнес. Идет в КГБ. Там советуют написать письмо: дело продать, а деньги переслать в СССР. Получают ответ от дяди — я ослеп, но с ума еще не сошел... Так и со мной: девицы полагают, что я ничего не соображаю. Может, я ослеп, но с ума еще

не сошел. Они думают, что ежели я Ксюше проиграл, то все у меня выигрывать будут...» Ласковым именем Ксюша он называл китайскую шахматистку Кси-Юн.

Жили и играли в гостинице «Краснапольский» на площади Дам в самом центре Амстердама. Приболели с женой оба, но и здоровые в ресторан не спускались, предпочитая закупать провизию в близлежащем магазине, и, пользуясь нагревателем, делать кофе или чай в гостиничном номере. Печенье собственноручной выпечки Надежды Андреевны всегда привозили с собой. Потчевал ими в лондонской гостинице во время матча с Рибли: «Попробуйте песочного, Г. Песочные Надюше особенно удались... Вы таких во всем Лондоне не найдете. Попробуйте, попробуйте... Какие вам еще тирамису у итальянцев...»

В Амстердаме сопровождал их в походе за провизией. Вышли из гостиницы. На площади людское столпотворение. Орды туристов: языки — всевозможные, запахи — амстердамские. Услышал музыку: «Давайте подойдем...» Подошли. Мужчина в шотландской юбочке, нажимая ногами на трещотки и дудя во всевозможные дудочки, один создает подобие оркестра. Подошел ближе. Еще ближе. Вгляделся тому в лицо почти невидящими глазами. Опустил взгляд вниз — юбочка. Перекрестился размашисто: «Господи, Твоя воля...» Привыкший ко всему дудочник даже не шелохнулся. «У нас, Г., то же самое: как ни включишь телевизор, пляски какие-то африканские, да завывают при этом так...»

В магазине: «...эту баночку “Нескафе” мы в гостинице употребим, а эту — с собой возьмем. Еще Михаил Моисеевич говорил, что не следует покупать “Нескафе”, в Москве расфасованное. Если вы понимаете, конечно, что я имею в виду, Геннадий Борисович... Помните, как Ноздрев велел принести особенную бутылочку, которая была одновременно и бургоньоном и шампаньоном вместе. Да пожалуй, еще селедочки возьмем да сырца голландского. Сырец, который вы в последний раз привозили, не очень у нас задержался...»

2002. В.В. позвонил сам (случается крайне редко) на следующий день после длительного вчерашнего телефонного разговора. С места в карьер: «Исправление этюда, Г.! Ошибочка во вчерашнем вкралась. Конь, Г., должен стоять на f8 — иначе не решается этюд. А то напечатают с конем на f4 — стыда ведь не оберешься: Смыслов глупости какие-то придумывает». Я (колеблясь): «А вот вчера, после того как мы поговорили, В.В., увидел сообщение: Багиров умер...»

«Володя? Ну, царствие ему небесное! Шестьдесят три? Только? Молодой еще человек... Играл он Алехина и сильно играл, но однажды удалось мне его обмануть... Кстати, если вы думаете, что и при коне на f8 побочное решение есть, то это не так, ферзь с b1 на e4 выскакивает...»

Как и у всех, достигших преклонного возраста, к горечи сообщения о смерти у него примешивалось чувство бегуна на длинные дистанции, продолжающего бег несмотря ни на что. Стайер не должен поддаваться эмоциям ни по поводу сошедших с дистанции сверстников, которых уже почти и не осталось, ни по поводу людей много моложе себя самого. Давно перейдя полосу, где «снаряды рвутся все ближе», Смыслов тоже инстинктивно отстранялся от этой эмоциональной нагрузки: известный защитный рефлекс организма и обязательное условие долгого пребывания на земле.

На следующий день получил e-мейл от Сергея Розенберга, проверившего этюд В.В. на компьютере: этюд не исправлять, оставить первоначальную редакцию, паника была ложной...

2003. Сказал ему, что вчера была демонстрация в Москве, со здания Думы сорвали российский флаг, в течение часа развевался старый советский, с серпом и молотом.

«Да что вы говорите, Г., флаг сорвали?» И без запинки с выражением:

Есть у нас красный флаг

Он на палке белой.

И его понесет

Тот, кто самый смелый.

Барабанщиком пойдет

Тот, кто самый ловкий.

Он нам четко отобьет

Счет для маршировки.

Вы еще молодой человек, Г., вы таких стихов не знаете, а у меня крепко в памяти сидит, как запало лет 75 тому, так и сидит...»

2004. Москва. «Вы сегодня, Г., к нам на обед заглянете?»

В полдень у них дома в большом высотном доме на Кудринской площади, которую В.В. называет по старой памяти площадью Восстания. Мебель пятидесятых годов, на обеденном столе ералаш: ваза с фруктами, настольная лампа («это та, под которой мы с Левенфишем книгу писали»), к лампе прислонена иконка, совсем простенькая, от-

крыточка с изображением какого-то святого, стопки только что вышедшей книжки его, тарелки, тарелочки, открытая коробка конфет. Рядом – шахматный столик с какой-то эндшпильной позицией. Его стул с наброшенной поверх спинки бечевкой с белыми шариками: «Очень, очень, говорят, Г., для спины хорошо. Ты сидишь, а спина массируется тем временем сама собой... У нас квартира захламленная, полный хаос, ничего не найдешь. Все в чемоданах, столько этих чемоданов. И все с фотографиями да с программками, грамотами, посланиями, письмами. Ума не приложу, что и делать. Надо бы разобраться, да все руки не доходят... Фишер вот не любил громоздкие кубки, только место занимают, говорил. Он больше деньги предпочитал...

Да не приставай к человеку, Надежда Андреевна. Если захочет, сам возьмет, видишь, у него еще тарелка полна. Ах, Надежда, да что же ты голову Г. морочишь своими рассказами. Ты у меня прямо как та жена у Чехова, которую муж упрекает в отсутствии логики: твоя речь напоминает разговор дворовых мальчишек: А у нас блины ноне. А к нам солдат пришел. Ах, Надежда, Надежда. Знаете, Г., вчера привезли нас в гостиницу «Космос» на презентацию. Морозно, скользко, шофер дай мне помогать, а я ему: «Надежду, Надежду, спасайте...» Да, не зря говорят – надежда умирает последней». Обнимает жену. Та смотрит на него влюбленными глазами: ах, Смыслов, Смыслов...

«..вот в прошлом году митрополит Питирим умер, я его вчера во сне видел, мы дружны были очень. Одет он был чин по чину, все как полагается, но босой. Интересно, что бы это значило? А он мне говорит: только что с Вергилием разговаривал... Занятно!

Был я как-то у митрополита в монастыре, подвел он меня к иконам, благословил, потом попросил спеть что-нибудь. Я ему про двенадцать разбойников и атамана Кудеяра спел. Смеялся: оказывается, когда он в Духовной Академии преподавал, имел репутацию придирчивого и строгого крайне и частенько «неуд» ставил ученикам. Однажды пришел в аудиторию, а на доске огромными буквами выписано – КУДЕЯР. Смеялся очень отец Питирим, царствие ему небесное! Очень видный был мужчина, дамы по нему прямо с ума сходили. У нас где-то и фотография его есть, да, наверное, не найти уж...»

Садимся за шахматы. «Этот столик мне сосед по этажу подарил, дипломат бывший, он к нам заходил иногда, а теперь ему уже никакой столик не нужен...»

Часа в три начали прощаться. Меня берет под локоть, говорит жене: «Хочу, Надюша, с Г. выйти, сказать ему кое-то...» Сердце сжалось: вот

оно... В холл вышли просторный. Остановились у дверей соседней квартиры: «Геннадий Борисович, хочу у вас совета просить...» Понимаю важность момента, молчу. «Вот соседи – видите – дверь входную темно-коричневой краской выкрасили, что вы думаете, может и нам то же сделать, или оставить все как было? Что думаете?..»

2004. «...как я живу? Ну как живу, Г., – в противоборстве со временем и немощами. А новости у нас такие, что гостиницу «Москва» снесли, и теперь там вообще хотят пустое пространство оставить. Вид, говорят, оттуда замечательный открывается. А я ведь помню, когда на этом месте трамвай ходил, и в Охотном ряду товары всякие продавали. Было это – в конце двадцатых годов, что и говорить, далекие времена.

А какие шахматные новости? Фишера из японского заточения уже выпустили? А что с матчем на мировое первенство? Каспаров, вы говорите, гарантий потребовал у Дубая. Гарантий? А какие могут быть гарантии – мне еще Найдорф говорил в свое время: ну какие Буэнос-Айрес гарантии может дать, ну а если и даст их, что с того...»

2004. «...Вы знаете, Г., я всех их сейчас вспоминаю: Романовского, Лисицына, Григорьева... Но истинно близок был я с Григорием Яковлевичем Левенфишем, царствие ему небесное! Они ведь не только в шахматы играли, но и пером владели, да как! И впечатление у меня, что жил я в золотой век шахмат. Ведь за шахматными партиями тогда вся страна следила, пари заключали на исход отдельного состязания, даже на ходы отдельные... Вот вы давеча сказали, что немало гроссмейстеров сегодняшних шахматы недолюбливают, а играют потому, что ничего другого не умеют, как начали играть когда-то, так и играют. Скажу вам, что наши предки шахматные тоже могли испытывать сомнения: какой план избрать, стоит ли пешка инициативы, о блокаде спорили, но шахматы любили. Потому что относились к ним как к творчеству...

Другая игра? Компьютерные шахматы? Я вам так о компьютере скажу: гениальное изобретение человечества компьютер, но есть в нем, Г., положительные и отрицательные свойства. Компьютеры принесли много аналитической ясности, но и уничтожили дух игры, столкновение характеров. Ведь как интересно было: люди с разными характерами, стилями. Ботвинник – такой, Таль – другой, Геллер – третий...

Ведь человек для составления задачи или этюда массу времени и энергии тратит, о вдохновении уже и не говорю: «капризно очень вдохновенье». Помните у Майкова: «Гармония стиха божественные тайны

не думай разгадать по книгам мудрецов». А компьютер задачи как семечки щелкает: раз, два — и готово. Вот задачи Ллойда, например, так он их за пару минут решает простым перебором ходов. Я все жду, когда один вариант на другой найдет, всё заикнется, захлебнется компьютеры в своей информации, и все их трансформаторы перегорят. Вот помню еще, зашел в Клуб к Михаилу Моисеевичу, в лабораторию его. Ведь Ботвинник тоже стремился компьютер создать, чтобы сокрушить человека. Я пожелал ему успеха, но только уже после того, как меня не будет...

А знаете, кто первый компьютер придумал? Джонатан Свифт! Помните, как у него алфавит на валиках прокручивали и записывали всю информацию? Они говорили еще, что все мысли таким образом перебрать могут. Печально, конечно... Перебор вариантов — это участь шахмат? Изобретение, может быть, и полезное, но и дьявольское, конечно. Сейчас читатели с компьютером опровергают каспаровские анализы. И еще больше будут опровергать... У Одоевского есть: кто-то человеку помог, и он не только от проблем своих избавился, но и получил дар видеть все, что делается в душе у другого. Как уж он обрадовался! А на деле-то, что вышло? Стал ему каждый человек виден как на ладони, все устройство, вся подноготная его. Стал он, так сказать, ясновидящим и ужаснулся. А девушки? Это они-то — гении чистой красоты?..

Вот Сережа Розенберг проверял мой эндшпиль с Лилиенталем из матч-турнира 1941 года с двумя конями против пешки. По Троицкому позиция моя проиграна, но я самые правильные ходы находил и ловко королем на единственное поле ускользал. Так что одобрил мою игру компьютер. А другую мою партию с Силади в 1960 году, где у меня лишняя пешка была, которую я благополучно в ферзи и провел, раскритиковал компьютер начисто: дает оценку позиции — мат в 34 хода, после моего хода — мат в 49 ходов, потом ничья, потом снова выигрыш... Без ошибок играет машина такие окончания. Так что должен покаяться на склоне лет моих чемпионских: думал, что хорошо играл, а машина глупая по-другому на эти вещи смотрит.

Я вот готовлю книгу — шестьдесят лучших партий, и вот знаете, просматривали сейчас партию с Савоном. И столько ошибок нашли с компьютером, прямо ошибка на ошибке. А Розенберг меня утешает: что ж вы хотите, что б партию совсем без ошибок сыграть? Так-то оно так, а я ту партию одной из моих лучших считал... Да-а, компьютер теперь кого хочешь за пояс заткнет. А вот комментировал я свой первый выигрыш у Петросяна. Написал, что если так, то так, «сжимая коль-

цо блокады со скорым выигрышем». А вот Кен Нит проверил все на компьютере и написал, что компьютер советует так и этак и не видно, как дальше кольцо блокады сжимается. Вот и пришлось написать, что если так, то этак и до выигрыша еще далеко...»

2004. «...вот составил миниатюру, пешечный эндшпиль, есть у вас под рукой карандаш? Ну это так, пустячок, а вот я над сотым этюдом сейчас бьюсь, все никак у меня не вытанцовывается. Хочется, чтоб было посложнее, да поизящнее. Сделал было, да дали компьютеру проверить. Так арифмометр чертов нашел дыру в одном месте. Единственное, что радует — компьютеру теперь подвластны позиции с шестью фигурами на доске, но с семью ему потруднее придется, потому что там 300 грузовиков внутренностей ему понадобится, число позиций возрастает ведь в геометрической прогрессии. Помните сказку о радже и зернышках пшеницы? Это с семью фигурами, а когда дело до всех фигур дойдет, может оказаться, что шахматы математическая задача, не более того. А там выяснится, что и жизнь человеческая тоже математическая задача, а ответ на нее знает только один Господь Бог...

Вот помню, Перваков Олег мне сказал: хорошо бы еще с десяток этюдов сочинить, до ста довести. Я подумал еще — да как же я их сочиню, когда и вдохновения нет и не вижу почти ничего. А вот Господь помог, и идеи прямо так и посыпались одна за другой. До ста число этюдов довел и дальше пошел...

Слышал от многих, что вы писательским даром обладаете, очень хвалили вашу последнюю книгу, говорили, что...» «Ну уж не знаю каким даром, а книгу я вам, В.В., еще в прошлом году подарил...»

«Действительно, Надин моя прочла пару рассказов, но теперь у нее самой проблемы с глазами, на днях должны катаракту вырезать... А я вам вот что скажу, Г., — вы все о шахматистах пишете, а вот написали бы, если есть к этому расположение, что-нибудь в другой сфере. Я слышал, одна американка, не писательница даже, написала что-то, а ей тут же миллион отвалили... Так и вы могли бы миллион заработать, так что, Г., дерзайте...»

«А к чему мне миллион, В.В.? Да и зачем дерзать, мне что, памятник рядом с Гоголем поставят?»

«Какой вы имеете в виду памятник, Г.? Тот, что на Гоголевском стоит, помпезный, или во дворе дома на Суворовском бульваре, если память не изменяет? Тот мне больше нравится, там Гоголь сидит со склоненной головой, в задумчивости. О жизни, значит, думает Нико-

лай Васильевич. Помните, Г., если мы уж Гоголя вспомнили, что сказал Николай I после премьеры «Ревизора»?

«Не помню. Кажется, понравился «Ревизор» царю».

«Понравился-то понравился, только посоветовал он Гоголю финал переделать: а то приезжает государственный чиновник — и все. А надо бы — посоветовал царь — показать после этого, что улучшение наступает. Николай Васильевич царя не послушался, исправлять ничего не стал, а совсем наоборот — за границу уехал».

2004. «Надежда Андреевна книгу мне вашу сейчас читает, недавно о Ботвиннике прочла. Хорошо вы о Михаиле Моисеевиче написали, проникновенно». Пытаюсь попасть ему в тон: «Бойко в общем написал...»

«Да нет, не бойко — проникновенно... Михаил Моисеевич был ведь в конце одинокий человек, на работу в Клуб на троллейбусе ездил, а то и пешком. Я у него спросил еще — не боитесь, Михаил Моисеевич? Ведь он почти ничего не видел... А он: да я здесь каждую ямочку в асфальте знаю, каждый бугорок. И всегда чаем угощал, если я в Клуб приходил, и бутербродами с хлебом бородинским, очень нравился ему бородинский...

Но коллеги его, математики, относились к идеям его очень скептически, поэтому он и менял их часто, сотрудников своих, да и идеи, честно говоря, были завиральные, как сейчас видно. Но Михаил Моисеевич, как известно, от принципов своих не отступал.

У нас на даче бывал, особенно любил пирожки с капустой, моя Надежда их божественно делает, да вы ж сами знаете... И я у него на даче бывал, однажды гостил дня четыре и несколько тренировочных партий сыграли. Три, кажется. Я без должной ответственности отнесся к игре, а Михаил Моисеевич выкладывался весь... Как закончили? Проиграл я одну партийку, а две другие ничьи были. На том и кончили. Понял, верно, М.М., что я дурака валяю.

Знаю, что и Геллер у него на даче бывал и тоже какие-то партии играл, но не выдержал, сбежал от голода. Ведь у Михаила Моисеевича как было — обед, ужин, все по расписанию, а Ефиму Петровичу мало было, он, грешным делом, поесть любил. Так по ночам сухари ел, а потом не выдержал. Это мне Оксана, жена его, рассказывала, но женщины, вы сами знаете, они любят преувеличение, так что не знаю, где здесь правда....

Однажды приехали к ним на дачу, дверь захлопнулась, а ключ внутри остался. Он стал жене выговаривать, что ж, Ганночка, как ты могла... Но потом пошел куда-то, лестницу длинную достал, на чердак

вскарабкался и дверь изнутри открыл. Я, помню, еще сказал ему: да вы, М.М., в полном порядке, вы так по лестнице и к девушкам через чердак лазать можете...

Не гнушался никакой работы Михаил Моисеевич, и с лопатой его видел, и с метлой, сам подметал дорожки у себя на даче и делал это тщательнейшим образом. А в другой раз говорит: что-то у вас, В.В., машина грязная, давайте-ка ее помоем. И тряпку уже взял, хотел машину мыть. Насилу тряпку у него отнял, обещал сам дома чистоту навести... Правда, в конце жизни почти ничего не видел. Помню, были с ним в Линаресе, так я, когда мы дорогу переходили, брал его под руку — это я-то с моим зрением! — и говорил: зеленый, пошли! Вот, думал, ошибусь, и оба экс-чемпиона мира одним махом на тот свет отправятся...»

2005. «...у нас сейчас в федерации ситуация напряженная, и чем дело кончится, никто не знает. Как говорил Баррерас (был на Кубе такой деятель) — ху ноуз. У него что ни спросишь, так он: ху ноуз, вот и у нас — ху ноуз. Вы знаете, Г., я теперь на диете сижу. Для глаз. Не знаю, становится ли лучше, хорошо, что хуже хоть не становится. В чем диета заключается? А в том, что надо только натуральные продукты есть, а все, что человеческими руками сделано, избегать: все вредно. Колбасы там всякие, сосиски, даже курицу нехорошо — ведь они, бог знает чем, куриц нынче кормят. И молоко нельзя, и сметану, все, что я так любил раньше, все и нельзя... А хороши очень овощи всякие. Например, кабачки, помидоры, баклажаны. Потом немножко чесночку для вкуса добавить, все с луком обжаривать на подсолнечном масле и на медленном огне до кондиции довести. Изумительное блюдо, доложу вам. Надежда Андреевна его так готовит, что пальчики оближешь. Только, Г., имейте в виду — кабачки лучше чтобы молодые были, тогда с них и шкурку снимать не надо, а шкурка тоже полезна.

Нет, в последнее время совсем не пью. Специалисты говорят, что полезнее всего — водочка, но и водочки почти не пью, потому что не с кем особенно, разве что вы в ноябре в Москву нагрянете... Правда, на днях в ресторане на каком-то чествовании рюмашечку опрокинул. Так Надежда Андреевна сразу меня от этого дела отвратила и, заметив графинчик с морсом, мне все подливала. Это она только думала, что с морсом. А на самом деле там было винцо красное. И недурственное. И я, знаете, так поднабрался, что со стула едва поднялся, едва домой приплелся...

Что-то у меня нога болит в последнее время, ходить трудно стало. Доктор давеча сказал, что ногу нужно разрабатывать, гимнастику делать, а я ему — какую гимнастику? Я заслуженный мастер спорта, а вы мне — гимнастику... Были тут у меня недавно из института Рериха калмыки, так знаете, что сказали? Чьей я реинкарнацией являюсь? Алехина? Нет, Алехин — это Каспаров. Тарраш — Хюбнер. А я — Петров Александр Дмитриевич. Тот, кто защиту изобрел, хотя он, вообще говоря, статским советником был. Задачу Петрова помните? — Бегство Наполеона из Москвы. В Москве ведь все сейчас рублички да рублички. Как в песне — гоните рублички вы для республички, только у нас теперь рублички за все спрашивают. И еще какие! Я вот гречку давеча покупал, так она всегда четыре рубля стоила, а сейчас... Десять? А семнадцать — не хотите? Так я домой с расстройства вернулся, а Надежда говорит: иди, все равно покупай, мы что, бедные...»

Как это нередко бывает с бездетными людьми, он любил детей и нередко во время наших прогулок останавливался, указав мне на то или иное малое существо. В 2005 году появилась у Смысловых кошечка, Белка.

Относятся к ней как к ребенку, восполняя дефицит нежности и ласки: в голосах у обоих — любовь.

2005. «...на Новый год — на даче. И раньше бывало иногда, что на даче встречали, а сейчас только из-за Белочки в город на зимние квартиры не переезжаем. Она сразу моей любимицей стала. Мягонькая, глазки как пуговики. И привереда: я для нее печеночный паштет покупаю, сам не притрагиваюсь, но очень уж ей нравится. А так — только специальную кошачью еду признает, пытались и рыбку ей давать, и другое, а ей только эту еду кошачью и подавай. Однажды ключи уронил, так она с ключами стала играть. По столу ходит, ничего на столе оставить нельзя. Или на веранде за клубком гоняется, а то вот во двор выскочила и шась — на дерево! Здесь ей простор, а в квартире у нас теснота, да и носиться станет, того и глядишь чашку скинет, а чашка — фарфоровая. Красавица, вся беленькая, а бока бежевые, и глазенки сверкают...»

2006. «Как чувствую себя? Что и говорить, Г., нет прежней живости в членах. Рюмочку выпью ли под Новый год? Не исключёно, как говорил один академик. Не исключёно. Я, Г., в последнее время часто о жизни задумываюсь... Жалею ли о чем? Жалко, конечно, что не был серьезным, академическим, может, тогда бы и дольше чемпионом

мира оставался. Да и пеня жаль. Наверное, если бы прилежнее занимался, больше проку было бы. Вот ваш друг в Амстердаме, певец, талант мой совсем не как любительский рассматривает. Это, конечно, комплимент мне. Да и сейчас я мог бы пением деньги зарабатывать. Меня вот в Самару звали: пять арий пропеть, гонорар: 1000 долларов. Да я отказался: пусть и не так далеко, но уж больно утомительно...

А как вам в Москве показалось? Дороговизна? А это от того, что вы, Г., все по ресторанам шастаете, а ежели самим готовить, хоть тоже не дешево, но жить можно. У нас в этом году яблоки уродились отменные — антоновка. Несколько мешков нам собрали, так что приезжайте, я вас антоновкой угощу, да и груши уродились, а их поди лет двадцать как не было... Белка? Она у нас самая главная, знает это, конечно, и ведет себя как принцесса. А если кто-нибудь в гости придет, то чинно тоже усаживается, прямо член семьи».

2007. «Я, Г., записался добровольцем. А теперь попробуйте, догадайтесь: куда? Да нет, не в ДОСААФ, совсем не в ДОСААФ. У нас тут давеча в газете «Московский Комсомолец» объявление появилось: чудесный порошок открыли. И такой, знаете, замечательный порошок, что человек, после того как его примет, может легко прожить до 800, а то и 900 лет, как в свое время было, так ведь в Библии написано. И опыты уже проводили, знаете, с мышами, так мыши лет тридцать жили... Вы не слышали, а написано было. Так что, нет препон к совершенству. Понимаю, конечно, что все это от лукавого, но все же...

Впрочем, насчет мышей не знаю, но вот дохлую лошадь оживили. Как? Ну, честно говоря, не дохлую, а полудохлую, но когда дали ей этого самого порошка, слепая лошадь настолько лучше видеть стала, что можно сказать, прозрела. А у лошади тоже с сетчаткой проблемы были, прямо мой случай, короче говоря, требуются им добровольцы, я и записался, потому что подхожу под этот порошок по всем параметрам. Хотя трудно поверить, конечно, что до 800 лет удастся дожить, но по части зрения — чем черт не шутит. Позвонил я профессору. Спрашивает у меня профессор о возрасте. Я честно говорю: восемьдесят шесть. Профессор тут прямо и заойкал — ой, ой, ой. А я ему говорю, что до восьмисот лет дожить, понимаю, шансов немного, мне бы только глаза поправить... Так что теперь жду порошка.

А то вчера сон приснился: сижу я и читаю, и так хорошо мне, прямо благодать, да и книжка интересная попалась, и текст вижу отчетливо, каждую букровку, а проснулся — снова сплошной туман...

Это история про порошок – иррациональная, а другая – рациональная. Нужно мне, Г., операцию делать, железку в ногу вставлять, как Вере Николаевне Тихомировой пару лет назад в тазобедренную кость железку вставили. Она ведь тоже едва ходила, а теперь, говорят, стометровки бегают. Нет, только на правой ноге, левая еще ничего вроде, а вот правая сбой дает. Был я на рентгене, врач мне снимок показывает, на правой, говорит, совсем кость стерлась, видите, говорит. А я ничего не вижу! Но врач настаивает на операции, говорит, если затянете, то поздно будет, уже никакая операция не поможет. Так что придется в июне мне в больницу лечиться...

А к нам не собираетесь? В ноябре? На Таля Мемориал? Так ведь был уже в прошлом году. Еще один? Смотрите, второй турнир, Мише посвященный, а вот Михаилу Моисеевичу еще ни разу турнира не провели. Да нет, я не к тому, что Таль теперь из другой страны, просто и Михаил Моисеевич тоже турнир заслужил...

Пою ли? Да нет, редко очень. Сам слышу – голос садится. Может оттого, что в больнице долго лежал, а может, от возраста. Вспоминаю, как Иван Семенович Козловский мне тоже на это жаловался. Хожу еще как-то с палочкой, но таблетки теперь от давления принимаю. Сам себе давление меряю, два аппарата есть у меня, один даже говорящий, чуть что – советует: батарейки, мол, заменить надо, или неправильно что-то подключил. Все знает аппарат! Кто продукты покупает? Да сам иногда ковыляю, а то заказ делаем, из магазина привозят. Квартиру нашу в Москве обчистили, а милиция не реагирует... У нас теперь это в порядке вещей, как у Гончарова, помните – «Обыкновенная история». Зависти у людей слишком много, вот что я думаю. Я последнее время частенько Ботвинника вспоминаю. Он ведь всех делил на две категории: пройдох и прохвостов. Теперь ведь что? Деньги, деньги, деньги... Знаете, как Иван Семенович Козловский пел в «Борисе Годунове»? Поет он, значит: у меня дома денежки припасены..., а из-за кулис голос тихонько так говорит: – и немалые! Иван Семенович даже поперхнулся... Я ведь тоже за матчи с Ботвинником денежки получал, но по сравнению с нынешними – жалкие крохи.

Нет, сейчас в церковь не хожу, хоть церковь от нас и не так далеко. Не вижу ничего, да и видя, можно подскользнуться. Но каждый день молитву читаю. Послал Бог мне испытания за то, наверно, что загордился в свое время, думал, что играю лучше всех на свете. Но хорошо еще, что понимаю это. Знаете, что Черчилль сказал, ведь не самый глу-

пый человек был? Не знаете? А сказал он: счастлив тот, кто совершал ошибки в молодости, а в старости избавлен от их повторения.

Меня тут в Цюрих приглашали на юбилей клуба, но отказался из-за глаз. Ну куда я поеду, когда не вижу почти ничего. Но интервью дал, сказал им, что для меня Цюрих значит. Я ведь там турнир свой лучший в 53-м году выиграл! И после этого не раз бывал там. И с Кересом, и с Флором. Однажды, помню, в шестидесятых был там на гастролях. Поручений мне, ясное дело, надавали, все они на бумажке записаны были. Все купил, что просили, только одного найти не мог: цепочку для дверей, не было тогда в Москве дверных цепочек. Поверите ли, Г., — так и не нашел дверной цепочки. Ни в Цюрихе, ни в Женеве не нашел. Не понимали швейцарцы, что я в виду имею. Так без цепочки в Москву и вернулся, сказал: во всей Швейцарии нет дверных цепочек!»

2009. «Встаю ли? Встаю, но хожу с ходунком, а вот недавно еще с тросточкой ходил. Теперь моя цель основная — от ходунка к тросточке перейти. Но знаете, Г., я в последнее время множество интервью дал, и Шароеву Антону Георгиевичу, моему другу, который новую постановку оперы «Христос» Антона Рубинштейна делает. Шароев сказал, что мою Эпиталаму специалисты слушали и прекрасно о ней отзывались. Так что я со своими интервью активность немалую проявил, только с гонорарами швах.

А вот недавно дал большое интервью алма-атинской газете. Несколько дней они меня допрашивали, я согласился только потому, что во время войны в Алма-Ате был, туда наш Авиационный институт эвакуировался. Знаете, что за гонорар они мне дали? Никогда не догадаетесь. Несколько мешочков сухофруктов. Они где-то на кухне стоят, не знаю, что и делать с сухофруктами этими, компот что ли из них варить...

Тут меня надоумили гараж продать, у меня ведь гараж в центре Москвы, рядом с домом на Восстания. Говорят, больших денег стоит теперь. Или картину какую. Есть у меня картина знаменитого передвижника Киселева, у него картины в Третьяковке висят. А как продать? Облапошат вмиг, с картинами у нас знаете как — дашь на экспертизу, так вмиг копию перерисуют и не отличишь, а себе оригинал оставят. Вор на воре сидит и воров погоняет. Я тут подумал — не позвонить ли мне Виктору Львовичу в Цюрих. Швейцария ведь страна культурная, и воровства нет. Домик какой-нибудь приобрести, на первом этаже поселиться. У вас есть, наверное, его телефончик? А может, в Голлан-

дию перебраться? Но банки ваши, я слышал, не так основательны, как швейцарские, к тому же в Амстердаме тихого места не сыскать. Помню, жил в «Краснапольском» — Содом и Гоморра. Как это вам удалось в тихом месте домик найти, долго искали, наверное...

А то вот как-то ночью не спал и начал о своем возрасте думать, так он мне прямо-таки сказочным показался. Как это так — мне восемьдесят восемь лет? Как такое может быть?.. Вот вы на возраст жалуетесь, а прибавьте к вашим еще двадцать два годочка. Это как? Вот то-то и оно...

Потом вспомнил, как с отцом и матерью в Севастополе отдыхали. Было это как вчера, а на самом деле — восемьдесят лет назад, летом 28-го года... Вы не поверите, но я с тех пор в Крыму так никогда и не был. В Аргентине был, в Исландии был, на Филиппинах был, где только не был, а в Крыму не был.

А знаете, что в моем возрасте Александр Борисович Гольденвейзер сказал? Да, тот самый, консерваторский профессор, кто еще с Толстым в шахматы играл. Когда стали его укорять, что он на политучебу не ходит, сказал Александр Борисович: милые комсомольцы, я чувствую себя уже ближе к первоисточникам. Так вот и я, Г., к первоисточникам ближе уже себя ощущаю... Скажу вам, Г., что такое настоящая старость. Настоящая. Это когда берешь телефонную книжку, а в ней только перечеркнутые имена...»

Большую часть жизни ему выпало провести в среде, далеко не всегда соответствующей его убеждениям. Но обладал он талантом счастливо и спокойно жить даже в такие непростые времена. Считался он сибаритом, созерцателем, лентяем. Действительно, целенаправленные занятия «от и до», в строгом режиме, научный, академический подход был не для него. Но даже в глубокой старости Василий Васильевич Смыслов не мог полностью отдаться умудренной возвышенной недейтельности. Жила в нем неодолимая потребность творчески выразить себя, и эта страсть не покидала его едва ли не до самого конца, когда отпущенные дни кажутся не милостью, а тяжелой ношей.

Несмотря на всю религиозность, был очень земной, любил мишуру светской жизни, внимание, приветствия, славословия. Был охоч до славы, аплодисментов. Графское звание, присвоенное ему неизвестно кем, неизвестно за что, привело его в приподнятое состояние, и он с гордостью сообщал об этом. В последние годы, если позволяло здоровье, с удовольствием посещал всевозможные рауты, первенства мира по подкидному дураку, по шахматным поддавкам, бывал на чество-

ваниях, церемониях, юбилеях. В трудных вопросах бытия прибегал к спасительному «на том свете разберутся», а в шахматах, безгранично веря в свой выдающийся талант, полагал, что во всем разберется сам и найдет наилучшее решение за доской.

Когда вздыхал, что операция не помогла, что зрения почти не осталось, говорил ему, что слепота — благородный недуг, приводил в пример Гомера и Мильтона. Слушал внимательно, не прерывал. Оживился только при упоминании надписи на гробнице Галилея: «потерял зрение, поскольку ничего уже в природе не оставалось, чего бы он не видел». «Вот-вот, так и со мной. Знаете, сколько я всего повидал на своем веку?»

Очень понравилась ему строка, на которой остановилась рука Карамзина: «Орешек не сдавался...» «Не сдавался!» — повторил он прочувствованно, когда я прочел эту последнюю запись историка. «Знаете, Г., когда вы позвонили, я в кровати валялся. Но пусть и валялся, я все еще стою. Меня трудно на части разобрать...»

В последние годы сильно изменился: выцветшее, полинялое лицо, неуверенная походка, маленькие, почти ничего не видящие глазки. Как это часто случается с людьми сильно в возрасте, стал подозрительным, мнительным, уходил порой в свой мир. Отказывающееся служить тело стало не союзником, а врагом: его одолевали всяческие хвори, несколько раз он лежал в больнице, в конце почти не мог передвигаться. Но необычайная сила духа и жажда самовыражения перевешивали тяжесть бытия: человек духа неподвластен боли и недугам.

«Как вы думаете, — спросил однажды, — какая партия больше всего мне дорога? Скажете, наверно, — с Ботвинником какая-нибудь, с Кересом, с Решевским... Промах! С Герасимовым! Мне четырнадцать было, партия эта — моя первая напечатанная. Отец очень ею гордился, сам переигрывал и друзьям показывал: смотрите, какую комбинацию мой Вася провел! И руководитель нашего кружка в Замоскворечьи Федор Львович Фогелевич тоже всем показывал, говорил — вот будущий чемпион! Даже Мише Талю нравилась атака из той партии. Говорил Миша: только по этой партии можно судить об огромном таланте...

А какой успех я считаю самым крупным в жизни, как думаете? Выигрыш кандидатских турниров, скажете? Матча у Ботвинника? Снова промах! Самого крупного успеха добился я, Г., в 37-м году. В первенстве Стадиона юных пионеров, где все одиннадцать партий выиграл. Ни одной ничьей не дал. А ведь там сильные игроки были, почти все мастерами стали, у меня таблица того турнира сохранена.

Отец ведь мне до четырнадцати лет разрешал только дома играть, выдерживал, не хотел втягивать в соревнования. Поэтому, может быть, я и школу с отличием закончил. Дома играл с ним, с друзьями его, а потом пошел в Замоскворецкий Дом пионеров. Так наша команда все матчи под ноль выигрывала: Загуров, Голубовский, Каноян, Усов, Ельцов. Помню Володю Симагина в бархатной курточке, он вундеркиндом считался. Выиграл я и у Симагина.

А знаете, Г., когда Алехина незадолго до смерти спросили, кого он из молодых самым перспективным считает, сказал Александр Александрович: есть вот в России такой Смыслов. И пусть короткое время, а был я лучшим в мире в своем мастерстве».

Он никогда не отказывался, когда я просил передать что-нибудь моим в Питере. «Ну что за вопрос, Г., единственное – не знаю, когда представится это с оказией из Москвы переправить».

Сейчас его нет. О нем напоминают книги, диски и пластинки, с трогательными надписями, когда и с наползающими друг на друга буквами. Его нет. Давно нет и тех, кому он переправлял мои голландские подарки. На самом деле не исчезло ничего: все сохранилось, все осталось в благодарной памяти.

Позвонил ему 9 марта 2003 года. «Сегодня, Василий Васильевич, – юбилей».

«Какой еще юбилей?»

«Сегодня Фишеру шестьдесят лет исполняется».

«Да что вы, а ведь я его еще мальчиком помню. Как время летит... Вот Фишеру шестьдесят уже. Фишер... Читали мне, читали его высказывания. Он безумен, конечно. Безумен в своих идеях. Но вот попросили давеча ему книгу подписать: очень ему понравилась моя книжечка. Подписал, конечно. А знаете, совпадение какое: у нас сегодня утром в гостях дама одна была, подруга Надежды Андреевны, и спросила – правда ли, что Фишер самый гениальный игрок за всю историю шахмат? А я ей так сказал: правда, конечно, да только кроме него тоже были самые гениальные...

А между прочим, сегодня не только у Фишера круглая дата. Сегодня и Прощеное воскресенье! И надо всем друг у друга прощения просить. Так что вы уж простите меня, Геннадий Борисович, если я что-то не то сказал или сделал».

«Простите и вы меня, Василий Васильевич».

1992 год. Тилбург. Смыслов успешно прошел три круга и только в жестоком перебое в шестой партии блиц четвертого круга уступил Евгению Свешникову. На следующий день он возвращался в Москву.

Когда я спустился к завтраку, не было еще восьми. Ресторанный зал был пуст, только в центре за большим круглым столом сидел в одиночестве Смыслов.

«Я знал, что вы придете, Гена. Садитесь, садитесь... А я с пол-пятого не сплю. Терзался сначала: чего понесло старого дурака в последней партии Уфимцева играть... А потом жизнь свою начал перебирать... Эх, кабы Волга-матушка да вспять побежала, кабы можно было жить начать сначала... Подумал еще — а как? Как прожил бы? Наверное, так же и прожил... А потом спросил себя — когда же ты больше всего счастлив был в жизни? Знаете когда? На Стадионе юных пионеров. Довоенном, московском. Как сейчас вижу: разбирает Абрам Исаакович Рабинович партию, а мы, пять-шесть мальчишек вокруг столика сгрудились и говорим — лучше здесь у черных. А он — какое лучше, что вы понимаете, пижончики... Тут мелькание рук начинается, каждый свой ход норовит сделать. Он — так, а мы ему — этак, он — сюда, мы — туда... А он фигурками всё постукивает, да приговаривает: ходите, пижончики, что вы в шахматах понимаете...

Потом решил почитать что-нибудь, Библию со стола взял. И знаете, Гена, что мне показалось: по-английски Библия длиннее будет, чем по-русски. Может ли такое быть?»

«Да не думаю, Василий Васильевич, с чего это вы решили?»

«Да так показалось... Да, еще вот что хотел спросить: “sting” ведь по-английски — жало? Так ведь?»

«Да. А к чему это вы?»

«А я сам догадался, когда ночью прочел: «Смерть, где твое жало?» Впрочем, что это я с утра пораньше вам голову морочу... Пойдемте, пойдемте, возьмем что-нибудь со стола, яствами уставленного. Сейчас мы сырком голландским закусим, да и ветчинкой не побрезгуем. Что это вы мне третьего дня насчет калорий говорили?..»

Подойдя к столу, первым делом залпом осушил стакан сока и тут же наполнил его снова. Запрокинув голову, снова сделал большой глоток и перевел дух: «А вы потом, Гена, напишите, что не считал калорий Смыслов, да и сочком по утрам сверх меры баловался...»

И, поправляя сползшие очки, улыбнулся замечательной улыбкой своей: «Ничего не перепутаете, Гена? Все напишете? Не забудете?»

«Не забуду, Василий Васильевич».

ПОРТРЕТ НА БАНКНОТЕ

В 2009 году в Таллинском кафе, получая сдачу, спросил у молодой официантки: «Вы знаете, чей портрет изображен на банкноте?»

«Конечно, — ответила девушка. — Это Пауль Керес».

Выдающемуся эстонскому шахматисту так и не удалось стать чемпионом мира. Что помешало этому? Недостаточная твердость характера? Нервы? Или что-то еще?

Борис Спасский, вспоминая о борьбе за звание чемпиона мира, говорил: «Из собственного опыта знаю, что, взбираясь на вершину, надо помнить только о главной цели и забыть обо всем другом».

Как мог Пауль Керес забыть обо всем другом?

Во время Второй мировой войны, играя в турнирах оккупированной немцами Европы, Керес не раз встречался с Алехиным. «Вы думаете, большевики расправятся со мной, если я попаду к ним в руки?» — поинтересовался он как-то у чемпиона мира. «Можете не сомневаться, — отвечал Алехин, — что они укоротят вас на голову...»

Летом 1944 года Керес играл в Финляндии. Оттуда по приглашению будущего президента ФИДЕ Рогарда он приехал в Швецию, где принял участие в довольно слабом турнире мастеров. Кандидат на мировое первенство проиграл три партии. Неудивительно: в нейтральной Швеции Керес постоянно думал об уходе на Запад — до шахмат ли здесь? Вопрос — что предпринять? — не дает ему покоя, и, наконец, он принимает решение. Керес возвращается в Эстонию с тем, чтобы забрать жену, двух маленьких детей и попытаться уехать в Швецию.

Несмотря на то, что наступление советской армии было стремительным, Эстонию покинуло тогда около шестидесяти тысяч человек. «Я не хотела эмигрировать, — вспоминает вдова Кереса Мария Августовна. — У меня в Эстонии родные, я всю жизнь прожила здесь, но Пауль так решил, и мы отправились в путь...»

Они ожидали судно на побережье в районе Хаапсалу, но катер из Швеции так и не пришел. Вместе с Кересом там были писатель Фридеберг Туглас, певец Тийт Куузик, члены правительства довоенной Эстонии. Министров арестовали, выслали в Сибирь, но и судьба Кереса висела на тоненьком волоске: его неоднократно вызывали на улицу Пагари, где находилось тогда в Таллине здание НКВД.

Свидетельствует Юрий Авербах: «Полковник НКВД Борис Вайнштейн, бывший в то время главой Всесоюзной секции, прибыл в Таллин по служебным делам на другой день после вступления войск и беседовал с начальником эстонского НКВД. В конце беседы тот спросил, не мог бы Вайнштейн решить вопрос об участии Кереса в чемпионате СССР. И добавил, что шахматы для Пауля единственный источник существования. Он предложил Вайнштейну встретиться с Кересом, но тот отказался, объяснив, что взять на себя решение такого вопроса он все равно не может. Есть общая установка: тех, кто во время войны находился на оккупированных территориях, в первый послевоенный чемпионат не пускать. А с Кересом ситуация еще сложнее. “Сам я отношусь к нему с большой симпатией, — добавил Вайнштейн, — и как к шахматисту, и как к человеку, хотя лично с ним и не знаком. Но если по закону, то ему за сотрудничество с немцами надо 25 лет давать, и вы это знаете не хуже меня. Он же в их турнирах играл, с Алехиным якшался...”»

Письмо, написанное Кересом в федерацию шахмат СССР, — отчаянная попытка представить события сентября 1944 года в ином свете: «Немцы предпринимали попытки убедить меня в необходимости скорейшей эвакуации в Германию. Для этого мне приходилось часто переезжать с места на место со своей семьей, моей женой и двумя маленькими детьми, — во-первых, чтобы избежать назойливых эвакуационных предложений, и, во-вторых, создать видимость, что я готовлюсь к отъезду из страны. В конце концов, мне удалось без особых проблем и в тихой местности избежать враждебного отношения».

На это письмо Керес так и не получил ответа. Его лишили звания «гроссмейстер СССР», отлучили от шахмат, будущее рисовалось в очень мрачном свете, но Кереса взял под личную опеку первый секретарь ЦК Эстонии Николай Каротамм. Мария Керес полагает, что защита именно этого человека спасла мужа от репрессий. Видимо, Каротамм и подсказал Кересу написать письмо в Москву в самые высшие инстанции. Реакция Молотова была положительной и Керес получил разрешение вернуться в шахматы.

Конечно, по сравнению с судьбой многих тысяч эстонцев, погибших или сосланных в Сибирь, всякого рода интимидации, заполнение бесконечных анкет, слежка, трудности с выездом за границу были мелкими уколами, но жизнь Кереса, вернувшегося в шахматы, тоже не была безоблачной: КГБ не выпускал его из сферы внимания до конца жизни.

В 1958 году «проводилась работа по Кересу в плане склонения его к сотрудничеству с нашими органами, — пишет в сохранившейся в архивах справке сотрудник КГБ Эстонии. — В процессе этой беседы выяснилось, что Керес не имеет желания активно сотрудничать с органами КГБ».

Не только Керес, но и его жена находилась под постоянным наблюдением. Справка от 1965 года, извлеченная из архивов КГБ: «Доверенное лицо NN сообщило, что Мария Керес является культурной, образованной женщиной. По характеру — решительная, разговорчивая, любознательная. Чувствуется, что она высокого мнения о себе. Семья живет очень зажиточно. Является владельцем американского лимузина. Ничего отрицательного в поведении Марии Керес в быту не наблюдается».

Еще одно донесение, датированное 1966 годом: «Товарищ Керес Мария Августовна обладает твердым и принципиальным характером и с неутомимой энергией занимается пополнением идеологических и профессиональных знаний. Она политически грамотна, советский человек высокой морали и с широким кругозором».

В 1967 году на всемирную выставку ЭКСПО в Монреале отправилась большая делегация от Советского Союза. В группе, представлявшей Эстонскую ССР, был и Керес. Было решено расселить эстонцев по домам земляков, давно живущих в Канаде. Керес поселился в доме... у своей свояченицы. Считалось, что у Марии Керес была только одна сестра, жившая в Таллине. Но в семье Рийвес было три дочери. Самая младшая в 1944 году покинула Эстонию, вышла замуж и очутилась в конце концов в Канаде. В многостраничных анкетах, которые должен был заполнять каждый выезжающий за рубеж советский человек, на один из самых грозных вопросов — имеются ли родственники за границей? — Керес отвечал отрицательно, а всезнающий КГБ так никогда не обнаружил канадского следа. Очевидно, что Керес, выезжая за пределы Советского Союза, имел контакт со своей родственницей, и она знала о приезде Пауля в Канаду. О чем они говорили? Что вспоминали?

В 1969 году Керес, находясь в Праге, встретился с Людеком Пахманом, ставшим к тому времени заклятым врагом Советского Союза. Это стало известно КГБ. По прибытии в Москву эстонского гроссмейстера прямо с трапа самолета увезли на Лубянку и подвергли многочасовому допросу, а потом у него снова появились проблемы с выездом на заграничные турниры.

Наверное, в Праге Керес «потерял бдительность». Времена в Советском Союзе были уже не такими зловещими, как в конце сороковых-начале пятидесятых. Тогда Керес был всегда начеку и сторонился тех, кого не знал хорошо.

Когда на прощальном банкете амстердамской Олимпиады 1954 года английский шахматист и журналист Барден спросил его, почему он так плохо играл с Ботвинником в 1948 году, Керес невозмутимо ответил: «Каждый может проиграть Ботвиннику — он очень сильный игрок», — давая понять, что дискутировать на эту тему не намерен. Действительно: что могли понимать эти наивные западники в правилах и нравах страны, гражданином которой он оказался после Второй мировой войны?

Но когда на той же амстердамской Олимпиаде Котов, после того как Керес буквально разгромил Шайтара, объявил, что «это была настоящая советская партия», Керес заметил корреспонденту английского «Таймс» Голомбеку: «Это была настоящая эстонская партия!» Керес всегда знал, кому и что можно сказать. С Голомбеком они были знакомы еще с довоенных времен, и англичанин рассказал об этом только в 1977 году, когда Кереса уже не было в живых.

Он не любил конфликтов, кланов, разборок и ему приходилось постоянно лавировать в полном интриг мире советских шахмат. Отправляясь в Москву, Керес всегда брал с собой блокнот, где каллиграфическим почерком было записано, кто с кем не разговаривает, кто с кем не здоровается.

Казалось, ничто не может вывести его из себя. Однажды он должен был вылететь в Австралию с сеансами одновременной игры. Все документы были уже оформлены, визы получены, билеты куплены, маршрут согласован. Керес прибыл из Таллина в Москву. В последний момент в советском посольстве в Канберре решили, что приезд Кереса вызовет ненужный ажиотаж в среде эстонских эмигрантов, и поездку отменили. Когда работавший во Всесоюзной федерации Михаил Бейлин, стараясь не смотреть Кересу в глаза, сообщил ему, что

«Австралия отменяется», тот только улыбнулся: «Что ж, в жизни может случиться всякое...»

Несмотря на всегдашнюю корректность и сдержанность, он был не прочь и пошутить, и повеселиться. Любил играть блиц, когда и «позванивал», наслушавшись много от своего тренера Толуша, да и от других гроссмейстеров. В узкой компании мог продекламировать частушки, порой и двусмысленные.

Но сквозь приветливость и улыбку в нем постоянно проглядывало что-то грустное, даже трагическое. Это слово — «трагическое» — не сговариваясь, произносили все, кто играл с Паулем Кересом в турнирах на Западе и с кем я говорил о нем.

Карел ван хет Реве — молодой тогда голландский славист — был в 1948 году в Москве и регулярно встречался с эстонским гроссмейстером. Он стоял рядом с Кересом на праздновании 1 мая на кремлевской трибуне, куда были приглашены участники матч-турнира.

Парад. Когда по брусчатке Красной площади пошли с грохотом танки Т-34, ван хет Реве случайно взглянул на Кереса и не мог отвести взора. Вспоминая об этом много лет спустя, известный голландский писатель затруднялся передать всю гамму чувств, которая была написана на лице эстонского гроссмейстера. И только вернувшись в гостиницу, Керес смыл с себя все эмоции: «Ну а теперь — бридж. Бридж!» — потирая руки, воскликнул он.

Когда в 1974 году Корчному предстоял финальный матч претендентов с Карповым, Спорткомитет и руководство шахматной федерации страны были полностью на стороне его соперника, и для советских гроссмейстеров это не являлось секретом. Корчному предложили свои услуги только Бронштейн и Керес. Дебютными идеями Бронштейна Корчной воспользовался, а вот предложение Кереса отверг.

Виктор Корчной впервые встретился с Кересом в XX чемпионате Советского Союза в 1952 году. Молодому мастеру удалось продержаться тогда чуть дольше двадцати ходов, и с тех пор счет в пользу Кереса только увеличивался.

«Я сделал с ним только несколько ничьих, проиграв четыре партии, и у меня было чувство, что если бы я согласился на его помощь, за доской боролся бы уже он, а не я. Шахматный авторитет Кереса слишком давил на меня», — объяснял свое решение Корчной много лет спустя.

Керес играл почти со всеми чемпионами прошлого века, но близкие отношения были у него только с Эйве. После того как на турнире

в Цюрихе в 1934 году голландец пожертвовал Алехину коня, чемпион мира снял пиджак. «Если бы ты пожертвовал ферзя, он, вероятно, снял бы и штаны», — заметил Керес. Ему ли было не знать, как болезненно относится к поражениям русский чемпион.

Когда на турнире в Маргете Керес в партии с Алехиным занес руку, чтобы, пожертвовав ферзя, объявить мат следующим ходом, тот поднялся из-за столика, и не проронив ни слова, покинул турнирный зал. Правда, через двадцать минут Алехин вернулся, чтобы проанализировать партию.

С Алехиным Керес не раз играл во время войны и видел в самых разных ситуациях, в том числе и мирно спящим на скамейке мадридского сквера. Керес относился к Алехину с некоторой иронией, называя в кругу близких «Алёшкой».

У него было мягкое, своеобразное чувство юмора. После чемпионата Европы в Капфенберге в 1970 году советские гроссмейстеры остались на несколько дней с сеансами одновременной игры. Когда Михаил Бейлин отрядил в совместную поездку Таля и Холмова, Керес заметил: «Вы, наверное, очень смелый человек, Михаил Абрамович...» И действительно — к поезду в Москву «нарушившие спортивный режим» гроссмейстеры не прибыли...

На открытии Кубка Пятигорских в 1963 году в Санта Монике было объявлено, что победитель в дополнение к призу получает еще и машину. Керес разделил победу в турнире с Петросяном, и ключи от машин были вручены обоим. Несколько месяцев спустя Петросян приехал в Таллин. Керес встречал его на вокзале. «Все-таки отличные автомобили получили мы в Америке», — заметил Петросян, усаживаясь рядом на переднее сиденье. «Замечательные, — согласился эстонский гроссмейстер, — правда, если бы я не поспешил с ходом h5 в нашей партии, машина досталась бы только мне...»

Керес был первым гроссмейстером, руку которого пожал Петросян. Весной 1946 года на турнире в Тбилиси в девятнадцати партиях Керес «отпустил» соперникам всего две ничьи: одну из них сделал шестнадцатилетний кандидат в мастера. Очевидцы вспоминают, что когда экс-чемпиону мира сообщили о смерти Кереса, не склонный к сентиментам Тигран Вартанович заплакал...

«Он был дружелюбным человеком, но это было дружелюбием на дистанции, доброжелательностью аристократа. В нем всегда было чувство достоинства, которое не могли не заметить окружающие»,

– говорил Вольфганг Унцикер, а Светозар Глигорич писал, что «Керес был единственным гроссмейстером, который никогда ни на что не жаловался». Примечательно, что на «ты» он был только с очень немногими: Штальбергом, Смысловым, Эйве.

До войны Керес очень часто бывал в Голландии, и его любили в этой стране. Через две недели после матча с Кересом в 1939 году Макс Эйве принял участие в коротеньком – всего четыре участника – турнирчике в Бевервийке и выиграл все партии. Призов в турнире не было, но все ожидали, что победитель получит выставленные на всеобщее обозрение замечательные шахматы, сделанные на заказ известным стеклодувом. Неожиданно на закрытие турнира прибыл Пауль Керес, оставшийся после матча в Голландии с сеансами одновременной игры, и комплект шахмат был вручен молодому эстонцу.

Эйве не подал виду, но несколько дней спустя отправил директору турнира письмо, в котором говорилось, что «мне не хотелось бы останавливаться на том, кто больше сделал для шахматной жизни в Голландии – я или Керес, получивший за победу в нашем матче 1400 гульденов, в то время как я не получил ничего. Было бы неправильно сделать вывод, что Керес не заслуживает этого подарка. Наоборот, Керес – превосходный парень, на редкость корректный, и я нахожу его самым симпатичным из всех известных мне шахматистов, причем с большим отрывом от следующего. Если бы я рассказал ему о предыстории этих шахмат, он, без сомнения, отказался бы от подарка. Но у меня и в мыслях нет делать это».

Директор турнира был огорчен; надо было искать выход из создавшейся неловкой ситуации. Через несколько месяцев Эйве был приглашен на сеанс одновременной игры в Бевервейк, после которого получил точно такие же шахматы. Оба комплекта сохранились: один находится сейчас в центре Макса Эйве, другой – в доме Марии Августовны Керес, а замечательные шахматисты стали названиями: площади в Амстердаме и улицы в Таллине.

Во время чемпионата Советского Союза в 1940 году в Москве Керес почти не говорил по-русски. Он общался через переводчика и комментировал для зрителей партии на немецком, его самом сильном иностранном языке. После войны Керес выучил русский, но ему пришлось учиться не только языку. Окунувшись в атмосферу двоемыслия, подозрительности и недоверия, он научился чувствовать многое. То, что родившиеся в Советском Союзе понимали без каких-либо объяснений, а люди Запада не могли понять, как бы ни старались. Ему пришлось жить

в обществе с иной системой координат, с другими ценностями, отличавшимися от тех, к которым он привык в первой половине жизни.

Макс Эйве отмечал, что «чувство национального достоинства Кереса было уязвлено, и он, безусловно, страдал от этого». К тому же, в отличие от советских коллег, ему, жившему до 1940 года в свободном мире, было еще труднее: ведь еще древние знали: совсем разное — вовсе не иметь и иметь и потерять.

Для советских гроссмейстеров он всегда оставался немного иностранцем. И дело было даже не в легком акценте. Весь его облик, манеры, знание языков, теннис, бридж, элегантно повязанный галстук, ухоженность, вежливость и невозмутимость отличали его от тех, кого они встречали в коридорах «Динамо», «Труда», «Локомотива», в Спорткомитете, наконец, просто в повседневной жизни.

Они многое перенимали от него. Если Ботвинник покупает форсунку для дачи, то она обязательно должна быть шведского производства, только шведского — так советовал Керес! Когда, играя с Кересом в заграничном турнире, Ботвинник отправляется с ним в жаркий летний день на прогулку и Пауль предлагает выпить чего-нибудь прохладительного, поначалу это вызывает шок: «Но это же стоит денег! За рубежом я становился скрягой — замечает Ботвинник. — “Но так приятно тратить деньги”, — возразил Пауль и... угостил меня! Это его «указание» было принято к неуклонному исполнению». Ботвинник учился у Кереса. Они все учились у Кереса.

После победы (вместе с Файном) в АВРО-турнире в 1938 году Керес рассматривался как один из кандидатов на звание чемпиона мира, и многое в его биографии связано с именем Ботвинника.

В своих мемуарах Ботвинник пишет о «друге Пауле» очень благожелательно, но признает, что «иногда наше соперничество принимало излишне резкие формы, как это было в 1948 и в 1952 годах. Увы, из песни слов не выкинешь! О наших неприятных стычках по молчаливому согласию мы в наших беседах никогда не вспоминали и впоследствии подружился».

В 1940 году Керес приехал в Москву, чтобы в первый раз сыграть в чемпионате Советского Союза. Встретили его торжественно, во время открытия турнира нового советского гражданина приветствовали продолжительными аплодисментами.

Внешний вид Кереса — темно-серый в полосочку костюм, цепочка на поясе, платочек в кармане пиджака, резко очерченный пробор,

манеры — все контрастировало с однообразием, царившим тогда в советской России. Примечательным был и стиль Кереса — острый, комбинационный. Пристрастие к королевскому гамбиту выглядело почти вызывающе, особенно на фоне сугубо позиционной манеры игры Ботвинника.

У публики появился новый любимец, и это, конечно, не могло не раздражать лидера советских шахмат, тем более что на повестке дня стоял вопрос: кто должен играть матч на звание чемпиона мира с Алехиным. Ботвинник даже обиделся, когда Сергей Прокофьев слишком громко аплодировал после стартовой победы Кереса, и добился запрещения аплодисментов в турнирном зале.

Мария Керес вспоминала, что, вернувшись из своей первой поездки в Советский Союз, Керес был поражен привилегиями Ботвинника. Тот был не только признанным первым номером, но и вел себя соответствующим образом. Последующие встречи Кереса с советским чемпионом только усилили первое впечатление.

«Турнирные условия являются подходящими для Мишеньки, но не для остальных соперников», — писал Керес домой с турнира на звание абсолютного чемпиона Советского Союза (1941). В кругу близких он до конца жизни называл Ботвинника «Мишенькой», произнося это имя с иронической улыбкой...

В декабре 1945 года Керес с женой были в Москве, и Ботвинник пригласил их на обед. «Я знала, что Пауль и Ботвинник недолюбливали друг друга, но внешне это ни в чем не проявилось, — вспоминала Мария Керес. — Обед был превосходный, все приличия соблюдались, но когда зашла речь об Алехине, Ботвинник тут же сказал, что он такому человеку руки бы не подал. Он имел в виду, конечно, Пауля, игравшего с Алехиным в военное время».

Через несколько месяцев Ботвинник начал подготовку к матчу на первенство мира с Алехиным. Документ с его просьбами, содержащий 49 пунктов, обнаружил в архивах эстонский писатель и большой любитель шахмат Юло Туулик.

В числе других пунктов письма Ботвинника значилось:

Прибытие за 4 недели до начала матча.

Машина с шофером.

Дополнительно к талонам на питание:

2 кг масла, 1,5 кг икры, 2 кг шоколада, 5 кг фруктов.

1 костюм летний, 2 костюма вечерних, 1 шляпа, 1 зимнее пальто, 1 летнее пальто, 2 пары туфель, 4 крахмальных рубашки, 4 сорочки.

Для Рагозина: 3 недели отдыха в «Соснах», 1 месяц в санатории.

Квартира, отпуск, обеспечение.

Для матери: Кремлевская больница, неврологическое обеспечение.

Для жены: отпуск в Большом театре с сохранением зарплаты.

Демисезонное пальто, 1 туалет вечерний, 4 туалета дневных, меховое манто, белье.

Одежда для ребенка.

И т.д. и т.п.

Но главным было требование закрытого тренировочного матча с Кересом. Эстонский гроссмейстер сам считался претендентом на мировое первенство, а в этом случае был бы вынужден отказаться от собственных притязаний на высший титул. Смерть Алехина перечеркнула все планы и избавила Кереса от унижительного матча.

«В московском поезде на Гаагу, где игралась первая половина матч-турнира 1948 года, Ботвинник подчеркнуто не вступал ни в какой контакт с другими участниками турнира и их секундантами, а с собственным — Рагозиным — обращался как со слугой. В приказном порядке он разговаривал и с женой, и с маленькой дочерью, стараясь вообще не выходить из купе, которое они занимали...» — вспоминала события более чем полувековой давности Мария Керес.

Несмотря на особое положение Ботвинника, официально в Гаагу отправились три равноправных представителя Советского Союза: Ботвинник, Смыслов и Керес.

В шахматы игрок не очень
бойкий,
Я желаю дорогим друзьям —
Пронеситесь грозной русской
тройкой
По голландским шахматным полям!

Мучимый метафорою слова,
Вижу я, как ринулись в бои
Три богатыря — не Васнецова,
Три богатыря — друзья мои.

И еще одно сравненье — третье

(Этим отличается поэт) —
 Я хочу вас на вокзале
 встретить,
 Как встречают мастеров побед!

Сегодня строки, написанные о «грозной русской тройке», — Ботвиннике, Кересе и Смыслове, читаются как пародия, на что был большой мастак их автор — Михаил Светлов. Допустил ли такую вольность поэт в 1948 году, да еще на страницах центральной газеты, или просто выполнял на скорую руку редакционный заказ?

После гаагской половины соревнования акценты очевидно сместились.

Все идет, как полагается,
 И пускай потерпит мир,
 Пока к нам перебирается
 Из Голландии турнир.
 Были партии не мирные,
 И греметь еще молве
 Про жестокие турнирные
 Схватки в городе Москве.
 А пока что аплодирует
 Мир герою одному,
 Что стремительно лидирует,
 Как положено ему.

Как положено ему. Именно так воспринималось в Советском Союзе лидерство Ботвинника в турнире. На дружеском шарже изображен уверенной поступью шествующий Ботвинник, несущий флаг, на котором выведена цифра набранных им очков: «6», за ним с флажками с цифрами «4» — Смыслов и Керес, и совсем в арьергарде ковыляют иностранцы: Решевский с «4,5» (!) очками и Эйве — с «1,5».

Диапазон слухов, связанных с матч-турниром 1948 года, был обширен. Одни уверяли, что Кереса заставляли нарочно проигрывать будущему чемпиону, другие поговаривали, что уже обеспечивший победу Ботвинник «отдал» последнюю партию Кересу умышленно, чтобы оттолкнуть Решевского. На самом деле Ботвинник в той партии уже в дебюте предложил ничью, которую Керес отклонил. Когда Ботвинник через несколько ходов повторил предложение, Керес ответил крайне грубо, заставив Ботвинника покраснеть. «Возможно, это было не совсем красиво с моей стороны», — признавал много лет спустя Керес, рассказывая эту историю Унцикеру. «Хотя эстонский

гроссмейстер достаточно хорошо понимал русский язык, его разговорный был тогда довольно слаб, поэтому он употреблял иногда вульгарные выражения, не совсем хорошо понимая их значение», — предположил Унцикер.

Перед этой последней партией Ботвинник записал в дневнике, который скрупулезно вел во время турнира: «Если преимущества к 20-му ходу не будет, предложить ничью. В случае отказа постараться вздуть! Вперед, на Кереса!»

Аналогичные записи он делал и перед другими партиями с эстонским гроссмейстером, неизменно дополняя их загадочной фразой: «Помнить, с кем играешь!»

Что хотел сказать этим Ботвинник? Шла ли речь здесь о военном прошлом соперника? О силе его игры? Или — наоборот — о слабости? Почему была важна победа именно над Кересом?

«В матч-турнире 1948 года все делалось под Ботвинника, ведь было известно, что он больше 15 партий подряд не выдерживает... Это же пародия на турнир была — с двухнедельным перерывом между Гаагой и Москвой, курам на смех. Я спросил тогда Кереса — “Пауль Петрович, как вы могли допустить такое?” — Так он на меня такой взгляд бросил, что я тут же осекся: “Беру, беру свой вопрос обратно...”» — вспоминал Давид Бронштейн.

У Бронштейна с Кересом были особые отношения. В матче на мировое первенство в 1951 году эстонский гроссмейстер был на стороне претендента, встречался с ним в Москве. Они сыграли множество турнирных партий, всю жизнь были в переписке, а находясь на сборах, постоянно играли блиц, иногда тематические матчи. Дебют? Королевский гамбит!

Что сближало их, таких разных по характеру, воспитанию, темпераменту? Любовь к шахматам? Преданность игре? Безусловно. Но и не только. Мне кажется, что помимо этого у обоих была одна рана и одна общая боль: чемпионский титул, так ими и не завоеванный. Произошло это в первую очередь из-за гиганта игры, каким был Михаил Моисеевич Ботвинник, но и — для Кереса в первую очередь — из-за времени, благоволившего к отлично вписанному в него Ботвиннику и из которого выпадал эстонский гроссмейстер. Это понимал и сам Патриарх, в конце жизни сказавший: «Паулю не повезло в его шахматной карьере. В другое время, вероятно, он стал бы чемпионом».

Во время чемпионата Советского Союза в Ленинграде в 1947 году

группа игроков подписала коллективное письмо, в котором Керес был заклеен как «коллаборант» и «фашист», и только ли ерничаньем была брошенная мастером Кламаном фраза после победы над эстонским гроссмейстером: «Ну как, ребята, я фашиста уколошил!»

Когда Ботвинник был еще жив, вновь возник вопрос, не приложил ли он руку к тому, чтобы Керес не принял участие в крупнейшем послевоенном турнире в Гронингене в 1946 году. Когда самого Ботвинника спрашивали об этом, тот настаивал, что он «выше этой чепухи», что, может быть, он и подписал коллективное письмо гроссмейстеров, но никогда не выступал против эстонского гроссмейстера и никогда не интриговал против его.

«С пятнадцатилетнего возраста все мои стремления сосредоточились на одной определенной цели».

«Мой успех является результатом обдуманной, добросовестной, тщательной подготовки всей моей жизни».

«Каждая деталь, каждая мелочь составила предмет многократных обсуждений...»

И как следствие: «Победа ожидает того, у кого все в порядке, — и это называют удачей».

Записи взяты из дневников знаменитого норвежского путешественника Руаля Амундсена, но под каждым словом мог бы подписаться и Михаил Ботвинник.

«В жизни мне повезло. Как правило, мои личные интересы совпадали с интересами общественными — в этом, вероятно, и заключается подлинное счастье. И я не был одинок — в борьбе за общественные интересы у меня была поддержка. Но не всем, с кем я общался, так же повезло, как и мне. У некоторых личные интересы расходились с общественными, и эти люди мешали мне работать. Тогда и возникали конфликты». Это — Ботвинник. И дело было не в эстонском гроссмейстере: резкие, напряженные отношения возникали у Ботвинника с каждым, кто становился на его пути к чемпионскому титулу. Уже сам этот факт превращал соперника в недруга, и Пауль Керес не был исключением.

Последнюю партию с Ботвинником Керес сыграл на турнире в Вейк-ан-Зее в 1969 году. Зима тогда выдалась особенно ветреная, и оба гроссмейстера играли простуженными почти весь турнир.

Вспоминает Михаил Ботвинник: «Лежу в постели, анализирую на карманных шахматах отложенную позицию с Портишем — трудный эндшпиль... Неожиданно стук и входит Пауль: «Ну что, спасаетесь?»

Объясняю, что нашел после долгих поисков одну уникальную ничейную позицию, но как ее получить — не могу придумать. Взял Керес у меня карманные шахматы, подумал и, возвращая шахматы, сказал: «А что, если сыграть так-то?» Посмотрели мы друг на друга и нами овладел неудержимый хохот — Пауль нашел простой способ получения искомой позиции. При доигрывании Портиш был потрясен — ничья!»

Эта партия игралась в одном из последних туров и результат ее был чрезвычайно важен для окончательного распределения мест. В случае победы Портиша венгерский гроссмейстер, а не Ботвинник, занимал бы первую строчку в таблице, вернее, делил бы ее с Геллером и Кересом (!).

История имела продолжение. Через месяц после окончания турнира Мария Керес неожиданно получила из Москвы маленькую посылку с флаконом французских духов. К посылке было приложена записка Ботвинника, где говорилось о концовке какой-то партии. «Я ничего не поняла, но Пауль очень смеялся...» — вспоминала Мария Августовна.

В последние годы, бывая в Москве, Керес звонил Ботвиннику, заезжал к нему домой: причины противостояния улетучились, и Кересу открылся другой Ботвинник — внимательный, благожелательный. В конце шестидесятых, посетив того на даче, Керес заметил: «А Ботвинник вообще-то не такой плохой человек, милый, приветливый...»

«Он все забыл, Пауль все забыл...» — вздыхала Мария Августовна Керес, когда я расспрашивал ее об отношениях выдающихся шахматистов.

В последний раз «вечно второй» Керес был на расстоянии вытянутой руки от матча на первенство мира на турнире претендентов в Кюрасао в 1962 году. В очень длинном соревновании гроссмейстеры играли друг с другом мини-матчи, всего двадцать восемь партий. Половина участников представляла Советский Союз, и Тигран Петросян в конце концов опередил Кереса на пол-очка.

Роберт Фишер после окончания турнира дал большое интервью журналу «Спортс Иллюстрейтед», в котором обвинил советских гроссмейстеров в сговоре. По его мнению, Геллер, Петросян и Керес не боролись между собой, быстро закончив все партии вничью.

В мемуарах другого американского участника турнира на Кюрасао Пала Бенко можно прочесть: «Я не могу точно знать об обвине-

ниях Фишера по адресу советских гроссмейстеров, но на турнире были мини-группы, работавшие вместе. Например, Геллер и Петросян, очень близкие друзья, делали все, чтобы Керес не выиграл это соревнование. Блистательный Пауль Керес пережил немало трагических минут. Он еще участвовал в борьбе за победу в турнире, когда мы начали партию из третьего круга. У Кереса были белые, я избрал сицилианскую, получил лучшие шансы, но в сильнейшем цейтноте некорректно пожертвовал фигуру, и партия должна была закончиться вничью вечным шахом. Имея несколько секунд на часах, я сделал ход, форсирующий вечный шах, но неаккуратно поставил фигуру на поле... Керес перевел часы, сказав: "Поправьте фигуры". Я был ошарашен, мои часы отсчитывали последние секунды. Когда я пытался восстановить порядок на доске, флажок упал, и мне было засчитано поражение. Я не обжаловал судейское решение, но был очень зол и подумал: "Я прибью его в самый чувствительный момент".

Не вызывает сомнения, что наша партия из последнего круга была самой важной во всей карьере Кереса, так как при ничьей он делил первое место с Петросяном, а выигрыш выводил его на чистое первое место. Партия была отложена в несколько лучшей для меня позиции, ко мне в комнату тайно прокрались Петросян и Геллер и предложили помощь в анализе. Они хотели, чтобы я выиграл партию у их земляка! Это было отвратительно. Я сказал, что при правильной игре с обеих сторон партия должна закончиться вничью и попросил обоих покинуть комнату. Когда мы продолжили игру, Керес ошибся и проиграл. Этот результат сломал бедного Кереса, но его мучения на этом не кончились! Свою партию из последнего тура я играл с Геллером. Еще во время игры организаторы отпечатали результаты турнира в бюллетене: Петросян – первый, Керес – второй, Геллер – третий. Действительно, в партии с Геллером у меня были две лишние пешки в ферзевом эндшпиле и легкий выигрыш. Мне оставалось сделать один ход до контроля и я обдумывал, какой ход сделать, чтобы избежать вечного шаха. Когда я делал ход, мой флажок упал, и Геллеру была засчитана победа! Керес должен был играть матч с Геллером за второе место (который выиграл). Керес писал потом, что я специально проиграл Геллеру, чтобы наказать его. Разумеется, я никогда не делаю подобных вещей, но Керес до конца придерживался противоположного мнения и сошел в гроб, пребывая в этом ошибочном убеждении. Можно представить его чувства: проигрыш партии мне повлиял на течение всей шахматной

истории. Петросян выиграл матч у Ботвинника и стал новым чемпионом мира. А бедный Керес так никогда и не сыграл матча на мировое первенство...»

Такова версия Пала Бенко о событиях претендентского турнира 1962 года. Соответствует ли она действительности? Или прав Керес, утверждая, что Бенко просрочил время с Геллером, чтобы еще больше наказать его, тем более что на турнирное положение Бенко это не влияло?

Пользовавшийся безоговорочным уважением всего шахматного мира, эстонский гроссмейстер мог бы стать идеальным президентом ФИДЕ. Но он был гражданином СССР, и ни одно решение на этом посту не смог бы принять без «консультаций» со Спорткомитетом, а фактически — с более высокими инстанциями. Керес прекрасно понимал это сам, и когда Милунка Лазаревич во время Олимпиады в Ницце в 1974 году прямо спросила его об этом, Пауль Петрович только засмеялся: «Самостоятельно я могу только книги писать». Понятно, что эстонский гроссмейстер имел в виду шахматные книги...

Керес прекрасно понимал все трудности профессии шахматиста и всегда защищал интересы выбравших шахматы в качестве основного занятия. Лояльность, коллегиальность были присуще далеко не всем чемпионам мира. Чемпион мира? Но ведь Керес никогда так и не стал им. Мог ли?

Как сложилась бы его карьера, если бы катер в сентябре 1944 года пришел из Швеции вовремя, и он оказался бы в свободном мире? Гипотетический вопрос, конечно. Корчной полагает, что Керес завоевал бы высший титул, а ему самому это не удалось потому, что он запоздал с решением собственной судьбы на добрый десяток лет: в 1976 году, когда Корчной остался за Западе, ему было уже сорок пять, а Кересу в 44-м не было и тридцати. Вдова Кереса не разделяет точку зрения Корчного: «Думаю, что все равно не стал бы», — обосновывая свое мнение тем, что Керес не был так беспощаден к себе, да и к другим, как Ботвинник.

Вероятно, она права: характер выдающегося гроссмейстера был недостаточно жестким (или плохим — как посмотреть), чтобы стать не одним из лучших, а самым лучшим. Единственным.

Можно ли представить себе Ботвинника, опаздывающего на тур, приходящего на игру с теннисной ракеткой подмышкой или играющим, не обращая внимания, что идут его часы, роббер бриджа, как

это случалось с Кересом в молодые годы? Или небрежно проанализировавшим отложенную партию, потому что ему захотелось провести вечер с друзьями, приехавшими из Таллина? А ведь это произошло с Кересом, когда на АВРО-турнире в Амстердаме в важнейшей партии с Алехиным вместо элементарного выигрыша он получил только полочка.

Целеустремленность предполагает сознательный волевой отказ от прочих радостей во имя избранной цели, а Пауль Керес не хотел отказываться от своего тенниса, бриджа, от общения с друзьями, от многого того, к чему привык и что ткалось на холсте каждого прожитого дня.

«Свой крест нужно нести терпеливо», — писал Керес домой после одного из первых, еще довоенных выступлений в Советском Союзе.

«Я должен был играть в шахматы и ждать. Это был перст судьбы», — признавался он, будучи уже пожилым человеком.

Почти библейские слова, заслуживающие уважения как жизненная концепция, но несовместимые с жестокой борьбой за звание сильнейшего шахматиста планеты.

Керес из семьи долгожителей: его отец и мать достигли преклонного возраста, а старший брат Харальд — известный математик, академик, приближается к столетнему рубежу. Пауль Керес умер, не достигнув шестидесятилетия. Что и говорить: тяжелая нервная работа профессионального шахматиста не способствует долголетию. Даже при здоровом образе жизни и регулярной игре в теннис, большим любителем которого был Керес.

Сам он не любил распространяться на эту тему, но уже на турнире в Цюрихе в 1961 году принимал лекарства из-за повышенного кровяного давления, а в последние годы врачи настойчиво требовали оставить выступления в турнирах. Неладья с кровообращением приняла хронический характер, и он появлялся на сцене как всегда безупречно одетый, в вечернем костюме, при галстукке и... в тапочках: болели ноги, давала о себе знать подагра. Понятно, что сеансы одновременной игры, которые он давал до конца жизни, тоже были ему противопоказаны — тем более два сеанса в день, как это было в Ванкувере буквально за неделю до смерти. Легко советовать: когда в следующий раз представилась бы возможность заработать немного валюты? Ведь в последнее время он получал «разрешение» на один зарубежный турнир в год.

Из Ванкувера в Таллин Керес добирался по сложному маршруту — через Монреаль, Амстердам, Хельсинки. У него было хобби: стыковка самолетов различных международных компаний: номера рейсов, наиболее экономичные маршруты — он знал все на память. В узком кругу позволял шутку: «Все трудности отпадают, как только расстаетесь с Аэрофлотом».

Принято считать, что такое хобби соответствовало характеру и манере мышления Кереса — склонности к анализу, аккуратности, стремлению найти оптимальное решение. Может быть. Мне кажется, что есть и другое объяснение: составляя зарубежные маршруты, он возвращался в то время, когда, не давая отчета никому, мог сам решать, каким образом отправиться в Стокгольм, Мюнхен, Амстердам или Хельсинки.

Возвращаясь из Канады, Пауль позвонил из амстердамского аэропорта старому другу Максиму, тот приехал в Схипхол, и они проговорили с Эйвеном несколько часов. Ханс Баймейстер, присутствовавший при их последней встрече, вспоминает, что Керес несколько раз повторил: «Да, влетит мне теперь от Батурина — я ведь на несколько дней задержался в Канаде без разрешения...»

Керес умер от сердечного приступа в Хельсинки на следующий день, пятого июня 1975 года. Ему было пятьдесят девять лет. Иво Ней первым в Эстонии узнал об этом. Он тут же позвонил на телефонную станцию, чтобы заблокировали домашний телефон Кереса, вызвал врача-кардиолога и, набравшись духа, отправился улицу Ыйе, как называлась тогда улица Кереса...

Через два дня пароход с его гробом прибыл в Таллин. Толпы людей на набережной, мужской хор, оркестр. И цветы, цветы. Гроб несли лучшие спортсмены Эстонии. Среди встречавших можно было заметить и Виктора Ивонина, заместителя председателя Спорткомитета СССР, курировавшего шахматы.

Машина тронулась к дому Кереса, где в очень узком кругу было совершено отпевание. Присутствовали только самые близкие да приехавшие в Таллин коллеги эстонского гроссмейстера: Эйве, Смыслов, Спасский, Авербах.

В последний путь Кереса провожал весь Таллин. На кладбище говорил Смыслов. Звучала и речь Эйве, произнесенная по-немецки и записанная на пленку: экс-чемпион мира, не дожидаясь похорон, должен был срочно вернуться в Амстердам.

«Вы проследите уж, если я что-то не так сказал...», — попросил он Иво Нея. Слова Эйве, что Паулю Кересу пришлось не раз видеть свою

родину под пятой захватчиков, разумеется, не прозвучали на Лесном кладбище.

Вернувшись в Москву, Виктор Ивонин вызвал к себе главного редактора «64» Нейштадта.

«Какой материл вы собираетесь давать о Кересе?» «Развернутый некролог, лучшие партии», – отвечал Нейштадт.

«Это хорошо, но учтите, что смерть Кереса – это в первую очередь потеря для Эстонии, а не для всего Советского Союза. Это потеря эстонских шахмат...»

Так думали о Кересе в Москве в течение всей его карьеры, таким осталось отношение к нему и после смерти: он был и свой, и чужой в огромной, несуществующей теперь стране, и власти никогда об этом не забывали. Не забывал и он.

Попав в многоцветный мозаичный мир советских шахмат, Керес принял решение просто жить, не посыпая голову пеплом, не философствуя и не причитая. Жить и играть.

Спикер эстонского парламента Эне Эргма сказала: «Пауль Керес не поддался одному из главных желаний всех тоталитарных систем – нивелировать общество, заставить всех людей одинаково говорить и одинаково одеваться, одинаково страдать и одинаково лгать. Элегантный Керес сталинского серого периода постоянно напоминал нам здесь, в Эстонии, **что** мы утратили и **что** мы когда-нибудь обязательно себе вернем».

Сегодня Пауль Керес принадлежит шахматам, их истории. И Эстонии, не забывшей его.

ДРЕССИРОВЩИК ФИГУР

Когда министру иностранных дел Австро-Венгерской империи доложили, что в России неспокойно и что там может произойти революция, тот громко расхохотался: «И кто же, позвольте, осуществит эту революцию? Господин Бронштейн, который только и делает, что с утра до вечера играет в шахматы в кафе “Централь”?»

Когда через несколько лет революция в России действительно произошла и имя заядлого посетителя венского кафе называлось в качестве одного из главных лидеров, Йозеф, всем известный обер-официант “Централь”, совсем не удивился: «Я всегда знал, что герр Бронштейн далеко пойдет», — заметил он. Добавив: «Но я никогда не думал, что он уедет, так и не расплатившись за четыре чашки кофе...»

Хотя ремарки министра иностранных дел и официанта кафе «Централь» упоминаются в солидных источниках, обе похожи на апокриф. Впрочем, никогда не знаешь: Лев Давидович Троцкий провел в столице Австро-Венгрии в общей сложности семь лет и, являясь одной из самых значительных фигур социал-демократии, был на виду у властей.

В этот период (1907-1914), названный Троцким в своей биографии «венской главой», его едва ли не ежедневно можно было встретить в кафе «Централь».

После бурных политических дискуссий он частенько засиживался здесь за шахматной доской до глубокой ночи. Сохранилось несколько писем того периода, в которых Троцкий пишет о шахматах. Одно из них — петербургскому меньшевику Дмитрию Сверчкову — он заканчивает так: «...предлагаю тебе шахматную партию по переписке. Сим начинаю: 1.e2-e4, если ты сделаешь 1...e7-e5, то я 2.Kg1-f3, если ты делаешь 2...Kb8-c6, то я хожу 3.Cc4».

2 августа 1914 года его вызвал шеф политической полиции Гейгер и сказал, что в связи с началом военных действий завтра может выйти приказ о заключении под стражу всех русских и сербов.

Когда Троцкий осведомился, предлагает ли он ему уехать, Гейгер отвечал, что чем скорее он сделает это, тем будет лучше. Троцкий обещал, что завтра с семьей он уедет в Швейцарию. «Гм... я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня», – заметил Гейгер», вспоминал будущий вождь русской революции в своих мемуарах.

Спустя семь лет после того как Троцкий, так и не расплатившись за кофе, спешно покинул столицу Австро-Венгерской империи, он получил другое приглашение.

«Зная о Вашем интересе в прошлом к шахматному искусству, считаю долгом довести до Вашего сведения, что в помещении Центрального Военно-спортивного клуба Всевобуча им. Ленина по Камергерскому переулку, 5 организован московский чемпионат-турнир. Не осмеливаясь оторвать Вас от государственных дел прямым приглашением на состязания, был бы счастлив Вашим присутствием в стенах означенного Клуба. При сем прилагаю хронику шахматного дела за последний период времени в Европе и Америке. Имеющиеся записанные партии Ласкера и Капабланки будут высланы по Вашему желанию незамедлительно...»

В московском турнире 1921 года, на который приглашал Троцкого начальник Всевобуча, играли Ф.И. Дуз-Хотимирский, В.И. Ненароков, Н.И. Греков, Н.Д. Григорьев, А.Ф. Ильин-Женевский, Н.М. Зубарев и другие известные шахматисты, а сам «герр Бронштейн», просиживавший дни и ночи в кафе «Централь», был вторым после Ленина лицом в советском государстве.

В конце XIX, начале XX века венские кафе были своего рода культурными институтами; в кафе велись жаркие диспуты, формировались литературные школы и философские течения, обсуждались вопросы, будоражившие потом весь мир. Здесь можно было встретить Элиаса Канетти, Зигмунда Фрейда, Стефана Цвейга, Йозефа Рота, Макса Адлера и многих, многих других.

В той особой венской атмосфере сформировались типы и характеры шахматной богемы, привычки, которые можно разглядеть и у шахматистов XXI века. Спать они отправлялись далеко за полночь, вставали очень поздно, изо дня в день просиживали в кафе.

Почти все учились в университете, кое-кто и закончил его, другие даже начали было работать, но раз вдохнув воздух этих венских кофеен, они уже не могли выдохнуть его, и вся их жизнь была связана с шахматами.

Кафе на Herrengasse было тогда одним из главных шахматных центров Европы. Сюда приходили и любители, и известные шахматисты: Перлис, Колиш, Рети, Шлехтер, Грюнфельд, Шпильман, Видмар, Кмох, Тартаковер. Но королем «Централь» считался Лео Леви: так, как он, никто не мог расправляться с «клиентами», ведь игра почти всегда велась на ставку.

Интерьер кафе был впечатляющ: лепнина на высоком, расписанном в венецианском стиле потолке, огромные окна, колонны. Между колоннами стоял рояль, на котором тапер наигрывал венские мелодии, а на бамбуковых палках висели газеты на самых разнообразных языках. Здесь играли не только в шахматы, но и в карты, и на бильярде.

Все виды кофе в меню «Централь» были пронумерованы и располагались на шкале цветовых оттенков. Делая заказ, посетитель просто говорил — девять или двенадцать, а вкусы завсегдаев официанты знали на память. К кофе подавался стакан чистой воды, обер исправно наполнял его, и посетители (шахматисты в первую очередь!) могли оставаться в кафе часами.

Робко озираясь, я вошел через внушительные двери кафе «Централь» 19 августа 1972 года. Это был второй день моего пребывания за пределами Советского Союза и, бродя по Вене, я зашел в кафе совершенно случайно, ничего не зная о его славной истории.

Но даже если бы знал, не думаю, что мог бы настроиться на мысли о тех, кто сидел здесь за столиками в начале века: первая половина моей жизни кончилась, другая, настоящая, только начиналась, и я не мог знать, что ожидает меня в ней.

Решительно отказавшись от апфельштруделя, я ограничился чашечкой кофе. Названий кофе в меню было немало, и я вступил в трудные переговоры с официантом, не вполне понимавшим, какое именно имеет в виду иностранец, объясняющийся главным образом жестами. Помню, поразился цене за чашечку эспрессо и вынужден был ограничиться только двумя словами в телеграмме, посланной родным в Ленинград.

Но слов этих оказалось достаточно и, хотя с той поры прошло почти сорок лет, я и сегодня готов подписаться под ними: Vse khorosho.

Выйдя из почтамта, я сомнамбулически брел по тротуару, дивясь на людей с выражением лиц, каких не встречал прежде. Они терпеливо ожидали зеленого света светофора, даже если в пределах обозримого пространства не было и намека на какой-либо автомобиль.

Все машины как одна были заграничными; вокруг автомобилей иностранных марок на Невском тут же собиралась толпа мужчин, об-

суждавших каждую деталь и сравнивая их с образцами отечественной продукции.

К действительности меня вернуло слово, зычно произнесенное солидным господином с тросточкой и в невиданном клетчатом пиджаке, в живот которого я едва не уткнулся. Это слово очень пригодилось мне в последующей жизни, порой я повторял его, разумеется, про себя во время турнирной партии, а лицо венского господина вижу и сейчас.

Всякий раз, бывая в Вене, я захожу в «Централь», очень светлое современное кафе в самом центре города. В нем всегда людно, здесь видятся с друзьями, назначают деловые встречи, пьют кофе, просто перекусывают, в последнее время на столиках можно увидеть ноутбуки, в экраны которых, водя пальцем одной руки перед собой, а другой поднося ко рту чашку кофе, неотрывно глядят молодые люди.

И хотя интерьер кафе почти не изменился, и газеты всех стран мира по-прежнему висят на бамбуковых палках, ничто не напоминает здесь ни о замечательных людях, посещавших «Централь» в начале прошлого века, ни о бурной шахматной жизни, кипевшей в кафе когда-то.

Кстати, венский господин сказал тогда: «Achtung!»

Савелию Тартакову было семнадцать, когда он впервые оказался в Вене. Закончив колледж, он приехал в Вену учиться, но еще до посещения университета побывал в кафе «Централь». На много лет кафе стало для него вторым домом: Тартаков не только играл здесь в шахматы и в карты, но и анализировал, комментировал партии для «Винер Шахцайтунг» и других журналов, писал шахматные (и музыкальные!) колонки в газеты, или просто встречался с друзьями.

По вечерам он нередко заходил в клуб, президентом которого был барон Альберт Ротшильд, большой поклонник шахмат, не раз учреждавший призы за самую красивую партию, причем размеры его были под стать первому призу в турнире.

Клуб, насчитывавший семьсот членов, занимал два этажа престижного здания в центре Вены, в нем имелся собственный ресторан и отдельные залы для игры в шахматы и карты, и Тартаков был заведующим в обоих. Нередко его можно было увидеть и в обширной библиотеке, где Савелий, забывая обо всем на свете, погружался в поэтические сборники на немецком и русском языках.

В клубе работали два секретаря, один из которых считался шахматным «экспертом». Костюм и галстук были обязательны, соответствующей была и публика. Клубная обстановка очень нравилась Тартако-

веру и он нередко ужинал здесь, никогда не скупясь на чаевые. После ужина наступало время для шахмат. Нередко он играл в вист или тарóк, карточную игру, крайне распространенную тогда в Вене, никогда не понимая, почему он, шахматист, владеющий всеми законами логики, проигрывает профессиональным карточным игрокам.

До Первой мировой войны в столице Австро-Венгрии можно было встретить представителей самых разных национальностей и, как вспоминал уроженец Вены Ганс Кмох, немецкий, на котором они говорили, переливался причудливейшими акцентами.

Хотя акцент молодого Тартаковера был одним из самых диких, он чувствовал себя настоящим венцем: опера, до которой Савелий был большой охотник, бесконечные разговоры с друзьями, необременительные посещения университета и шахматы, шахматы. Жизнь в столице Австро-Венгерской империи до Первой мировой войны могла быть очень приятной, особенно если ты регулярно получал помощь из дома.

Семья Тартаковеров была зажиточной, у его отца, крещеного еврея, выходца из Австрии, была текстильная фабрика в России, в Ростове-на-Дону. Там 9 февраля 1887 года и родился Савелий. Первые десять лет жизни он всегда вспоминал как бесконечные каникулы: летом семья уезжала на Черное море, зимой в Москву погостить у родственников.

Когда старшему сыну исполнилось двенадцать, отец решил, что ему пора продолжать образование в Европе. Он выбрал Швейцарию, и Савелий с младшим братом Артуром отправился в колледж Кальвина в Женеве. Хотя он уже умел играть в шахматы, именно в Швейцарии подросток заинтересовался ими по-настоящему и прочитал первые шахматные книжки.

После колледжа надо было продолжать образование, и если о месте учебы споров не было — Вена, конечно же, Вена! — вопрос, чему посвятить жизнь, не был таким очевидным. Отец хотел, чтобы оба сына изучали медицину. Артур не возражал, но Савелий предпочитал литературу или философию. В конце концов стороны пришли к компромиссу, и братья стали изучать юриспруденцию.

В 1909 году Тартаковер стал доктором права и, хотя никогда в жизни не был практикующим юристом, своим титулом очень гордился: расписываясь, он всегда ставил перед фамилией буквы д-р.

В том же году он принял участие в большом петербургском турнире, а затем вернулся в Вену: пора было подыскивать работу. Артур уже

получил должность юрисконсульта в какой-то фирме, но подобное занятие было не по душе Савелию: как можно променять шахматы, приносящие пусть и нерегулярные заработки, на скучную работу в конторе? Даже если отец, прибывший в Вену, дабы взглянуть на жизнь-быть сыновей, и настаивал на этом.

Тартаковер предпочел другой род занятий: выступления в турнирах, сеансы одновременной игры, уроки богатым ученикам, игру в кафе на ставку, колонки в газетах и журналах, репортажи с крупных соревнований, писание книг. Этим он будет заниматься всю жизнь.

Его родители были убиты во время погрома в Ростове-на-Дону в 1911 году. Младшему брату сообщили об этом, когда он играл в шахматы в «Централь». Отчаянию Артура не было границ, он впал в ярость, заявив что сию же минуту отправляется в Ростов, чтобы расправиться с убийцами. Другьям стоило немалых трудов, чтобы удержать его.

Безутешен был и Савелий. В стихотворении на смерть родителей в поэтическом сборнике, выпущенном в Ростове спустя полгода после их гибели, Тартаковер писал:

«Целый век и лишений и слез и труда!
 Для кого? для детей, проживавших беспечно
 В чужеземных краях.
 А спрошу иногда:
 Вам легко ль, старикам? Отвечают: конечно.
 Воротился под утро домой. Взял-открыл
 Телеграмму: Родители ваши убиты.
 Прилетел. Схоронил.
 Двух кровавых могил
 Налегли мне на совесть железные плиты».

Началась Первая мировая война, и братья отправились добровольцами на фронт. Савелий писал другу с передовой, что чувствует себя под артиллерийским огнем значительно спокойнее, нежели когда вспоминает, что ему скоро предстоит встреча с Капабланкой.

«Я здоров и весел, – сообщал Тартаковер, – как форель в горной речке...»

Он получил медаль за храбрость, несколько раз был ранен; однажды два солдата вынесли его с поля боя, что не помешало ему в полевом

лазарете умять целое блюдо с клецками, о чем он с гордостью поведал венским приятелям.

Молодой Тартаковер обладал железным здоровьем, и его друзья шутили, что если бы доктор захотел промыть ему желудок, то инструменты там просто бы растворились.

Они знали, о чем говорили: за несколько месяцев до того, как Тартаковер отправился на фронт, он брел по центру Вены и решил зайти в аптеку на Стефанплатц. К несчастью, боковая дверь, ведущая в глубокий погреб, обычно запертая, на этот раз оказалась открытой: Савелий рухнул вниз и, пролетев восемь метров, очутился на каменном полу и потерял сознание.

В госпиталь его доставили с трещиной в черепе, сломанным носом и переломами, не говоря уже о многочисленных синяках и кровоподтеках. Но уже через неделю он снова, как ни в чем не бывало, появился в «Централь».

В самом начале войны брат Тартаковера был убит на восточном фронте. В России у Савелия оставалась еще сестра Сильвия, которую он не видел много лет. Они встретились в 1925 году в Москве, куда Сильвия специально приехала на международный турнир, в котором принимал участие ее знаменитый брат.

«Подобно диким животным в саге об Арионе, большевистские властители провозгласили о приходе шахматного чуда», — начиналось коротенькое вступление, написанное Тартаковером к вышедшей по-немецки книжке Алехина о злоключениях будущего чемпиона мира в советской России. Не думаю, что на эти слова обратили внимания в Москве: по сравнению с характеристиками нового режима самим автором книги ирония Тартаковера носила вполне невинный характер.

Во время церемонии открытия Тартаковера попросили сказать несколько слов. «Citoyens et citoyennes!» — начал он, и в зале воцарилась тишина, но как только Тартаковер перешел на русский: «Граждане и гражданки!» вспыхнули аплодисменты, не раз прерывавшие его речь. Вернувшись в Европу, Савелий писал сестре еще около года, но ни на одно письмо ответа не получил. Он никогда больше не видел ее.

После распада Австро-Венгерской империи Тартаковер неожиданно стал польским гражданином; по-польски он знал всего несколько слов и со своими новыми соотечественниками изъяснялся на одном из языков, которыми владел в совершенстве: русском, немецком или французском. Он играл за Польшу в шести Олимпиадах, время от времени принимал участие в чемпионатах страны, дважды победив в них,

а Мигелю Найдорфу, когда тот был еще Мечиком и жил в Варшаве, дал несколько уроков шахмат. Когда спустя много лет речь заходила о Тартаковере, аргентинский гроссмейстер всегда называл его «мой учитель».

Предводимая Рубинштейном и Тартаковером польская команда выиграла Олимпиаду в Гамбурге в 1930 году. На следующей Олимпиаде поляков опередили американцы, среди которых было немало выходцев из Польши.

Тартаковер бросил тогда реплику: «У нас есть филиалы повсюду...», предвосхищая строку из песни Высоцкого: «А там — на четверть бывший наш народ». Эта строка стала популярной полвека спустя, когда представителей советской шахматной школы можно было встретить почти в любой команде мира.

Неистошимый выдумщик, он дал название многим дебютам. Известно, что «защита орангутанга» названа им в честь обезьяны, с которой Тартаковер особенно подружился во время нью-йоркского турнира 1924 года, когда доктор перед туром совершал ежедневные прогулки в зоопарк, подолгу простаивая перед вольером.

В 1929 году на банкете по случаю торжественного открытия турнира в Барселоне президент федерации шахмат обратился к маэстро: «Сеньор Тартаковер, почему бы вам не изобрести дебют под названием “каталонское начало”?» Уже в первом туре Тартаковер выполнил просьбу президента, фианкеттировав в ферзевом гамбите королевского слона.

Не только многие дебюты обязаны ему своими названиями. Тартаковером придумано огромное множество метафор и афоризмов, укоренившихся в шахматах. Наиболее известные:

«Только сильный игрок знает, как слабо он играет».

«Ошибки только и ждут, чтобы вы их сделали».

«Побеждает тот, кто ошибается предпоследним».

Факт, что Алехин мог пропустить рюмочку непосредственно перед партией, был общеизвестен в шахматном мире. Характеризуя великих чемпионов, Тартаковер говорил, что «после первого часа игры у престарелого Ласкера уже начинает колотиться сердце, в то время как у Алехина тогда только перестает...»

Но на Тартаковера не обижались, и в гроссмейстерской среде — редкий случай — у Тартаковера не было недругов. Во время многолетнего разлада чемпионов он писал, что выражение «как кошка с собакой» надо поменять на «как Алехин с Капабланкой».

Сам Тартаковер был в прекрасных отношениях с обоими. «Милейший Савелий Григорьевич», — писал о нем Алехин, а Ольга Капабланка вспоминала, что когда они бывали в Париже, всегда виделись с Тартаковером: «Савелий Григорьевич был нашим приятелем. Внешне он не был привлекателен: утиный нос, круглое лицо, лысый, но бездна обаяния, искренности, щедрости. Капа с ним очень считался...»

Большим уважением пользовался Тартаковер и у других коллег. Шпильман писал, что «у Тартаковера блестящие способности, благороднейший характер и исключительная работоспособность. Он — натура очень сильная, но не умеет пользоваться своей силой и тратит ее на сладкие мечты и погоню за счастьем. Жаль, что к жизни он относится так же, как к партии с Капабланкой в Бад-Киссингене в 1928 году; вместо того, чтобы играть на ничью (что удалось бы ему без особых затруднений, так как был только первый тур, а в начале, как известно, играют осторожно), он вбил себе в голову выиграть во что бы то ни стало, выбрал безумно смелый гамбит и, естественно, проиграл».

Даже едкий Нимцович писал о Тартаковере как об «очаровательном саркастичном чудачке, вечном холостяке, который десятилетиями жил в одном скромном парижском отеле (жить, говорил Тартаковер о Париже, можно только в этом городе). Шахматист, перед именем которого стояло бесполезное «д-р», автор сценариев, переводчик русских поэтов на немецкий и французский языки, шахматный писатель, чьи статьи и книги составляли объемистую библиотеку. Рыцарь голубого цветка и азартный игрок, соединенные в одном лице».

Молодой Александр Кобленц, приехавший в 1935 году в Амстердам на матч Алехин-Эйве, так увидел Тартаковера: «Маленького роста, коротенькие ручки и ножки; под распахнутым пиджаком жилет туго облегает выпуклое брюшко. Сквозь очки в золотой оправе ласково смотрят умные глаза с чуть ироническим прищуром».

На том матче доктор, как обычно, был корреспондентом множества газет. Перед ним всегда лежали десятки листов, в которые он по ходу игры вносил не только варианты, но и экспромтом сочинявшиеся комментарии.

Тартаковер был пионером новой манеры комментирования: эрудиция и глубокое понимание игры сочетались у него с высокими литературными достоинствами.

Литература была его страстью. Он не пропускал новинок и сам писал сценарии для кинематографа. Первый сборник стихотворений

Тартаковер выпустил в Ростове в 1911 году. В 1923 году в Берлине вышла другая книга Тартаковера «Русское лицо революции».

Стихотворения молодых русских поэтов, предварив их длинным эссе, Тартаковер перевел на немецкий. Помимо переводов, в книге была и поэма самого Тартаковера, написанная по-русски и тоже переведенная на немецкий.

Переводил Тартаковер и с немецкого на русский, известны его переводы Гуго фон Гофмансталя и Райнера Мария Рильке. Однажды он подарил Гансу Кмоху антологию немецкой поэзии, всю испещренную собственными комментариями и переводами на французский.

Тень Тартаковера возникает в набоковской «Защите Лужина», когда появление главного героя сопровождается бормотанием его соперника Туратти: «Тар, тар, тре третар». Впрочем, не исключено, что это просто калька с французского «tard, tard, tres tard».

Самое первое интервью Набокова появилось в рижской русскоязычной газете «Сегодня» в 1932 году именно в связи с «Защитой Лужина». Он говорит в нем: «Чтобы написать Лужина, пришлось очень много заниматься шахматами. К слову сказать, Алехин утверждал, что я имел в виду изобразить Тартаковера. Но я его совсем не знаю. Мой Лужин – чистейший плод воображения».

Наверное, так оно и было, хотя заочно Набоков знал Тартаковера превосходно и даже написал рецензию на поэтический сборник грессмейстера «Антология лунных поэтов». Рецензия появилась 30 мая 1928 года в газете «Руль», выходившей на русском языке в Берлине.

Хотя на обложке сборника стояло имя С. Ревокатрат, Набоков, сам любивший играть словами, разгадал этот нехитрый перевертыш. Тем более что эксцентричная книжица содержала стихи, подписанные тоже задом наперед фамилиями знаменитых поэтов: (Никшуп, Вотномрел, Нинуб, Нинесе и т.д.).

То, что книга была написана уважаемым грессмейстером, не смогло защитить ее автора от суровой критики.

Шахматистам знакомы так называемые восточные мудрости, придуманные Тартаковером. Одна из самых известных гласит: «Есть игроки, играющие слабо и не знающие, что играют слабо: это невежды – избегай их! Есть игроки, играющие слабо и знающие, что они играют слабо: это разумные – помоги им! Есть игроки, играющие сильно и не знающие, что играют сильно: это скромные – уважай их! Есть игроки, играющие сильно и знающие, что играют сильно: это шахматные мудрецы – следуй им!»

Рецензия Набокова заканчивается цитатой из книги Тартаковера: «Терпи, но не думай, что это терпенье, пламеней, но не думай, что это страсть, верь, но не думай, что это истина, знай, но не думай, что это мысль», и безжалостным добавлением рецензента, отметившего «странный пропуск»: «Пиши, но не думай, что это стихи».

Среди множества знакомцев Тартаковера в Париже тридцатых годов был и художник Марсель Дюшан, принимавший участие в серьезных турнирах и в Олимпиадах и посвящавший шахматам очень много времени. Уже тогда Дюшан все понял: «Шахматы – это спорт. Жестокий спорт», – сказал он. Я думаю, что Савелий Григорьевич Тартаковер так никогда и не смог принять этой аксиомы. За пятьдесят лет он сыграл в двухстах соревнованиях с самыми разными результатами. Среди них было много проходных, случались неудачи, когда и провалы, иногда он выигрывал турниры, несколько раз и крупные, но практицизму, реальному взгляду на борьбу Тартаковер так и не научился. Если ему приходилось выбирать между надежным продолжением и заманчивым, пусть и сомнительным, он всегда выбирал последнее.

Надо ли удивляться, что такому выдающемуся технику, каким был Капабланка, Тартаковер проиграл пять партий и, сделав несколько ничьих, не выиграл ни одной. Однажды за анализом только что закончившейся партии Капабланка заметил: «Вам не хватает солидности», в ответ на что доктор только улыбнулся: «На том и держимся...»

От непрактичности, витания в облаках он не избавился до конца жизни. В 1954 году в Париже он играл с Паулем Кересом. К 25-му ходу соперники начали повторять позицию. Эстонский гроссмейстер, улыбаясь, смотрел на своего соперника: уклоняться от повторения ходов Тартаковеру было опасно, к тому же матч был дружеским, советские гроссмейстеры выигрывали у французов с большим счетом, результат партии не играл никакой роли.

Доктор надолго задумался, сделал другой ход и скоро вынужден был капитулировать. Когда после партии у него спросили, почему он отказался от повторения ходов, Тартаковер только качал головой: «Дурак, старый дурак...»

Дебютом он занимался своеобразно: в отличие от большинства коллег, анализирувавших модные варианты, он предпочитал редко встречающиеся, после которых на доске возникали необычные по-

зиции. Это качество сохранится у него до конца: в его партиях чаще, чем в партиях гроссмейстеров экстра-класса, будут встречаться оригинальные варианты, которые непросто сыскать в теоретических справочниках.

Удивительно, что с таким подходом к шахматам Тартаковер еще долгое время играл на высоком уровне. После турнира в 1922 году в Лондоне было принято соглашение, под которым подписались чемпион мира Капабланка и все сильнейшие гроссмейстеры того времени. Среди них был и Савелий Тартаковер.

Но, хотя на протяжении многих лет ни один более или менее значительный турнир не мог быть проведен без его участия, о Тартаковере никогда не говорили как о реальном кандидате на звание чемпиона мира. Разве что после турнира в Льеже в 1930 году, когда он на короткой дистанции в одиннадцать туров опередил на два очка Нимцовича, Рубинштейна, Маршалла и Султан-Хана.

Французский шахматный журнал сравнивал достижение Тартаковера с победой Алехина в Сан-Ремо и писал, что в интересах всего шахматного мира скорейшая организация матча Алехин – Тартаковер. Доктор сам положил конец таким разговорам, посредственно отыграв очередные турниры.

«Тартаковер слишком любит шахматы, чтобы стать чемпионом мира», – сказал как-то Голомбек. Действительно, зачастую он мог увлечься журавлем в небе, порой ему было жалко расстаться с интересной позицией, смириться с ничьей или перевести борьбу на технические рельсы. Но по-настоящему Тартаковер никогда не входил в чемпионскую когорту.

Дрессировщик фигур – так называл себя он сам. Говорил, что фигуры чувствуют, думают и жалуются. Развивая эту мысль, можно сказать, что фигуры живут, следуя своим врожденным инстинктам, и не очень любят парадоксы, хотя порой и уступают дрессировщикам, обучающим их необычным трюкам.

В истории шахмат он не был единственным, предпочитавшим исключения. Успех может улыбнуться им в одной партии, в отдельном турнире или даже – на короткий срок – вынести на самые высокие вершины шахматной пирамиды. Постоянную же благосклонность фигуры дарят только тем, кто ведет их наиболее естественным, данным им природой путем.

Он сверкал эрудицией, остроумием, был неутомимым, оригинальным рассказчиком и, неожиданно превращая серьезный тон повест-

вования в шутку, поражал собеседников парадоксальными выводами. Любил играть метафорами и сравнениями, латинскими пословицами и музыкальными терминами, и порой непросто было следить за роскошным ковром, ткавшимся прямо на глазах замороженных слушателей.

В 1922 году он играл в Пестьене в Чехословакии. На открытие турнира прибыл министр. Тартаковер, давно не видевший венских друзей – Шпильмана, Рети, Грюнфельда, Марко – продолжал разговор с коллегами, пока на него не зашикали: «Псст, псст..., все-таки сам министр!».

«Ах, сам господин министр, – почтительно отозвался Тартаковер. – В таком случае пусть доложит о себе!» Во время банкета доктор все еще не мог успокоиться: «Я не имею ничего против того, что господин министр ужинает вместе с нами, но то, что он не передает блюдо с жареной картошкой, уже ни в какие ворота не лезет...»

Ласкер называл его «Гомером шахматной игры». Все, написанное Тартаковером, является бесконечным гимном шахматам и восхвалением Каиссы, одним из самых верных подданных которой был он сам. До сих пор в разделах шахматного юмора можно обнаружить истории, словечки и афоризмы, так и называвшиеся шахматистами «тартаковизмами».

Так ли шутливы они? Почти в каждом афоризме его растворена капелька горечи, сомнения. «В шахматной партии, – писал Тартаковер, – имеются три фазы: дебют, где мы надеемся получить лучшую позицию, миттельшпиль, где мы думаем, что у нас лучше, и эндшпиль, где мы знаем, что у нас проиграно».

Мог ли бы что-нибудь похожее сказать Стейниц? Алехин? Капабланка? Фишер? Каспаров? Нет. Победители скроены из другого материала.

Самая известная книга Тартаковера называется «Ультрасовременная шахматная партия». Давая такое название, Тартаковер не скрывал, что делает это в пику Таррашу, выпустившему в 1913 году книгу «Современная шахматная партия». Ко многим постулатам Тарраша Тартаковер относился иронически, повторяя не раз: «Так говорил Таррашустра», и если уж Тарраш полагал, что он современен, то представители нового поколения уж точно могут именовать себя ультрасовременными.

Книга Тартаковера была переведена на многие языки, в том числе и на русский, и была одной из самых популярных шахматных книг в первой половине прошлого века.

Перечитывая «Ультрасовременную шахматную партию», да и другие книги Тартаковера сегодня, следует, однако, признать, что многое из его наследия выцвело и поблекло. Его рассуждения о методах ведения партии и, тем более, анализы дебютов представляют в наши дни интерес скорее для шахматных историков. Но всегда — для бескорыстных любителей игры.

Когда он, проиграв Кересу, поздравил эстонского гроссмейстера с победой, тот галантно отвечал, что смог победить Тартаковера только потому, что прилежно изучал его книги и партии. Не думаю, чтобы это было так, почти наверняка джентльмен Керес просто проявил свою обычную учтивость.

Когда великих шахматистов спрашивают, на чьих книгах они учились, можно услышать имя Стейница, Капабланки, Алехина. Нередко называют Нимцовича, с книгами которого засыпал маленький Тигран Петросян, но я еще никогда не слышал, чтобы было произнесено имя Тартаковера. Его партии и его комментарии могли быть развлекательными, вызывающими улыбку, доставляющими удовольствие, но чтобы на них учились?..

В какой бы стране ни был Тартаковер, почти каждый вечер его можно было обнаружить за карточной игрой в кафе или в клубе, но чаще всего — в казино за игрой в рулетку, где успех зависит от того, в какой лунке остановит свой бег весело прыгающий шарик.

Выиграв турнир Нюрнбергского шахматного конгресса в 1906 году, он получил не только мастерский титул, но и приглашение на следующий год в Остенде. В турнире на бельгийском курорте дела шли не очень хорошо: он впервые очутился в настоящем казино.

После первого же вечера Савелий вынужден был телеграфировать отцу в Ростов, прося о помощи. Полученные деньги тоже исчезли под лопаткой крупье. Тартаковер порой делал ставки, пока его соперник думал над ходом.

Получив на закрытии турнира приз за лучшую партию, он снова отправился в соседний зал. На этот раз счастье улыбнулось, и очень скоро возле него оказалась целая гора жетонов различной ценности. Надо быть благоразумным, сказал себе Тартаковер и отправился к окошечку кассы, «случайно» оказавшемуся закрытым. Тогда он решил ковать железо, пока горячо... Полчаса спустя Тартаковер был рад, что предусмотрительно запасся обратным билетом до Вены.

Когда Савелий закончил университет, отец поздравил старшего

сына, присовокупив к поздравлениям солидный чек и пожелание, чтобы он отдохнул в Швейцарии и заодно навестил старых друзей. Вместо этого Тартаковер отправился в Мюнхен, где сыграл в небольшом турнире с Фарни, Шпильманом и Алапиным. Он взял второй приз, но и приз, и большую часть отцовского подарка Тартаковер оставил на покерном столе в доме одного из организаторов турнира.

Он активно сотрудничал более чем в тридцати шахматных журналах мира, написал массу книг, а его газетные корреспонденции появлялись на одиннадцати языках. Казалось, он мог жить припеваючи, но всю жизнь его сжигала страсть, поглощавшая все призы и гонорары, пусть и небольшими ручейками текшие отовсюду.

По мнению Флора, Тартаковер не особенно огорчился проигрышам: «Он привык к этому и шутил: “Это ведь только деньги, а они для того и существуют, чтобы их тратить”. Не очень мудро сказано, если учесть, с каким трудом эти деньги ему доставались».

Не думаю, что слова Тартаковера были шуткой, скорее это была его жизненная концепция, а то, что деньги доставались ему с большим трудом..., что ж, тем желаннее был риск и острее ощущения.

«Проиграл остальные деньги и проиграл то, чего заплатить не мог...» «Мне мало было проиграть все, что у меня было, я проиграл еще на слово...» Это не самобичевания страстного игрока Федора Михайловича Достоевского, а записи в дневнике молодого Толстого. Такого рода признаний немало. В другом месте Толстой пишет об удовольствии «истреблять деньги», размышляя о людях, которые «не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой игре — к ощущениям».

«После удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать», — говорил человек, посвятивший игре десятки лет, а психологи утверждают, что у такого рода людей имеется потребность непредсказуемого, жажда невероятного, случайного, неизведанного. Наверное, к таким людям принадлежал и Савелий Григорьевич Тартаковер.

Нимцович писал, что любимым выражением Тартаковера за шахматным столом было *zertrümmen* — разрушать. Скорее всего, психоаналитик, наведя мостик от шахматного стола к рулеточному и бесстрастно разобрав на элементы поведение Тартаковера, сделал бы очевидное заключение, но сам доктор, наверное, просто бы улыбнулся.

Лучше всего Тартаковеру работалось после походов в казино, когда он, «выпустив пар», освобождался от переполнявших его эмоций. Яв-

ление это не такое уж редкое. Нехватка денег и всегда поджимавшее для сдачи рукописи в набор время только обостряли чувства и мысли Достоевского, создавая необходимый настрой и способствуя длительной концентрации.

То же самое может быть сказано и об английском художнике Фрэнсисе Бэконе, считавшем, что игра и особенно проигрыш – прекрасный стимул для творчества: они заставляют, полагаясь на случай, смотреть судьбе в глаза.

Борясь с долгами, Тартаковер работал еще больше: для него было немыслимо не заплатить карточный долг в срок, о какой бы сумме ни шла речь. Тартаковер был в состоянии работать сорок восемь часов кряду, почти без перерыва. Он мог сосредоточиться в любой обстановке, совершенно отрешась от действительности. В лютую зиму 1920 года в Вене почти не было топлива, но когда Ганс Кмох, зайдя к Тартаковеру, спросил его, как он может писать в таком холоде, тот, не моргнув глазом, отвечал, что держит окно на улицу открытым...

В другой раз во время турнира в Баден-Бадене в 1925 году Тартаковер после похода в казино работал всю ночь, спеша закончить обещанную статью к сроку. В восемь утра ему постучали, чтобы сообщить, что завтрак подан. Тур начинался ровно через час, и он должен был играть с Рубинштейном. Тартаковер выиграл.

А в московском турнире в том же году Тартаковер не только играл сам (дележ 5-6 мест), но и, как сообщал «Шахматный листок», написал 50 статей и прокомментировал около 100 партий.

Эта легкость, брызжущее остроумие, где-то и высокомерие, действительное или наигранное, не могло не вызывать неприятие у людей приземленных, а то и просто завистливых.

«Шахматный листок» упоминал тогда статью поэта Ивана Рукавишникова, в которой тот неодобрительно писал: «французский еврей, игравший раньше от Германии, балагур Тартаковер». Кое-кто называл его «доктор Хвастоковер».

Не думаю, однако, что Савелий Григорьевич Тартаковер был легок в повседневном общении, особенно с теми, кто был ему антипатичен. Светозар Глигорич признался мне как-то, что восклицание – Bravo! – он перенял от Тартаковера. На самом деле любимая фраза Тартаковера звучала как: «Bravo! Мои поздравления!» – произносимая с очевидным сарказмом во время анализа или просто в беседе, и какие чувства вызывала эта фраза у собеседника, можно только догадываться.

Когда в июне 1939 года Тартаковер в составе польской команды отправлялся на Олимпиаду в Аргентину, парижский клерк, оформлявший ему выездные бумаги, заметил с иронической улыбкой: «Я вас прекрасно понимаю. Мсье хотел бы наблюдать войну с южно-американской перспективы, не правда ли?»

«Если начнется война, я возвращусь и приму в ней активное участие. И много раньше, чем вы» – ответил Тартаковер.

Шахматная Олимпиада в Буэнос-Айресе была в разгаре, когда началась Вторая мировая война. Сообщения о военных действиях в Европе внесли растерянность в ряды игроков и организаторов. Организаторы обратились даже к капитанам команд: стоит ли продолжать соревнование. Все, за исключением англичан, немедленно отправившихся в обратный путь, ответили утвердительно.

Алехин выступил по радио и в прессе с призывом бойкотировать немецкую команду. С тем же обращением выступил и капитан польской команды Савелий Тартаковер. Алехин и Тартаковер предложили без игры признать закончившимися вничью матчи Германия – Франция и Германия – Польша. Затем возник конфликт по поводу матча Германия – Палестина. Команда Палестины тоже решительно отказалась играть с Германией, предложив зафиксировать результат 2:2 и в этом матче. Германия отказалась. Тогда представители Палестины заявили, что они ни в каком случае не явятся на матч с немцами, но это не устраивало уже Германию. Капитан немецкой команды заявил, что это означало бы, что «Великая Германия» завоюет олимпийские медали по милости евреев. В конце концов и в этом матче был зафиксирован счет 2:2.

После Олимпиады в Южной Америке осталось немало шахматистов из разных европейских стран. Осталась почти вся немецкая команда: Элисказес, Мишел, Энгелс, Беккер и Рейнгард, не вернулись в Европу Пеликан и Скаличка из Чехословакии, Эндзелинс из Латвии, Луцкис и Вайтонис из Литвы, Найдорф, Фридман и Силик из Польши.

Тартаковер, у которого тоже был польский паспорт, даже не рассматривал такую возможность. Он просто не мог оставаться пассивным свидетелем событий и возвратился в Париж.

Хотя во всех документах был указан его настоящий возраст – ему было уже пятьдесят три, – в Иностранном Легионе не обращали внимания на такие мелочи. Тартаковер воспользовался и другим обычаем Легиона: выбрать себе любое имя. Так появился сорокапятилетний

лейтенант Жорж Картье. Лейтенант оставил свое имущество на хранение в гостинице, пообещал, что скоро вернется, и отправился на войну.

Крещеный еврей, Тартаковер всю жизнь был далек от какой-либо религии вообще, но не знать того, что происходило в нацистской Германии, не мог. И хотя это был только жест, именно в это время он начал открыто говорить о своем еврействе.

Алжир, потом Англия, служба в армии де Голля. Когда выпадало свободное время, он играл в шахматы. В номерах «Бритиш Чесс мэгэзин» за военные годы можно найти добрую дюжину партий лейтенанта Картье. Надо ли говорить, что английские шахматисты были прекрасно осведомлены, кто скрывался под этим именем.

Леонард Барден вспоминал, как играл с пожилым лейтенантом в военной форме французской армии и очень волновался, понимая, с кем он играет в действительности.

Тартаковер выиграл первый послевоенный гастингский турнир, опередив Эйве, Денкера и Экстрема. Двумя неделями позже в Лондоне состоялся «Турнир победителей», в котором приняли участие шахматисты США и Западной Европы.

Это был странный турнир. Двадцать четыре мастера были разбиты на две группы. Победителями в одной стали Макс Эйве, Мартин Кристофель и Арнольд Денкер. В другой первенствовали Герман Стейнер, Осип Бернштейн и Савелий Тартаковер. Но не партиями, сыгранными в послевоенном Лондоне, остался в шахматной истории «Турнир победителей», тем более что финал соревнования по непонятным причинам так и не был проведен. Турнир стал известен собранием, устроенным в лондонской гостинице «Грейт Истерн». (Четыре десятилетия спустя в той же гостинице игрался матч Корчной – Каспаров.)

На собрании речь шла о поведении Алехина во время войны, о его коллаборационизме, о статье, вышедшей за его подписью в «Паризер Цайтунг» в 1941 году. Любопытно, что в тексте этой статьи имя Тартаковера отсутствует, хотя чемпион мира перечислял в ней всех сильнейших еврейских шахматистов того времени. Личные отношения, сложившиеся между ними? Забывчивость? Случайность?

Председательствовал на собрании Макс Эйве. Тартаковер выступал первым. Заканчивая свою речь, он сказал, что «об антисемитизме Алехина было известно еще до войны, до того, как он написал свои идиотские статьи. Пока же мы знаем только одно: Александр Александрович Алехин находится в Португалии в бедственном положении,

и я полагаю, что ему следует помочь...» С этими словами доктор взял лежащую на столе шляпу, положил в нее фунт стерлингов и пустил шляпу по кругу.

Поддержки у коллег он не нашел: слишком глубоки были раны, причиненные совсем недавно закончившейся войной. Подавляющее большинство было настроено более жестко, настаивая на исключении Алехина из всех турниров и запрете для него какой-либо шахматной деятельности вообще.

Но тут в Тартаковере заговорил доктор права; он заявил, что для того, чтобы принимать решения такого рода, требуется официальный разбор дела и предоставление чемпиону мира права защиты.

В лондонском турнире играл и только что выигравший чемпионат Испании четырнадцатилетний мальчик, о котором все говорили как о восходящей звезде. Во время войны вундеркинд произвел большое впечатление на Алехина, и чемпион мира дал Артурито несколько уроков.

Именно из-за этого малоразговорчивого мальчика на «Турнир победителей» не приехали советские гроссмейстеры, хотя ТАСС официально подтвердил участие Смыслова, Болеславского, Котова, Флора и Рагозина. В последний момент в Москве обнаружили, что в турнире играет представитель франкистской Испании...

Когда четверть века спустя я расспрашивал Артуро Помара о тех лондонских днях, об Алехине, о Тартаковере, об Осипе Бернштейне, всю войну проведенном в Испании, Помар отвечал только, что «маэстрос руссос» были очень симпатичными людьми, и улыбался загадочной улыбкой.

Осенью 1975 года в студии АВРО в Хилверсуме я играл матч с Эйве. Во второй партии мы разыграли славянскую — дебют, часто встречавшийся в его матчах с Алехиным. После окончания партии я, воспользовавшись случаем, стал расспрашивать экс-чемпиона мира об Алехине, о войне, о тех временах. Когда зашла речь о лондонском собрании, Эйве вспомнил и о выступлении Тартаковера, заметив, что тот никогда не шел на поводу у большинства, всю жизнь предпочитая держаться собственной точки зрения. Добавив: «Был странный человек. С талантами разнообразными, но странный. Странный. Из современных шахматистов, пожалуй, Бронштейн его напоминает...» И перевел разговор на только что сыгранную партию.

Было видно, что Эйве не очень хотелось вспоминать то время. Не в последнюю очередь и потому, что его собеседник оперировал главным образом фактами, почерпнутыми из советских источников, и только

сейчас я могу по достоинству оценить его взгляд, направленный тогда на меня.

Я вспомнил о нашем разговоре с Эйве, когда увидел в учебнике Давида Бронштейна для начинающих разноцветные диаграммы со стрелками, обозначающими направление ударов, значками и пунктирными линиями, в которых непросто разобраться и опытному игроку. Сразу пришли на память такого же рода диаграммы из книги Тартаковера, и я подумал, что голландский чемпион мира, сравнивая обоих, в чем-то был прав.

В 1953 году он впервые играл в чемпионате Франции. Хотя дебютанту было шестьдесят шесть, он выиграл этот турнир. Понятно, что в карьере Тартаковера это было не самое блестящее достижение, но он был горд своим успехом и заявил, что будет защищать титул, как долго позволят силы.

В следующем году должна была состояться Олимпиада, и во французском шахматном журнале появилась редакционная статья, в которой осуждались попытки «чужеродных элементов» проникнуть в сборную страны.

Не так трудно догадаться, в чей огород был брошен этот камень, и Тартаковер с горечью в сердце констатировал, что служение Франции в годы войны, очевидно, недостаточно и что для того, чтобы его признали настоящим французом, ему следовало бы, наверное, погибнуть на поле боя.

На Олимпиаде Тартаковера в составе французской команды не было, и он больше не играл в чемпионатах страны.

В феврале 1954 года, повстречав мастера Баймейстера в центре Амстердама и поздравив того с победой в Вейк-ан-Зее, Тартаковер озабоченно спросил: «Я слышал, вы собираетесь стать профессиональным шахматистом?» Когда голландец заверил доктора, что не намерен оставить работу учителя в гимназии, маэстро удовлетворенно кивнул и заметил, что ему предлагают работу тренера в Югославии. Добавив, что хотя постоянный заработок и немаловажный фактор, он не может оставить города, единственного, в котором только и можно жить.

Леонард Барден видел его в парижском кафе осенью 1955 года, ежедневно играющим на ставку с одним старым джентльменом, давая тому фору. Английский мастер не помнит, давал ли Савелий Григорьевич вперед коня или это была фора по времени. После двух или трех часов джентльмен аккуратно расплачивался, проиграв все партии.

За двенадцать дней до смерти, играя за свой парижский клуб в Белграде, Тартаковер закончил партию красивой комбинацией.

Он всегда жил, как говорят французы, от руки ко рту, не особенно заботясь о будущем, полагая, что завтрашний день сам подумает о себе. Как все старые холостяки, он не менял раз и навсегда заведенные привычки: завтракал и читал газеты в одном и том же кафе, ужинал в ресторанчике, где все знали доктора, равно как и его любимые блюда.

Поселившись в 1929 году в Париже в гостинице «Mazagran», что на улице Mazagran 4, он прожил там за вычетом военных лет до самой смерти.

Трудно сказать, почему он жил именно здесь, ведь Тартаковер зарабатывал вполне прилично, хотя мы знаем уже, где оставалась львиная доля его заработков. Романтическое объяснение: улица Mazagran переходит в улицу l'Échiquier (улица Шахматной доски) вряд ли соответствует действительности; скорее всего, доктор получал от хозяев отеля значительную скидку.

За несколько лет до смерти Тартаковера его посетил Доннер. Голландский гроссмейстер был поражен видом Тартаковера, крайне скромной комнатой, непритязательной обстановкой. Вспоминая это посещение и разговоры с престарелым маэстро, бывшим когда-то одним из сильнейших в мире, Доннер писал, что только одно это могло бы остановить его от выбора шахмат в качестве профессии, но ему было тогда только двадцать с небольшим, «а в этом возрасте, — писал Доннер, — не очень-то задумываешься о будущем».

Скромная двухзвездочная гостиница на улице Мазагран существует до сих пор. Несколько лет назад, будучи в Париже, Ханс Рее, горячий поклонник Тартаковера, побывал в ней и осведомился, знают ли там что-либо о знаменитом постояльце отеля. Имя Тартаковера никому ничего не говорило, но Рее не был особенно удивлен: прошло полвека, и гостиница сменила немало владельцев.

Когда голландец предложил установить мемориальную доску с текстом: «Здесь жил и работал с 1929 по 1956 годы Савелий Тартаковер (1887-1956). Шахматист, писатель, поэт», девушка в рецепции нашла идею превосходной. Хотя крайне маловероятно, что нынешний владелец отеля, алжирец, проявит интерес к шахматам или к русской поэзии.

Его мировоззрение и принципы сформировались в начале прошлого века в Вене. Выражения «мое почтение», «честь имею кланяться», «ваш покорный слуга», «не откажите в любезности» и подобные ста-

ромодные обороты сохранились в его лексиконе тоже с тех венских времен, и Тартаковер употреблял их, на каком бы языке ему ни приходилось общаться.

Мне не удалось найти ни одной фотографии Тартаковера, на которой он не был бы при галстуке, всегда в костюме, нередко и в тройке. Знавшие его лично говорят, что его манеры были под стать внешнему виду маэстро.

Александр Котов вспоминал, как в 1946 году в Гронингене сидел с Лилиенталем и Тартаковером за ресторанным столиком, и Лилиенталь неосторожно заметил, дотрагиваясь до звеньев золотой цепочки для часов, свисающей из брючного кармана Тартаковера: «Какая красивая вещь...» Савелий Григорьевич немедленно отцепил цепочку: «Вам нравится, возьмите...» Никакие попытки Лилиенталья отказаться от дара не помогли, подарок пришлось принять и уже потом придумывать, как отблагодарить доктора.

Добровольцем он участвовал в обеих мировых войнах. В Первую Тартаковер сражался на стороне Германии, во Вторую — против нее, всякий раз поступая так, как считал правильным.

Его родным языком был русский. Получив классическое образование, он знал, разумеется, латынь и греческий. Помимо совершенного знания французского и немецкого, он говорил и писал по-английски. То же самое можно сказать и о голландском, и о скандинавских языках.

Он был подданным Австро-Венгерской империи, потом стал гражданином Польши. Кмох утверждал, что короткое время у него был и какой-то украинский паспорт. После Второй мировой войны он запросил гражданство Великобритании, но английского паспорта не получил, став в конце концов гражданином Франции.

Имя Тартаковера на иностранных языках писалось по-разному: Tartakower, Tartakover, Tartacover. Его русское имя — Савелий. На древнееврейском это — Саул. По-польски он был Ксаверием, Ксавье на французском, в английском произношении оно звучало как Савьеллий.

Но как бы ни произносилось его имя, и какой паспорт ни был бы у него, он всегда оставался космополитом, не в том зловещем смысле этого слова, придававшемся ему в начале пятидесятых в Советском Союзе, но в единственно правильном: Савелий Григорьевич Тартаковер был гражданином мира, и настоящим отечеством его была шахматная доска.

Сало Флор заметил как-то, что написать книгу о Тартаковере было бы нетрудно. Не думаю. Полагаю, что задача эта не из легких, если, конечно, не упоминать трагические смерти родителей и брата, описывать его перипетии во время обеих мировых войн, перечислять турнирные результаты и цитировать афоризмы.

Саркастичный и гордый, он скрывался за шуткой и иронией и казался порой колючим и даже циничным, будучи в действительности очень ранимым человеком.

О его личной жизни неизвестно ничего, трудно сказать, какую роль играли в ней женщины. У него были, конечно, случайные встречи, и сам Тартаковер не делал из этого секрета. Когда ему советовали жениться, он отвечал, что он слишком уродлив и слишком беден.

Во время московского турнире 1925 года ему было тридцать восемь и он решил, наконец, вступить в брак. Тартаковер сделал предложение старшей сестре Таисии Вязовской (младшая была замужем за Ильиным-Женевским), но согласия не получил.

Вера Шнейдер, чье имя мельком упоминается в недавно увидевшем свет романе Дэвида Лавджоя, в основу которого была положена жизнь шахматного маэстро, по признанию самого автора, является выдумкой.

Как-то я прочел высказывание известного менеджера, в качестве девиза для своей профессиональной деятельности избравшего слова одного шахматного гроссмейстера. Это были слова Тартаковера: «Тактика — знание того, что следует делать, когда можно что-то сделать. Стратегия — знание того, что следует делать, когда ничего не может быть сделано».

Но не этот афоризм Тартаковера, вышедший за пространство шахматной доски, завоевал популярность во всем мире. Другой: «моральные победы — не считаются».

При каких обстоятельствах сказал это доктор? После нелепого просмотра в партии, где он полностью переиграл соперника? Не сложившегося турнира, в котором демонстрировал яркую игру? Хотя после неудачного выступления на вопрос о собственном результате Тартаковер всегда удивлялся: «Какой турнир? О чем это вы? В первый раз слышу об этом турнире...»

«Моральные победы — не считаются». Может быть я ошибаюсь, но в словах маэстро мне слышится вздох сожаления, разочарования, даже горечи. Сегодня, когда жесткий прагматизм стал одним из главных составляющих жизни, этот вздох растворился, как кусочек сахара в чаш-

ке чая, который Тартаковер предпочитал любому кофе, и в слова эти вкладывается буквальный смысл.

Их внушают спортивные тренеры своим подопечным. Кто-то обнаружил этот лозунг на дверях кабинета в Пентагоне. Эти слова взяли для себя ориентиром многие политики. В бизнесе да и в повседневной жизни этой формуле следуют многие, очень многие: по-настоящему ведь считаются только победы и только они остаются в памяти.

«Моральные победы – не считаются». Совсем не считаются? Или в них все-таки что-то есть? Стала ли его жизнь моральной победой?

О чем это он? – скажет лишенный сентиментальности читатель: жизнь бобыля, проведенная в затрапезной гостиничке? Это же типичный неудачник. Неудачник? Или, может быть, герой?

Не знаю. Я не знаю.

Знаю только, что жить выпало ему не в самый лучезарный отрезок истории, и прожил он свою жизнь достойно. И помимо роли героя или неудачника в коротенькой, единожды данной нам жизни, есть кое-что пострашнее: просто жить, жить день за днем, зная наперед, чем кончается любая жизнь.

В зрелом возрасте у него появились темные круги под глазами, которые не были заметны в молодые годы. Страдал ли он от какой-то болезни? Стали ли они следствием нелегкой жизни шахматного профессионала? Появились ли после бессонных ночей, когда на зеленое сукно бросались месяцы напряженного труда?

Все это только догадки. Всю жизнь он оставался одиноким волком и никого не допускал в свой внутренний мир. Многие могли похвастаться, что были знакомы с ним, но Тартаковер всех держал на дистанции и никто не мог сказать, что был его другом.

В самом конце он сильно располнел, немалых размеров живот выпирал из широкого покроя брюк, поддерживаемых старомодными подтяжками; от его витальности и остроумия мало что осталось, жизнь как бы вытекла из него; время от времени он заговаривал о самоубийстве.

Последнее стихотворение Тартаковера в сборнике, вышедшем в Ростове в 1911 году, называлось «Сирота». Вот заключительные строки его:

«В чуждом доме, в дальней стороне
Кончу жизнь постылую,
И могила домом станет мне,
Как был дом могилою...»

Савелий Григорьевич Тартаковер умер в Париже в 1956 году за несколько дней до своего шестьдесят девятого дня рождения.

ЗАБЫТЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

В собрании амстердамского шахматного коллекционера Юргена Стихтера имеется изящный серебряный портсигар с выгравированным на нем немецким текстом и факсимиле «Моему верному секунданту Э. Элисказесу на добрую память. Д-р. Алехин. Гаага 7 XII 1937».

Имя Эриха Готлиба Элисказеса мало что скажет российскому любителю шахмат, а ведь в свое время он был одним из сильнейших гроссмейстеров и кандидатом на мировое первенство.

Элисказес родился в 1913 году в австрийском Инсбруке. Шахматами в семье никто не интересовался и, как это часто бывает, двенадцатилетний мальчик познакомился с игрой случайно. Но увидев однажды, Эрих не расставался с деревянными фигурками всю жизнь. Там же в Инсбруке он стал завсегдатаем шахматного клуба.

Через два года он выиграл чемпионат Тироля, а в шестнадцать стал чемпионом Австрии — самым молодым в истории страны. Закончив коммерческое училище в Инсбруке, он переехал в Вену и даже начал было посещать лекции в Высшей школе экономики, но все время Эрих посвящал шахматам. Хотя матч с Грюнфельдом Эли (как все стали называть Элисказеса) проиграл с минимальным разрывом, в дальнейшем соперничестве преимущество Элисказеса стало очевидным. Этому способствовала регулярная работа в знаменитом журнале «Винер шахцейтунг» сначала в качестве сотрудника, а потом и главного редактора. Хотя сам Эмануил Ласкер очень высоко отзывался о качестве анализов молодого австрийского маэстро, главным для Элисказеса оставалась практическая игра.

Элисказес играл очень осмотрительно и практично, стараясь избегать внешних эффектов. Ганс Кмох заметил однажды, что в партиях Элисказеса трудно найти блистательные новинки, впечатляющие замыслы или интуитивные жертвы: Эли никогда не витал в облаках. Но знатоки игры видели, что Элисказес не только бескомпромиссный боец, но и обладающий высокой техникой эндшпиля, невероятно

упорный и изворотливый защитник, ни при каких обстоятельствах не теряющий присутствия духа.

В девятнадцать лет он выиграл матч у Рудольфа Шпильмана, имевшего тогда репутацию одного из сильнейших в мире. И хотя в последующих двух матчах со Шпильманом победа снова была на стороне Элисказеса, имя Шпильмана, в первую очередь из-за искрометного комбинационного стиля, значительно более известно в мире шахмат.

В 1936 году состоялся Третий московский международный турнир. Пяти сильнейшим советским мастерам противостояло пять иностранных гроссмейстеров. Ласкер, Капабланка, Лилиенталь и Флор уже не раз бывали в Советском Союзе, а «несомненно, один из самых талантливых представителей молодого поколения западноевропейских мастеров», как писали об Элисказесе в турнирном сборнике, был неизвестен советским любителям шахмат, быстро переименовав его фамилию в «еле скажешь». Эли впервые играл в таком сильном турнире и после первого круга занимал чистое последнее место. Второй круг он начал с двух рядовых побед, закончив соревнование дележом седьмого-десятого мест с Левенфишем, Рюминым и Каном. Это был единственный приезд Элисказеса в Советский Союз.

Элисказес был большим поклонником «нового порядка», установившегося в Германии, и не делал из этого секрета. Принимая участие в турнирах, он нередко перед игрой вскидывал руку в нацистском салюте. Александр Кобленц рассказывал, что именно так приветствовал его Элисказес перед партией на турнире в Милане в 1938 году.

Еще в начале тридцатых годов Элисказес был очень дружен с доктором Гейгером из Тироля, членом нацистской партии, запрещенной в то время в Австрии. «Я никогда не был членом партии, хотя должен признать, что частично разделял многие политические идеи национал-социализма, особенно объединение всех немцев», — говорил сам Элисказес после войны.

Он был шахматным профессионалом, и, являясь одним из лучших мастеров Шахматного союза Великой Германии, как именовалась немецкая шахматная федерация, чувствовал себя в тот период отлично. «Жизнь в Третьем Рейхе для шахматистов была превосходной, — вспоминал Элисказес, — если ты не был евреем, разумеется».

Нет никакого сомнения, что сотрудничество с Алехиным в 1937 году очень благотворно сказалось на игре Элисказеса: в следующем

году он первенствовал в сильном турнире в Нордвике, опередив Эйве и Кереса. Элисказес выиграл в этот период шесть турниров кряду и убедительно победил в матче Ефима Боголюбова (+6-3=11).

На Олимпиаде в Буэнос-Айресе в 1939 году Элисказес выступал за команду Германии: Австрия как самостоятельная страна после «аншлюсса» больше не существовала. Получив приглашение возглавить немецкую сборную, Элисказес поначалу отклонил предложение, но шахматные бонзы продолжали настаивать, и Эли, поразмыслив, согласился. Сильнейшую команду немцам собрать все же не удалось: Боголюбов, как всегда, запросил слишком высокий гонорар, а Курт Рихтер не хотел никуда уезжать из своего Берлина.

В конце концов поездка в Южную Америку оказалась для Элисказеса весьма кстати: несмотря на неважное здоровье, с перспективой быть призванным в армию надо было считаться, а когда во время Олимпиады началась Вторая мировая война, эта перспектива приобрела реальные очертания. Конечно, можно было надеяться, что Ганс Франк или какой-нибудь другой высокий чин Третьего Рейха, любящий шахматы, поможет ему пристроиться на синекурную должность, как это произошло с Земишем, однако и отправку на фронт исключить было нельзя.

После окончания Олимпиады Элисказес решил не возвращаться в Германию. И не он один: почти вся немецкая сборная осталась в Южной Америке: один член команды был коммунистом, другой гомосексуалистом, у третьего, как и у Элисказеса, тоже были свои причины не возвращаться на родину.

Алехин очень высоко ценил талант Элисказеса и прочил ему блестящее будущее. Печально известную статью в «Паризер Цайтунг», написанную в 1941 году, чемпион мира закончил словами. «Будет очень полезно для мировых шахмат, если чемпионом мира станет, например, Керес или Элисказес. И если один из них действительно станет сильнейшим, то я восприму это без всякой зависти. Кто же наилучший? У Кереса очень привлекательный стиль, напоминающий Морфи, но шахматы Элисказеса шире: они производят впечатление шахмат действительно мирового уровня. Неужели это всего лишь случайность, что Элисказес победил эстонского гроссмейстера в 1937 году в Земмеринге и в 1939 году в Буэнос-Айресе?»

Хотя Алехин сравнил Кереса и Элисказеса, следует признать, что результаты эстонского гроссмейстера впечатляли больше. Соревнования, которые он выигрывал, были рангом повыше, а на турнире в Зем-

меринге, о котором пишет Алехин, Керес, хоть и проиграл Элисказесу, в конечном итоге опередил австрийца на три очка, с блеском выиграв соревнование и оставив за собой Файна, Капабланку, Решевского и Флора.

Что действительно было общее у Кереса и Элисказеса, так это профессия отцов: оба они были портными. И еще: в начале своей карьеры Керес и Элисказес много и очень успешно играли в шахматы по переписке. Кроме того, один и другой побеждали Капабланку и... Фишера. Учитывая, что время развело кубинского и американского гениев на несколько десятилетий, похвастаться этим могли только шахматные долгожители Эйве и Решевский.

Оставшись в Аргентине, Элисказес на первых порах зарабатывал на жизнь, давая сеансы одновременной игры и принимая участие в турнирах. В 1941 году он переехал в Бразилию, работал шахматным тренером и давал уроки бриджа. Так как Бразилия прервала всякие отношения с Германией, положение Элисказеса, все еще имевшего немецкий паспорт, стало угрожающим. Ему грозила депортация, но влиятельные шахматные друзья помогли ему получить гражданство Бразилии. Он прожил в этой стране до 1951 года, потом вернулся в Аргентину, женился, став гражданином и этой страны.

Хотя еще до Второй мировой войны он считался гроссмейстером, официально этот титул ФИДЕ присвоила Элисказесу, как и Боголюбову, только в 1952 году, а не двумя годами раньше, как большинству сильнейших довоенных шахматистов. Специальная комиссия ФИДЕ изучала поведение обоих во времена Третьего Рейха, но не нашла ничего предосудительного.

Элисказес выиграл сильный турнир в Мар-дель-Плате в 1948 году (+9-0=8) впереди таких гроссмейстеров, как Штальберг, Найдорф и Сабо, но на межзональном турнире в Сальтшобадене был только десятым; наступила гегемония советских шахмат. Он продолжал играть в турнирах, время от времени показывая высокие результаты, но таких звонких успехов, как до войны, у него больше не было.

В начале пятидесятых годов он возвратился в Австрию, но климат страны показался его жене-аргентинке слишком суровым, да и сам Эли привык к южноамериканскому менталитету. Через год Элисказесы вернулись в Аргентину. Он играл в шахматы еще в семидесятых, но успехи постепенно сошли на нет.

Последние годы Элисказеса не были легкими: его одолевали болезни и частые депрессии. Он решил выпустить сборник своих лучших

партий, начал было комментировать их, но книга не успела увидеть свет: Элисказес умер в 1997 году в аргентинской Кордове.

Он защищал цвета трех стран на шахматных Олимпиадах: Австрии (1930, 1933, 1935), Германии (1939) и Аргентины (1952, 1958, 1960 и 1964). На первой доске за аргентинскую команду играл тогда Мигель Найдорф, вся семья которого погибла в лагере в Польше во время Второй мировой войны. Конфликтов у обоих гроссмейстеров, по рассказам, не возникало.

Несмотря на то, что Элисказес очень быстро достиг в шахматах самых вершин, в нем не было какой-либо заносчивости или высокомерия. Коллеги говорили о нем как о вежливом, обходительном и приятном в общении человеке.

В ЛУЧШЕМ УГОЛКЕ РАЯ

За исключением Стейница, он знал всех чемпионов мира. Его счетом с великими мог бы гордиться каждый: с Ласкером: $+1=2$, с Капабланкой: $+1-1=3$, с Алехиным: $-1=1$, с Эйве: $+2=2$, с Ботвинником: $+2-4$, со Смысловым: $+4-6$ при большом количестве ничьих с обоими. Что и говорить, достойные результаты. Но никто никогда не называл Лилиенталья претендентом на высший титул, хотя однажды он принял участие в турнире кандидатов (1950 Будапешт).

Чего не хватало замечательному гроссмейстеру? Таланта? Здоровья? Школы? Наверное, всего понемножку. Но самое верное объяснение дал Василий Смыслов: «Он слишком много думал за других и о других и вообще жалел своих соперников. Такой характер не дает чемпионства. Мы его за это критиковали, но и завидовали за это же. За то, что он никогда никого не обидел, ни в шахматах, ни в жизни».

И сам Ботвинник, хорошо знавший, что Лилиенталь помогал его соперникам Смыслову и Петросяну в матчах за чемпионский титул, говорил о нем как ни о ком другом: «Андрюша — единственный, кто никогда не злорадствовал, если ты падал, и не лизал тебя при успехах. И вообще он не способен был держать камня за пазухой. Второго такого шахматиста я не встречал».

Когда я спрашивал Лилиенталья о самых-самых, из довоенного времени он выделял Ласкера, Капабланку и Алехина, из послевоенного — Таля, Фишера, Карпова и Каспарова. «Ботвинник был, конечно, выдающийся игрок, но все же это было что-то другое... Знание, воля, напор. Во время игры с Ботвинником появлялось ощущение, что на тебя надвигается танк...»

Перебираю его открытки, письма... Написанные от руки, на листочках, вырванных из школьной тетради, с исправлениями и перечеркиваниями, смешными ошибками. На конверте инициалы и подчеркнута официальное обращение — господину гроссмейстеру Г.Б. Сосон-

ко. Но в конверте — тепло, улыбка. И имя, которым никто никогда не называл меня.

Беру одно из писем: «Дорогой Геннадъичка, извини старого пижона, что он так безграмотно пишет, но посмотри, как гроссмейстер N оценивает позицию. Он думает, что у белых лучше... А если черные сыграют так?»

И следуют варианты, найденные после многодневного кропотливого анализа, в которых никогда не принимал участие искусственный интеллект.

Другое письмо. На нескольких листочках анализ партии Зуле — Андерсен (Берлин 1864). Корявый, дрожащий почерк. «Дорогой Геннадъичка, посылаю материал, если тебе не понравится, выбрасывай в мусорное ведро. Не делай из него заботу себе...»

Диаграмма, нарисованная от руки: «...Андерсен несколько ходов назад стоял гораздо лучше, но в дальнейшем затеял странную игру и поставил своего ферзя в офсайд, чем Зуле не воспользовался». Далее следует подробный анализ позиции и вывод: «интересно, что на этот ход никто не обращал внимание 136 лет!»

Признаемся: мы ведь тоже не обратили внимания, что в партии Зуле — Андерсен, игранный в Берлине в 1864 году, ферзь попал в офсайд, которым белые не воспользовались. Проблемы, казавшиеся нам более важными, отвлекли от анализа этой позиции. Его сделал в начале XXI века в скромной будапештской квартире глубокий старик с душой ребенка.

Хотя он считался гроссмейстером еще до Второй мировой войны, титул советского гроссмейстера он получил только, когда обратился в высшие инстанции.

Лилиенталь: «По правилам мне должны были автоматически присвоить этот титул: я поделил первое место в чемпионате Советского Союза, но этого не сделали. Я позвонил тогда Снегову, председателю Спорткомитета. “Что вы себе думаете? — сказал он — представьте, к нам приедет из Англии какой-нибудь профессор. Вы думаете, что он так просто станет профессором и у нас?” Тогда я написал письмо Молотову...»

Настороженное отношение сохранялось к Лилиенталю и после войны. В 1951 году появилась книга «Советская шахматная школа». Отдав должное его тактическому мастерству, авторы отметили, что гроссмейстер Лилиенталь не уделяет должного внимания физичес-

кой подготовке и неровно играет как отдельные партии, так и целые турниры. Объяснение очевидно: «эти срывы происходят несомненно потому, что Лилиенталь не полностью овладел методами подготовки, разработанными у нас, методами, которые чемпион мира Ботвинник назвал “главным оружием советских шахматистов”».

Запись, оставшаяся на магнитофонной ленте: «...коммунизм, конечно, был ужасен. В то время надо было опасаться всего. Каждый пятый в компании оказывался стукачом. В 1950 году я должен был тренировать сборную Польши перед Олимпиадой. Чтобы поехать за границу, нужна была характеристика. В Спорткомитете мне сказали, что никакой характеристики на меня они не получили. На самом деле причина была проста: мой старший брат после войны оказался в Англии. Они боялись, что получив визу, я сбегу в Англию. В конце концов после долгих проволочек мне разрешили эту поездку, но когда я приехал в Варшаву, мне сказали — польская сборная уже давно отбыла на соревнования...

А перед межзональным в Стокгольме? Я должен был уезжать буквально через несколько дней, но вдруг звонок из Спорткомитета: «Почему вы не сообщили, что у вас брюшной тиф?»

«Но у меня никакого брюшного тифа нет, я никогда не болел брюшным тифом!»

«Нет, нет, мы не можем рисковать, вы можете заразить тифом всю команду. Вы должны представить справку, что вы абсолютно здоровы...»

«Я отправился к Вишневскому, знаменитому кардиологу, он меня осмотрел и выдал справку, но можешь себе представить, что я пережил, пока получил эту справку...

Но все равно, все равно, хотя коммунизм принес столько горя России, я люблю эту страну. Я жил там, я работал, я издал книги. Все три жены мои были русские. И я встретил там очень хороших людей. Замечательных людей. И эти люди, они ведь ни в чем не виноваты...»

Ему выпало не только счастье — иметь талант, но и талант — всю жизнь оставаться счастливым. Это встречается нечасто. Большая часть его жизни пришлась на время, которое не могло не толкнуть на опасный путь осознания происходящего, тем более что ему было с чем сравнивать: первые двадцать пять лет он прожил на Западе.

Но даже в самые темные времена Андрэ Арнодольдович Лилиенталь не терял жизнерадостности, оптимизма, светлого взгляда на жизнь. Прагматичные натуры, ничего не делающие просто так, не могли дать объяснение его поведению, хотя оно очевидно: огромная и неисправимая доброта.

В 1977 году он вернулся в Венгрию и жил с тех пор на два дома: в Будапеште и Москве. Даже на три: несколько лет назад Лилиентали приобрели небольшую дачу под Севастополем, где проводили летние месяцы.

Старость — эта окаменелость, сухость, жестокое отсутствие желаний — обошла его стороной. Хотя перечень радостей жизни уменьшался для него с каждым годом, все равно оставались еще: преданная жена, трогательные разговоры с которой достойны гоголевского пера, прогулки с любимой собачкой Линдой, легкие сигареты, мороженое, кофе, вождение машины. Общение с друзьями. И шахматы. Анализ. Самозабвенный анализ. Даже на даче, отвлекаясь на долгие морские заплывы — он делал это едва ли не до последних лет, — Лилиенталь продолжал без устали анализировать интересные позиции: неинтересных для него не было.

2001-й год. Девяностолетний юбилей справлял в Москве. Неожиданно к имениннику приехали Крамник и Гельфанд. С подарками, поздравлениями. Расчувствовался, заплакал. Обнял обоих: Володичку. Бореньку.

Ольга Лилиенталь: «В последние годы Андрюша плакал только два раза: когда узнал о смерти Бронштейна и когда умер Фишер. Бобби ведь дневал и ночевал у нас. Со мной говорил по-русски и вполне прилично, но с мужем они общались по-английски, чаще по-немецки. Он говорил Бобби: “Ну почему ты антисемит? Почему? Я ведь тоже еврей, мои родители были евреи, моя сестра погибла в лагере”. “Нет, — стоял на своем Фишер, — ты не еврей, ты — хороший человек...”»

Я не раз раз бывал в Будапеште у Лилиенталей. Обедали как-то у их друзей. Хозяйка дома русская, ее муж венгр, превосходно говорящий по-русски. Сюда можно прийти без предварительного звонка, и радушие хозяев не знает границ. Просторный запущенный дом на окраине Будапешта. Облупившаяся штукатурка. Застекленная терраска, дверь в сад. В этот дом частенько заглядывал Фишер, обожавший русскую еду. Обедал, иногда и засыпал прямо на оттоманке в гостиной.

После разносолов и закусок, рассольника, гречневой каши с котлетами, курицы с овощами, салата, хозяйка обижается: «Вы же ничего не ели, возьмите еще котлетку...»

Десерт. Кофе. Жене: «Олечка, я хотел бы выкурить папироску».

«Ты ведь только что курил, Андрюшенька...»

«Но эта будет только третья сегодня...»

«Не третья, а четвертая...»

«Да, но мне так хочется выкурить папироску...»

Выпуская первое облачко: «Давайте посмотрим фильм... Геннадьичка, хочешь “Веселые ребята”? Я смотрел его уже сто раз...»

Потекла черно-белая лента 1934 года. В следующем году Андор Ли-лиенталь впервые приедет в Москву. Он встретит здесь Женечку, и в той удивительной, не знавшей жалости стране, они будут неразлучны почти полвека невероятного, неопишуемого времени, не похожего на сегодняшнее, да и на все другие времена. Но несмотря ни на что, он встретит здесь множество хороших, очень хороших людей: другие просто не попадались ему на пути.

Десять лет назад, собираясь на ласкеровский симпозиум в Берлин, вздыхал: «Поедем буквально на пару дней. Мы не можем надолго уезжать, — у нас ведь теперь собачка, Линда. Такая очаровательная, такая замечательная...» Почти сказал — она такой хороший человек...

Молодой Леонид Утесов появился на черноморском пляже: «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда...»

«Посмотри на него, Геннадьичка, разве он не замечательный, ах, какой он чудный!.. Нет, ты только послушай, как он поет: “Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда, ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда”»...

«Послушай, послушай... Ах, как я люблю его! Ну разве он не чудный... Но почему ты смотришь на меня, Геннадьичка? Почему ты так смотришь на меня?..»

В девяносто семь он сломал шейку бедра. В этом возрасте такой перелом означает смертный приговор. Он перенес операцию, снова начал ходить. Врачи удивлялись: им редко приходилось видеть столь крепкого от природы человека. С шахматами не расставался: анализировал едва ли не до последнего дня. И курил: пять-шесть легких сигарет в день. В последние дни — по одной. Пятого мая ему исполнилось девяносто девять. Шестого выкурил последнюю сигарету. Восьмого его не стало.

Книга Лилиенталья о собственной жизни называется «Жизнь — шахматам». Это не преувеличение — факт. Хотя свою первую партию он сыграл только в шестнадцать, Лилиенталь был из тех игроков, кто знает что-то о шахматах еще до того, как научился играть в них. Это качество обычно называется природным талантом.

Последний раз играл за два месяца до смерти, когда в Будапешт приехали московские друзья. Был чудный вечер, и было весело, и даже выпил что-то, и были красивые женщины, к которым оставался неравнодушен всю жизнь. И все забыли, что хозяину дома почти сто лет.

Его похоронили в Будапеште по еврейскому обычаю, и молитвы читал главный раввин Венгрии. Лилиенталь повторял часто: евреи, христиане, для меня все одно. Бог един. Для меня не играет роли — синагога, церковь ли, самое главное — человек. И каждое утро, проснувшись, я говорю Богу — Спасибо, что я живу, что у меня так много друзей.

Еще один листочек, написанный его рукой: анализ заключительной позиции партии с Решевским (Лилиенталь — Решевский, Ленинград 1939). «В этом положении Шмулик, как все называли Решевского, предложил ничью, которую я, дурак, принял. Но ясно мне это стало только теперь, 62 года спустя, когда я впервые проанализировал эту партию. Я догадался, что Решевский меня “обманул”, потому что позиция черных висит на волоске».

Лилиенталь доказывает, что выигрыш был. Этюдный выигрыш! Но скромно заключает: «Сэмми был очень религиозным и честным человеком, и может быть в раю, где, наверное, сейчас находится Решевский, он опровергнет мой анализ...»

Андрэ Арнольдович Лилиенталь находится сейчас в лучшем уголке рая, как тот неприметный монах, который никогда ни на что не жаловался и никогда никого не осудил.

«ВАМ, К СОЖАЛЕНИЮ, ПАСПОРТ НЕ ВЫДАЛИ...»

В мире литературы, музыки, театра имеются имена, мало что говорящие широкой публике, но высоко ценимые коллегами-профессионалами. Есть такие имена и в шахматах. Одно из них — Ратмир Холмов.

За свою долгую карьеру он выиграл немало турниров, а количеству призовых мест, занятых им в соревнованиях самого различного уровня, несть числа. Он побеждал вместе со Спасским и Штейном в чемпионате Советского Союза. У него равный счет с Анатолием Карповым и он выигрывал у Роберта Фишера. В 60—70-х годах он сражался со всеми сильнейшими шахматистами мира, и никто из них не рискнул бы сказать, что выиграет у него «по заказу». Он имел репутацию одного из самых лучших защитников, но одной защитой, пусть и высочайшего класса, много очков не соберешь. Холмов являлся и мастером атаки, в которой главная роль отводится импровизации и фантазии.

В сокровищнице шахматного искусства немало блистательных партий, и как в любом искусстве, здесь нет объективного критерия: одному нравятся комбинации Андерсена, другому — ювелирные кружева Капабланки, третьему — феерические атаки Таля. Но очень часто в списке выдающихся шедевров, созданных на протяжении долгой истории шахмат, можно встретить две замечательные партии «защитника» Холмова: против Кереса (1959) и Бронштейна (1964).

«Это выдающийся природный талант, такой дается свыше, — говорит Виктор Корчной. — Самобытность его таланта видна невооруженным взглядом. Таким был талант Капабланки... Холмов знал о шахматах нечто, совершенно не занимаясь ими. К такого рода игрокам можно отнести, например, перуанского крестьянина Гранда Сунигу или болгарина Кирила Георгиева. В свое время были такие шахматисты и в Югославии, почти ничего не знавшие, шахматами практически не занимавшиеся, но игравшие, и как игравшие! В том же ряду стоит и архангельский мужик — Ратмир Холмов. Мы сыграли около полутора

десятков партий, большинство закончились вничью, какие-то я выиграл, но чаще проигрывал. Сейчас ему уже почти восемьдесят, но он до сих пор играет с молодыми людьми, и неплохо играет. А ведь теории как не знал, так и не знает. И это в наше-то время!»

Ему всё еще хватает терпения для защиты пассивных, бесперспективных позиций, которых большинство мастеров боится как огня. Стремясь получить хоть какие-то контршансы, они предпочитают поскорее вызвать кризис, рвануться, не останавливаясь порой и перед жертвой материала. Другое дело Холмов: он — мастер пассивной защиты, которую, дожидаясь своего часа, может кропотливо вести на протяжении десятков ходов. Как развился такой необычный стиль, откуда такое удивительное упорство?

Хотя он выигрывал турниры в Советском Союзе, ему никогда не позволяли играть в капиталистических странах и большая часть мира была просто закрыта для него. «В мире меня не знают», — с горечью говорил на закате своей карьеры легендарный футболист Эдуард Стрельцов. Те же слова мог бы повторить и Ратмир Холмов.

В 1943 военном году подручному клепальщика Ратмиру Холмову было восемнадцать. Когда однажды в конце десятичасового рабочего дня, не в силах выдержать жару от расплавленного сурика, заливающего лицо, и безостановочные удары тяжелого молота, он заплакал, взрослый рабочий пристыдил его: «Крепись, Ратмир, на фронте-то — тяжелей!» Это «крепись» он запомнил навсегда, и это слово является ключевым для понимания шахматного стиля Холмова, да и всей его жизни вообще.

Жизнь эта необычна. В ней — история страны на протяжении почти всего существования, вплоть до развала ее в 1991 году. Сначала я решил написать об изломах этой жизни, но, поговорив с Ратмиром Дмитриевичем, понял, что лучше его самого никто не сможет рассказать о ней.

Мы встретились в Москве в феврале 2004 года. В нем виден еще Холмов 50—60-х годов: крепко сложенный, с крутым высоким лбом, налитыми желваками на широком лице, бицепсами, заметными под старомодным пиджачком. Разве что в чуть вьющихся, без пробора зачесанных назад волосах видна седина. В мае ему исполняется семьдесят девять. Пару лет назад он перенес тяжелейший инсульт, но оправился и играет сейчас в «Аэрофлот-опене». Соперники по турниру годятся ему по возрасту во внуки, а кое-кто и в правнуки. Нет сомнения, что большинство из них никогда не слышали его имени.

Сегодняшняя партия закончилась быстрой ничьей, и у нас есть время для разговора.

— Я родился 13 мая 1925 года в городе Шенкурске. Это на севере России, в Архангельской области. Отец мой работал в НКВД, на Соловках, в знаменитом лагере. Я там и детство провел. Отец был начальником оперчасти, странно, что в книгах о Соловках ни разу его фамилию не встретил. Да и мать тоже там работала, были они оба, конечно, члены партии. Пил отец сильно. В 1929 году его арестовали за связь с какой-то зечкой, послали на строительство Беломоро-Балтийского канала, мы же с мамой вернулись в Архангельск. Я был в семье единственный ребенок, но когда мы приехали домой, обнаружил, что у меня есть брат. Старше меня на пять лет. Оказывается, он родился у матери еще до отца, и она оставила его где-то на селе, отец даже и не знал ничего. Потом, когда отец вернулся, это ему, конечно, мало понравилось. Брат мой с малых лет в лагерях сидел, и на Печоре был, и всюду; потом поговаривали, что во время войны он у немцев полицаем был, кто-то утверждает, что он после войны в Германию ушел, но я ничего о судьбе его не знаю. Вот у нас говорят: родина-мать, родина-мать, да что эта родина для него сделала? Не матерью была, а злой мачехой.

Мать моя работала тогда в колонии для малолетних правонарушителей. Мы и жили в той же колонии, что и ребята-уголовники. Отвели нам какую-то келью в бывшем монастыре, старуху в прислуги дали, кривая бабка такая была, лицо ее до сих пор хорошо вижу.

Варили ребята кашу в общем котле, и мне иногда перепало. Голодные годы ведь были. Слышу, как сейчас, кричат они: «Эй, братва, кашу хотите?» — это нам, значит, с братом. Ребята те были бедовые, я с ними постоянно общался и всех их хорошо помню. Однажды с Аркашкой Суворовым, тот главой банды был, забор какой-то зимой на дрова растаскивал — холода страшные тогда стояли, печку же надо было чем-то топить... Расстреляли его в 34-м году. Да я и сам шпанёнком был. Часто слышал, о чем они говорили: ну, ограбить кого, ларек взять или еще что. Они же свободно в город выходили. Как-то один говорит: «А сторож?» А другой: «Сторожа убрать надо». Тот отвечает: «Что? Мокруха? Нет, я на мокрое дело не пойду». Тогда ведь за убийство расстрел полагался. Это был сдерживающий фактор. Сейчас ведь что делается: по всей Европе смертную казнь за убийство отменили — это же абсурд. Я этого не понимаю. Смертную казнь за такие преступления надо обязательно ввести. У нас в России, если бы ты знал, какой разгул преступности сейчас.

Из школы я ушел с восьмого класса и ни воспитания, ни образования хорошего не получил. Я, когда школу бросил, матери сказал: «Не хочу больше учиться, пойду учеником электромонтера». Она в ответ: «Иди работай, у нас в стране любая профессия почетна». Она ведь свято верила в коммунистические идеи.

В шахматы я научился играть случайно. Мне было двенадцать лет, плыл я с ребятами на пароходе в пионерский лагерь, и кто-то сказал: «Хотите, ребята, нотацию изучить?» Мы: «Какую нотацию?» А он: «Да шахматную». Так я в шахматы научился играть. Сначала с соседом сражался, тот мне слона и коня давал фору и легко выигрывал. Потом пошел в Дом пионеров. Через три года я стал чемпионом города среди взрослых.

В шахматы я играл тогда все свободное время, да еще с дружками встречался. Дружки мои тоже в шахматы играли, в блиц главным образом. Да нет, какие там часы? По команде ходы делали: один, два, три, четыре, пять — ход! Поехали! Они и пиво с собой приносили, густое такое, бархатное. Ведрами. И черпали кружкой прямо из ведра и пили. И я пил, тогда же и курить начал.

Потом отец вернулся, ведь бывших партийцев там за своих считали, зачеты — день за три и всё такое. В Архангельске его назначили директором лесобиржи. В 37-м году родители развелись. В 38-м его снова арестовали, и больше о нем не было ни слуху ни духу...

Началась война, весной 1942 года определился учеником машиниста на рыболовецкий тральщик. К концу плавания меня от рыбы просто воротило! Как вспомню эту «крошанку» — свежевытопленный тресковый жир с крошенным туда хлебом... А осенью того же года оказался в заключении. После болезни не захотел возвращаться на судовой верфь, и особая тройка присудила к четырем месяцам лагерей. Там нам на первых порах давали по 300 граммов хлеба в день. Но комиссовали меня, вернулся в Архангельск, мать глазам своим не могла поверить, когда меня увидела. Когда я в лагере сидел, она всякий контакт со мной прервала — сама ведь в органах работала...

Потом пошел на курсы машинистов, кончил их; пока суд да дело, определили меня в подручные клепальщика. Потом нас перебросили на Дальний Восток, так я очутился во Владивостоке. Там попал на танкер «Советская гавань», идущий в Америку. Прибыли мы в Орегон, в Портленд, жили там с месяц, потом проехали на поезде всю страну и оказались в Сан-Диего. И показалась мне тогда, в 43-м году, Америка настоящим раем. Я настолько под впечатлением Америки был,

что шахматы из моей головы просто вылетели. И только потом я стал думать: почему они живут несравнимо лучше нашего?..

Потом в Россию возвратились, но по пути из Петропавловска во Владивосток в страшный шторм попали, налетели на японскую мину, выбросило нас на японский берег, интернировали нас. Сбежали тогда японцы на нас смотреть, и женщины, и дети. Жили мы месяца полтора на полузатонувшем корабле, совсем недалеко от советского берега, жратвы было вдоволь. Потом за нами пришел танкер «Туапсе», вот на нем жизнь была сказочная: открываешь кран, а из него прямо чистый спирт льется...

В конце 44-го года лишили меня «мореходки» — документа, позволявшего моряку идти в заграничное плавание. Но я еще рад был, что легко отделался, ведь ребят всех после немецкого плена отправляли прямиком в наши лагеря, я таких очень много потом встречал.

Потом определили меня на пароход «Архангельск». Работал я кочегаром, там в котельной пар стоял, как в аду. Потом и трубочистом был, и кем только не работал...

После войны вернулся в Архангельск, стал шахматным инструктором; снова выиграл чемпионат города, поехал в Тулу на всесоюзный турнир первой категории. Там встретился впервые с Люблинским, Кламаном, Фурманом... Занял я в том турнире пятое место.

Потом перевели мою мать в Белоруссию, в Гродно, на партийную работу, была она там заведующей отделом по пропаганде и агитации, немалая должность тогда. Но жили мы в какой-то ужасной мансарде, все удивлялись даже: большой человек, а в такой трущобе живет. Но мать была идеалистка, коммунистка, настоящая фанатичка была...

Стал я работать в Гродно спортивным инструктором. В 1947-м выиграл всесоюзный турнир кандидатов, стал мастером. В том же году вышел в финал 16-го чемпионата страны, потом играл в Москве в Чигоринском мемориале. Там я в первый раз с Ботвинником играл, и было чувство: играю с богом. Помню, тогда весь напрягся во время партии, даже в стул вжался, но не помогло, проиграл, конечно, — классы у нас тогда разные были, да и теории я ведь совершенно не знал.

В следующем году назначили мне стипендию — 1200 рублей, хорошие деньги по тем временам. Так я стал шахматным профессионалом. Мне было тогда 23 года.

Как к партиям готовился? А никак. Вот был у вас в Ленинграде такой Август Лившиц, преферансист известный, так он мне советовал: «Ты перед партией брось монетку: орел выпадет — 1.e4 пойдешь, реш-

ка — 1.d4». Я так и делал. Мог и 1.c4 начать, мог и 1.Nf3. За модой я никогда не следил, фианкеттированным черным слоном, что Гуфельд пропагандировал, не увлекался; на 1.e4 отвечал 1...e5, либо французскую играл с Каро-Канном. Вот все говорят: защитник, врожденный защитник... Будешь защитником, если теории не знаешь и получаешь регулярно плохие позиции после дебюта; так и копошишься — черными почти всегда — в собственных окопах.

Шахматами я ведь совсем не занимался, разве на сборах что-то смотрел с Микенасом, с Вистанецкисом, я в Литве тогда жил. Помню, Микенас сказал мне: «Это же в журнале “Шахматы в СССР” написано, там статья была по этому варианту». Так я начал журнал этот выписывать — с 59-го года, точно помню, я уже почти гроссмейстером был.

Что делал тогда целыми днями? Ничего не делал, в турнирах играл да книги читал. Какие? Да всё, что под руку попадет. Фейхтвангера любил, Драйзера, О.Генри, классиков, из русских писателей особенно Лескова высоко ценил.

В 49-м снова играл в первенстве страны. Турнир был очень сильный: Смыслов, Бронштейн, Керес, Лилиенталь, Флор, Болеславский, всех и не вспомню. Играли и молодые: Петросян, Геллер, Тайманов. Перед последним туром было у меня пятьдесят процентов очков, и должен был я играть черными с Геллером. А тот, на удивление всем, лидировал, опережая Смыслова и Бронштейна на пол-очка, и в случае победы занимал чистое первое место. И вот приходит ко мне перед партией Микенас, мы дружили с ним тогда, и говорит, что Бронштейн предлагает какую-то сумму, не помню уж сейчас какую, если я Геллеру не проиграю. Думаю, он сумму меньшую назвал, чем Бронштейн сулил, Микки ведь хитрый был жук (смеется). Но я тогда не только Геллеру не проиграл, но даже и выиграл! История эта к сплаву, конечно, никакого отношения не имеет, это сейчас партии сплавляют в таком количестве, что уму непостижимо, какой-то поточный механизм пошел.

В 60-м году, когда меня к гроссмейстеру представляли, выступил против этого сам Ботвинник. «Давайте, — сказал Михаил Моисеевич, — подождем немного, пусть Холмов год-два поиграет, докажет свой класс». А я ведь к тому времени призовые места в первенствах страны брал и международные турниры не раз выигрывал. Вот как тогда гроссмейстерское звание-то присваивали! А сейчас посмотри, что делается: это же круглый идиотизм — погоня за гроссмейстерскими званиями. Чушь какая-то. Вот я недавно прочел: Россия получила двадцать два гроссмейстера за один год. Кандидат в мастера за год становится

гроссмейстером. И они радуются этому. Здесь плакать надо, а не радоваться.

В 1951 году готовился Бронштейн к матчу с Ботвинником и пригласил меня сыграть тренировочный матч. Играли мы четыре партии, три закончились вничью, а одну я выиграл. Помню дебют этой партии: староиндийская защита, Бронштейн играл черными систему с Nc6, я ответил d5 и на Ne7 – Ne1, тогда часто так играли. Где сейчас бланки этих партий? А бог его знает, у меня не сохранились, может, где-нибудь у Бронштейна в архиве.

Себя я недооценивал тогда, полагал, что все остальные шахматисты потенциально сильнее. Так и получилось, что Бронштейн в 51-м году матч на мировое первенство играл, а меня в том же году дисквалифицировали. За что? Дело было на полуфинале первенства страны. Сидим мы, значит, Тарасов, Нежметдинов и я, выпиваем, тут две девки пришли. Ну и получается, что Рашид вроде как лишний, он старше нас с Тарасовым лет на пятнадцать был. Ты магнитофон сейчас выключи, выключи, представляешь, если моей жене на глаза это попадетс...

Ну, в общем, разгорячился Рашид (пьяный был, конечно), вышел на балкон, стал посуду вниз кидать, вазы, тарелки. У Нежметдинова, когда он выпивал, психозы всякие бывали, то под трамвай ложится, то еще что выкинет. Может, тогда ничего бы и не было, замяли бы шум с этими самыми тарелками, но делом заинтересовался Котов. Начал он собирать справки, что да как, дебош, милиция, а турнир-то ведь важный был – отборочный к зональному первенству страны. Короче, вызывают нас всех троих в Москву, к Родионову, был такой председатель Спорткомитета. Рашид ему прямо в ножки повалился, и его как члена партии решили помиловать, а нас с Тарасовым на год дисквалифицировали. А с меня еще стипендию сняли, я ведь как член сборной команды страны стипендию получал.

Никогда до перестройки я не выезжал в капиталистические страны. Никогда. Кому я за свою жизнь только заявления не писал, всем писал, и в ЦК даже. Сталину разве что не писал... И никогда ответа никакого не получил. В Югославию посылали, на Кубу тоже, но Куба тогда ведь нашей была. Оформлялся я в капстраны множество раз, но в последний момент отказывали. Поэтому-то имя мое на Западе неизвестно совсем, я ведь там ни разу не играл. В Москве, в Комитете, такая Стриганова была, так она всегда говорила: «Вам, к сожалению, паспорт не выдали...» И иди жалуйся кому хочешь. Как и почему попал я в эту западню,

до сих пор не знаю. Правда, я у японцев в 43-м больше месяца сидел, но войны с Японией тогда еще не было. Может, поэтому не выпускали? Может, думали: завербовали меня японцы тогда? Не знаю. В первый раз выехал в 89-м году, был в Германии опен какой-то, иди, сказали мне, оформляйся... Однажды, думаю, год был 77-й, иду в Комитет, и та же Стриганова мне говорит: «А вам, Ратмир Дмитриевич, снова отказано. Знаете, сходили бы к кагэбешнику, может, он вам объяснит». Пошел я к кагэбешнику. Прихожу, спрашиваю: «Почему мне паспорт не дают?» А тот: «Пишите заявление, да не забудьте в нем все ошибки указать, вами совершенные, покайтесь... Тогда, может быть, и получите разрешение, будете кататься по всему миру...» А что он имел в виду? Какие ошибки?

Да, согласен. Наверное, партия с Кересом 59-го года — одна из лучших моих. Ну, и с Бронштейном комбинация из первенства Союза в 64-м красивой получилась. Но, знаешь, стал я недавно проверять эту комбинацию еще раз и обнаружил, что мог Бронштейн опровергнуть замысел, оставался в одном варианте с двумя лишними пешками, но все предусмотреть было нелегко, да и вариант этот трудный... А с Кересом? У меня после партии спрашивали: не заготовка ли это все домашняя? Заготовка! Да я же над 12.Нсб пятьдесят минут думал, с этого момента надо было все варианты тщательно просчитать — коню ведь хода обратно нет... Вот тебе и заготовка!

Да, можно сказать, что начиная с Ботвинника, со всеми чемпионами мира играл. Кто самое большое впечатление произвел? Ну, Ботвинник глыба был, конечно, гигант. Петросян? Слов нет, замечательный был игрок Тигран, но было в нем что-то жментовское. Что это значит? А скуповато играл, на ограничение, зажимался за доской, нет, не по мне это. Каспаров — выдающийся чемпион, конечно, один из самых выдающихся в истории шахмат. Ну и Карпов, конечно, выдающийся, хотя я лично Каспарова выше ставлю...

Как у Фишера выиграл? Было это в 65-м году на Кубе, тогда Фишер по телефону играл, ходы его из Нью-Йорка передавали. Играл я ту партию с большим напряжением, понимал, что ежели проиграю, на меня всех собак повесят, всё припомнят, и вечер перед той партией — особенно. Отчего? Буфет в гостинице там всю ночь работал, и поднабрался я баккарди как следует, ведь ром этот на Кубе замечательный... Уже совсем поздно было, когда разыскал меня Смыслов. «Пойдем, — говорит, — Ратмир, я тебе вариант покажу, тебе же завтра с Фишером играть». Поднялись мы со Смысловым к нему в номер, и

показал он мне в чигоринском варианте испанской новую идею, где Nd4 все время в воздухе висит, но я в таком разобранном состоянии был, что Василий Васильевич был уверен, что я ничего не запомню...

Сажусь играть на следующий день и думаю: что же ты наделал вчера, с тебя же семь шкур спустят за такое поведение, да еще перед партией с Фишером самим. Вот, скажут, сукин сын, напился как сапожник. Сижу, сжавши челюсти и кулаки сжавши, со стула не встаю. Так, можешь себе представить, весь вариант, который ночью смотрели, и случился! После партии Фишер поздравил меня, но партию не обсуждали. В том турнире в Гаване из двадцати двух участников много сильных гроссмейстеров было, так я там ни одной партии не проиграл и только на пол-очка от первого места отстал.

Кроме Бронштейна да однажды Миши Таля, меня никто в спарринги не приглашал и в тренеры не звал. Да и какой с меня толк — я ж теории никогда не знал. Меня даже Карпов, когда к Корчному готовился, не пригласил, хотя он тогда всех гроссмейстеров использовал. Но, может, и к лучшему это было. Вот, помню, жили мы с Суэтиным в одной комнате на сборах, так Лёха всякий раз кряхтел и жаловался: «Снова в Москву надо ехать, варианты показывать». И так два раза в неделю. Я ему: «Да ты откажись», а он: «Тебе легко говорить, попробуй откажись...» Так что иногда и хорошо оказывалось, что я теории не знал.

Вот ты говоришь, что Корчной меня с Капабланкой сравнил. Это он, конечно, через край хватил. Помню, как в Ленинграде в 67-м году игрался международный турнир, сильный довольно-таки. И вот там Сабо проиграл мне отложенную позицию, где у него лишнее качество было, так тот же Корчной по сцене бегал и кричал: «Вот везунчик Холмов, везунчик, каких свет не видывал!» Корчной тот турнир выиграл, я же вторым был.

На будущее шахмат я смотрю пессимистично. Шахматы постепенно гибнут, интереса к ним нет почти никакого, и компьютер и электроника несут шахматам погибель. Останутся шахматы, наверное, только как любительская, пляжная игра, а ведь когда я Кересу коня пожертвовал, в зале аплодисменты были, да какое там аплодисменты — овация!.. Теперь я что-то не слышал, чтобы такое бывало.

Шахматы стали бизнесом. Вот помню, лет сорок назад приехал в Югославию какой-то шахматист из Индонезии, очень хотел гроссмейстером стать, так его побили там как следует и сказали: в следующий раз больше долларов привози. А теперь что: за год, имея толстый кошелек, можно гроссмейстерским званием обзавестись... Вот есть у

нас, например, Пушкин такой. Я сам был на турнире в Азове, когда его гроссмейстером делали. И очень просто делали, да... А вот однажды мне говорят: «Сыграешь в турнире с гроссмейстерской нормой? Гонорар — триста долларов». Я: «Отчего ж не сыграть?» — «Отлично, — говорят, — тебе и играть даже не надо». Я: «Как так?» — «А так: таблицу сделаем, ты свой гонорар получишь, и все дела...» — «Нет, — отвечаю, — это не для меня, не по мне темные дела эти». Они думают, что если я выпить люблю, так я на всё пойду...

Что значит выпить люблю? Я ведь в свое время поддавал, и сильно поддавал, но не умно. Вот Нежметдинов, тот по части поддачи был почище меня, но Рашид умнее поддавал. Знаешь, какой стишок Коля Новотельнов про него сочинил тогда? «Среди холмов и черепков я водку пить всегда готов!» (смеется). Но кроме нас с Нежметдиновым и Черепковым были ребята и почище. Вот в Тарту на полуфинале страны в 51-м году был такой Эбралидзе, большой мастер по этой части, но он горячий грузин был, выпьет — и всегда в бутылку лезет... Были бы спортивные успехи выше, если бы не поддача? Думаю, что да, потому что после этого всегда наступает какой-то моральный надлом, где-то внутри сознаешь: что-то не то делаешь. Да нет, дело не в том, что на следующий день голова болит, просто стыдно было перед самим собой, и я клял себя и партию уже неуверенно играл, потому что всем существом своим чувствовал: отхожу от принципов морали.

Несколько лет назад у меня гематома случилась. Это сгусток крови такой, он приходит в движение, и дело чаще всего смертью кончается. В больницу привезли меня уже без сознания. Вот видишь, у меня на черепе еще следы той операции остались, вырезали эту самую гематому; операция была сложнейшая, мне потом сказали, после таких выживает один человек из ста.

Когда со мной это случилось, привела жена домой попа, заплатила деньги, он отходную надо мной прочел — я ведь без сознания был, умирал уже; соборовал поп меня, святой водой окропил, всё как полагается. Я же некрещеный, отец с матерью ведь у меня коммунисты были, да еще какие. Верующий ли сейчас? Да нет, не был никогда и сейчас не верю. Считаю, что это всё — типичная пирамидка (смеется). Помнишь, у нас в пирамидку играли, ну, как его бишь... да, Мавроди, действительно Мавроди, собрал у людей деньги, а потом смылся. Так и религия примерно такое же. Да, очень интересная беседа у нас с тобой вышла, вот уже и до Бога добрались...

Лежал я две недели в полной коме. Как кукла, не двигался. И все те две недели, что я в реанимации был, жена моя от меня ни на секунду не отходила, прямо с того света меня вытащила; если бы не она, не преданность ее и любовь, не было бы меня уже. Это, конечно, дар судьбы, что жена мне такая замечательная досталась... Из тех двух недель ничего не помню. Нет, видений не было, ни шахмат, ни света в конце туннеля, только однажды увидел себя совсем молодым на корабле, ловим мы рыбу, и сети такие мелкие-мелкие, и крабы в них застряли. И остров какой-то вдали, ранняя молодость моя...

Когда очнулся, у меня имя спросили, фамилию, так я точно сказал, большинство же ничего не помнит. Потом вернулся домой, Новый год на носу, у невропатолога спрашиваю, можно ли будет хоть шампанского выпить. А тот: ничего нельзя пить... Тогда я хирургу позвонил, тому, кто операцию делал, — и тот же вопрос задал, ведь Новый год же... Так хирург говорит: «Какое шампанское? Хряпни водки стакан и никакого шампанского...» (смеется).

Нет, на ветеранские турниры не езжу, там же надо тысячу долларов за турнир выложить, с дорогой, с гостиницей, со всеми делами, а откуда у меня такие деньги? Илюмжинов мне денег не дает, он же, как хан, властвует: кому хочет — дает, кому не хочет — не дает...

Ты мне лучше скажи, как у вас на Западе относятся к этому теперешнему менталитету: братъ, братъ, братъ, все больше, больше, прямо патология какая-то... Сам-то ты как к этому относишься? Я вот, например, что имею, то и трачу, а что же еще с деньгами делать? Вот у нас в 98-м дефолт произошел, и, хотя жена у меня сразу все почувствовала, когда они из роскошного помещения в центре в какие-то конюшни переехали, и загодя почти все деньги из банка забрала, потеряли мы несколько тысяч долларов из-за этого самого дефолта. Ты, старый хрыч, сказал мне тогда сын, раньше получал тридцать шесть процентов с денег, в банк положенных, зато теперь получил свой дефолт. А что такое дефолт? Ты же западный человек, ты мне можешь объяснить, что значит этот самый дефолт?

Сын у меня здоровый мужик, заходит к родителям часто, как полагается. Нет, в шахматы не играет, то есть играет, конечно, я ему фору ферзя даю, но задачи решает с удовольствием. Внуки, правнуки, всё чин по чину. Внук у меня один — большой бизнесмен. Фирму образовал. Сауны делают для богатых людей, в Финляндию часто ездят.

Вот говорят: высшее образование, высшее образование, а я как посмотрю вокруг, так на кой это высшее образование нужно? А шахматы в школах? Вот Карпов и Каспаров ратуют за то, чтобы повсеместно шахматный всеобуч ввести. Чтобы шахматы в школе обязательным предметом были. Идиотизм круглый. Представь себе: ни кочегаров не будет, ни машинистов на паровозе, ни продавцов — все будут в шахматы играть. Как раньше в школе с уроков физкультуры сбегали, так и с уроков шахмат сбегать будут. Нет, пусть в шахматы играет только тот, кому это действительно нравится.

Знаешь, сейчас, когда на пенсию вышел, я еще больше удовольствия от них получаю, чем когда по-настоящему играл. Тогда неуверенность какая-то была в жизни, волновался всё — стипендию снимут, не пошлют на какой-то турнир, все время суета какая-то была, волнения. Сейчас спокойно занимаюсь для себя, для собственного удовольствия. Да и играю тоже. Вот вчера, например, с поляком играл, с Марковским. У него рейтинг на 150 очков больше моего, и что? Не произвела его игра на меня большого впечатления; всю партию я легко позицию держал, но вот незадача какая случилась: время просрочил. Впервые в жизни! Эти электронные часы — слепые какие-то. На старых все хорошо было видно: флажок поднимается — цейтнот, моментально пару ходов делаешь, а здесь...

Комсомольцем был в свое время, но членом партии — нет, никогда. У меня с детства невосприятие всего этого коллективизма. С детства. Хотя и отец мой, и мать были коллективисты и коммунисты. А я никогда особенно коммунистического правления не любил, хотя и диссидентом не был, разве что по пьяной лавочке херню порол — может, меня из-за того за границу и не выпускали, не знаю.

Нет, не думаю, что Россия когда-нибудь станет нормальной страной, никогда этого не будет, потому что народ у нас такой, подвластный у нас народ. Ведь последние шестьдесят-семьдесят лет мы жили в тотальном рабстве. И нужен очень большой срок, чтобы его вывести. Вот он и заслуживает власти такой, наш народ, правительства такого. Я сейчас понял, что вся наша Государственная Дума сплошь купленная, и они протаскивают законы, которые выгодны корпорациям, а населению невыгодны. Кто от перестройки выиграл — это интеллигенция, а простой народ проиграл, и некому сейчас жаловаться. Подумал я как-то: в чем-то мы все, русские, ущербны. Вот говорят: у вас Толстой, у вас Лесков, у вас Чайковский, а что с того? И что я еще

заметил — это колоссальное обезьянничество перед Западом. Там что заведется, у нас тут же всё и перенимают.

А Путин что? Никого в сортире не мочил, а пока в Чечне наши люди, дети наши и внуки каждый день погибают. Вот сейчас выборы скоро. За кого я голосовать буду? А очень просто: брошу монетку, как тогда перед партией решал, какой ход первым сделать. Так и сейчас: орел выпадет — за одних проголосую, решка — за других. Безразлично мне, Путин ведь все равно выигрывает.

Мне скоро восемьдесят лет, я скоро умирать буду, я все сказать могу, что думаю.

Как мой день проходит? Встаю я ровно в восемь часов. Раньше холодный душ принимал, но потом врачи отсоветовали, сказали — может быть опасно для сердца, поэтому сейчас только водой до пояса обливаюсь. Потом завтракаю, селедочкой с картошечкой горячей, чай пью или кофе с молоком. Как без сахара? Что ты имеешь в виду? Ну, конечно, с сахаром, как же чай или кофе можно без сахара пить...

В девять часов иду в уборную с английским словарем и провожу там полчаса. Язык учу. Я его уже шестьдесят лет учу, совершенствуюсь. Дую что? Нет, но андерстенд — литл. Вся штука в том, что, когда англичане говорят, я их ни хера не понимаю, но важнее, что они меня понимают. Действительно? Есть туалетная бумага с уроками английского языка? Во дают! У нас такой бумаги нет, но я вот недавно рекламу по телевизору видел: английский за две недели, и представляешь, есть идиоты, которые верят этому. Слова же забываются, если постоянной практики не имеешь, так что я на эту клюкву не клюну.

Потом сажусь за письменный стол и анализирую до двенадцати часов, и делаю это всегда с большим удовольствием. Компьютер? Какой компьютер, мне же скоро восемьдесят лет стукнет, какой может быть компьютер, на кой хрен он мне нужен, подумай, Генна, о чем ты говоришь? Я вот уже тридцать дней над одним вариантом гамбита Эванса бьюсь, хочешь, я тебе анализы пришлю? Интереснейшие! Единственная партия, этим вариантом сыгранная, Морфи — Андерсен 1858 года, и выиграл тогда Андерсен! И почему-то больше так никто не играл... Никто. Сижу себе, анализирую, потом всё записываю, еще раз проверяю и всё на машинке печатаю. А потом всё в стол складываю. Но нигде не публикую. И не хочу давать никуда свои анализы, поверь мне, у меня глубокие очень есть. Да и куда давать-то, теперь «Шахматную неделю» какую-то выпускают, так там шушера одна пишет, статьи длиннющие, а качество? Или вот пишут:

как надо преподавать шахматы. Да кто пишет-то? Сам первого разряда не имеет, так начинает, понимаешь, учить, как надо шахматы преподавать. И смех, и грех. Как там говорится? Кто не умеет играть — учит, кто не умеет учить — учит, как надо учить. Нет, не хочу...

В двенадцать часов ровно я ем яблоки. Почему яблоки? Ну, так ведь известно, что яблоки для здоровья очень хороши. Потом снова смотрю что-нибудь на шахматах или читаю. Что читаю? Да чепуху всякую, детективы и все такое. Вечером ужинаю и телевизор смотрю, вот и вся моя жизнь. Звонит ли мне кто-нибудь из шахматистов? Да никто, никогда. Почему? Да потому что мне восемьдесят лет почти, потому что мой рейтинг 2440, потому что я говно и никому не нужен...

Вот Корчной меня вместе с Капабланкой в гении записал. А для меня чистый гений был Алехин, ведь в его партиях божья искра всегда присутствовала. Моя первая шахматная книжка, случайно мне в руки попавшая, была алехинская: «На путях к высшим шахматным достижениям». А из тех, кого я лично знал, Миша Таль был чистый гений, конечно, да и Леня Штейн. Ах, Ленечка милый, он ведь ночами напролет в карты резался; бывало, часов в пять ночи стук в дверь в комнате моей гостиничной, я спрашиваю: «Кто это?», а это Леня в карты свои закончил играть, спрашивает: «Не найдется ли пожрать чего?» — проголодался, значит...

А помнишь, как мы втроем в Риге, когда я с Мишей тренировочный матч играл, каждый вечер вместе проводили, помнишь? И ужинали у Миши или в ресторан шли. Какой это год был, 68-й, кажется? Мне тогда сорок с лишним было, а ты так совсем мальчишкой был, помнишь?

Ах, Миша, Леня... Пусть они и другой национальности, но близки были мне по духу и Таль и Штейн по восприятию жизни, любил обоих. Помню, в Тбилиси мы со Штейном и с одним грузином такое устроили, но... выключи, выключи сейчас магнитофон, что с того, что полвека с тех пор прошло, а что если жене моей этот рассказ на глаза попадет?.. Ах, Геночка, Геночка, милый, а помнишь, как мы в Риге с тобой две недели в гостинице в одном номере жили? Помнишь, как Леня и Миша принесли тебя пьяного мертвецки, да, правда, и сами не шибко на ногах держались, и положили тебя на стол, и спал ты всю ночь на столе? Почему они тебя на стол положили, а не на кровать, до сих пор не пойму, но ты всю ночь на столе и проспал. Но ты вырежи это, вырежи, если писать будешь, а то люди о тебе бог знает что смогут подумать.

Геночка, да это же воспоминания молодости нашей, милый, молодости...

Когда приезжаю сюда, в «Россию», то за доской сижу с удовольствием, но усталый уже, все-таки полтора часа дорога отнимает. На метро с пересадкой — час с четвертью, да еще пятнадцать минут автобусом, да обратно столько же, да каждый день, вот и считай. Всё бы ничего, если бы не лестницы при выходе из метро, они же обледенели все и скользкие очень, шатает меня на них. Неровен час грохнешься, так костей не соберешь... Я бы с удовольствием сюда в гостиницу поселился на время турнира, черт с ними, с деньгами, но дома у меня же всё под боком. Что с того, что компьютера нет, зато «Информатор» есть. Да и жизнь налаженная, жена обо мне заботится. А ты спрашиваешь, доволен ли я жизнью. Да мне просто повезло: от взрыва котла тогда у Курильских островов не погиб, от тяжелой бронхиальной астмы, когда и говорить не мог, задышался месяцами, не умер, и всех передряг в жизни — не перечить; но самое главное — жена мне чудесная досталась, и семья — сын, внук, теперь вот и правнучка есть — тоже замечательная...

Можно ли сказать, что шахматы дали мне всё в жизни? Да, конечно. Всё. Вот сейчас я на пенсии, да еще федерация подбрасывает, да жена что-то еще получает, так что жаловаться не приходится. Но только ли в деньгах дело, ведь у меня занятие есть, и люблю я его. А такое ведь не каждому дано. Другие, кто на пенсию выходит и без всякого дела остается, умирают быстро, потому что не знают, чем себя занять. А у меня — шахматы есть, они до сих пор меня спасают. А ты спрашиваешь, что мне дали шахматы. Но, знаешь, анализы анализами, а играть, играть по-прежнему очень хочется, ведь шахматы — это чудо, конечно. Чудо.

Морозным днем 30 января 2006 года ему стало плохо в автобусе и от остановки до дома самостоятельно добраться не мог — помогли, довели до лифта. «Скорую» вызывать не стали, поехали с женой в поликлинику. Шел с трудом, нога уже не слушалась. Врач сразу всё понял, всполошился — немедленно в больницу! Там с каждым днем становилось хуже. Чувствовал, что умирает, за два дня до смерти сказал жене: «На этот раз мне уж не выкарабкаться...» Напомнил, что хотел бы быть похоронен на Рязанщине, откуда родом жена. Там и все близкие ее лежат — дед, родители, сестры. Кладбище — на пригорке, место это солнечное, сухое.

СУДЬБА МИНОМЕТЧИКА

Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц сильно хромал и в конце жизни вынужден был ходить с костылем. Австрийский гроссмейстер Эрнст Грюнфельд пользовался протезом. Шутил: шахматисту так даже лучше — уменьшается соблазн во время игры вставать из-за доски и отвлекаться от партии.

Девятнадцатилетнему минометчику Абраму Хасину в декабре 1942 года после тяжелейшего ранения под Сталинградом ампутировали обе ноги. К тому же — отмороженные руки, не все пальцы сгибаются до сих пор, заражение крови, двустороннее воспаление легких, температура, доходящая до отметки 41. Неудивительно, что врач, обходя палату смертников, в которой лежал Хасин, бросил: этот — не жилец.

Хасин выжил. Закончив институт, он почти десять лет преподавал английский язык в московских школах, играл в шахматы, занимал высокие места в первенствах Москвы. Сегодня «первенство Москвы» звучит очень скромно, но в чемпионате столицы 1968 года, к примеру, где Хасин разделил пятое место, первыми были Тигран Петросян — тогдашний чемпион мира, и Давид Бронштейн. А в турнире играли еще Холмов, Гулько, Суэтин, Симагин, Игорь Зайцев, Шамкович, Либерзон. Хасин пять раз играл в сильнейших турнирах того времени — финалах первенства Советского Союза, и хотя в верхней половине турнирной таблицы не оказывался ни разу, каждый гроссмейстер, сядя за партию с Абрамом Хасиным, знал: этот мастер может обыграть любого.

Международным мастером он стал в 1964 году, когда это ныне девальвированное звание звучало совсем по-другому, чем сегодня. Турниры по переписке были как будто специально созданы для него: физические проблемы, мешавшие при игре за доской, некоторая неуверенность в себе, быстро наступавшая усталость — все это не играло здесь никакой роли. Зато искусство анализа, понимание игры выходили на первое место, и Абрам Иосифович Хасин добился в заочной игре высоких результатов, побеждал в сильнейших турнирах,

стал гроссмейстером, в составе сборной страны завоевывал золото во Всемирных Олимпиадах.

Тренировал молодых: в ЦШК на Гоголевском, в московском Дворце пионеров. У него училось множество шахматистов, ставших гроссмейстерами и мастерами. У Бориса Гулько до сих пор в памяти лекции Хасина. Навсегда запомнилось: если у вас конь пешку неприятельскую блокирует, к эндшпилю стремитесь, а если против коня-блокера играете, старайтесь атаку создать.

Много лет Хасин был тренером сборной Москвы на Спартакиадах, юношеских соревнованиях, мировых студенческих первенствах, но самое памятное время связано для него с второй половиной семидесятых годов, когда он преподавал на шахматном отделении спортивного интерната. Там занимались дети, приехавшие в столицу обучаться шахматной науке.

Они до сих пор вспоминают об Абраме Иосифовиче, ставшем для них не просто тренером, но человеком, с которым делились всеми своими ребячьими проблемами, иногда очень личными.

Из небольшого городка на Урале приехал в Москву Женя Бареев. Мальчику с удивленным взглядом больших черных глаз было девять лет, когда он попал в класс Хасина.

Евгений Бареев вспоминает: «Дети обожали Абрама Иосифовича. Он, бывало, и покрикивал на нас, и палкой мог пристукнуть, и выговорить сурово, но мы чувствовали: это все — напускная строгость. Детей ведь не проведешь, они очень тонко все чувствуют, пусть он палочкой своей и грозно стучит, а ему никто не верит, и девчонки его жалобно просят: “Абрам Иосифович, пожалуйста, у нас завтра контрольная по английскому, переведите. Ну пожалуйста...” И шахматный тренер, сурово сдвинув брови, бросает: “Ну, давайте уж текст, бестолковки, посмотрю, если уж контрольная...” На своих шахматных уроках он исповедовал принцип — от простого к сложному — и огромное внимание уделял эндшпилю, простым позициям, анализу. Бывало, зайдет в класс, увидит в руках у нас дебютные справочники и прикрикнет — да положите вы, остолопы, эту чепуху на место, давайте лучше делом займемся...»

С тех пор прошло три десятка лет, и Евгений Ильгизович Бареев, сам уже тренирующий юных, старается в собственной работе применять тренерские принципы своего шахматного наставника.

В своей первой жизни Абрам Иосифович Хасин жил в двух городах: в Киеве и Москве. В 2002 году он уехал в Германию, ровно шес-

тьдесят лет спустя после той страшной сталинградской зимы 1942 года.

Теплый, совсем весенний февральский день 2008 года. Эссен. Зелененький дом на углу Алтенесштрассе и Теодорштрассе. Квартира на первом этаже. В гостиной, на маленьких выдавших виды чешских магнитных шахматах позиция из партии коллеги Хасина по эссенскому клубу KS Blosterhausen, за который бывший москвич играет уже много лет. Немецкий шахматист пользуется, разумеется, и Фрицем, и Рыбкой, но анализы Абрама Хасина иногда разитель-но отличаются от ходов, рекомендуемых машиной. И порой оказы-ваются даже лучше: некоторые планы компьютеру и «в голову не приходят».

Хасину не дать его возраста. Живые глаза, четко сформулирован-ные мысли, разве что порой, когда воспоминания становятся болью, он переводит дыхание и смахивает слезу.

«Родился я 15 февраля 1923 года на Украине, в Запорожье, но очень скоро родители переехали в Киев, где мы и жили до войны. Есть, прав-да, у меня еще одно воспоминание: я совсем маленький, и мы с мамой и папой сначала на пароходе плывем, а потом оказываемся в Палес-тине, помню это очень хорошо, день жаркий такой, я стою на горке, и меня пчела ужалила... Как они в Палестине оказались, когда обратно вернулись, об этом у нас дома никогда не говорилось. Сейчас я думаю, что родители мои под влиянием социалистических идей поехали в Па-лестину, в кибуцах работать, кто-то из семьи там и остался. Но об этой поездке у нас дома даже не упоминали, мы же все в страхе жили тогда, в постоянном страхе. Мне этот страх всю жизнь сопутствовал, я только здесь в Германии от него начал избавляться, да и то, думаю, до конца так и не избавился...

Дома иногда говорили на идише, но главным образом — чтобы мы с братом не поняли, а так — семья была далекая от религии, дедушка соблюдал какие-то праздники, но и свинину ел, говорил, что ежели болен, разрешается и запрещенное, не знаю уж, так ли это.

И с материнской, и с отцовской стороны у меня все евреи, но семья была интернациональная, дядя мой был женат на украинке, тетя была замужем за русским, моя первая жена была русская, сейчас я тоже на русской женат. Фамилия отца — Хасин, мамина девичья — Киселева. Так что брата ее, моего дядю, это иногда и выручало: Киселев Борис Михайлович.

Отца я лишился в девять лет, было это в 32-м году. Вдруг папа исчез из дома, и я сначала не понимал, что случилось, но однажды нашел открытку и понял, что он в тюрьме. А потом мы с мамой и братом на процессе его присутствовали. После голода, организованного на Украине, кого-то надо было сделать козлом отпущения, вот отца и обвинили во всех грехах. Процесс был открытый, приговорили его к расстрелу (... подождите, подождите немного, очень тяжело это все сейчас вспоминать...).

Так я остался с мамой и старшим братом. Почему нас не сослали тогда, сам не знаю, но из квартиры выселили, перебрались мы к бабушке, жили мы очень бедно. В школе моей были в основном дети из привилегированных семей, одевались они очень хорошо по тем временам, а я ничего себе позволить не мог. Когда в чемпионате Киева играл, всегда надевал свою парадную форму: синюю спецовку, дядей из Москвы присланную, да галстучек какой-то узенький болтался.

Зрение у меня всегда неважное было, минус пять, очки носил, но разбивал их постоянно, когда спортом занимался или когда дрался. Драться особенно не любил, но если до дела доходило, за себя постоять умел. Меня отец только два раза наказал, однажды — когда на подножке трамвая увидел: мы, мальчишки, с одного трамвая на другой лихо так на ходу перескакивали... В другой раз — когда с папироской заметил. Мальчишкой курил я отчаянно, в первый раз закурил, когда шесть лет было, а когда четырнадцать исполнилось, пришел к нам дядя и давай всех папиросами угощать, дал и мне, знал, что я курю уже, и стало мне вдруг так стыдно, что решил бросить.

Дядя мой тоже был репрессирован. Арестовали его в 37-м году, но в 39-м выпустили, вернулся он абсолютно изможденный, высохший, так что, хотя был он человек еще молодой, ему в Киеве место в трамвае уступали. Он шутил еще — спасибо, говорил, насиделся...

В отношении Сталина я никогда не заблуждался и понимал, что и судьба отца, и дяди репрессированного, да и других — полностью на его совести, другое дело — Ленин. Мне долго, очень долго казалось, что Ленин все делал правильно, что если бы Ленин был жив, все было бы в нашей стране по-другому. Да и сейчас, когда о нем столько прочел, отношение к нему неоднозначное. Как тогда ввали о нем, так и сейчас ведь врать могут. Да и Дзержинского уважал, для меня он ассоциировался с его отношением к детям, к беспризорникам, не просто это все...

В шахматы меня играть никто не учил, сам выучился, когда за партиями Бориса, старшего брата, наблюдал. Смотрел, смотрел и научился, а потом стал брата обыгрывать. Начал в форпостах играть, это изобретение Постышева Павла Петровича. Был тогда такой секретарь ЦК Украины. Тот, кто празднование новогодней елки в стране снова ввел, ведь елки считались пережитком буржуазным, а он их возродил. При больших дворах были организованы клубы — не клубы, но площадки такие, там и в волейбол играли, и в футбол, и в настольный теннис. Были и шахматные комнаты, и попали мы в городской турнир форпостов. Провалился там ужасно, теории совсем не знал... Был, правда, у меня старинный «Самоучитель» Шифферса, хотя потом и другие книги читал, у друга брал, а тот библиотекой Богатырчука пользовался. Все знали, что у Богатырчука библиотека замечательная.

Но я больше всего играть любил да анализировать, дебюты мне ужасно скучно было учить, потому играл, как бог на душу положит. Первую партию до сих пор помню, черные у меня были: 1.d4 d5 2.c4 dc4 3.e3 b5 4.a4 c6 5.ab5 cb5 6.Df3 — сдался! И в таком духе все партии играл. Расстроился ужасно и решил шахматы оставить, разочаровался в них. Играл, правда, еще в школе, но так несерьезно, от случая к случаю, в шестом классе даже за команду школы не взяли, так я на шашечной доске играл.

Пришел я снова в Дом пионеров киевский только осенью 1939 года. Было мне уже шестнадцать с половиной лет. Не только по нынешним, но и по довоенным понятиям — переросток. Никакой категории у меня не было. И стал набирать я разряд за разрядом и добрался до второго. По тем временам это было немало, так что даже не могли собрать турнира на первый разряд и играли в сеансах с часами против мастеров и кандидатов в мастера, там первый разряд выполнил.

Нередко устраивали мы состязания по многоборью: шахматы, футбол, волейбол, поднятие тяжестей. И шашки. До войны многие играли в шашки, русские, конечно, в киевский Дом пионеров и Куперман ходил, он чемпионом мира по стоклеткам потом стал. И Бронштейн в шашки хорошо играл, примерно в силу первого разряда.

Был Дэвик хиляком, такой тщедушный, маленький, все его Малец звали, а Мучник Ханаан все над ним издевался, говорил — да не носи ты, Малец, с твоей хилой мускулатурой футболку, не позорься, лучше у меня мускулы пощупай... Это Бронштейн потом силу развил, мышцы накачал, помню, любимый трюк у него был: тяжеленный чемоданчик,

который в качестве ручной клади с собой всегда брал, одним пальцем поднимал. Но завихрения у него уже тогда были...

К тому времени я из школы ушел, экзамена по химии не сдал, учитель меня невзлюбил с самого начала, так и завалил на экзамене, хотя, честно говоря, химии я никогда не любил и вообще к точным наукам, стереометрии какой-нибудь, никакого расположения не имел и представить себе в пространстве ничего не мог. Другое дело языки — у меня и по русскому, и по украинскому, и по английскому только пятерки были. Пошел я токарем на завод, в три смены, тяжело было, конечно, вечером на рабфаке занимался да еще в шахматы играл. После смены прямиком шел в турнирный зал, в другие дни — с шахмат шел на работу. Трудно приходилось, я ведь со многими еще год назад в сеансах играл. В полуфинале Киева среди взрослых стал кандидатом в мастера, а в 41-м году в финал вышел. Чемпионат тот из-за войны неоконченным остался, я, правда, в самом хвосте шел...

Начало войны помню хорошо, поспал немного с работы придя, стою, умываюсь, радио слушаю: война. Услышал про бомбежку Киева и тут же на улицу побежал, сам хотел на все посмотреть, удостовериться, молодой ведь был дурак. Побежали с ребятами налет смотреть, а потом забрались на крышу нашего дома семиэтажного на Большой Подвальной, чтобы все лучше было видно...

Что немцы с евреями делают, уже известно было, но все считали тогда, что война будет недолгой, и соседи уговаривали нас не эвакуироваться, у них прятаться. Но мы все же эвакуировались и после долгих странствий оказались в Пермской области в поселке Тюша. По дороге туда заразился я в теплушке корью, кровь из горла идет, горю весь, в беспамятство впал, едва выжил. Было мне тогда восемнадцать лет.

В феврале 42-го девятнадцать исполнилось, а в марте в армию призывали. Вернее, меня из-за зрения в армию не брали, но я сам настоял. стыдно было: только женщины да дети вокруг, а я молодой здоровый парень — вместе с ними. Было ли отношение — вот мол, Иван воюет в окопе, Абрам торгует в райкопе, тем более что и Абрам? Да нет, пожалуй, ну слышал, конечно, иногда что-то, но в общем нет, я ведь к тому же сразу в армию пошел.

Взяли нестроевым, у меня и очков не было. Очки подобрали, хотя стекла и не вполне соответствовали. Отправили в военное училище в Пермь, а там стрельбы пошли, так я на 25 метров из карабина в фашиста тощего такого попасть не могу — не вижу мишени.

Там же в училище и в комсомол вступил, из пионеров меня в Киеве почему-то не исключили, а о комсомоле и речи быть не могло. Вызывает меня командир, помню еще фамилию его — Киселев, так же как и у моей мамы. Говорит: так курсант Хасин, — он меня Хасин называл — как же вы отличник боевой и политической подготовки, а не комсомолец? Я — то да се, а он — немедленно в комсомол вступать.

А потом сталинский указ вышел: для усиления армии послать на фронт курсантов, так вот я, недоучившийся, на фронт и пошел. Рядовым. Но и рад еще был: закончил бы училище, стал лейтенантом, надо было бы командовать, так ведь мог, неровен час, с моим-то зрением по своим огонь открыть — расстреляли бы за милую душу.

Мы не знали, куда нас отправят, то ли на Сталинградский фронт, то ли на Кавказ. Когда в Калач привезли, поняли: Сталинград. Из Калача — форсированным маршем по 40-50 километров в день — на передовую. Шли ночью или ранним утром, тяжело было, конечно. Помню еще случай — один боец, татарин, потерял вещмешок с патронами. Искал, искал — нигде найти не может. Грозит расстрел. Дали ему лошадь — возвращайся, ищи. Отправился обратным путем, ничего не нашел, возвращается совсем унылый, а вещмешок к тому времени уже обнаружился: его наш комиссар себе под голову подложил. Тот еще был тип, однажды рассказывал, как с двумя бабами спал, а во время наших пеших переходов сам на телеге лежал, рядом с минометами, на нас посматривал, но главным образом дрыхнул. Такой был комиссар. Но мы помалкивали, знали, что и стукачи были среди нас, если что не то скажешь...

Был я минометчиком. Тяжелые 120-миллиметровые минометы — грозное оружие, но мин не хватало, к тому же мы, солдаты, не знали, что творится вокруг, нам ведь ничего не говорили... Располагались мы не на самой передовой, а на расстоянии где-то метров восьмисот, обычно в лощинах. Из винтовки нас, конечно, не достанешь, но мины и снаряды доставали. Помню, разговаривал с солдатом и вдруг он не отвечает, оглянулся, а он мертвый уже. Но я молодой был, дурак, считал, что меня-то точно не убьют. Почему — не знаю. Но вот такое чувство было — как это меня, молодого, здорового, могут вдруг убить?

Привозили нам в котлах кашу, давали сухари, немного сахара. Доставляли это все ночью, так что каша и в рот не лезла. И была повальная дизентерия. Что ж тут удивительного — есть очень хотелось, так мы выкапывали коней убитых, конину варили. Да и вшивость...

Как это случилось? Под Сталинградом в декабре 42-го попали мы где-то на переходе под бомбежку. И все — ничего больше не помню.

Понятно, что взрыв был — бомба или снаряд, не знаю, меня из каши тел вытащили, везли по разным медчастям, но и это помню смутно, сильно контужен был, а очнулся только в госпитале в Саратове... Пока везли, двустороннее воспаление легких схватил, да и руки отморожены были — видите, мизинец до сих пор на этой руке скрюченный. Да и на другой. Одно время даже думали, без ампутации не обойтись. Кормили с ложечки, потом приловчился миску двумя руками обхватывать. Но главное — тяжелейшее ранения — ноги и бедро. И боли нестерпимые, едва не кричал. Помню еще: однажды посмотрел на свои ноги, а там в бинтах черви ползают. Натуральные черви. И температура держится все время — около 41. Потом заражение крови началось. Короче, поместили меня в палату смертников, там по несколько человек в одной кровати лежали. И на полу, и на носилках... Меня, правда, одного положили... Тяжело все это вспоминать сейчас... подождите, подождите немного...

Врач, обход делавший, сказал (думал, наверное, что я не слышу): ну, этот — не жилец. А я про себя думаю, погоди, старый хрен, я еще тебя переживу... Молодой был, очень жить хотел.

Пытались лечить меня, но никакое лечение не помогало, и стали уговаривать на ампутацию ног. Сестры еще подбадривали: ты еще, говорили, танцевать будешь. Но я сразу решил — если надо — надо.

Стали к операции готовить, сначала думали делать под общим наркозом, но потом решили, что не выдержу, и под местным сделали, так что я все слышал, и как пила кость пилила, и как хирург ампутированную ногу в ведро шмякнул, сказал еще: туда ее...

Ампутировали мне обе ноги довольно высоко, но колени, к счастью, сохранились, сгибаться еще могли. Спросили у меня до операции — кого из родных вызвать. Приехал мой дядя из Москвы, и он меня не узнал — так я истощен был, высох, в размерах уменьшился. Но был молодой, как-то стал восстанавливаться и начал постепенно ноги разрабатывать. Помню как со стулом передвигался — никаких колясок инвалидных, конечно, не было.

Играл и в шахматы. Лежал на животе. Рядом с кроватью шахматы расставляли, так я с другими ранеными играл, но пальцы еще не действовали, так что я говорил: «слона рядом с конем поставьте, а пешку на одно поле вперед выставьте». Когда три партии выиграл, желающих со мной играть больше не нашлось. Постепенно температура спала, и ожил я, и до такой степени ожил, что однажды у меня в кровати женщину обнаружили (смеется). А как дело было? Приходили к нам в

госпиталь общественницы, шефство они над нами взяли, работницы с близлежащей табачной фабрики, я тогда и курить снова начал, кстати. Да ничего у нас с ней и не было, просто лежали вместе, ну, может, поцеловались раз...

Но решили, что я оправился и можно меня в Москву в госпиталь посылать. В госпитале реампутацию сделали, снова лечить начали. Кормили нас в том госпитале плоховато, а однажды принесли селедку протухшую. Так я и мой сосед солдат, тоже безногий, только у него еще и рук не было, есть отказались, миски рядом с кроватями выставили, и ни за что. Приходит женщина, заведованием, понюхала и говорит: «А я, например, как раз с душком и люблю...» А мы: «Вот и приступайте».

В том госпитале тоже в шахматы играл. Была там офицерская палата, и лежал в ней шахматист один, сказал, что сильный, что в Москве соседом его сам Смыслов был. Сказал, просто так играть не будет, только на сигареты. Я родственников своих попросил сигареты принести. Так выигранные сигареты отдал ему потом — курите...

Провалился я в общей сложности по госпиталям полтора года, выписали меня летом 44-го домой. А куда домой? В Москве у моего дяди квартира была двухкомнатная. Он в одной комнате с семьей жил, в другой — шестнадцать метров квадратных — мы. Мы — это мама, бабушка, старший брат (с трудового фронта совершенным дистрофиком вернувшийся), да я. А я еще и женился скоро.

Стал думать, что делать. Хотел на курсы бухгалтерские пойти, но мама настояла, чтобы в институт поступал. Сама высшего образования не получила — пусть хоть дети получают, говорила.

Хотел сначала в педагогический пойти на русский язык и литературу, но уж очень далеко был институт от дома, и мне трудно было до него добираться. Так что поступил в Институт иностранных языков на английское отделение. В 46-м году родилась дочка, Лена — она до сих пор в Москве живет. Материально жили мы скверно — нужно было всю семью содержать.

С женой мы скоро расстались, хотя официально развелись позже. Была она химиком по профессии, да и дочь химиком стала. И муж у нее — химик, а я ведь химии со школьных лет терпеть не мог...

В 48-м году кандидатом в партию вступил. Понимал, что с работой у меня проблемы будут из-за пятого пункта, потому решил свою национальность несколько нейтрализовать. Про отца я в анкетах никогда не писал, но и без того с пятым пунктом тогда невероятно трудно

было на преподавательскую работу устроиться. Даже в школу. Антисемитизм и в Киеве до войны был, конечно, но не сравнить с Москвой сороковых-начала пятидесятих. Тогда такое творилось... После многих унижений взяли преподавателем в школу.

В шахматы играл, когда в институте еще учился. В 49-м полуфинал Москвы со школьными экзаменами совпал. Начал турнир ужасно, но экзамены кончились, подтянулся, на пятидесяти процентах кончил. Шахматами я тогда не занимался, времени совсем не было, на полторы ставки работал, семью чтобы содержать. Помню, показывал мне Константинопольский тетради, которые ему Исаак Липницкий присылал – каллиграфическим почерком исписанные страницы, да разными чернилами, да диаграммы на каждой странице от руки вырисованные – куда мне! Но все же усиливался, а в 50-м мастером стал, этот год вообще для меня особенный – и в партию вступил, и с женой развелся. В финалах Москвы стал регулярно играть и выступал там неплохо. В полуфиналах Союза играл, потом и в финал попал, и пять раз в финалах играл.

Не могу сказать, что воля у меня слабая была, но чего-то не хватало. Чего? Был я слишком впечатлителен, мог расстроиться из-за хода не сделанного или не замеченного и партию проиграть. Однажды играл я с Алаторцевым, вижу, могу слона пожертвовать и решающую атаку получить, но дай, думаю, подготовительный ход сделаю, чтобы наверняка. А когда Алаторцев ответил, комбинация уже не проходила, и я так расстроился, что партию постепенно проиграл. Алаторцев же комбинации той вообще не видел! А вот Корчной в том же туре не заметил, что фигуру в один ход мог выиграть, ему на сцене демонстратор об этом сообщил, так и что? Собрался Корчной и партию выиграл в конце концов.

А я в себе начинал сомневаться – варианты по несколько раз пересчитывал и уставал еще больше от этого. А здоровье-то и так не блестящим было, так что в конце турнира порой просто сыпался. Понимал, что устаю быстрее других, и старался дебют поскорее миновать: по-настоящему дебюта-то ведь не знал. К каким последствиям это приводило, можно только догадываться. И только перед моим третьим финалом страны начал я по-настоящему теорией заниматься, картотеку завел, одних ящиков – тридцать было...

И с концентрацией внимания проблемы были. Я же видел, как Бронштейн, Корчной, Таль играли. С полной самоотдачей. А я уже усталость чувствовал – начинал «плыть», другие к пятому часу ус-

тавали, а я уже на четвертом усталость чувствовал. Тогда в финалах двадцать человек обычно играло, а то и двадцать два, так что турниры больше месяца длились, к концу выдыхался очень. В одном первенстве в пятидесяти процентах стоял, может даже в плюсе маленьком, сейчас уже и не помню. Так четыре последние партии проиграл и в хвосте оказался. Да и карты ночные. Я в преферанс во время турниров почти каждый вечер играл, частенько и часов до четырех ночи засиживался, и в домино. Это ведь повальное увлечение на турнирах тогда было.

Для меня соревнования на выезде раем были: гостиница, пусть и двухместный номер, но все же. Одноместный номер только гроссмейстерам полагался, а доплачивать я себе позволить не мог. Талоны на питание выдавали на три рубля, что не так мало было. Дэвик Бронштейн, правда, говорил, что для того, чтобы нормально питаться, как минимум пять надо. Но все равно гостиница отдушиной для меня была, я туда и женщину мог привести. Случалось и до тура, все бывало... Но главное, что мешало мне, отсутствие честолюбия, все боялся высываться, вперед рваться. Травма после Киева, после того, что с отцом произошло.

Все финалы первенства страны на сцене игрались, а на сцене я чувствовал себя очень неловко, особенно если столик твой в первом ряду стоял, хотя однажды помогло мне это. В Баку в 61-м в партии с Кересом попал я под сильную атаку, а тут еще в зале кричат: «Хасин, сдавайся!» Так я напрягся, ловушку поставил, Керес в нее попался и проиграл. Расстроился он ужасно, даже партию анализировать не стал.

Я всегда настороже был и об отце, о том что дядя сидел, что родственники есть за границей, ни в одной анкете не писал. Думаю, было чувство: не высываться, не раскрываться. И я никогда никому об этом не рассказывал. У меня и жена первая ничего не знала. А дочка Анечка знает только, что дедушка репрессирован был, а что и как... Вам первому сейчас говорю. Может быть, поэтому я часто очень хорошо играл в полуфинале, а в финале много хуже, потому что — на виду. В полуфинале мотивация огромная была, а в финале чувство — я уже доказал, главное сделано.

Какой стиль был? Украинская школа? Да нет, не сказал бы. Староиндийскую играл, конечно, но потом оставил. Нимцовича играл, французскую, вообще любил менять слона на коня. Думаю, что стиль мой активно-позиционный: пассивности не терпел, но за материал

мог страдать. Бывало, пешку какую-нибудь схвачу на b2 и в глухую защиту ухожу.

За границу выезжал, когда со студенческой командой, когда на турниры, но не так часто — ведь гроссмейстеров в Союзе немало было, а я лишь международный мастер, пусть и регулярно в финалах первенства страны играющий, но все же.

Однажды должен был с Котовым на какой-то турнир поехать. Александр Александрович взбунтовался — с Хасиным, говорит, за границу не поеду, он же инвалид, придется на такси ездить, денег на это в смете нет. Так я и не поехал.

Ничьи бывало делал без игры, например, с Банником мы никогда не играли, но нарочно никому не проигрывал. Хотя... Однажды был такой случай. Играл в финале первенства страны с Петросяном, который до этого Баннику проиграл и очень удручен был. Приглашают они с Роной меня к себе, а нам на следующий день играть, и у меня — белые. Тигран жалуется на жизнь. А Рона мне помогала по медицинской части — протезы через нее заказывал, в институте у нее связи были. Нет, никакого конкретного разговора до партии не было, но партию я ему в конце концов проиграл...

Самое большое впечатление на меня Таль произвел. Когда впервые увидел его, сказал — этот мальчик сойдет с ума, либо умрет до тридцати лет. К счастью, ни того, ни другого не произошло. А что Миша Таль гений был, для меня совершенно очевидно. С ним единственным боялся играть — ни с кем не боялся, а с ним боялся. Все думал, как бы на трюк какой-нибудь не попасться, и уставал. И попадался в конце концов!

С Корчным тоже трудно было играть, ходы его угадать было не просто, да и Бронштейна тоже. Но Таль — это было что-то необыкновенное! Однажды играли мы вместе в главном турнире в Гастингсе, а Нона Гаприндашвили в побочном играла, так она перед туром спрашивала — что играет ее очередной соперник, так Миша ей партии на память показывал участников побочного турнира! Пока его соперник думал, он успевал партии всех групп обегать, да к тому же и запомнить. Невероятно! Когда он в Клуб на Гоголевский приходил, всегда просил бюллетени последних турниров и все партии переигрывал — и не только гроссмейстеров и мастеров, но и кандидатов и все на огромной скорости, но всегда на шахматной доске. Многих великих знал, почти все они были с характером трудным, иногда и откровенно плохим. Таль был исключением.

В последний раз по-настоящему я в шахматы играл в 68-м, мне сорок пять было. Доктор Малкин сказал тогда: «Запомни, Абраша, при игре в шахматы на высоком уровне происходит чудовищная амортизация нервной системы. Чудовищная!» Так и сказал. Да мне врачи еще раньше говорили — пора заканчивать с практической игрой, в вашем состоянии следует избегать перегрузок. А мы еще дочку Анечку ожидали, так что дополнительные заботы появлялись. Так и оставил игру, разве что за команду выступал, да и сейчас время от времени за клуб местный играю.

Как по переписке начал играть? Было это в 68-м году в Клубе. Зашел как-то на заседание переписочников, говорю — больше практиков привлечь к вашему делу надо, а они: «В таком случае, может быть, вам попробовать?» Попробовал. Сыграл в командном первенстве СССР за Москву на 4-й доске, набрал 75% очков. И пошло-поехало. Через пару лет гроссмейстером стал, а потом турнир, ленинскому юбилею посвященный, выиграл. Между прочим, тот посильнее кое-каких чемпионатов мира был.

В конце пятидесятых годов стал по совместительству тренером работать в Клубе на Гоголевском. Группы у меня разные были, и совсем слабые, и сильные. Гулько помню очень хорошо, пришел он ко мне, когда ему лет тринадцать было. Непоседлив был ужасно, все бегал, на другие партии смотрел. Да и играл больно быстро. Но сразу было видно — талант. Жаль, что я ему тогда внимание больше не мог уделить, но у меня ведь целая группа была. Дальше — больше, еще группа, потом еще, так оставил я свой английский и полностью перешел на тренерскую работу. Юношей тренировал, команду готовил. Надо сказать, что тренерство очень мешает практической игре. Ведь у каждого свой стиль, свой дебютный репертуар, и надо быть в курсе всего. Думаю, я тренером неплохим был. Старался ученикам своей воли не навязывать, хотя мне для того, чтобы понять, в чем суть игрока, где ошибки, надо было все партии его просмотреть, на то обратить внимание, на это, вдуматься, проанализировать. Я всех принимал, никого не отвергал, а вот Марк Дворецкий брал учеников только с очевидными способностями, с перспективой. Систему подготовки он создал отличную, спора нет, хотя Марк чрезмерно и при всяком удобном случае выпячивает свою исключительность и заслуги.

После Клуба стал в спортивном интернате на шахматном отделении работать и мне там очень нравилось — группы небольшие были, человек по шесть-восемь, и можно было уделять больше внимания

каждому. Бареев ко мне совсем маленьким пришел. Директор Юдович-младший и принимать его не хотел — ну куда нам такой, говорил, но я сказал — пусть занимается. А потом во Дворце пионеров работал. Там и дочь преподавала — она ведь международный мастер».

«Сделайте перерыв, вы ведь уже несколько часов подряд говорите, — в комнату входит Валентина Александровна, жена Хасина, — самое время пообедать, да и Анечка уже приехала». Мы убираем магнитофон.

Когда я спрашивал о Хасине его ровесников, все говорили о человеке волевым, несогнувшемся, выстоявшем. Мужественном и очень жизнелюбивом. Немало ведь было вернувшихся с войны инвалидов — растерявшихся, спившихся, сгинувших. А он, безногий, твердо стоял на земле, приняв жизнь как она есть, не хныкая и не жалуясь. Из крепкого материала скроен этот человек — сильная личность, твердый характер.

Эта жизненная сила всегда притягивала к нему женщин. Ведь женщина чувствует и характер, и энергию. И обаяние, которое он не потерял. А то, что увечье... Так, может, оно сделало его еще более привлекательным. Говорилось ведь на Руси: «Любишь своего?» — «Жалею, вестимо...»

«В Германию нас дочка, Анечка, перетащила, не очень хотели мы с женой ехать. Три раза анкеты заполняли, но не подавали, а в 2002 году решились.

Как я смотрю на то, что в конце жизни переехал в страну, которая сделал меня инвалидом? Знаете, после войны я немцев ни видеть, ни слышать не хотел. При слове «немец» вздрагивал даже. А потом как-то постепенно изменилось у меня отношение. В 65-м году играл я в турнире в Кисловодске. Там немецкий мастер Фукс играл — вроде немец как немец, симпатичный даже. Потом по переписке с Баумбахом играл, так с ним даже подружился. Когда он в Москву приезжал, всегда виделась, он и по-русски говорил. А что сейчас в Германии живу, так ведь, знаете, после войны здесь три-четыре поколения сменилось — молодые ведь к той войне отношения не имеют.

Нет, с еврейской общиной местной контакт чисто символический. Членские взносы плачу, и этим все отношения и ограничиваются. Был, правда, у них как-то на День Победы, да, честно говоря, больше надеялся партнеров для преферанса найти.

Что делаю целыми днями? Читаю. Читаю я очень быстро. По-русски — страниц сто в час, по-английски — сорок. Я Джеймса Бонда еще в России запоем читал. И немецким каждый день занимаюсь, но не дается мне что-то немецкий. По вечерам — телевизор, главным образом, русские программы. Ну, и шахматы, конечно. Партии, что под руку попадают, переигрываю. Спора нет, и Ананд, и Крамник — игроки высочайшего класса. Мне вот еще Адамс очень нравится, особенно когда он белыми играет. Но ошибки и они допускают. То эндшпиль с преимуществом не выиграют, то еще что. Но сравнивать корифеев прошлого и нынешних мне кажется принципиально неправильным. Ведь молодые у стариков учились — так и должно быть, чтобы ученики учителей превосходили. Конечно, память и физическая подготовка сегодня гораздо большую роль играют чем раньше, но талант — он всегда талант. Возьмите, к примеру, Иванчука. Или Ароняна. К тому же Аронян еще и везунчик. В шахматах ведь немаловажно, чтобы тебе счастье сопутствовало.

Первую партию за эссенский клуб сыграл в 1993 году. Они боролись тогда за выход в высшую лигу, так один ветеран местный сказал: «Я уже пятьдесят лет членом этого клуба состою, но еще никогда не бывало, чтобы ради одной партии мастера из Москвы вызывали...» Партию я выиграл, команда в следующую лигу благополучно перешла, а когда поселился здесь, так и продолжил играть за этот клуб.

Соперники у меня довольно сильные. По моим понятиям — кандидаты в мастера, а то и мастера. А уж теорию все как знают! Теперь ведь это проще, чем в наше время. В этом году решил еще играть, а потом — посмотрим, устаю очень. Вот последняя партия: хоть и выиграл ее, весь следующий день в себя приходил.

А в прошлом году начал одну партию с сильными болями. Чувствую — совсем дохожу, а тут соперник ничью предложил. Ну, думаю, боли болями, а соглашаться не буду. Партию в конце концов проиграл, и тут же с сиренами «Скорой помощи» в больницу доставили, боль ужасная, диагноз — гнойное воспаление желчного пузыря, да с какими-то осложнениями. Прямо на операционный стол положили, и операция длилась несколько часов. Потом в больнице почти месяц провел. Если бы в России дело было, то уж, наверное, не разговаривали бы сейчас с вами. Медицина здесь, конечно, много лучше чем у нас, хотя и в Германии врачи разные попадают...

За новостями шахматными стараюсь следить до сих пор. И книги *New in Chess* люблю смотреть, всякие варианты, анализы, и не потому

что сам собираюсь их применять, а потому что интересно. Между прочим, в моей жизни немало совпадений, с шахматами связанных — так, цифра 64 всю жизнь за мной следует. В Киеве жили мы в квартире 64, в Москве номер дома был 64, квартиры 364, да и сейчас в Эссене в номере телефона 64 присутствует...

Какой вижу судьбу шахмат? Как игра шахматы останутся, конечно, но на чисто любительском уровне. Какой смысл соревноваться, если компьютер все равно всех обыграет? Когда я с компьютером играю, если устану или зевну чего, так все, конец, ни одного шанса у меня нет, это не то что в клубе — там еще можно запутать, осложнить игру, а здесь и шанса нет. Потому и прекратил играть с ним. Нет, в сегодняшние шахматы не стал бы играть, если бы снова начинал. Какую профессию выбрал бы? Наверное, учителя. Языки стал бы преподавать или какие-нибудь другие гуманитарные предметы. Но уж точно не химию (смеется).

Бывает, часами ночью без сна лежу, думаю. О чем? Обо всем. О жизни и о шахматах, конечно. Анализирую вслепую, особенно если партию в клубе накануне сыграл. Как лучше мог пойти, и так и этак пробую. Ну и тот злополучный ход в партии с Алаторцевым нет-нет да и всплывет. Не идет из головы — ну что тут поделывать. Шестьдесят лет почти прошло с тех пор, так, поверите, позиция до сих пор перед глазами стоит. Ведь пожертвуй я тогда слона, может быть, и вся моя шахматная карьера, да и жизнь, по иному бы сложились...»

CARUS AMICUS

В солидных английских газетах едва ли не каждый день можно найти расширенные некрологи, посвященные совершенно неизвестным людям. В некрологах этих людей абсолютно не принимается во внимание общественное положение, которое они занимали при жизни, или их заслуги. Они интересны только своей непохожестью на других, иногда даже эксцентричностью. Хотя рассказы об этих людях печатаются на страницах траурных объявлений, смерть стоит в них где-то далеко, а похоронное настроение совершенно отсутствует. Почему надо писать слова горести и печали, когда они были такими необыкновенными людьми?

Это почти развлекательные статьи с настроением: посмотрите, какие личности жили рядом с нами. Удивительные, необычные, самобытные. Таким человеком был Сергей Николаевич Николаев.

Он родился в 1961 году в Якутске. Территория республики гигантская, население около миллиона человек. Природные условия суровейшие. Продолжительность жизни самая низкая в России, безработица, алкоголизм.

В советское время в Якутске были рестораны, куда якутов не пускали, а в общественном транспорте человек, говоривший по-якутски, мог услышать: «Ах ты образина! Говори на человеческом языке!»

Родители Николаева якуты, но якутским Сережа не владел, дома всегда говорили только по-русски. Жили в землянке рядом с кладбищем. Уже взрослым шутил: я родился на кладбище.

Философ, советовавший жить в доме, из окон которого открывается вид на кладбище, полагал, что это прочищает мысли и расставляет в жизни правильные акценты. Может быть, это и верно с философской точки зрения, но для маленького мальчика такой пейзаж оставил след на всю последующую жизнь. Вдобавок повсеместное запойное пьянство, нищета. Все запомнилось и отложилось в кубышке памяти, ведь несчастья и обиды в детстве переживаются острее, чем во взрослом возрасте, когда привыкаешь ко всему.

В семье было пять братьев, он самый младший. Порядки дома были суровые. Вспоминал: кто-нибудь из братьев сказал за столом что-то обидное, старший неторопливо доедал обед, и только потом обидчик получал отложенный штраф. Но по полной программе.

Один из братьев работал в милиции, и Сережа с детства запомнил его рассказы: как показания выбивали, протокол подписывать заставляли. Или как посадили человека и забыли, и сидит такой человек в КПЗ и сколько будет сидеть – неизвестно. Все эти истории запали в сознание, и он тогда уже знал, что с человеком можно сделать все.

Рассказывал, что у них в роду корни шаманские, языческие, что-то и на него перешло. В детстве часто болел. Когда однажды попал в больницу, пришел к нему дедушка. Последние годы старик лежа лежал на печи, но услышав, что внук любимый заболел, не говоря ни слова, оделся и из какой-то деревни далекой пошел в мороз и пургу в Якутск. Сел к кровати, долго молчал, положил руку на голову. Потом достал юбилейный рубль, оставил на тумбочке и ушел. И все – абсолютно молча, ни слова не проронил. Больше Сережа его никогда не видел, но запомнил на всю жизнь.

Самый младший, он с детства вел семейный бюджет, знал деньгам цену, все калькулировал до копейки. Взрослым состоявшимся человеком говорил о шахматистах: «Некоторые шпилеры до пенсии младенцы, а я в семь лет уже стариком был...»

В шахматы в семье играли. Играл отец, играли братья. Один и сейчас тренер по шахматам. Когда приносили «64», братья вырывали журнал друг у друга, и самому младшему журнал доставался в последнюю очередь. Бывало: маленький Сережа выходил в пятидесятиградусный мороз на улицу и дожидался почтальона, чтобы первым завладеть весточкой из другого мира: волшебным текстом с фигурками на диаграммах.

Занимался в кружке, в двенадцать лет получил первый разряд. Летом 1976-го, когда Карпов приехал в Якутск, выиграл у чемпиона мира в сеансе одновременной игры. Ажиотаж: фотографы, журналисты. Радио: скажи несколько слов. Мальчик поразил всех: остался совершенно спокойным, даже равнодушным. Уже тогда умел держать эмоции под контролем. Стал кандидатом в мастера. Окончил школу. В институт поступать поехал в Ленинград.

Не знаю, какие чувства испытывал Сережа, оказавшись в городе на Неве. Не думаю, что как фольклорный житель Севера, впервые увидевший Медного всадника, он тоже принял его за Старшего милицио-

нера; по каким-то соревнованиям в России Сергей уже поездил и кое-что повидал. Но контраст с Якутском был, конечно, разительный.

Поступил в Торговый. Чтобы профессию получить, но главное, чтобы к раздаче ближе быть: уже тогда прекрасно понимал рычаги системы. Учился на пищевом факультете. Жил в общежитии, потому что-то снимал.

Нередко молодые люди, приехав в северную столицу из далекой провинции, терялись в непривычном ритме, соблазнах. Многие отчислялись уже с первого курса с негласной формулировкой «не справился с городом». Рассудительный не по годам Сергей был далек от всего этого, да и на способности жаловаться было грех.

Как и многие шахматисты, ложился поздно, просыпался обычно в двенадцать, под звуки передачи «В рабочий полдень». Порой название предмета узнавал только в день сдачи экзамена. Однажды пришел в институт, предмет – «Молоко». Сдал, конечно.

Знавшие его по тому питерскому времени, говорят о молодом, приятном в общении человеке, дружелюбном, приветливом. Помнят прогулки по Невскому, Васильевскому острову, Петроградской стороне. И бесконечные разговоры, разговоры: время тогда ведь еще не было деньгами.

Постоянно играл в питерских турнирах. Стремился к совершенствованию. Сергей Ионов, немало общавшийся тогда с Николаевым, вспоминает слова Сергея: подниму любую подготовку. Но фанатиком не был, говорил, что шахматы очень сложны, что от длительных занятий устают очень. Уже тогда производил впечатление человека необычного, не такого, как все.

В обществе, где требовалось только верить и поменьше рассуждать, пытался думать самостоятельно. Когда в 1983 году весь мир возмущался сбитым южнокорейским пассажирским самолетом, а СССР твердо стоял на своей, шпионской версии происшедшего, Сергей осуждал точку зрения властей. Но все это в своем кругу, диссидентом он никогда не был.

После окончания института вернулся в Якутию. Молодой специалист стал заместителем заведующего отделом в министерстве торговли республики. В шахматы продолжал играть, стал мастером. В 84-м выиграл первенство всесоюзного «Спартака», хороший мастерский турнир. Трижды стал чемпионом Якутии. Команда республики, в которой неизменно играл на первой доске, занимала высокие места в российских соревнованиях. Говорил: «Не думайте – этот матч важный, я должен победить во что бы то ни стало. Представьте, что играете в

личном турнире. Не переживайте за других, каждый играет свою партию». Слушались его стар и млад.

Подошла перестройка. Когда появилась возможность выезда, одним из первых начал играть в заграничных опенах. Знал, в каком посольстве визу выдадут в тот же день, а какое следует стороной обходить, составлял маршруты, сравнивал цены на билеты. Круг знакомств был обширнейший. Сергей знал множество шахматистов, его тоже знали все, уже тогда нередко обращались за советом.

В венгерском Харкане стал международным мастером, выиграв турнир и перевыполнив норму на полтора очка. Если был в ударе, мог обыграть и приличного гроссмейстера, но если игра не шла – уходил в минус, когда и глубокий. За доской был невероятно хитер, знал, что и с кем играть. В шахматном мире его так и звали: Хитрый Николаша или Якут Николаев.

Тогда все возили с собой записи вариантов, собственные анализы. Ничего похожего у Сергея не было; понимал, конечно, что без теории, без черновой работы не обойтись, но главным считал энергетику. Говорил, что теория пусть и важна, но составляет не более процентов тридцати-сорока успеха, остальное – иррациональные факторы. Утверждал, что связь между игроками есть, что сам может воздействовать каким-то образом на соперника.

Колоссальная самоотдача его поражала: в каждую партию он вкладывал всего себя. Говорил: надо чувствовать себя, свой день, если есть внутреннее чувство, следуй ему, играй до конца! Приводил в пример Иванчука: если у него чувства этого нет, быстро свертывает игру, и цвет здесь никакой роли не играет.

На турниры выезжал как на праздник. Деньжата водились: в гостинице заказывал лучший номер; в ресторане на цены особого внимания не обращал. За едой любил поговорить, вразумлял, как надо жить, что делать.

Учил во всем видеть положительную сторону: «Надо легче переживать поражения, легче. Вот ты говоришь – проиграл. Надо стараться даже избегать слова “проиграл”, ну говори хотя бы – уступил. Уступил звучит не так трагично. А в общем-то в том, что проигрываешь, тоже прок есть: скорее кожа задубеет...»

В то вихревое время – конец восьмидесятых годов – шахматной темой разговоры не ограничивались. Умы занимали совсем другие про-

блемы, все тогда казалось внове. Коллеги вспоминают, что многое из говорившегося тогда Сергеем, казалось им совершенно невероятным. Мог сказать мастеру, приехавшему на заграничный опен из российской глубинки: «Дурак, скоро из магазинов все исчезнет, закупай картошку, муку, что ты о высоких материях мне излагаешь, о рейтингах, а о детях ты позаботился? О семье? Ты что, считаешь, все время так будет? Это сейчас билеты на самолет копейки стоят, лафа кончится и очень быстро, любой опен в Европе станет рискованным крайне, невыгодным попросту. А продукты скоро вообще будут дороже, чем одежда...»

Переглядывались: поездки на турниры казались всем очень прибыльными, да и то: сто долларов в месяц были тогда вполне приличной суммой, а тысяча — так вообще... «Что такое Якут несет, ведь полная же ахинея», — думали про себя, а потом вдруг убедились — точно! Все, что говорил Сергей, и случилось.

В то сумбурное время опены были наводнены шахматистами из Советского Союза. Сергей Николаев тоже поехал тогда по Европе: Чехословакия, Польша, Югославия, Венгрия, Франция, Германия, Голландия.

В январе 1990 года во время традиционного фестиваля в Вейк-ан-Зее ко мне подошел невысокий молодой человек с раскосыми глазами и широкими скулами и застенчиво представился: Сергей Николаев. Помню, сказал ему еще, что у меня в Париже знакомый есть, тоже по фамилии Николаев, представляющийся всегда: «Николаев, убийца Кирова». Посмеялись.

Хотя Сергей уже немало поиграл в заграничных опенах, в Голландию попал впервые. Границы страны, десятилетиями запертой на замок, открылись только недавно, и немало шахматистов, впервые получивших возможность выехать за пределы Советского Союза, интересовались теми ли, другими возможностями, о чем-то просили меня. Николаев ни о чем не просил, пожалуй, даже не задавал вопросов, но разговор наш запомнился. Он как бы окружал, обволакивал собеседника, и уже тогда я ловил себя на мысли, что вынужден подстраиваться под его манеру мышления. Запомнилась и какая-то аура, исходившая от всего облика его. Не почувствовать этого было нельзя.

Через несколько лет мы встретились опять, на этот раз в Амстердаме, виделись не раз в Москве, потом снова встречались в Голландии.

Многое из наших разговоров стерлось из хард-диска памяти, а бэ-капы у меня, понятно, и в мыслях не было заготавливать. Помню, что говорили мы о медицине, о питании, о возможностях человеческого организма, о разнице между Россией и Западом. Но в первую и главную очередь это были разговоры о шахматах и шахматистах.

Сергей имел на все собственное мнение и горячо это мнение отстаивал. Порой слова его вызывали недоверие, а то и усмешку. Случалось, собеседники многозначительно переглядывались, когда он излагал свои идеи. Признаюсь, похожие чувства бывали и у меня. Бывали. Я далеко не всегда соглашался с ним, что-то вызывало отторжение, даже неприятие, но скуки не было. Этот не похожий на других человек думал. Думать ведь дело вообще трудное, большинство вырабатывает другие привычки, но Сергей Николаев постоянно думал. Думал и делал выводы.

Ему было тесно в рамках той системы: мозг его постоянно прокручивал различнейшие комбинации: как квартиру обменять? Как добиться гранта в Якутии? Как прописку московскую получить? Как на нужных людей выйти? И сложнейшие многоходовые варианты мог сплестать в условиях того фантазмагорического государства.

Приезжая в столицу из Якутска еще в советские времена и будучи вхож в закрытые магазины, депутатские столовые, говорил Игорю Лемперту: «Ты не знаешь, какая там жизнь. Они понятия не имеют, как живут простые люди, там другие цены, все другое. В столовых блюдо несколько копеек стоит, да такое блюдо, что тебе и не снилось. У них свои деньги, свои расчеты, свои машины, все свое. Им так хорошо, что если им говорят, что у кого-то не хватает чего, они просто не понимают, о чем идет речь...»

Произошла реорганизация Министерства торговли Якутии, Николаеву предложили поехать торговым представителем в Белоруссию, но, поразмыслив, он отказался. Еще чаще, чем раньше, стал бывать в Москве, потом и окончательно перебрался туда.

Когда все забурлило вокруг, решил попробовать сделать что-нибудь сам. Начал с шахмат, с организации турнира в подмосковном Подольске. В турнир пригласил гроссмейстеров: Юдасина, Савона, Мурья, Игоря Зайцева, Кнежевича. Нашел спонсоров, договорился о проживании в каком-то санатории, сам встречал всех в аэропорту.

На дворе стоял 1991 год, Советский Союз вступил в последние месяцы существования, в стране была острая нехватка всего, но Никола-

ев предусмотрел каждую мелочь. Кто-то из сотрудников клуба в буфете чай и кофе разливал, кто-то накладывал бог весть откуда взявшиеся пирожные, кто-то рулоны туалетной бумаги скручивал.

Он и сам играл в Подольске. Мало ли было тогда турниров, делавшихся под организатора, чтобы угодить ему или по крайней мере не обидеть. Сергей никого ни о чем не просил и поблажек для себя не ждал. Пытаясь совместить игру и каждодневные хлопоты, сыграл провально. Но турнир получился, и Николаев решил продолжать свои шахматные проекты. Какую-то госпрограмму задумал в Якутии, учебник шахмат для северных народностей, начал привлекать к этому проекту гроссмейстеров, мастеров. Хотел вывести шахматы на телевидение.

Евгений Бебчук, тогда президент РШФ, нашел контакт с Хасбулатовым, тот выделил деньги на шахматы, и Бебчуку удалось провести несколько турниров. Но подошел 93-й год, Хасбулатов попал в немилость, помощь прекратилась.

Сергей понял тогда, что если останется в шахматах, всегда будет зависим от спонсоров, от высоких начальников, от конъюнктуры. К тому же, перевалив за тридцать, ясно осознал: сам не может зарабатывать деньги игрой, время его прошло.

«В юности, — говорил, — нередко показываешь высокие результаты, но это только авансы, и авансы эти надо потом отрабатывать. Результаты должны улучшаться. Если это не получается, если топчешься на месте, самое разумное — уйти».

Николаев ушел из шахмат.

Всю жизнь жестоко нуждавшийся Маркс писал Энгельсу, регулярно помогавшему ему материально: «Если бы я знал, как начать какой-нибудь бизнес. Теория вся сера, дорогой друг, и только бизнес зелен. К сожалению, я понял это слишком поздно».

Не уверен, был ли Сергей Николаев знаком с этим горьким признанием автора «Капитала», но решил попробовать себя в деле. Тем более что время было горячее, заря рыночной экономики, и он почувствовал — момент.

Какие-то связи у него оставались еще со старых времен: добился льготных кредитов, вышел на рынок, создал частную структуру. Скупые слова, но сколько за ними поездок, переговоров, размышлений, встреч на самых различных уровнях в суматошной, сумасшедшей атмосфере тех дней, когда легко было оступиться, сделать ошибку, пропасть.

Деньги пришлось занимать под проценты невероятные: пять-десять процентов в месяц были тогда совсем не в диковинку. Но и прибыли давали огромные: ни о таможенных пошлинах, ни о налогах тогда никто и не слыхивал. Понимал превосходно и повторял не раз, что долго продлиться все это не может, что время сейчас золотое. Но наличия капитала было недостаточно, необходим был контакт с людьми самого различного спектра, когда и криминального. Тонкий психолог, он умел найти подход к каждому.

Работал неимоверно много. Работал и учился. Учился всему сам, был, что называется, *self-made man*. Недосыпал. От шахмат тогда совсем отошел, даже доски с фигурами дома не было. Но время для чтения шахматной периодики выкраивал, старался быть в курсе дел мира, частью которого много лет был сам.

Выбирая направление бизнеса, остановился на самом нейтральном, дажена первый взгляд смешном: пуговицы. Но и прицел был далекий: «Что бы в мире ни произошло, – говорил, – женщина всегда одеваться будет, и пуговицы всегда будут нужны».

Продажи шли через ателье, швейные фабрики, магазины. Сначала в Якутске, потом в других регионах. Дилеров набирал главным образом среди знакомых. Много ездил. И не только по России: завязался бизнес с Дубаем. Сначала были обычные «челночные» рейсы, когда покупалось и продавалось все, потом перешел на фурнитуру. После Дубая начался бизнес с Тайванем, Китаем, Италией.

В Москве начинал с переходов в метро. Нанял девушек, сам привозил им пуговицы огромными мешками. Девушки продавали их поштучно. Говорил загадочную фразу: «Понимаете, девочки, я не еврей, я просто сочувствующий...» Девушки хлопали глазами, но товар шел бойко.

Что ж, не он один начинал так. Кто-то продавал пуговицы в переходах московского метро, другие, как Абрамович, детские игрушки. Сергей знал, конечно, что существуют иные сферы, где доход несоизмерим с пуговичным бизнесом, но получение прибыли в тех сферах связано с огромным риском. Риском потерять не только бизнес, но и жизнь. И на десяток-другой поднявшихся приходится множество сошедших с дистанции, оступившихся, сгинувших. А он со своими пуговицами, нитками, фурнитурой – остался. Остался и стал одним из крупнейших поставщиков этой продукции в стране. Хозяином одной из ведущих компаний на российском рынке.

Говоря о собственном деле, предпочитал выражение «швейная фурнитура», одно время бизнес назывался даже ООО «Центршвейфурни-

тура». Сергею это сочетание очень нравилось, говорил, что здесь есть что-то центровое, государственного масштаба, такое люди ценят.

Он провел в шахматах добрых два десятка лет, знал эту среду как никакую другую, что ж удивительного, что на фирме у него работали в основном шахматисты.

Не помню уж кто рассматривал влияние незаурядной личности как влияние-слагбаум или влияние-трамплин. Трамплином оказалось общение с ним для тех, кто, уйдя из шахмат, решил попробовать себя на другом поприще.

Ребят, начинавших с Николаевым, приятели называли «пуговичники», но их это мало трогало. Да и обращать внимание на что-либо времени не было: работать приходилось с полной выкладкой.

Сам Николаев работал без всяких графиков и расписаний, работа «от и до» была не для него. Схемы, бизнес-планы, графики развития высмеивал. Если советовали завести все это, только пожимал плечами: «Прочитал “Мурзилку”, – говорил, – и мне что-то объясняет. А жизни и не знает».

Проводил параллель с шахматами. Вспоминал, как анализировал однажды в чигоринском клубе с Черепковым ленинградский вариант Голландской защиты: «Подошел к нам молодой парень и начал что-то из “Мурзилки” Александру Васильевичу показывать. Нашел кому показывать! Так и здесь...»

В 1995 году на фирму пришел Михаил Жидков. Сергей всячески опекал Жидкова, учил, называл Сыночка, Ребенок.

Жидков вспоминает: «Когда он в очередной раз назвал меня Сыночка, я сказал ему в ответ – Папа! Так и стал называть его – Папа или Якутский Папа, да он и был для меня как второй отец. Скоро его стали называть Папой все на фирме. Порой Сергей бывал и строг, я обижался на него, дулся, а он говорил: “Ты со мной такие университеты проходишь, Стэнфорд отдыхает!”. Я относился к речам его довольно скептически, а прошло лет пять – и понял, как много перенял от него, как многому научился. Да и не я один ...»

Фирму создавал во многом по японским принципам. Если принимал кого-нибудь на работу, это было похоже на пожизненный найм. Конечно, ребята, приходя в офис, не пели гимн фирмы, но все, кто работал у Сергея, должны были быть лояльны фирме абсолютно, жить ее интересами. Много больше, чем в любой другой, где, закрывая за

собой дверь в шесть вечера, сотрудник забывает обо всем до следующего утра.

Повторял не раз: в бизнесе очень важно доверие, но хотя со стороны могло показаться, что Сергей всем и во всем доверял, ничто не проходило мимо его внимания. Бумажек для него не существовало. Отчитаться после поездки, билеты представить, счета за гостиницу — все это было не по нему. Человек тратил столько, сколько считал нужным, потом ему лично сообщал о расходах, и вопрос закрывался.

Кто-то обижался, другие говорили, что Папа не хочет заниматься бизнесом, как это принято. Бухгалтер ворчал: «У всех фирмы функционируют по законам коммерции, а у нас по законам Папы». Но смирялся с манерой ведения дел шефа: «Папу не переучишь, у него вместо документации собственный, азиатский подход».

Беседы при приеме на работу могли длиться неделями. Бывало: приходил специалист дипломированный со знанием языка. Здесь нужно было решение принять быстро, ведь фирма не единственная, но у Сергея это было попросту невозможно. Он не только расспрашивал, где работал человек раньше, но интересовался семьей, как живут, где. Потом назначал новую встречу. И еще одну. И еще.

Сказал однажды, что берет на фирму нового сотрудника и имя его назвал. Понятно, размышлял об этом, сведения о нем собирал, все прикидывал. Друзья, знакомые с его привычками, тут же спросили: «А сам-то он знает об этом?» «Конечно, нет», — засмеялся Сергей.

Редко говорил прямо, все больше притчами, иносказаниями. Не договаривал, считал: если человек соображает, сам обо всем догадается. Было это непросто. Если даже те, кто общался с ним на протяжении многих лет, не всегда до конца понимали его, можно представить, каково было только недавно поступившим на фирму.

Вспоминает международный мастер Игорь Белов, работавший с Сергеем с самых первых дней, а знавший еще дольше: «Он генерировал идеи, непрерывно генерировал идеи, нередко настолько блестящие, что они с гениальностью граничили. На работе его зачастую так и звали — Гений. Многие вещи Сергей чувствовал интуитивно, но методически все разложить по полочкам, объяснить не мог. “Разберись сам”, — говорил, а задачу сформулировать толком не мог. Интуитивно чувствовал, а как и что... Нередко бывало: человек, которому он идеи свои излагал, не мог его понять, но поняв — восхищался. И я многие вещи не понимал, только сейчас вижу, что опередил он время лет на пять, а то и на десять. Но и признать надо: далеко не все идеи были

замечательными. Я сказал бы, что из десяти предлагаемых им — пять были далекими от реальности, когда и нелепыми, четыре — превосходными, но одна — одна была гениальной!»

Постепенно компания расширялась, но особенно раздувать ее не хотел — человек тридцать, сорок — не больше. Ну и представители на местах. Прекрасно знал каждого и не только в Москве работавших. Память была потрясающая, держал в голове все: характеры людей, их слабости, имена, часто сложнейшие. Знал, что для человека самая сладкая музыка — звуки его имени, и клиенты прямо млели, когда он приветствовал их с обворожительной улыбкой: «Здравствуйтесь, здравствуйтесь, Марсель Утамишевич (Фарида Зариповна, Мансур Харисович). Как поживаете? Давненько, давненько вас не видели...»

Однажды на таможне не сошелся во мнении с чиновником о стоимости получаемого груза. Офицер не хотел пропускать груз по столь низкой цене за килограмм, и тогда Папа задал решивший дело риторический вопрос: «Мы что, Чубайса кормить будем, или сами разберемся?». Впоследствии коллеги Сергея не раз задавали тот же вопрос инспекторам ГАИ с неизменным успехом.

Помимо газет, просматриваемых ежедневно, читал философскую, медицинскую литературу, религиозную, эзотерическую. Особое место в его жизни занимал Восток. Очень интересовался восточной философией, медициной, безлекарственными методами лечения.

Обработка информации, умение отбросить сор, выделить главное, было любимым занятием. В машине штудировал литературу розового потребления: «Коммерсант», «Известия», пару других газет, дабы посмотреть на проблему с разных точек зрения. Детально изучал «Ведомости» — скучную информативную газету. Прочитывал ее основательно, три-четыре ключевые фразы подчеркивал или кружком обводил. Газету потом сотрудникам на стол клал, обратите внимание, мол, подумайте, о чем здесь речь идет, смекните, какие могут быть последствия из этого для фирмы.

Говорил: в правительстве принято такое-то решение, необязательно напрямую с бизнесом связанное, но делал выводы: следует сделать то-то и то-то. Бывало: предложения его дикими казались, но прошло полгода, год и точно — почти всегда случалось им предсказанное.

Сказал однажды: «Обратите внимание на сообщение чиновницы какой-то важной в Министерстве финансов. А смысл в том, — перевел

Николаев ее слова на общепонятные, – что пенсионеров теперь очередных благ лишат, а ее еще орденом наградят». И наградили-таки!

Не знаю, был ли Николаев знаком с формулой Эпикура: «Безопасность от людей достигается с помощью богатства и силы, на которую можно опереться», но жил, следуя этой формуле. Равно как и другой сентенции греческого философа: «Живи незаметно». Советовал ребятам: «Если уж хочешь шикавать, так лучше за границей костюм дорогой пошей, хотя здесь никто этого даже и не оценит... А весь этот внешний лоск, показуха, это не нужно, это все – пустое».

Поначалу у него была «Волга» и он долго не хотел ее менять, даже когда эта марка автомобиля стала редкостью. Сохранив невзрачный вид машины, решил сделать ее комфортабельной изнутри. Затеял даже ремонт, превышающий стоимость нового автомобиля, но потом перешел все-таки на иномарку.

Немецкий мастер Дирк Полдауф, неоднократно встречавшийся с ним в России и в Германии, вспоминает, что не имел никакого представления, какого рода бизнесом занимался Николаев. Я узнал, что бизнес его пуговичный, чисто случайно. Рассказал ему однажды, как шофер такси в Гааге, с которым разговорился в пути, спросил меня, откуда я родом. Никогда не любя подобного рода вопросов, я всегда спрашивал в свою очередь – а как вы сами думаете? И на любую догадку – Греция? Италия? Турция? – тут же отвечал утвердительно, поражаясь проницательности спрашивающего. Но шофер показался мне симпатичным, и я сказал правду.

«Я знаю по-русски только одно слово...» – задумчиво протянул таксист. За этой, не такой уж редкой фразой, обычно следовало что-нибудь типа «спутник», «йа тебя лублу», «пóгром», «морошное» или что-нибудь из генитального лексикона. Но тогда было по-другому: какая-то нежность набежала на лицо пожилого таксиста, и чему-то мечтательно улыбаясь, он произнес слово «пу-го-вичка». Не дожидаясь моих расспросов, рассказал, что в конце войны оказался где-то в южной Германии на ферме, где работали и украинские девушки, одну из которых звали Олена...

Сергею понравился мой рассказ и, повторив пару раз «пу-го-вичка», он сообщил о роде своих занятий. Этим и ограничилось. Николаев тут же перевел разговор на другое, да я и не любопытничал.

Общий стиль был – избегать публичности, не выделяться, не высовываться. Он и жил по этой старой зэковской заповеди: не высовываться. На

его визитных карточках имени не было; адрес фирмы, номера телефонов, факсов, электронная почта – всё. Паблицити чурался, фотографироваться крайне не любил, убегал от фотографов. Потому и остались после него только любительские фотографии, да и тех с гулькин нос.

Проницателен был невероятно. Проницателен до прорицания. Это был не просто взгляд опытного моряка, умеющего по приметам предсказать погоду, здесь что-то другое было. Как назвать это чувство? Дар? Талант? Интуиция врожденная? Поневоле приходила в голову мысль о шаманских корнях его.

Когда спрашивали, как это ты все предугадываешь, только улыбался загадочной улыбкой: «У меня сердце-вещун...» Как канарейка в шахте отчаянно машет крыльями, предупреждая о чрезмерной концентрации метана, так и он – опасность чуял за версту

Однажды рано утром приехал в офис: «Как дела с банком Х?» С этим банком фирма много лет работала. «Да ничего вроде... А что?» «Да я всю ночь не спал, чувствую, что-то там не то. Не то».

Тут же связались с банком. Так и есть: приостановилась выплата – банк рухнул. Помчались с сотрудниками в главный офис. Женщину, банковского менеджера, все обступили, разгорячены, и ругань идет, в выражениях не стесняются, кое-кто и матерком обкладывает. Та озирается, прямо зверь затравленный. Папа подошел к ней, осторожно взял за руку, погладил: «Устали вы? Я все понимаю, это ведь не ваша вина, разве в вас лично дело, вы-то при чем здесь? Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь...» Уходя, сказал как бы между прочим: «Если будет у вас возможность, дайте нам знать, пожалуйста, но главное, не волнуйтесь, успокойтесь...» Не успели в офис вернуться, звонок от нее: где-то в Голландии сохранился у банка счет, можете оттуда все получить. Сумма была немалая, и фирма, единственная из клиентов банка, ничего не потеряла.

Когда еще в Якутске в Министерстве торговли работал, бывало: принимал проверяющего из Москвы. Проводил до этого целое исследование: что любит человек, к чему слабость имеет. Встречал у трапа самолета, тут же машина, да утепленная, как не оценить в мороз пятидесятиградусный? А в машине мелодии любимые высокого чиновника раздаются, музыка тихо играет. Между делом заводил разговор о том, какую еду тот предпочитает. В гостинице – номер лучший, утром на завтрак – яичко в мешочке, каша геркулесовая, сок морковный, прямо как дома.

Когда уже хозяином фирмы стал, приехали однажды из глубинки далекой с заказом на полмиллиона. Сергей их сам в аэропорту встретил, машину в полное распоряжение дал, вечером — ресторан, прием роскошный по полной программе. На фирме удивляются: «Зачем ты это все делаешь? Какой нам прок от них?» Только взгляд короткий метнул: «А кому, вы думаете, они заказ свой отдадут? Да им после такой встречи с конкурентами нашими просто неудобно встречаться будет...»

Фейсконтроль был замечательный. Бывало, приходил вполне респектабельный, солидный на вид господин. Сергею достаточно было поговорить с ним четверть часа: «Клиент пустой как барабан, планы строит, да толка не будет никакого, только шум и пыль». А вдруг пришел кто-то совсем невзрачный и двух слов связать не может. Едва взглянул на него: «Надо дать, сколько просит...» Он и сотрудников своих обучал присматриваться к людям, оценивать их, да разве такому научишь?

Дни рождения на фирме справлялись, все собирались, поздравляли именинника, потом прямо на работе отмечали. Дни рождения всех, кроме самого Папы. Да и не любил он этого. К тому же в паспорте у него стояла одна дата, в действительности была другая, сам утверждал, что по-настоящему родился, когда избежал смерти, чудом не утонув. Была вроде еще какая-то — четвертая...

Хотя обожал дарить, сам ничего получать не любил. Если кто-то по незнанию пытался ему подарок сделать, первая мысль была: чего-то хотят. Чего? Пусть не сейчас, не в этот день, пусть с дальним прицелом, но чего-то хотят.

В подозрительности, недоверии, случалось и перебарщивал. Однажды шахматисту сильному предложили квартиру в другом городе, тот согласился, переехал и квартиру действительно получил. Николаев удивлялся такой доверчивости, рассказывал о собственном случае еще из советского времени, когда какой-то начальник тоже предлагал ему переехать и жилье достойное обещал.

«Подумал я тогда, — вспоминал Сергей, — это мне-то? С чего бы? Нет, здесь что-то не так. Подвох какой-то...» И отказался. Убежден был, что хотят обмануть, обвести вокруг пальца, облапошить.

Говорил: «Заблуждаемся мы не потому, что не знаем, а потому, что воображаем себя знающими. Рассуждаем тут, как доллар поднимется. Или опустится, наоборот. Всяческие планы строим. А все решает Вашингтон...»

Несмотря на публикуемые обнадеживающие цифры, смотрел на экономику страны с пессимизмом. Видел резкое расслоение в России на очень богатых и очень бедных, полагал что такое расслоение в будущем станет еще заметнее.

Стоимость машины, на которой жена Грызлова, преподаватель в институте, на работу приезжала, оценивал тысяч в полтораста долларов. Комментировал: «Вместо того, чтобы призывать с коррупцией в стране покончить, пусть со своей семьи начнет...»

Все финансовые приемы изучил досконально, разбирался во всяких маржах, фьючерсах, деривативах, опционах. Но от биржи держался подальше, считал акции чистым обманом. Обожал истории про швейцарские, американские банки, как те начинали, с чего капитал нажили.

Читая книги состоявшихся людей, как они удачно по жизни идут, как им все удается, всегда интересовался первоначальным капиталом, хмыкал: «Честно можно заработать только три вещи: мозоли, грыжу и долги. Хотелось бы еще узнать – откуда дровишки? Маленькая деталька, конечно, но умалчивается. Дровишки-то откуда?»

Любил историю об удачливом бизнесмене, купившем пару яблок за двадцать центов, очистившем их, продавшем очищенные за сорок, на эти деньги купившем четыре яблока, снова очистившем, снова продавшем: короче, так бы и чистил яблоки, если бы дядя Билл не умер и миллион не оставил!

Рассказал ему однажды о любителе шахмат и меценате Йопе ван Остероооме. «Бизнес, Генна, – элементарная вещь, – заметил как-то голландец, – купил за два, продал за пять, вот тебе и весь бизнес. А шахматы – так сложно, там столько всего есть...»

Зная, что Йоп из семьи очень среднего достатка, спрашивал у голландского мультимиллионера: «А откуда взять-то эти два, чтобы их в пять превратить?» И удовлетворялся ответом: «Как откуда? Заработать, я сам их и заработал», – и разговор снова переходил на коней и слонов, распоряжаться которыми, по мнению ван Остерооома, много, много труднее, чем скучная аккумуляция капитала. Слушая этот рассказ, Сергей только недоверчиво морщился и качал головой.

Стратегию фирмы определял сам, но особо долгих планов не строил. Случалось, клиент в офис приходил, картины рисовал: завтра, через три года, в будущем... «Завтра, через три года, – говорил Сергей, когда тот уходил, – а что завтра? Завтра я умру...» Советовал коллеге: «Ну что ты с этим проектом носишься? Представь себе луг, пасутся по нему коровы,

ты выбрал одну. Всем она хороша, и красавица, и вымя у нее отличное, а выручка от молока ниже, чем затраты на ее содержание, несмотря на все красоты ее. Отпусти ее, пусть себе гуляет, найди другую...»

Мышление его было сугубо конкретным: он обозначал проблему и искал решение в данный момент, в этих обстоятельствах. Скороспелых решений не принимал. Мог долго ждать, чтобы эмоциональная реакция не навредила, а потом делал, что считал нужным. Рациональность и целесообразность ставил во главу угла. В последнее время и спокойствие.

Сказал мне однажды, уже не помню по какому поводу, но слова передаю точно: не нужно суетиться, все это не имеет никакого значения. Все это чепуха, не принимайте все так близко к сердцу. Вы думаете, я не вижу, кто честный, а кто менее, не вижу, когда кто-то для себя пытается кусочек урвать, меня надуть пытается, думаете, не вижу? Вижу, вижу все очень хорошо, но внимания никакого не обращаю. Знаю: у человека есть плюсы и немалые, а если ему так лучше, так и пусть. Пусть. И вам — спокойнее надо жить, спокойнее...

Кое-кто советовал: «Не развиваешься ты, Сергей, а нужно вверх идти, рынок расширять, на новый уровень выходить...» Такие советы пропускал мимо ушей. Знал, что стремление не отстать от других — один из вернейших способов лишиться себя если не счастья, то спокойствия уж точно.

В отличие от накопивших состояние, невозможное истратить в жизненный срок, но продолжающих работать по десять-двенадцать часов в сутки, не дал загнать себя в порочный круг делания еще большего количества денег. И еще. И еще. Чувствовал, наверное, и коварство их, норовящих подчинить себе всю жизнь, заменив собою все радости ее. Но знал и, что деньги свободу охраняют, что нищета с ее лишениями унизительна, делает человека зависимым. Знал это как никто другой.

С детства рассчитывал только на свои силы и верил в себя безгранично. Обладал даром убеждения, говорил: «Я могу обосновать любую точку зрения. Любую». Друзья, вспоминая его, говорят, что духом он был сильнее каждого из них, может быть, добавляя, сильнее нас вместе взятых.

Все хвори старался переносить на ногах, полагал: нельзя лечь — потом не встанешь. В офис порой приезжал — через не могу. На работе старался вести себя, как ни в чем не бывало, чтобы окружающие ничего не замечали.

Во время августовского дефолта 1998 года, когда рубль обвалился в один день, был единственным на фирме, панике не поддавшимся. На общем собрании объявил о своем решении: зарплата в долларовом исчислении у всех остается такой же. И раньше, конечно, безграничным уважением пользовался, сейчас же связь всех с Папой, с фирмой стала еще прочнее. Ведь если бы начал платить в четыре раза меньше, как поступили почти всюду, никто слова бы не сказал, а тут...

Работали тогда, не обращая внимания на время, ведь Сергей мог и поздно вечером позвонить, а то и ночью. Мог и в шесть утра сам в офис приехать. Всяко бывало. И уже через пару месяцев дела снова пошли в гору, да еще как! Николаев все просчитал, понял, что вьетнамцы и китайцы без фурнитуры не обойдутся, на продукцию все равно спрос будет.

Людей к себе подпускал с трудом, если человек был ему не по душе, избегал даже встречи с ним, ставил, как сам говорил, блок. Но если кого-то другом считал, мог сделать все. Приехать ночью, выручить деньгами, лекарства редкие достать, с нужными людьми свести, советом помочь. Мог и малознакомому, а то и вовсе незнакомому помочь. Но альтруистом и добряком не был, деньги очень даже умел считать и безрассудно никогда ничего не дарил.

Дистанцию умел соблюдать, не амикошонствовал. Если для всех, знавших его еще из шахматного мира, оставался Сергеем, для вновь поступивших на фирму был уже Сергеем Николаевичем. Был доброжелателен, но не сентиментален. В офисе мог разговаривать жестко, и наряду с огромным пиететом к нему не могли не появляться у подчиненных его и какие-то зазубринки на эго, и зависть: человеческое, все очень человеческое. И как бы ни было велико чувство благодарности, где-то бессознательно брезжило: пусть щедрый, пусть замечательный, но — азиатчина, оленевод, степной кочевник. Чукча, а смотри — как пошел...

В какой пропорции эти чувства присутствовали наряду с благодарностью и признательностью, можно только гадать. Если, вспоминая Николаева, шахматный журналист, хороший знакомец его, очень к нему расположенный, писал, что во время разговора с Сергеем мысль мелькала: «Знает же Якут, где надо жить в Москве!» — что же думали о нем те, кто видел его каждодневно, работал у него?

Предпочитал хорошие новости сохранять для себя, для своих: зачем расстраивать человека, похваляясь успехами? На вопрос — как

дела? — всегда отвечал, что неважнецки: «Такие проблемы невероятные, как выберусь из этой ситуации, просто ума не приложу....»

«Крехать надо, крехать», — поучал ребят. И не зарываться, знать свое место. Анекдот любил о концерте по заявкам, в котором рабочий Иванов заказывает любимую песню «Валенки». Раз, другой, третий. В четвертый просит исполнить фа-минорную фугу Баха. Ведущий: «Не вы...тесь, товарищ Иванов, слушайте свои “Валенки”». Так и ребятам повторял: «Не вы...тесь, знайте свое место и “Валенки” слушайте».

Объясняя отношения в бизнесе, мог вставить один-другой термин, заимствованный из половой сферы. Редко, но всегда к месту, и уж точно — не в присутствии посторонних.

Говорил: «Фамилии человеку зря не даются. Возьмем, к примеру, — Богачев, Скоробогатова, Коровкин... Какие хорошие фамилии! Или вот вьетнамские: Буй Куок Хай, Нгуен Хонг Хай — прямо душа радуется. А как услышишь — Копейкина, Пустовая, Парская, сразу насторожишься. С такими надо быть оч-чень внимательными!»

Словцо красивое любил. Однажды кто-то начал: «Вот наши конкуренты...» «Какие конкуренты? Соратники! Коллеги!» — не дал ему договорить Сергей.

В другой раз, вспоминая свою работу в Якутске, заметил: «И от общественной работы не уклонялся: был председателем похоронной комиссии...»

Хотя носил маску наивного простака, дела его говорили об обратном: фирма процветала. Около стендов ее на ежегодных московских выставках всегда было людно. Случалось, подходили клиенты, спрашивали о чем-нибудь. Жался: «Знаете, — говорил, — я ведь вообще ничего не решаю, вот ребята в курсе, они молодые, положительные, они все знают, лучше у них спросите...» И направлял клиентов к каждому, кто был в тот день на выставке: Игорю Лемперту, Мише Жидкову, Марату Мухутдинову, Игорю Самолюку.

Заказчики все принимали за чистую монету, им и невдомек было, что все решал только Сергей, все глобальные решения принимал только он один.

Нравилось, когда на выставках его принимали за китайца, корейца, никогда не опровергал этого. Когда спрашивали ребят — вот у вас тайванец такой строгий на стенде был, где он сейчас? — учил не вдаваться в объяснения, только сказать — сейчас подойдет.

И года любил прибавлять себе. Когда заказчики незнакомые спрашивали о возрасте, мог вздохнуть: а мне вот уже шестьдесят стукнуло. И верили ведь. Ребята, глядя со стороны, наслаждались очередным моноспектаклем Папы.

Бурлеск мог устроить из всего. Однажды рассказывал об аквапарке в Дубае, где бывал не раз, о разных горках, особенно об одной, огромной, почти отвесной, какие ощущения испытываешь, когда с нее прыгаешь, как много людей, посмотрев вниз, обратно спускается. Рассказывал с такими подробностями, что все только языками цокали, пока кто-то, усомнившись, не спросил: «А ты сам-то, Сергей, с горки этой прыгал?» «В общем-то, нет...» – честно признался Николаев. Наслушавшись рассказов ребят, соорудил свой собственный, да какой!

Заметил как-то: «А знаете, что Папа Римский сказал? Не нужно много работать. Отдыхайте, больше отдыхайте, беспрестанная работа утяжеляет сердце и очерствяляет дух. Это Папа святого какого-то процитировал, не помню уж какого...»

Но хотя в последнее время реже появлялся на работе, контролировал все по-прежнему. Когда люди из регионов в Москву приезжали, казалось им, что человек этот с видом совершенно отсутствующим забрел сюда случайно, со скуки или просто чайку попить. Обманчивое впечатление: он все держал в руках, не упуская из вида ни малейшей детали.

Бизнес требует цепкости, хваткости, отсутствия сентиментальности, порой и безжалостности. Всеми этими качествами обладал состоявшийся бизнесмен Сергей Николаевич Николаев. За внешней мягкостью и безразличием скрывалась колоссальная сила воли и железная хватка. На благодушном лице его переговорщик не мог прочесть ничего. Сам же очень хорошо чувствовал собеседника, понимал намерения того на лету, делал для себя выводы и направлял переговоры в сторону собственной выгоды. Этим искусством владел виртуозно, замечательным образом стилизуясь под собеседника, так что заказчики чувствовали себя стопроцентными его единомышленниками. После переговоров они, вероятно, уносили в душе приятное сознание собственного умственного превосходства. И ошибались при этом самым печальным образом.

Не был пессимистом, видящим проблему в каждом шансе и полагающим, что стакан наполовину пуст, но и оптимистом, видящим шанс в каждой проблеме и считающим, что стакан наполовину полон, тоже

не был. Он хотел установить, где находится кран, наполнить стакан до верха, направив струю в нужную сторону. В свою сторону.

Напоминал лягушку из суфийской сказки. Не утонувшую в крынке молока и не другую, которая, трепыхаясь, сбила масло и выбралась из крынки. На чем обычно заканчивается нравоучительный рассказ о том, что следует бороться до конца. Это не конец сказки: выбравшуюся лягушку тут же съел привлеченный возней в крынке молока аист. Нет, он был третьей лягушкой, спокойно наблюдавшей за всем и, когда аист улетел, впрыгнувшей в крынку и славно этим маслом поужинавшей.

Как и каждый, он носил в себе травму собственной биографии: невозможность установить смысловую связь между собой нынешним и самим собой ребенком, несмотря на всю преемственность этих личностей. В его случае разрыв этот был еще более велик: изнанку жизни он узнал много раньше, чем ее лицо.

Многие преуспевшие люди, оглядываясь на молодые годы, с умилением вспоминают о бедности, нехватках, обидах. Сережа не относился к этой категории. Поселившись окончательно в Москве, сказал, что ни под каким видом не вернется в Якутию, что пребывание там вызывает у него депрессию. Если годы учебы в Питере, шахматы, встречи и поездки запечатлелись для него на цветной пленке, пребывание в Якутии осталось на черно-белой.

Подумал о нем, прочтя однажды рассказ охотника-якута: «Еду по тундре. Зима. Был снег. Снег стал сильный, пурга. Ничего не вижу. Стал замерзать. Нашел волка. Волк мертвый, замерз. Глаза теплые. Я ел глаза. Вот я живой».

Трудно сказать, как смотрели на него бывшие земляки: с гордостью? с недоумением? с завистью? Хорошая знакомая Сергея, тоже якутка, давно работающая в московском банке, утверждает, что во всей республике людей действительно состоявшихся, поднявшихся, только двое – Сергей да она.

Родственных душ в своей семье не нашел и контакта ни с кем не поддерживал. Даже по телефону не звонил. Отношения с прошлым определил четко: «Я для себя обрезал все это, у них ведь одна только песня – дай, дай, дай...»

Не обладавшие ни его харизмой, ни его талантами, братья Сергея совсем не похожи на него. Да и недуг не обошел их, очень распространенный в тех краях с морозами чудовищными, климатом

тяжелейшим: непреодолимая тяга к алкоголю. В племяннице только почувствовал родное что-то, приветил, квартиру в Москве купил, подарки делал.

Памятуя старинный завет: аскеза и роскошь одинаково вредят духовной жизни, следует избегать и того и другого – внешне жил довольно скромно. Хотя как посмотреть: можно сказать, что и роскошно. Если настоящая роскошь – отказ от того, чем обладать нужно, и обладание всем, чем хочется обладать.

Провизию закупал в «Азбуке вкуса». Потом «Азбука» ему разонравилась, стал завсегдатаем «Глобуса Гурмэ». Москвичи поймут, о какого калибра магазинах идет речь, а иностранцы, в них побывавшие, жалуются, что Москва самый дорогой город в мире.

Фрукты, овощи – в любое время года. Все – свежайшее. Соки – натуральные. Минеральная вода – только французская «Эвиан», считал ее особенно полезной. В последнее время позволял себе изредка бокал-другой красного вина, но оно должно было быть лучшего качества. Лучшего.

Было время, когда Сергей выпивал. Мог с приятелем бутылку коньяка за вечер осушить. Но в 1996-м у него обострился гепатит, врачи настоятельно рекомендовали отказаться и от спиртного, и от кофе, и Сережа в одночасье бросил пить.

Водой из-под крана не пользовался совсем, покупал и пил только очищенную. Посуду мыл специальным раствором, к моечным средствам, в магазинах продающимся, доверия не было: полагал, что они оставляют следы на посуде. Поначалу и компьютер стороной обходил, считал, что облучение от него исходит. Постепенно привык, потом и пользоваться научился, но на любительском уровне, больше по сайтам лазал, информацию собирал, да за новостями на шахматном фронте следил. Животных недолюбливал, старался держаться подальше, полагая, что они являются переносчиками болезней. Считал, что все вокруг микробами кишит, какие-то перчатки носил. Был зациклен на здоровье, на медицине, правильном питании. Порой это принимало гипертрофированные, гротескные формы.

«Вы не представляете, сколько яда, Геннадий Борисович (обычно мы звали друг друга по имени, но иногда он сбивался на имя-отчество), скапливается в нервах зубов, нервы надо удалять, и как можно скорее, – советовал Сергей. – Я из своих уже давно все удалил».

Ловил мой скептический взгляд: «Яд-то прямым ходом из зубных нервов в мозг поступает, а последствия сами знаете какие могут быть...»

В другой раз затеял разговор о металлах, в организме накапливающихся:

«Вот, например, таллий. Знаете...»

«Таля я знал...»

«Он в волосах накапливается, и хорошо если только потерей волос отделаешься, — продолжал Сергей, никак не комментируя мою реплику. — От таллия токсикация всего организма происходит. А у меня весь организм с детства заражен. Вы думаете, наверное, что у вас в организме тяжелых металлов нет? Их выводить надо, выводить. Свинец ведь, даже в малых дозах, знаете как почки разрушает? А на мозг как влияет! Или вот йод возьмем. Если ртути слишком много, йод из организма не выводится. Да и разрыхление десен происходит. Я вам, Г., настоятельно советую к доктору в Эйнховен съездить. Вы думаете, наверное, он самозванец какой? Нет, к нему заранее на прием записываться надо, у него полная приемная, хоть и старенький доктор. Он в Индонезии вашей тридцать лет работал... Очень, очень советую вам заняться выводом тяжелых металлов из организма. И чем раньше, тем лучше. Я вот в Швейцарии был, там клиника специальная для этого имеется, и можете себе представить...»

Такого рода монологи, слегка пострадавшие от того, что положены на бумагу, я, да и не я один, выслушивал не раз от Сергея Николаева. Его почти маниакальная забота о собственном здоровье могла навести на мысль о раннем старении; известно ведь, что старость начинается, когда больше денег тратится на поддержание здоровья, чем на его разрушение. Ничего подобного: в общении со своими был веселым и совсем не угрюмым, юношеского склада характером человеком.

Когда друзья приезжали в Москву, всегда приглашал их в ресторан. Чаще всего посещали его любимые: армянский, узбекский. В последний раз был с ним в «Пушкине». Там он чувствовал себя как дома, советовал попробовать то блюдо, это: «Доверьтесь мне, Г. Б., здесь салаты божественные...» Несмотря на то, что в меню можно было найти с десяток самых разнообразных, составлял свой особенный, осведомляясь у официанта, из какой именно страны артишоки, действительно ли грибы лесные, как это в меню значится.

«И кориандра побольше, базилик не забудьте, петрушку... Одним словом, сделайте, как в прошлый раз», — пояснял Сергей. Официант

записывал, послушно склонив голову: «Слушаю, сударь, конечно, сударь... Как же-с, как же-с, помню, не извольте беспокоиться...»

Когда официант ушел, наклонясь ко мне, доверительным полупшепотом: «Зелень очень, очень полезна. Петрушка, Г., знаете, как кровь прочищает! Да и орехи, орехи, конечно. Какие? Любые. Грецкие, фисташки. Фисташки на холестерин отлично влияют...»

Прием пищи не был для него процессом поглощения, но, помимо действительно любовного отношения к еде, присутствовали здесь и элементы эпатажа, игры, так для него характерные. Хотя сам от мяса и рыбы не отказывался, мог разразиться тирадой о пользе вегетарианства. Делалось это тоже главным образом для антуража. Любил послушать, что собеседник скажет, как прореагирует.

Обедали однажды в ресторане Свято-Даниловского монастыря. Здесь был, конечно, тоже элемент шоу для новоприглашенного: обстановка в монастыре соответствующая — монахи, иконы на стенах, тишина. Сразу давал понять, что и здесь частый гость. Подтверждалось: меню даже не раскрыл. Знал, не заглядывая в него: «Карпа запеченного настоятельно рекомендую, рыбка у них прямо из собственного хозяйства, замечательная...»

В пристрастном отношении его к еде было что-то восточное: в древнем Китае кулинария всегда ведь стояла вровень с поэзией, живописью, философией. Но хотя любил изысканную кухню, в еде был умерен. Знал: чтобы наслаждаться, не следует наслаждаться слишком много.

На выходной частенько с друзьями отправлялся сначала в баню, потом в ресторан. Любил эти пирушки задушевные с разговорами, шутками, всем, что греки называли сладкой отрадой. Это был его час, хорошая беседа раздувала пламя и его собственной мысли. С возражениями не очень-то считался, если к выводу какому пришел, собеседника просто не слушал и переубедить его было невозможно. Правда, и не обижался, когда говорили противоположное, давал высказываться.

В последние годы мог пригласить в ресторан какого-нибудь молодого гроссмейстера, наставлял его, поучал; нравилось и как тот озирается в непривычном дорогом заведении. Наблюдал за посетителями, подмечал, что за народ ходит, смотрел на обслуживание, анализировал. Интересен был ему и ресторанный менеджер, и официант. То же и в Сандунах: парковщика возле бани расспрашивал, какой у него бизнес, из чего доход складывается. Пояснял: молодой человек, банщиком ра-

ботающий, на самом деле кандидат наук, в институте преподает, а в бане подрабатывает. И неизвестно еще, где больше зарабатывает. Вернее, известно где. И тут же выводы делал, обобщал.

Говорил — это рыбная речка, или — эти правильно ловят рыбу, дела у них идут отлично. «Ловят рыбу правильно», «рыбная речка» были любимыми присказками. Не знавшие его порой не понимали, о чем идет речь; однажды клиент фирмы из Нижнего Новгорода, когда Сергей свой любимый вопрос задал, в недоумении отвечал: «В общем-то у нас в Волге рыба хорошо ловится...»

В Свято-Даниловском монастыре частенько в сауну заглядывал. Работал при ней пожилой мужчина, души не чаявший в Сергее Николаевиче. И не только потому, что тот разговор неторопливый заводил о житье-бытье, о семье, но и потому, что благодарил по-настоящему. Не то что Геннадий Андреевич, после всех процедур руку пожимавший, спасибо говоривший или кассету со своими речами даривший, вот и вся благодарность. Мыслимое ли дело, чтобы Сергей так по-зюгановски кого-нибудь отблагодарил, да и знал превосходно, какой подарок приятнее всего каждому человеку...

Часто бывая за границей, останавливался в лучших гостиницах. Предварительно наведя справки и сравнив с другими, тщательно выбирал ресторан. Ужинали как-то в одном таком с замечательным видом на амстердамский канал. Заказ делал не суетясь, советовался с официантом по части блюд, сравнивал, переспрашивал. Английский его был вполне пристойным: способный человек, он всему учился на лету, да и поездил уже по миру. Одевался подчеркнуто скромно, но опытный взгляд сразу мог определить качество одежды, обуви. Знал: хочешь быть хорошо одетым — не следует носить, что в глаза бросается. Да и не по нему это было.

Приезжая в Амстердам, отправлялся на самую шикарную улицу. Советовал: «На П.С.Хоффстраат у вас магазины фирменные, все — высочайшего качества, покупать следует только там...» И покупал: ботинок было великое множество; замша, кожа. Отголосок детства? В Якутии морозы, до пятидесяти градусов доходящие, обычное явление, на улице ходить можно только в унтах: кожаная обувь просто лопается.

Мои эпизодические встречи с ним, почти всегда за дружеским столом, в непринужденной беседе, оставили в памяти ощущение любопытства, приятности, легкости, но не думаю, что с ним было так же легко в каждодневном общении. Те, кто работал с ним долгие годы,

признают, что Сергей помог им по жизни, и как еще помог! Но сказать, что с ним было легко?

В нем сочеталось на первый взгляд несочетаемое: потребность в одиночестве, скрытность, желание спрятаться и тоска по отзыву, отклику, общению.

Как-то, простудившись, попросил Игоря Белова приехать, купить молоко, мед. Когда тот вошел в дом, отшатнулся: перед ним стоял глубокий старик. «Посиди со мной немного», – попросил Сергей.

«Начали говорить, – вспоминает Белов, – вижу, он прямо на глазах оживает. Когда через несколько часов я ушел, проводил меня энергичный молодой человек, я же был совершенно опустошен. Я не понимал тогда, что общение с ним надо ограничивать, но после той встречи сделал для себя вывод. Он подпитывался энергией от человека и, не знаю как другие, но я старался не общаться с ним подолгу...»

Случалось: приезжал в понедельник утром на работу после двух дней абсолютного затворничества, а в офисе прямо расцветал. Знал: здесь все свои, здесь может сказать все, что хочет.

Но как бы ни стремился Сергей к контакту, к человеческому теплу, общения с кем попало избегал. Совет мудреца избрал формулой жизни: «два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало».

Хотя говорил: самое главное – личная жизнь, сам никогда не был женат. Отношение к женщине было вообще несколько скептическое, настороженное, да и не хотел никого подпускать к себе слишком близко. Полагал, что постоянное присутствие рядом другого человека ограничило бы его самого, минусы перевесили бы плюсы. Считал, что с его здоровьем рано или поздно окажется в инвалидной коляске, в тягость же никому не хотел быть. И вообще считал, что долго не проживет.

Когда только начинал, говорил ребятам: «Хочу, чтобы у вас все было хорошо, чтобы семьи были, дети, все как полагается...» Но когда те решили жениться, поначалу встретил это без особого энтузиазма, где-то и ревновал: невозможно уже будет позвонить в любое время дня и ночи, отдать распоряжение или затеять долгий-долгий разговор. Но потом привык, звонил когда действительно необходимо было, спрашивал всегда, вовремя ли, не мешает ли.

Когда у тех дети пошли, неподдельно радовался, интересовался – как там Гриша, Юленька или Софочка? Не забывал дней рожде-

ния маленьких, поздравлял, делал подарки. Его друзья, их семьи стали фактически его семьей.

Любил анекдот о бизнесмене, то ли размышляющем вслух, то ли угрожающем конкуренту: «Главное, чтобы дети не попали в приют». Делал все, чтобы они, папины дети, могли твердо стоять на ногах и не попасть в приют ни при каких обстоятельствах.

Говорили мы с ним на разные темы, но не помню, чтобы Сергей затеял разговор о музее, концерте, выставке. Только ли патологическое отвращение к скоплению людей было причиной этого? Как-то завел с ним разговор о пианисте Н.П., на концерте которого был днем раньше. «Как же, как же, — сказал Сергей, — знаю его, акула и немалая, следил, как он за бывшую квартиру Брежнева на Кутузовском бился...»

Иногда смотрел телевизионный канал «Культура». Но и здесь подмечал детали, с искусством имеющие мало общего. Однажды включил телевизор: какая-то пьеса Островского. Засмотрелся: «Вот купцы в России! Двести лет прошло, а ничего не изменилось, ну прямо сегодняшний день, раньше лабаз был, теперь фирма, а что с того?» Российскую Православную Церковь рассматривал как огромную бизнес-структуру: экономическую организацию со своими специфическими проблемами и приоритетами. Как-то начал рассуждать о Новом Завете и тоже с позиций чистого ratio. Сравнивал, что пишут в Библии, с собственным опытом, комментировал.

Рассуждал: вот газеты пишут — этот мультимиллионер, другой — миллиардер, а если присмотреться — дутые фигуры. Артем Тарасов, например. Видел его однажды в аэропорту, он с пакетом шел из дешевого супермаркета и сыну объяснял что-то о напитках, которые и купить-то не может. Его за миллионера считают, а на самом деле обыкновенный плут, не более того... Когда умер Паваротти, сказал: все только и говорят — состояние оставил, миллионы, а на самом деле — только долги. Полуживой вынужден был петь: с долгами-то надо было как-то расплачиваться!

К спорту был равнодушен. Если смотрел футбол, то только грандов — Бразилию, Англию, Италию. В последнее время, правда, стал больше интересоваться: там такие деньги крутятся, интересно, зачем дают, кто, за счет чего все функционирует?

Как и разные формы любви, любовь к шахматам бывает всякая. Сергея Николаева больше, чем сам процесс, интересовала природа ус-

пеха, психология единоборства, в последние годы и место шахмат на огромном товарном рынке, где продается и покупается все.

Он никогда не говорил конкретно о вариантах, комбинациях, новых идеях в дебюте. Его занимало другое: околошахматная обстановка, люди шахмат. Любил вспоминать тех, кого знал, интересовался, как сложилась жизнь у X, что поделявает Z, остался ли в шахматах, а если ушел – куда? Порой спрашивал о людях, которых потерял из вида едва ли не четверть века назад, говорил о них, будто видел вчера.

Он редко давал покой мыслям, и ведя нескончаемые беседы, поглощал время собеседника, порой зашкаливая за отметку, считающуюся общепринятой, давал выход постоянно роившимся в его голове идеям. Звонил бывшим коллегам, разбросанным по городам и весям огромной страны, звонил старым знакомым, живущим вне России. Затеяв долгий разговор, мог порой перейти грань, становился утомительным, а то и надоедливым, сам не замечая того.

«Папа, ну сколько можно, мы ведь уже говорили об этом...» – взывал к нему Игорь Белов, когда Сергей во время трехчасового, начавшегося поздним вечером и плавно перетекшим в ночь телефонного разговора, продолжал развивать свои идеи. А он подкладывал все новые и новые поленья в затухающий костер и продолжал говорить, говорить...

Сказал мне однажды: «У вас на Западе все сложнее, но и проще в то же время, потому что прозрачнее. У нас же – другие правила игры». Порой задумывался сам о переселении на Запад, но больше абстрактно. Кем стал бы Сергей Николаев с его талантами и харизмой за пределами России, можно только гадать, не исключая, что и здесь сумел бы добиться успеха. Но где нашел бы тех, с кем ему было бы понятно, приятно, легко? Собеседников, слушателей?

Он соответствовал своему времени, в котором рынок проник в подкорку и укоренился как мера вещей, а человек все больше и больше становится экономическим существом. И как старые вина, не терпящие перевозки, был он хорош только на родной почве, да и среда, в которой раскрылся талант его, была чисто российской. Думаю, что понастоящему он мог существовать только в пределах этого замкнутого пространства с его собственными правилами и понятиями.

Написал длинную, с цифрами, таблицами и схемами статью. Называлась она «Экономика российских шахмат. Хроника падения». Он не предлагал заняться подъемом утонувшего материка: феномена советских шахмат, понимал, что это невозможно. Просто ему казалось, что в новых условиях следует сократить профессиональную состав-

ляющую до пропорций, кажущихся ему разумными: «Нужно хотя бы эмпирически определить, сколько нужно гроссмейстеров и мастеров в рыночных условиях. Стоит ли тратить деньги на подготовку в будущем безработных гроссмейстеров?» Совершенно осознанно избегал даже словосочетания «шахматный профессионал», объясняя: «Реалии последних лет изъяли экономический смысл этого термина».

Писал, что «потребность высказаться возникла у него после бесед с друзьями и подругами, которые продолжают выступать в турнирах, потому что некоторые из них уже который год думают о завершении карьеры, но у них нет реального приложения сил». Признавал, что статья не является научным трудом, а просто размышлениями человека, любящего шахматы. Беспокоился: «Поймут ли, не нанесу ли кому обиды, нужна ли вообще статья?»

Статья вызвала немало хвалебных откликов. Он читал их с большим вниманием, знаю: кое-кого сам просил отзыв написать. Несмотря на внешнее безразличие к реакции окружающих, был честолюбив чрезвычайно, и мнение других, признание на самом деле были очень важны для него.

Хотел помочь слишком увлекшимися чарами Каиссы или, как полагал, одурманенными этими чарами. Хотел предостеречь, чтобы не перебивались потом с горького турнирного хлеба на терпкий тренерский квас. Ведя душеспасительные беседы, выступал по отношению к молодым в роли миссионера, дядьки, учащего тех уму-разуму.

Мог сказать выбравшему профессиональный путь: «А о будущем ты подумал? На ветеранов, в турнирах играющих, посмотри, ведь они как столбики на дороге, каждая пробегающая собачонка ногу норовит на них поднять! И не жалуйся потом, что упустил время, что я не предупредил, что не знал...»

Когда при нем молодые начинали хвастаться победами над звездами угасшими, всегда прерывал: «Да не Портиша ты обыграл, ты его однофамильца обыграл. Когда Портиш в шахматы играл, ты с ним никогда и встретиться-то не мог, а ты говоришь – Портиша обыграл».

В другой раз сказал при нем кто-то, что у Романишина, мол, легко выиграл. «У Романишина, говоришь? Да ты знаешь, как Олег Романишин играл, каким замечательным гроссмейстером был? А ты встретился с бледной тенью его, однофамильцем, а теперь расхвастался тут...»

Когда вспоминали при нем, как он у Таля блиц-партию однажды

выиграл, обрывал всегда: «Разве это был тот Таль, шестидесятых? Ведь Миша уже полуживой был...»

Уверял молодых, что слишком велик риск, что если возникнут проблемы, на решение их не будет времени. Что вексель подписывается, по которому платить надо будет не в конце жизни, а уже в зрелом возрасте, а то и раньше. Хорошо, если удастся продержаться до сорока, потом ведь все равно спад неизбежен. А пенсия? А медицинская страховка?

Сравнивал: менеджер, инженер, врач, компьютерщик будут востребованы, даже если они средней квалификации и звезд с неба не хватают, но человек, ничего другого не умеющий, кроме передвижения фигур на шахматной доске, к тому же только на среднем уровне, кому он нужен? Вывод делал безоговорочный: «Спорт высших достижений будет экономически очень рискованным и краткосрочным бизнесом только для нескольких десятков необычайно одаренных шахматистов».

Живописал: полянка, на травке резвятся зайчата, а вокруг волки бродят, и голодные. Раньше волков в профессиональных шахматах было не так уж много, а теперь их расплодилось великое множество, и зайчат на всех не хватает. Диспропорция, а природа не терпит диспропорции.

«Условия, говоришь? Кровать гостиничная да бутерброды, вот какие условия у тебя будут! Брось ерундой заниматься», – говорил Николаев своему другу Сергею Шипову, когда после окончания физфака университета тот решил продолжить шахматную карьеру.

Шипов стал гроссмейстером, нарастил рейтинг достойный, стал спарринг-партнером Каспарова, все вроде образовалось. Но когда однажды Николаев поинтересовался жизнью профессионала, Шипов отвечал: «Ой, прав ты был, Сергей, кофе да бутерброды...»

Николаев только губы поджимал: «Когда в шахматы играть надо было, он физикой занимался, а когда надо было бы делом заняться, он в шахматы ушел...»

Говорил: я отучаю от шахмат. Утверждал: шахматная зависимость пагубнее многих других. Полагал, что «отучение» женщин от этой зависимости – дело практически безнадежное, с мужчинами – тоже не просто, но здесь градации имеются.

«Шахматы, – повторял, – своего рода инвалидность. С кандидатами в мастера еще что-то можно сделать, обучить их нормальной профессии, кандидаты в мастера – третья степень инвалидности. Мастера

— вторая степень, тут уже труднее, здесь требуется индивидуальный подход, длительная работа. Гроссмейстеры — инвалидность первой группы! Гроссмейстеры уже не смогут работать, это безнадежный случай. Есть исключения, конечно, но их единицы...»

Мы с ним тоже не раз обсуждали эту тему. Признав, что так строго профи не сужу, затем что к ним принадлежу, говорил, что он слишком суров, предлагая молодым столь категорический выбор. Что в ситуации «или-или» любой выбор неправилен, а если колеблешься между двумя путями, следует выбирать верный.

Сережа, оставляя меня наедине с моими виньетками, опускал на землю: «Вы, Г.Б., в Интерполисах, Хоговенах да Лас-Пальмасах играли, со стартовыми и немалыми, да на всем готовом, что вы знаете об опенах? Эти постоянные жалкие разговоры: где от организаторов можно получить гостиницу с завтраком, какой приз надо взять, чтобы расходы хотя бы отбить? А пересуды бесконечные, что гроссмейстеру N, известному проныре, удалось получить на 50 долларов больше, чем другим с таким же рейтингом, что на турнире в Z можно пить вино в неограниченном количестве, а в Y ужином кормят, что какой-то команде региональной бундеслиги требуются игроки с коэффициентом не ниже 2550 — интересно, а если сейчас 2530, но в полугодовой давности списке было 2550, имеет ли смысл проситься? И все эти проблемы обсуждаются зрелыми мужчинами, никогда за свою жизнь не научившимися ничему, кроме переставления фигурок на поля, которые им лучшими представляются... Да, кстати, а Тимман где сейчас? В первые триста мирового рейтинга входит? А фарерцу ему приятно было проигрывать, ходов в двадцать, кажется?»

Ссылаясь на Будду, я говорил, что каждый должен решать для себя сам, что никто не может сделать нас счастливыми или несчастными, что можно быть счастливым, оставаясь всю жизнь на вторых и на третьих ролях, да и только ли в деньгах счастье?

Он и здесь не соглашался со мной: «Вы бы, Г.Б., вспомнили то время, когда Будда и Буддой еще не был и не знал, что такое смерть, — и снова аранжировал излюбленную мелодию. — А что, Будда в опенах играл? Или за клуб в Шлезвиг-Гольштейне в региональной бундеслиге за пару сот марок, как мне предлагали в свое время?...»

В другой раз я вспомнил разъезжавших по миру трех теноров, получавших по миллиону за концерт, в то время как музыканты аккомпанировавших им оркестров были довольны сотней-другой долларов и

тем не менее на судьбу не жаловались. «Да я о том же и говорю, а разве в шахматах не то же самое? — прерывал меня Сергей. — Несколько теноров, а остальные? Так музыканты хоть до пенсии в оркестре сидеть будут...»

Я не сдавался и говорил, что молодые совсем не думают, что будут делать на подходе к пенсионному возрасту, и живут как живется. Что он хочет заставить их загодя, ранней весной готовить дрова на зиму; задуматься о времени, которого в молодости такая неисчерпаемая бездна, что его просто не существует.

Говорил, что нельзя сделать фильм, не истратив большого количества пленки, нельзя написать что-то стоящее, не вымарывая текст. Что и в шахматах, для того чтобы попасть на вершину, даже на предгорья ее, требуется время, не все ведь от рождения фишеры, каспаровы и карлсены. Что шахматист в большинстве случаев продвигается вперед толчками, как минутные стрелки станционных часов, а он предлагает едва ли не при первой задержке стрелки задуматься, не испорчен ли механизм.

Вспоминал Стейница, писавшего, что шахматы требуют всего человека полностью: что же говорить о шахматах начала XXI века? Говорил, что все гроссмейстеры-подростки, будущее сегодняшних шахмат, и в школе-то по настоящему не учились, что время, отданное школьным занятиям, урывается от шахмат и наоборот. Что успешное совмещение шахмат и высшего образования в наши дни вообще невозможно. На что же делать ставку? И когда? И кто должен определять степень таланта?

В чем-то соглашаясь со мной, он настаивал, что после пары неудачных турниров следует всерьез задуматься о продолжении карьеры, иначе заиграешься — и пути назад нет. И решение надо принимать как можно раньше: если результатов нет в ранней молодости, надо сходить с дистанции, переключаться на что-то другое.

Утверждал, что даже полное погружение в шахматы не гарантирует успеха. Называл фамилии российских шахматистов, сделавших ставку на шахматы, спустивших учебу на тормозах и в результате оказавшихся у разбитого корыта.

Я пытался возражать, ссылаясь на свободу, на отсутствие начальника, рутинной работы с девяти до шести, до которой еще добраться надо, да и обратно до дому, глядишь — и день прошел, не заметишь, так и жизнь вся пройдет, а здесь — на вольных хлебах, да и поездки, мир видишь...

«Поездки? — не соглашался Сергей. — А если тебе далеко не двадцать

и мира уже навидался, да какого мира? — стен третьеразрядной гостиницы и турнирного зала, или вы думаете, Г., что участники опенгов обзорные экскурсии по городу до тура делают да по музеям ходят?»

Норовя уйти в более высокие сферы, я говорил, что это вопрос приоритетов. Вспоминал американского гроссмейстера Кеннета Рогоффа, с которым играл в межзональном еще в 1976 году. Оставив игру, Кен закончил Йельский университет, стал одним из ведущих экономистов в мире, главой Международного Монетарного Фонда. Пару лет назад в одном интервью Рогофф сказал: «Шахматист — это свободный художник и живет, как свободный художник, — и, вздохнув, добавил, — я тоже когда-то мог выбрать этот путь...»

Сергей был готов и к такому повороту: «Это он потому сказал, что сейчас финансово независим. Да и не молод уже, оттого-то и юность представляется ему в розовом свете...» И снова повторял, что рынок переполнен, что жизнь коротка, а молодость — тем более.

Здесь уж я не мог не согласиться с ним. Имитируя Смыслова, вздыхал: «Ах, Сергей, Сергей, вам ли о возрасте говорить, вы ведь еще молодой человек. У вас еще жизнь фактически впереди...» Гладил по шерстке: «Легко сказать — из шахмат уйти, а куда? Сколько в бизнесе Николаевых, чтобы на работу брали и учили терпеливо?» Да и почему он думает, что шахматисты обладают большей скоростью обучаемости и какими-то особыми талантами в других областях?

Говорил, что огромная шахматная пирамида состоит не только из пика, но и из фундамента, из стен, которые в конечном итоге верхушку и образуют. Что без них эта верхушка просто не была бы даже оценена по достоинству.

Падкий на сравнения, приводил китайскую притчу о лесе, в котором самые толстые стволы деревьев идут на корабельные балки, из менее солидных делают крышки ящиков или стенки гробов, тонкую поросль пускают на розги. И только искривленные деревья ни на что не годятся — им удается избежать страданий пригодности.

«Так вы, Г., полагаете, что это приятно, когда тебя на стенки для гробов используют? — резонно спрашивал Сергей. — А настоящее удовольствие от игры как раз и получают те, кто страданий пригодности избегают, им-то ведь не надо никуда отбираться, нормы выполнять, о призах думать». И поощрительно взяв меня за руку, повторял с удовольствием: «Страданий пригодности избегая, именно страданий пригодности...»

Вычитав где-то, что и плохие поэты тоже нужны, что по их следам,

по их неудачам, проходят великие, что нужны сотни Поярковых и Стражевых для одного только Блока, я не сдавался. Сергей парировал сразу: «Красиво сказано, что и говорить, но к реальности все это отношения мало имеет. А у поярковых и стражевых спросили – довольны были они своей жизнью?»

Не могу сказать, что все наши разговоры были спорами, скорее это были дискуссии о проблемах шахмат, об их будущем.

Он сокрушался, что мало пишут о том, что среди шахматистов совсем нет заболевших болезнью Альцгеймера: «А все почему? – говорил Сергей, – шахматы постоянно задают работу мозгу; жалко, что даже исследований на эту тему не делалось, уверен, результаты показали бы, как шахматы полезны...»

Любил пофилософствовать: считал зайцами, но одетыми в крепчайшую броню фантастического, отработанного до тонкостей дебютного репертуара, некоторых стоявших на самом вершине шахматной пирамиды. Кое-кого рангом ниже называл волками, полагал, что ежели им удастся пробить эту броню, они могут прекрасно сражаться с великими зайцами, этой броней покрытыми.

Ему нравилось, что Александр Бабурин в Дублине занимается не тренерской, а педагогической работой, учит детей в школе. «Шахматы следует направить именно в сферу педагогики, – говорил Сергей. – Будут довольны и дети – интересная, замечательная игра, и родители – хорошо для умственного развития ребенка, да и шахматные профессионалы в роли учителя получают твердый кусок хлеба».

Нравилась ему и история об аристократе времен Горация. Как отомстил он досадившим ему молодым людям: одаривал их богатой одеждой и деньгами, возвышая тем самым в собственном представлении, покуда одежда не сносилась, а деньги не разошлись, после чего эти люди оказались во много раз более обездоленными, чем прежде.

«Да это же участь каждого профессионала, – седлал любимого конька Сергей. – Я же говорю, что рынок переполнен, шахматисты нуждаются в оплате своей работы, а работы этой рынок предоставить им не может, ее просто нет в таком количестве...»

И здесь уже не мог ничего возразить я. Смирено признавая что не знаю правильного ответа, снова начинал рассуждать о жизненных приоритетах, хотя и думал про себя: даже если с прагматической точки зрения он и прав, общих рекомендаций здесь нет. Да и существуют ли такие вообще? И не являются ли теории его просто-напросто компен-

сацией за собственную, несложившуюся шахматную карьеру? Попыткой реванша?

Однажды, когда он читал молодым очередную жесткую лекцию, Игорь Белов, увидев их понурые лица, заметил: «Не обижайтесь на него, ребята, — это Сергей Николаевич так комплексует, это у него комплекс нереализованных возможностей собственных, оттого-то он так с вами и суров».

Смысл в этих словах, конечно, есть. Повторюсь: был Сергей Николаев человеком очень честолюбивым; нереализованные в шахматах амбиции с блеском проявились в бизнесе. В часто повторяемой им фразе: да это же шпилеры, у них мозги девственные, что они о жизни знают, что умеют? — слышно, конечно, превосходство состоявшегося в социуме человека. Но, может быть, и глубоко запрятанная ностальгия по тому времени, когда сам он тоже был таким шпилером?

Однажды в Петербурге навестил Сергея Иванова, с которым был дружен еще во времена студенчества. Был поздний вечер и Николаеву вдруг позвонили из какого-то региона: на складе обрушились огромные стеллажи с продукцией: все рухнуло, что делать? Сергей стал тут же хладнокровно давать указания.

«Видишь, — сказал он питерскому гроссмейстеру, закончив инструктаж, — ты должен думать о том, каким образом пешечные слабости на ферзевом фланге у соперника использовать и при этом под атаку не попасть, а я должен совсем другие вопросы решать...» Слышится здесь, конечно, гордость успешного бизнесмена, но, может быть, и какая-то другая нота? И кто может знать, что важнее в этой жизни — слабая пешка на b6 или обрушившиеся стеллажи с пуговицами?

Не то что защищая, но пытаясь объяснить менталитет сегодняшних шахматных профессионалов, я говорил, что их отношение к жизни напоминает менталитет молодых людей в Японии, называющих себя «фурита», сленговым словом, составленным из английского «free» и немецкого «arbeit». Фуритас — по статистике их около трех миллионов — не имеют постоянных занятий, предпочитая работу, которая им по душе, и делают ее, когда им это нравится. Сергей что-то отвечал, и разговор наш постепенно сползал с узенькой шахматной колеи на куда более широкую, к вечному и грустному вопросу о смысле жизни.

Как и у каждого, было у него три жизни: публичная, частная и тайная. Хотя публичную жизнь Сергей Николаев всячески драпировал

разноцветными тканями, была она известна. Меньше можно сказать о частной жизни, даже если внешняя сторона ее и не являлась особым секретом. О тайной жизни его нельзя сказать ничего.

Проведшие с ним бок о бок многие годы и видевшие Сергея в самых различных ситуациях были уверены, что знали его абсолютно. На самом деле, правда о человеке неисчерпаема и неведению этому нет конца. Правда неизвестна никому, и очень часто самому человеку известна еще меньше, чем кому-либо. Всегда казалось, что у него есть еще какой-то слой, в который не допускался никто. Недоверчивый, он съедал себя изнутри: люди его склада, погруженные в самих себя, поедают собственное сердце.

Появился ли у него «wealth fatigue syndrome», симптомами которого являются депрессия, одиночество? Синдром этот нередко встречается у людей состоявшихся, но потерявших ориентиры в жизни, а депрессия и тревожность возникают из-за усталости от самого себя. Может быть. Все может быть. Не знаю. Знаю только, что московский целитель, к которому ходил Николаев, был не только специалистом безоперационного лечения и мануальной терапии, но занимался и снятием порчи, негативных подключек, нейтрализацией магического и психического нападения, проблемами, связанными с одиночеством, выводом из депрессий и фобий. Как и очень многие в сегодняшней России, где официальное признание получили не только доктора такого рода, но и маги, астрологи, спириты и экстрасенсы, Сергей верил целителю, утверждал, что тот помог ему.

Сказал однажды: энергии до черта, а как воплотить ее во что-нибудь? Ведь заботы о здоровье, сколько бы времени он ни посвящал им, не могли стать жизненным приоритетом для такого человека, как Сергей Николаев. Став финансово независимым, он столкнулся с проблемой, известной состоявшимся людям: будущее обеспечено, впереди еще кусок жизни и немалый, что дальше? Как заполнить образовавшийся вакуум, когда шахматы – пройденный этап, а бизнес, пусть и требующий хозяйского глаза, налажен, все идет своим ходом?

Он иронизировал, определяя степени инвалидности шахматистов, а в самом конце оказалось, что инвалидность у него самого. Говорил ведь не раз, что увлекшегося шахматами в детстве деревянные фигуры редко отпускают. Не отпустили и его: он вернулся в шахматы. Пусть в другом качестве, но вернулся.

В отличие от жившего два тысячелетия тому назад Мецената, он не родился богачом. Николаев стал меценатом. Советчиком, другом и меценатом многих шахматистов.

Роман Скоморохин, живущий в Нижнем Новгороде, начал работать на фирме в 1997 году. Он вспоминает: «Если мне случалось бывать в Москве, я, конечно, всегда встречался с Сергеем. Когда заходили в магазин и я покупал что-нибудь, Папа не давал мне даже достать кошелек. Всегда сам платил за покупку, буквально насильно заставляя приобрести еще пару обуви, еще две-три рубашки. “Возьми, — говорил, — слушай меня, Роман, бери, пригодится...” И так буквально во всем. И если что-нибудь обещал, никогда не забывал. Качество это очень редкое в наши дни, очень. Папа никогда не забывал ничего...» Зная, что человек в чем-то нуждается, говорил невзначай: «Вот я достал...», — и называл половинную цену вещи, чтобы хотя бы внешне приличия были соблюдены. Сотрудникам фирмы, до сих пор каждую среду с энтузиазмом футбольный мяч гоняющим, форму приобрел, реквизит, за аренду стадиона платил. Сам на этих матчах не бывал, но полагал, что если ребятам нравится, хорошее настроение создает, то и для дела полезно.

Последнее время был в тесном контакте с директором швейной фабрики, женщиной из провинции, как и он, страдавшей от гепатита. Стали перезваниваться. Сергей ей советы давал, какие-то интернетовские сайты рекомендовал, выслал литературу, диетами делился. Он никогда в глаза не видел этой женщины.

Мои жалкие попытки расплатиться в ресторане Сергей пресекал железной рукой: «Как вам не стыдно, Г.Б., об этом не может быть и речи...»

Приезжая из-за границы, одаривал всех. Знал членов семей своих ребят, нередко и им гостинцы привозил. В последние годы ввел обычай: ежеквартальный выезд всех куда-нибудь. Иногда и за границу отправлялись за счет фирмы.

Игорь Белов вспоминает, как в самом начале 90-х решил обменять двухкомнатную квартиру в Подольске на трехкомнатную. Попросил помощи у Сергея, тот сказал, что подумает. Белов: «Я даже обиделся на него сначала. А он потом говорит: “Мелко берешь, тебе не о квартире в Подольске думать надо, а в Москву перебираться”. И комбинации сразу всякие стал приводить, цифрами сыпать. “Я тебе дам, сколько хочешь, и отдашь, когда сочтешь нужным, тебе надо на ноги становиться, жить хорошо...” — сказал. Кто еще так поступил бы? Кто? Мы с

ним одногодки, я тоже кое-что повидал на своем веку, но таких людей, как Сергей, больше не знаю. Он делал добро просто так, добро ради добра. Машину хочешь поменять – какую хочешь? медицину оплатить – нет проблем, другое что – пожалуйста... Я ему по гроб жизни обязан, да и не я один. Когда на прощание с ним пришел, увидел на фирме работающих. И все они чем-нибудь да обязаны Сереже. Все. Всем он помог, всем добро сделал. Потому многие семьями пришли и плакали многие...»

Он остро чувствовал быстротечность времени, недолговечность человеческой памяти. Хотел извлечь из небытия имена людей, посвятивших жизнь шахматам, вспоминал замечательного тренера Виктора Голенищева, других, теперь прочно забытых. Расспрашивал о Георгии Борисенко (1922), просил найти его адрес, зная, что замечательный мастер, пусть и не живущий сейчас в России, остался совсем один, нуждается очень.

В последнее время навещал Веру Николаевну Тихомирову, посылал в случае нужды машину с шофером, помогал. Подолгу беседовал с ней. Публикация о Тихомировой, появившаяся в «64» к ее девяностолетию, вся фактически подготовлена Сергеем Николаевым.

Писал: «С морально-этической точки зрения нет сейчас важнее вопроса, чем пенсии ветеранам». Сам никогда не появлялся на вечерах и товарищеских ужинах ветеранов-шахматистов, а те даже не знали, кто давал деньги на эти встречи.

Когда заболел Игорь Зайцев, часто приезжал к нему. Могли часами говорить о шахматах, старых временах, людях игры. Говорили о религии, о нетрадиционной медицине. Верил во внутренние возможности организма, однажды принес книжку «Неизлечимых болезней нет».

Игорь Аркадьевич вспоминает: «Знакомы мы были шапочно. Раскланивались, если в Клубе встречались, перекинулись, может быть, парой фраз, но не более того. Когда я заболел, стал Сергей приезжать ко мне. Не знаю почему, у меня сразу возникло доверие к этому человеку, он проникся моими проблемами и каждый приезд его придавал мне сил и бодрости. Когда понадобились деньги на операцию, ничего не говоря и не прося взамен, просто приехал и дал».

Узнав о тяжелой болезни Кости Асеева, доставал лекарства, звонил в Питер, поднимал настроение. Помогал Александру Панченко, и тот обязан ему многим, очень многим. Да и мало ли кому не помогал. И не только материально. Вспоминает Артем Тимофеев: «Раскрывал мне глаза Сергей Николаевич на многие вещи. Ему нравилось делить-

ся мыслями, рассказывать что-то из недавно прочитанного. И дар убеждения имел: хотя говорил ненавязчиво, все его слова, все встречи с ним откладывались, отложились в памяти. Советы давал не только шахматные. Учил, что в любой обстановке нужно оставаться самим собой, говорил, как питаться правильно, что делать во время турнира, как отдыхать. Говорил, что не следует замыкаться только на игре, что шахматы не вызывают добрых чувств в человеке, эгоизм развивают. Многому научился я от него, до чего вряд ли когда-нибудь дошел бы сам. Можно сказать, что был Сергей Николаевич моим духовным наставником. Я доверял ему, как будто мы были очень долго знакомы. Повезло мне, просто повезло встретить человека с такой душой...»

В древней Греции слово «идиот» означало человека, не принимающего участия в общественной жизни. В чьих-то глазах Сережа, не имевший желания выходить на авансцену, был если не идиотом, то человеком странным, эксцентричным. Нечасто встречающуюся доброту мы принимаем порой за эксцентричность, а то и глупость. В глазах многих Сергей Николаев тоже был эксцентриком. Но мало есть на свете вещей дороже такой эксцентричности.

В последний свой год, помимо статьи на московском сайте, опубликовал несколько бесед с шахматистами на питерском. Состоялся его выход, пусть и осторожный очень, в публичность. Публичность, которой он бежал и к которой в глубине души стремился. Но когда ему, состоявшемуся бизнесмену, предлагали войти в какие-то структуры, познакомить с людьми влиятельными в российских шахматах, отказывался. Думал, правда, сначала, но потом отказывался.

Трудно сказать, чем руководствовался Сергей Николаевич, ведь он так хотел признания. Скорее всего, срабатывал его всегдашний инстинкт — не засвечиваться, не высовываться — и инстинкт этот побеждал честолюбивые порывы. Или, может быть, чувствовал, что, выйдя в свет, потеряет этим какую-то часть своей свободы? Не знаю, как обстоит дело со словом «свобода» в якутском, но в чукотском это слово отсутствует, ближайший синоним — «сорвавшийся с цепи». Он не хотел быть привязанным к какой-либо цепи.

Однажды говорили с ним о портретах людей шахматного мира, написанных мною. Больше других ему понравился Макс Эйве. Эйве? Было удивительно услышать именно это имя, особенно сравнивая скромного Профессора с брызжущими темпераментом и талантом гигантами игры, кого мне посчастливилось встретить на жизненном

пути. Сейчас я думаю, что подчеркнутая скромность Эйве, работоспособность, умение держаться с достоинством и выполнять свою миссию при любых обстоятельствах явились причиной того, что фигура голландского чемпиона мира оказалась для него наиболее близкой. И, быть может, более важное: ему нравилась роль человека, ушедшего из шахмат, полностью состоявшегося в социуме, а потом вернувшегося в них уже в качестве верховного главнокомандующего.

В конце жизни на вопрос, с какой ролью он бы смирился, Набоков отвечал: «Первым делом энтомолог, исследующий джунгли, затем шахматный гроссмейстер, затем теннисный ас с неотразимой подачей, затем вратарь, взявший исторический мяч, и, наконец, автор груды написанных произведений “Бледный огонь”, “Лолиты”, “Ады”, которые обнаружили бы и опубликовали мои наследники».

Думаю, что Сергей Николаев от высшего, пусть и такого выцветшего, титула в шахматах, тоже бы не отказался. А так – роль президента ФИДЕ, полагаю, его удовлетворила бы, или, на худой конец, суперэдвайзера. Советчика по всем аспектам развития шахматной игры, в которой он всегда оставался, даже когда, казалось, отошел от нее на значительное расстояние.

Перед тем как переехать в московскую, ставшую для него последней квартиру, три года жил за городом. Очень любил гулять и гулял часами, у него и маршруты собственные проложены были. Завел кроссовки, даже дождь не был помехой, брал с собой зонт, а то мог и без зонта обойтись. Всегда в одиночестве, в размышлении. Знал ли о привычках философов, так ценивших одинокие дальние прогулки? Привычкам своим не изменил, когда переехал в Москву в район Новых Черемушек. Мог и там часами гулять, Воронцовский парк ведь совсем рядом.

Игорь Лемперт вспоминает, как во время одной совместной прогулки пошел сильный дождь, но Сергей, как ни в чем не бывало, шел себе и шел, и говорил, говорил, не обращая внимание на струи, стекающие по плащу. Обо всем. О шахматах, о фирме, о будущем. Говорил и об опасности, которая всегда рядом, в последние годы не только на уровне уличного оскорбления.

Ощущал волну, направленную из будущего? Кто знает. Но как будто чувствовал что-то. Пред-чувствовал. Если для друзей и коллег Сергей был свой, для многих становился чужим, после того как они бросали взгляд на его лицо. Он знал это очень хорошо. Знал и боялся. Друзья свидетельствуют: страх этот всегда был с ним. Всегда. Он и им

говорил: «Не шатайтесь без дела где попало. Опасайтесь...»

Скопления людей избегал. Однажды во время талевского Мемориала проводил меня до дверей Клуба на Гоголевском. Предложил: «Зайдем, Сергей, на минутку хотя бы, тур сегодня интересный, Крамник с Шировым играют...»

«Нет, нет и не уговаривайте, Г., там масса народа, тот подойдет, этот. Нет, нет, не для меня это... Если будет время до отъезда, дайте знать, а сейчас и не уговаривайте, не уговаривайте...» Так и не зашел тогда в Клуб.

В последнее время периодически отпускал водителя, пользовался общественным транспортом. Нравилось ему на метро поехать, а то и на трамвайчике, за людьми понаблюдать, разговоры послушать.

17 октября 2007 года был большой футбол: Россия — Англия. Опасаясь человеческих масс, был настороже и тогда, но все-таки отправился домой на метро. В тот день решил, что переждет, пусть схлынет толпа. Обычно уезжал из офиса часа в четыре, полпятого, но тогда впервые за многие годы остался на работе допоздна: какое-то предчувствие было уже.

20 октября снова поехал домой на метро. В этот день его сердце-вещун молчало, да и биться ему оставалось чуть больше часа. До своей станции доехал благополучно. «Новые Черемушки». Зашагал в сторону дома. Группа подростков, по виду скинхеды. Стали приставать к нему, задирать. Когда его не стало, кто-то уверял, что Сережа сделал им замечание, дал повод пустить в ход инструменты убийства. Это не так. На самом деле Николаев даже не отвечал им, только ускорил шаги, стремясь как можно скорее добраться до дома. Еще больше разъярил их. Набросились на него. Упал.

Бейсбольные биты и заточки. Десять ножевых ран. Смерть наступила почти мгновенно. Кто-то выстрелил. Файер попал ему на плащ. Плащ загорелся. Было светло совсем; на улице полно людей, все видевших. Единственный звонок в милицию раздался через полчаса после его смерти. В это время ему звонили друзья, но мобильник молчал. Почувствовав недоброе — он всегда перезванивал сразу — и услышав по телевидению об убийстве корейца, тут же бросились в милицию. «Речь шла наверняка о хулиганской разборке, наверное фанаты футбольные, — стали уверять их там, — не первый случай...»

Этот день был объявлен подростками «рейдом», такие «рейды» устраивались ими каждый выходной. Пострадали люди с ярко выраженной неславянской внешностью. Погиб молодой армянин. Дворник-

узбек, получив двенадцать ножевых ранений, выжил, остался инвалидом. Общее число нападений в этот день — двадцать семь.

Поймали их случайно: один поранился собственным орудием убийства и обратился в больницу. Там подумали сначала — пострадавший. В кармане нашли заточку с кровью, мобильник. Они ведь все снимали, фотографии выставляли потом в Интернете. Из интернетовских текстов видно, что гордились сделанным. Подчеркивали, что не коммерческие мотивы, что к деньгам не притрагивались, что ограблений не было.

Из больницы позвонили в милицию. Вышли на остальных. Все, за исключением одного, несовершеннолетние. Дело получило огласку. Всюду подчеркивалось: международный мастер по шахматам, уроженец Якутии Сергей Николаев.

Он вернулся в шахматы, на этот раз навсегда, в газетных сообщениях о нем писали только как о шахматисте. На каком-то интернетовском сайте кто-то написал: «якут-шахматист, это как чукча-программист или еврей-сантехник. Конечно, таких уникалов жалко».

Кое-кто после гибели Сергея утверждал, что был в этом какой-то рок: так пекшийся о своем здоровье, так следивший за собой, так опасавшийся всего. Говорили, что был он человеком повышенной виктимности, что сам судьбу приманил, беду накликать. Так ли? По языку, воспитанию, всему был он абсолютно русским человеком, а выжженную клеймом виктимность носил с рождения на своем неславянском лице.

Когда Сережа упал, закричал еще: «Что вы делаете, ребята, я свой! Свой!» Свой?

Марина Цветаева: «Затравленность и умученность вовсе не требуют травителей и мучителей, достаточно самых простых нас, если только перед нами — не свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не свой рожден затравленным». Что же говорить о зверенышах, сбившихся в стаю, внутри которой черпают агрессию и ненависть ко всему, что внешне отлично от них самих? Да и откуда этим ребятам было знать, что в конституции государства, где они жили, написано о «многонациональном российском народе».

Ненависть к другому почти всегда присутствует в человеческой стае. Ненависть, усиливающаяся от собственной никчемности и недостаточности. Все так. Но отчего постоянная ненависть, потребность в виноватых, во врагах требуется огромной, пусть и сжавшейся в конце прошлого века стране? Врагах, которые могут быть внутренними и

внешними, менять окраску, появляться и исчезать, становиться друзьями, вновь переходить в стан врагов. Но присутствовать всегда: империалисты, кулаки, евреи, буржуи, спецы, западноевропейцы, троцкисты, эстонцы, жидо-масоны, грузины. Американцы. Понаехавшие. Не наши. Не Наши.

Суд длился год. На скамье подсудимых кричали уже после объявления приговора: «За Россию!» и выбрасывали руки в нацистском салюте: «Мы построим новый рай, зиг хайль! Зиг хайль!» Радовались и поздравляли старшего, когда тому дали меньше, чем просил прокурор — десять лет колонии, остальным — от трех лет.

Суд гуманный: это ведь не Америка, где две тысячи подростков отбывают пожизненное заключение за особо жестокие убийства, и уж точно не древняя Греция, где Афинский Ареопаг приговорил к смерти мальчика, выколовшего глаза галчонку — если у него в детстве такие жестокие наклонности, чего ожидать, когда он станет взрослым?

Когда Сергей заговаривал об опасности, ребята только смеялись: «Папа, ну кому ты нужен...». Сейчас, когда его не стало, друзья испытывают угрызения совести, что не смогли предотвратить того, что случилось: знали ведь, что постоянная боязнь его была не одной из странностей Сергея, а действительной и суровой реальностью в стране, где он жил. Корят себя: кто-то не позвонил, не отсоветовал ехать на метро, кто-то не смог прийти на встречу, вроде уже обусловленную, другой жил в двух шагах, ну что стоило выйти тогда в булочную? Эмоциональная, понятная реакция, но разве их вина в смерти Сергея?

Но чья же тогда? Мальчишек? Подростков от четырнадцати до шестнадцати? Писал ведь Лафонтен: этот возраст не знает жалости. Но только ли возрастом, в котором не понимают цену человеческой жизни, можно объяснить причину убийства? Только ли они виновны?

Только ли пятнадцатилетний Стасик Грибач, которого следствие посчитало лидером? Упивавшийся во время процесса моментом славы и демонстративно стоявший под вспышки фото и тележурналистов с поднятой в нацистском салюте рукой?

Его приятели, смеявшиеся при объявлении приговора и продолжавшие кричать: «Зиг хайль! Зиг хайль!» — когда их выводили из зала суда?

Родители? Родственники подсудимых, то и дело переходившие на нецензурную брань, предлагая журналистам «выйти поговорить»?

«Группа поддержки», ежедневно собиравшаяся в зале суда?

ГУВД, с ходу опровергшее этническую подоплеку преступления, назвав убийство «уличным конфликтом»?

Замминистра внутренних дел, объявивший на следующий день после ареста: «Причиной случившегося стало обыкновенное хулиганство. Речь о каком-нибудь националистическом мотиве здесь не идет»?

Кто виноват в том, что в России только в 2008 году на почве национальной ненависти погибли и ранены – только по официальной версии – сотни человек?

Кто виноват в том, что в стране, где Сергей Николаев родился и вырос, он всегда чувствовал себя гражданином второго сорта, что он все время боялся? Кто?

Один из рассказов Варлама Шаламова кончается словами: «Я не расскажу. Знаю и не расскажу».

Я тоже знаю. И тоже не расскажу. Не расскажу. Но ведь и вы знаете.

Жизнь его оказалась похожа на повесть, не получившую логической концовки. Какой она могла оказаться? Стал ли бы он тем, кто в современном русском называется «дауншифтер»? Сознательно отказался бы от высоких доходов, выпал бы из иерархии, «вышел бы из игры»?

Слился бы с природой, стал бы жить где-нибудь в деревенском домике без водопровода, телефона и Интернета? Отправился бы медитировать в какой-нибудь тибетский монастырь? Переехал бы в Таиланд и зажил бы там спокойной жизнью рантье? Тем более что бывал в этой стране не единожды, сначала по бизнесу, а в последнее время, посещая докторов, или тех, кто называет себя докторами на Востоке.

Или наоборот, еще больше вращаясь в шахматы, стал бы спонсировать какой-нибудь турнир, пошел бы по пути завоевания еще большего признания? Занялся бы покорением административных высот, ведь о многих шагах ФИДЕ Сергей отзывался крайне неодобрительно?

Узнать это невозможно: он старался все предусмотреть, все рассчитать, исключив все неожиданности, но встретиться с самой большой неожиданностью человеческой жизни – беспощадной старостью, ему не довелось и умереть стариком не было суждено. Он жаждал признания. Но полное, безграничное признание завоевывается только одним: смертью. Признание, которое он получил сейчас, те слова, которые сказали о нем его коллеги, его друзья, а сейчас прочли вы, он никогда не слышал при жизни.

Потерями размечена любая жизнь. Уход близких причиняет боль, но вспоминая их, думаешь невольно, что лучше испытать такую боль,

чем никогда не знать ушедших из жизни. Я рад, что мне довелось быть знакомым с Сережей Николаевым.

Плывущим по течению, погруженным в суету дня, пересыпающим мелкий песок повседневных забот, нам трудно понять такого человека. Чаще всего мы даже не предпринимаем и попытки, попросту отмахиваясь от иного восприятия мира, другого взгляда на жизнь. Для многих Сергей и был – другой. Другой – это не такой, мы ведь мыслим, исходя из самих себя, и смотрим на таких людей как на чудаков. И только когда они уходят, видим их вдруг иными глазами. Растворяются в памяти чудачества и странности или то, что казалось нам таковыми, и в памяти остается только благодарность. И хотя благодарность стареет очень быстро, и давно сказано: хорошее о себе говори сам, плохое скажут твои друзья – все, с кем я говорил о Сергее Николаеве, настаивали на его талантливости, щедрости, деликатности.

Он ушел от нас, но, понятно, не весь. Его присутствие продолжается. Для тех, кто посмотрел на мир его глазами, и взгляд этот оказался решающим в выборе жизненного пути. Кто перенял у него черту характера, привычку или словцо. И для тех, кто просто, вспомнив его, улыбнется: интересно, а что сказал бы Сергей в этой ситуации, какое выкинул бы коленце? Дух его витает над ними.

Сначала я хотел назвать размышления о нем словом «maverick». Это английское слово означает индивидуалист, нонконформист. Но дословное значение его иное: «maverick» – теленок, отбившийся от стада. На нем нет клейма владельца, он не принадлежит никому. Таким был Сергей Николаев. Но правда эта неполная, потому что, будучи одиночкой, он жил среди людей и в конечном итоге – для людей.

Жизнь – место в пространстве, отведенное на короткий срок. Для него этот срок оказался особенно коротким, но было бы несправедливо, если бы память о таком человеке бесследно исчезла в потоке времени.

Единственная форма жизни за гробом, о которой можно говорить с уверенностью, единственный намек на бессмертие – это память в сердцах других людей. Потому решил назвать рассказ о нем *Capus amicus* – тот, кто дорог сердцам своих друзей. Ведь самым заветным желанием римлянина было, чтобы после погребального костра его назвали именно так. *Capus amicus* – вот кем остался для своих друзей Сергей Николаев.

МНОГИЕ ЖИЗНИ ЯНА ЭССЕРА

Голландский городок Ларен только в полчаса езды от Амстердама, но когда попадаешь в него, сразу ощущаешь себя в другом мире. Дома, крытые серого цвета прессованной соломой, террасы, книжные магазинчики и цветы, цветы. И тишина: впечатление, что время здесь остановилось и ты вновь очутился в доброй старой Голландии. Только в таких местечках можно еще вспомнить Гейне: «Когда придет конец света, я поеду в Голландию, потому что там все происходит на пятьдесят лет позже».

В начале прошлого века в Ларене жили художники, создавшие школу, так и называвшуюся — ларенской. Маленький чудный городок обнаружили и заграничные гости, главным образом американские. Они пересекали Атлантику, приезжали, как водится, в Париж, но потом, наслышавшись о Ларене, многие отправлялись в Голландию: картины представителей ларенской школы считались тогда в Соединенных Штатах наиболее характерными для живописи Нидерландов.

Очарованные нетронутой природой, они жили здесь месяцами, а Вильям Сингер настолько влюбился в Ларен, что остался тут навсегда. Построенная им вилла была после его смерти значительно расширена и превратилась в музей, который носит теперь имя Сингера.

И сам Сингер, и его жена были большими любителями музыки и неутомимыми собирателями картин, составивших постоянную экспозицию музея, в залах которого довольно часто устраиваются выставки и концерты.

Теплый майский день 2006 года. Сегодня здесь выставка из коллекции картин, которые сто лет назад начал собирать амстердамский врач Ян Эссер. Эссер? Я никогда не слышал этого имени, но отзывы от выставки восторженные. В фойе посетителей встречают дамы разного возраста, очень ухоженные, в подчеркнута скромно-дорогих, классического покроя костюмах.

Книжный киоск. Каталог. Фотографии Эссера. И вот — картины, картины. Пит Мондриан, Хендрик Брейтнер, Лео Гестел, Ян Сляй-

терс, Исаак и Йозеф Израэлс – амстердамский доктор знал их всех, когда они были молодыми и никому не известными художниками, еще не превратившимися в названия улиц голландских городов.

Эссер приобрел восемьдесят полотен Пита Мондриана в те годы, когда никто не хотел даже смотреть на них; многие из этих полотен стоят сегодня миллионы, десятки миллионов. В амстердамском докторе неожиданно обнаружилось удивительное понимание живописи, блестящая интуиция и провидческий дар.

Он не только коллекционировал работы молодых художников, но и устраивал выставки. Ему стоило немалых трудов уверить директоров музеев и владельцев галерей, что когда-нибудь они будут гордиться этими «декадентскими» картинами. Далеко не все поддались на его уговоры: по их мнению, картины были все же слишком вызывающи и непонятны.

Большинство полотен висело у него дома в Амстердаме. Художники были его друзьями и продавали Эссеру картины по «дружеской» цене. Кое-кто из них, став знаменитым и вспоминая то время, утверждал, что эти суммы не шли ни в какое сравнение с выгодой, которую принесли Эссеру их творения впоследствии. Сам же доктор был глубоко уверен, что, помогая художникам, когда никто даже не хотел смотреть на «модерную мазню», оказывал им немалую помощь. Эссер расплачивался с ними наличными или услугами: однажды за понравившийся рисунок он вырвал Хендрику Брейтнеру зуб...

Практикующий врач жил в Амстердаме рядом со знаменитым Концертхебау и не только собирал картины, но и со страстью отдавался посещениям концертов, особенно когда оркестром дирижировал знаменитый Виллем Менгелберг. Друзья вспоминали, что молодой доктор не желал знать заранее какую программу ему предстоит выслушать, объясняя, что хочет быть застигнутым музыкой врасплох, дабы не пропало чувство свежего восприятия произведения.

Но почти все свободное время он посвящал собиранию картин. Эссер свел до минимума приемные часы в практике, проводя массу времени в мастерских художников и на аукционах; он знал всех владельцев галерей, антикваров, покупал не только картины, но и предметы искусства, и старинную мебель. Через год доктор вынужден был переехать в новый, более просторный дом, где надстроил еще один этаж: места для картин катастрофически не хватало. Однажды он купил за бесценок запыленную картину, валявшуюся на чердаке среди всякой рухляди. Когда Эссер очистил полотно, на нем обнаружилась подпись

Рембрандта. Друзья советовали сделать профессиональную экспертизу в Гааге, но стоимость сертификата о подлинности показалась ему слишком высокой. «Меня не интересует, подлинный это Рембрандт или нет. Картина замечательная, она висит у меня на стене, и я могу наслаждаться ею каждый день», – сказал Эссер.

Это было счастливое время; его дом становится местом встреч друзей. Субботние вечера, когда при свечах за трубками у камина в гостиной эссеровского дома говорилось обо всем на свете, нередко затягивались далеко за полночь.

Но не только врачи, художники и музыканты собираются в доме Эссера. Среди гостей всегда можно встретить и шахматистов. Сам хозяин – игрок мастерского класса, принимающий участие в международных турнирах и в традиционных матчах Голландия – Англия.

В 1912 году он женится на Ольге Хазелбот Руфтсема. Свадебное путешествие молодожены совершили в Россию. Язык этой страны, ее культура всегда занимали Эссера, не последнюю роль в выборе маршрута сыграли и шахматы.

В Петербурге он сыграл немало партий с Григорием Левенфишем, в нескольких голландцу помогал студент в пенсне и в форме училища Правоведения, о котором все говорили как о восходящей звезде. Эссер обещал молодому Алехину замолвить за него словечко перед организаторами турнира в Схевенингене – первого международного турнира, выигранного будущим чемпионом мира. Свою поездку по России Эссеры закончили в Риге, где голландский доктор сыграл несколько партий с Ароном Нимцовичем.

Хотя Эссер принимал участие в международных турнирах, он был известен главным образом как успешный матчевый игрок. Матчи были тогда не менее распространенной формой соревнования, чем турниры. Эссер сыграл их за свою карьеру семнадцать, причем речь идет только об официально зарегистрированных поединках. В числе его соперников были и очень именитые, например, Дурас, Маршалл, Яновский, Брейер. В 1910 году Эссеру удалось выиграть (2:1) у Давида Яновского, оспаривавшего тогда у Ласкера титул чемпиона мира.

Все эти матчи финансировал голландский коллекционер живописи Леонардус Саломонсон, предпочитавший называть себя Лео Нардусом. Он постоянно жил в Париже, был невероятно богат и совершенно одержим шахматами.

В этот период Эссер часто играл с сильнейшим голландским шахматистом Олландом; сначала он проигрывал без особого сопротивле-

ния, но в 1910 году ему удалось свести матч вничью, а в 1913-м добиться победы с сухим счетом.

В том же году Эссер, выиграв матч у чемпиона страны предыдущего года Рудольфа Ломана (3,5:0,5), становится чемпионом Голландии.

Ян Эссер был, конечно, чистым любителем и не скрывал этого. «У меня нет времени, чтобы неустанно заниматься, я компенсирую это игрой с как можно более сильными соперниками, — говорил он. — Шахматы для меня — это умственный массаж, средство, чтобы развить воображение, закалить характер и укрепить решимость — золотые качества в игре, называемой жизнью».

В Амстердаме его жизнь катится по накатанной колее: пополнение коллекции картин, контакты с художниками, организация выставок, игра в шахматы, посещения концертов, не говоря уже о врачебной практике. К тому же теперь он семейный человек. Но размеренная жизнь своей рутинной, предсказуемостью начинает понемногу тяготить его. Пришла пора проявить себя на новом поприще — решает Эссер.

У него появляется новое увлечение: сравнительно мало исследованная область медицины — пластическая хирургия. Эссер оставляет практику, отдает на хранение бóльшую часть своей огромной коллекции картин и мебели и переезжает в Утрехт.

Он посещает лекции по хирургии, наблюдает за операциями, ассистирует на них, но пять лет специализации кажутся доктору слишком долгим сроком. Так и не получив диплом хирурга, он оставляет учебу. Кое-кто из академических коллег будет при всяком удобном случае напоминать ему об этом; в их глазах он навсегда останется только гениальным любителем.

Эссер начал свою карьеру пластического хирурга в Роттердаме, продолжил ее в Париже. На его счету уже немало операций, когда начинается Первая мировая война. Голландия, оставаясь нейтральной, не принимает в ней участия, и Эссер находит контакты во Франции и Бельгии, предлагая там свои услуги, но его предложения отвергнуты. Что ж, может быть, другая сторона их примет: политика его не интересует, главное — помочь искалеченным людям. В Австро-Венгерской империи соглашаются на его предложение при условии, что он будет работать с собственным персоналом.

В мае 1915 года с четырьмя медицинскими сестрами Эссер прибывает в Брюнн (теперь Брно в Чехии).

Недостатка в пациентах у него нет: война в разгаре, и непрерывным потоком поступают в больницу искалеченные люди. С обезображенными лицами, оторванными носами, вывороченными скулами, искаженным ртом, жуткими ожогами. Он применяет свой собственный метод (Esseg-inlay), пересаживая кожу с одного участка тела на другой, пораженный. Нередко он делает то же самое и с отдельными органами. Он пересадил четыре пальца со здоровой ноги на руку крестьянину, впавшему в отчаяние оттого, что никогда больше не сможет работать. Операция произвела впечатление чуда: прижившиеся пальцы на руке нормально выполняли свои функции, а их отсутствие на ноге почти не чувствовалось.

Ему повышают заработную плату, предлагают бесплатное жилье, но Эссер отказывается: он живет в больнице, а дом находится в десяти минутах ходьбы. Нет, он не хочет тратить впустую даже этих десяти минут.

Получив приглашение из Австрии, голландский доктор переезжает в Вену, где начинает работать в госпитале. Его слава растет, и посмотреть на операции Эссера прибывают медики из Германии, Венгрии, Болгарии. Коллеги в восхищении: статьи в медицинских журналах пестрят заголовками «Блистательные операции Яна Эссера», «Новое слово в хирургии», «Замечательные идеи голландского врача».

Следующий этап его работы – Венгрия. Эссер днюет и ночует в больнице Будапешта, нередко оперируя и по воскресеньям. Через пару месяцев он выбирается в шахматный клуб. Секретарь клуба, узнав, что в их городе находится маэстро из Голландии, немедленно организует четверной матч-турнир. Участники турнира: Брейер, Рети, Балла и Эссер. Партии турнира сохранились; просматривая их, можно заметить, что Эссер придерживался позиционных принципов, дебют ставил академически и редко пускался в авантюры. Хотя, встречаясь с Брейером, доктор, посвятив партию организаторам турнира, применил будапештский гамбит. Увы, через тридцать ходов он вынужден был капитулировать. В турнире первенствовал молодой венгерский чемпион Дьюла Брейер, а Эссер, победив Рети, занял второе место.

После окончания войны доктор с семьей переезжает в Германию и начинает работать в больницах Берлина. Его пациенты большей частью люди с врожденными дефектами, получившие увечья в результате несчастного случая и, конечно, пострадавшие на войне.

Он делает и косметические операции: фейслифты, операции на груди, животе. Эссер всегда относился к такого рода хирургическим

вмешательствам со скепсисом, даже с презрением, не делая секрета из того, что занимается этим только ради денег.

«Если наши знания будут использоваться только для прихорашивания человеческого лица, — говорил он, — пластические хирурги мало чем будут отличаться от парикмахеров». Всю жизнь Эссер избегал термина «пластическая хирургия», называя такую хирургию «косметической», в то время как то, чем занимался он, упорно именовал «структурной хирургией».

В его берлинском доме часто слышится русский: Ольге, жене доктора Эссера, помогают две женщины, говорящие между собой на этом языке. У приехавшей из России Степаниды деформирован нос и обезображено волчанкой лицом; ей требуется несколько операций и она остается у доктора, чтобы помочь ему по хозяйству. Другая служанка — из Литвы — тоже говорит по-русски. По просьбе доктора она дает детям уроки русского языка. Из письма Эссера старшей дочери: «Читай, читай как можно больше книг, пусть малыши тоже пишут мне. Пока ты еще не ходишь в школу, учись у мадемуазель Вейсс русскому языку...»

В Берлине доктор получает от властей разрешение на открытие собственной клиники при государственном университете. Он практикует в четырех больницах и отвергает это предложение без раздумий. Эссер в зените своей карьеры и не хочет быть связанным с интригами, имеющими место в любой университетской среде. К тому же в этом случае он лишился бы самого главного в шкале его жизненных ценностей — независимости.

Медицина была не единственным занятием Яна Эссера. Инфляция, разразившаяся в послевоенной Германии, превратила когда-то стабильную марку в труху. Счет шел на миллионы, миллиарды, триллионы. Печатавшиеся деньги подвозились на грузовиках.

Голландия оставалась нейтральной во время Первой мировой войны, и гульден был исключительно сильной валютой. Дома в Берлине на голландские деньги стоят сущие гроши, и в короткое время Эссеру принадлежит буквально половина Потсдама. Он учреждает фирмы, имеющие филиалы в Голландии и Бельгии; буквально за год Ян Эссер стал богатым, очень богатым человеком.

Но не все так безоблачно в его жизни: новый закон, вышедший в Германии, запрещает иностранцам занимать высокие посты в этой стране. К тому же возникают серьезные проблемы с налоговым управлением. У жены обнаружен рак, и хотя Эссер не сообщает ей об этом,

сам он знает, что конец предрешен. Ольга умирает в 1924 году; он вдовец, на руках у которого трое малолетних детей.

Эссер возвращается в Голландию. Встает вопрос: что дальше? Ему сорок семь лет. Открытие собственной клиники невозможно: он не закончил специализации и у него нет требуемых документов. Эссер снова начинает собирать картины, пополняя свою и без того огромную коллекцию — число картин в ней достигает восьмисот. Часть полотен он передает музеям на длительный срок, другие — дарит. Большая картина Брейтнера «Площадь Дам ночью» — подарок Эссера — до сих пор находится в постоянной экспозиции Амстердамского музея.

Изредка он оперирует. В Голландии, во Франции. Иногда играет в шахматы, но времени на них не остается. «Теперь я играю в другие шахматы», — улыбается голландский доктор.

Как и в Берлине, Эссер создает новые фирмы, часто существующие только на бумаге; он играет на бирже и вкладывает деньги в недвижимость. Ему принадлежит казино в Зандвоорте и множество домов в Амстердаме — на Принсенхрахт и Кейзерсхрахт, театр «Карре» и самый престижный амстердамский отель «Амстел», где в 1938 году будут жить участники АВРО-турнира. Он живет в одном из самых живописных мест города — на набережной Амстела в огромном четырехэтажном доме.

Но надо ли ему это все? Он носит выдавший виды костюм, спит на походной постели, питается всухомятку — печеньем, орешками и сардинами из консервной банки. Такой образ жизни вполне устраивает Эссера. Хотя в огромном подвале дома среди купленной по случаю старинной мебели возвышается гигантский несгораемый шкаф, он сам не знает точно, сколько денег находится в этом шкафу.

Эссер постоянно следит за курсом акций, давая распоряжения о купле-продаже на огромные суммы на биржах Амстердама и Парижа. Но он видит четкую границу между коммерцией и медициной. Эссер записывает тогда в дневнике: «Медицина стала коммерцией. Только редкие врачи озабочены тем, чтобы наилучшим образом применять свои знания на практике и двигать врачебную науку вперед. Медицина должна быть взята под контроль государства, так же как это сделано в отношении судопроизводства. Медицинское обслуживание населения не может зависеть от финансовых возможностей отдельных лиц или частных пожертвований. Медикаменты должны быть доступны всеми каждому, так же как, например, парки открыты для всех».

Проходят два года. Ни собирание картин, ни успешная коммерческая деятельность не приносят ему полного удовлетворения. Эссером мало-помалу овладевает идея, подчинившая себе всю его последующую жизнь: создание собственного института структурной хирургии. В его мечтах — это гигантская клиника, окруженная парком и домами для пациентов, готовящихся к операции и проходящих восстановительный курс после нее. Предусмотрены и дома для персонала: врачей, медсестер, технических работников и их семей. Это — малюсенькое государство в государстве, не подчиняющееся никакому правительству, приют для всех, кто нуждается в медицинской помощи. Расовая принадлежность, национальность, возраст пациента не должны играть никакой роли. Богатые полностью оплачивают нахождение в клинике, обеспечивая тем самым бесплатное лечение неимущих. Специальные службы в разных странах следят за постепенным возвращением в жизнь бывших пациентов — когда-то искалеченных, увечных людей. Утопия? Сказка? Мечта? Может быть. Но эта мечта, полностью захватившая его, едва-едва не стала явью.

Поразительно, сколько энергии он вкладывает в свой проект. Он носит по Европе, и каруселью мелькают города, в которых делает короткие остановки Ян Эссер: Страсбург, Париж, Лондон, Амстердам, Metz, Люксембург, Брюссель, Антверпен, Льеж, Мариенбад, Марсель, снова Париж. Короли, принцы, диктаторы и президенты, влиятельнейшие политики, светила медицины, нобелевские лауреаты — он встречается со всеми, и имя Эссера не сходит со страниц крупнейших газет мира.

Он пишет дочери: «Я хочу быть королем. И даже более того: ведь в настоящее время король является только наряженной в золотые одежды марионеткой».

Ритм его жизни бешеный. Время, проживаемое Эссером, не имеет ничего общего со временем часов и календарей. В Париже он ужинает в роскошном русском ресторане с египетской принцессой. Завтра рано утром — операция, потом встреча с испанским послом, вечером — премьера фильма на Елисейских Полях. На следующий день он в Амстердаме на открывающейся выставке, откуда напрямик отправляется в Хук ван Холланд. Пароход в Англию, в Лондоне Эссер читает лекцию и проводит показательную операцию. В Париже он оперирует баронессу Ротшильд.

Богатые пациенты платят за операции баснословные суммы, но с бедных он не берет ни гроша. Он пишет французской актрисе Сесиль

Сорель, которая полагает, что гонорар за операцию слишком высок: «Я никогда не снижаю размер гонорара, если однажды назвал его». Впрочем, для известной актрисы он готов сделать исключение: она может не платить ни сантимата, если будет способствовать осуществлению его проекта: открытию Института структурной хирургии. Как? Использовать свое имя и влияние в правительственных кругах Франции. Если Институт будет открыт, то Сесиль Сорель получит главную роль в пьесе, которая будет написана одним из крупнейших драматургов страны. Эссер хотел бы видеть этот проект реализованным до того, как отправится в кругосветное путешествие, предполагая начать его с Соединенных Штатов.

Все поездки Эссер осуществляет только третьим классом; он спит в поезде, чтобы сэкономить время и деньги на гостинице. Он носит два костюма, один поверх другого; второй Эссер снимает, когда поезд приближается к станции. В ресторанах он всегда заказывает очень скромные блюда и пьет, только когда обстоятельства вынуждают к этому.

В 1928 году он осуществляет трансатлантическое путешествие. Путешествие длится полгода, и Эссер не может сидеть сложа руки: всюду, где корабль делает остановки, — в Гваделупе, Мартинике, Санта Люсии, Тринидаде, Кюрасао, Гвиане он изучает культуры, выращиваемые на плантациях, и возможности экспорта.

Во Французской Гвиане он делает несколько операций. Его пациенты — осужденные на каторжные работы. В Тринидаде, Венесуэле и Суринаме он дает сеансы одновременной игры местным корифеям. Эссер давно не играл в шахматы, и результаты сеанса в Парамарибо не очень впечатляющи: доктор проигрывает несколько партий и требует реванша. Но всюду, где только можно, он оперирует, оперирует, оперирует. Газета Парамарибо писала тогда: доктор Эссер снискал триумфы в Суринаме как замечательный хирург, и его показательные операции долго еще будут предметом обсуждения.

Возвратившись в Европу, Эссер женится во второй раз. Ему пятьдесят два года, его избраннице двадцать один. Она — медсестра, с которой Эссер познакомился в лейденской больнице, где сам был вынужден подвергнуться операции по поводу аппендицита.

Эссер влюблен во Францию, французскую культуру, язык, образ жизни. Он покупает замок Ла Грийер на юге страны. Средневековый замок находится в таком запущенном состоянии, что для жилья можно использовать только несколько комнат из тридцати. Вскоре там уже

висят любимые Эссером картины старых мастеров; потом прибывает и мебель, большей частью античная, прекрасный концертный рояль. Эссер обожает маскарады и нередко организовывает в своем замке костюмированные балы, где всех приглашенных ждут подобранные самим доктором средневековые костюмы.

В мечтах Эссер видит Ла Грийе чудом архитектуры, но жить зимой в замке холодно, и Эссер покупает еще один дом – в Монако, возвращаясь с семьей во Францию только на лето. Огромный парк, окружающий замок, находится в плачевном состоянии, но по этому поводу у доктора имеются собственные идеи; все виноградники уничтожаются, так как Эссер полагает, что французы злоупотребляют вином, а это, по его мнению, не может не влиять на потомство. Оно лениво и лишено какой бы то ни было инициативы; сам он вино предпочитает молоко.

Эссер постоянно возится по хозяйству, что-то ремонтирует, навистывая своего любимого Бетховена, сажает деревья. Он не гнушается никакой работой и вникает в мельчайшие детали: как нужно смешивать краску, как быстро она светлеет при высыхании раствора, как твердеет цемент. Он сам красит, пилит, строгают, ремонтирует вышедшую из строя калитку. Дети не должны выбрасывать даже старые гвозди, ведь их можно еще выпрямить и пустить в дело. Когда он узнает, что местная полиция будет моторизована, он покупает все седла и сбруи по дешевке: кожа превосходного качества и может быть еще использована для различных хозяйственных нужд.

«Я помню доктора Эссера очень хорошо, особенно один монолог его, когда он сравнивал жизнь с шахматами. Я ничего из этого не поняла, потому что никто в нашей семье не играл в шахматы. Помню его замечательную фигуру, отменную выправку, его чистые голубые глаза, пронизывающий взор; серьезный мужчина в темном костюме и большой черной шляпе с широкими полями. Он всегда все старался делать сам, однажды я увидела его на последней ступеньке лестницы, красящим потолок...» – вспоминала на склоне лет дочь зубного врача, игравшая с его детьми.

Дети очень любят слушать рассказы отца, но и побаиваются его. Он проверяет копилку дочери: если там, как ему кажется, находится слишком много монет, он уменьшает ей сумму карманных денег.

Его по-прежнему можно часто видеть в Голландии. В Роттердаме Эссер покупает престижную гостиницу «Маас», а для своего казино в Зандвоорте – два пианино, пианолу, обновляет мебель. Но

разражается кризис и, хотя акции театра «Карре» удалось сбыть с рук по выгодному курсу, он вынужден продать почти все свои дома в Амстердаме.

Впрочем, и кризис можно использовать с умом: Эссер нанимает в Голландии двадцать пять безработных, чтобы отремонтировать замок по-настоящему. Доктор вводит для них железную дисциплину, но однажды, воспользовавшись отъездом хозяина, они поднимают настоящий бунт, так что домашние вынуждены даже забаррикадироваться в одной из комнат замка.

В 1931 году Эссер — на лошадиных торгах в Париже. Он покупает четырнадцать коней и привозит их в свое поместье. Появляется новая цель: разведение породистых английских жеребцов, и Эссер всерьез занимается изучением существа вопроса. Несколько дней спустя он уже специалист в коневодстве и подолгу рассуждает на эту тему.

Несмотря на разнообразие планов, создание института структурной хирургии является для него по-прежнему главной целью. Он еще раз пускается в путь, заручаясь поддержкой европейских знаменитостей.

Эссер возобновляет переговоры с португальским правительством, предлагая использовать для своей цели один из необитаемых островов недалеко от Мадеры. Он устанавливает контакты с Андоррой, Сан-Марино, Бразилией. Одно время его взор останавливается на острове Люнди неподалеку от ирландского побережья, потом речь идет о небольшом острове Сарк, расположенном в проливе. Не забыты и Нидерланды — островок Тинхемейтен хоть и мал, но полностью подходит для создания института.

Пока же на очереди Италия. Эссер производит в итальянских клиниках показательные операции, зачастую сложнейшие, и готовит почву для переговоров с Муссолини. Но встреча с дуче требует официальных рекомендаций. И здесь Яну Эссеру приходят на помощь шахматы.

Президент голландской шахматной федерации пишет письмо в Министерство иностранных дел. Выдержка из него: «Я знаю Яна Эссера как человека с самыми разнообразными интересами, твердого характера и высоких идеалов. По моему глубокому убеждению, он является чистым гением, заслуженно пользующимся славой во всем мире. Я должен добавить, что среди шахматистов можно встретить немало замечательных людей, но, по моему мнению, доктор Эссер является одним из самых выдающихся».

8 марта 1934 года Эссер встречается с Муссолини в Венецианском дворце. По анфиладе комнат его проводят в кабинет дуче. Стоящие повсюду чернорубашечники приветствуют его фашистским салютом. В огромном кабинете за рабочим столом сидит Бенито Муссолини; при появлении Эссера он вскидывает руку в знак приветствия, Эссер отвечает ему тем же. Для него этот салют не имеет никакого значения: таковы правила игры, а для блага всего человечества подобные мелочи не играют роли.

Муссолини поднимается из-за стола и дружески приветствует Эссера. Разговор переходит на французский, перемежаясь английским и немецким: Муссолини, как и Эссер, владел полудюжиной языков. Разговор длится три четверти часа. Дуче рассматривает фотографии, принесенные доктором, расспрашивает о деталях, но погружается в молчание, когда речь заходит об открытии независимого института на одном из итальянских островов. Он оживляется вновь, когда голландец показывает ему письмо поддержки с подписями Эйнштейна, Маркони, Павлова, Хуго де Фриса, Лоренца и других нобелевских лауреатов. В списке почетных членов института значатся королевские особы, Пуанкаре, Саласар, Геррио, министры, академики, профессора. Дуче тоже соглашается поставить подпись, но ему необходимо посоветоваться с итальянскими хирургами.

Время перед повторной встречей Эссер не терял даром: доктор побывал на аудиенции у короля Виктора Эммануила, где был принят на редкость любезно. Итальянский король соглашается стать почетным президентом института, но решение о предоставлении Эссеру острова может принять только дуче.

Во время следующей встречи Муссолини отвергает проект об экстерриториальном острове и предлагает Эссеру возглавить собственное отделение при медицинской академии в Риме, но это не устраивает уже голландца. «Почему? — спрашивает Муссолини. — Почему вы вообще так редко оперируете в последнее время?»

Эссер раздражается длинным монологом: «Моей главной целью являлось признание структурной хирургии как самостоятельной дисциплины. Когда я достиг этого, у меня появилась необходимость новой цели. Работа исполнителя — не по мне; придумывать и создавать новое — вот самое красивое и привлекательное в человеческой жизни. Поэтому создание цели и путь к ней для меня неизмеримо привлекательнее последовательного применения уже известного: я получаю несравнимо больше удовлетворения от роли первопроходца, чем ис-

полнителя. Ведь последнее — не что иное, как работа муравья, кропотливо перетаскивающего в который раз свою ношу. Я произвел десять тысяч операций и не помогу человечеству, если произведу еще тысячу. К сожалению, в последнее время появилось очень много врачей, мало компетентных и думающих только о материальной выгоде. Они оттеснили структурную хирургию на второй план, заменив ее пластической хирургией. Хотя я слежу за всеми новинками в этой области, оперирую я только в наиболее интересных случаях. И никогда не забываю при этом о золотом правиле: для получения оптимальнейших результатов расходовать как можно меньше времени».

Следуют еще три встречи с Муссолини, но и они ни к чему не приводят. Только полная независимость могла бы устроить Эссера, все остальное для него неприемлемо. Переговоры заходят в тупик.

Очевидно, что для осуществления его проекта требуются прочные юридические статуты. И снова на помощь Эссеру приходят шахматы. В Париже проживает один из крупнейших специалистов по международному праву, с которым он встречался почти сорок лет тому назад на турнире в Ганновере. Это Осип Бернштейн. Бернштейн помогает Эссеру не только юридическими советами. Гроссмейстер обладает знакомствами в самых высоких кругах и пишет для коллеги рекомендательные письма. В дело включается и роттердамский адвокат Оскам, один из организаторов матча Алехин — Эйве и сам сильный шахматист. Он не только дает доктору ценные советы, но и обращается за разъяснениями в Международный Юридический Совет в Гааге.

Институт был официально зарегистрирован в Париже 12 ноября 1934 года в помещении Лиги Наций. Видные ученые, политики, юристы присутствуют на торжестве; Эссер получает полное право от Совета директоров вести переговоры на самом высоком уровне.

Испанский посол во Франции, восторженно принявший идею Эссера, полагает, что Кабрера, один из пяти Балеарских островов вблизи южного побережья Мальорки, идеальное место для эссеровского института. Переговоры проходят успешно, но аудиенция с министром иностранных дел Испании приносит Эссеру новое разочарование: вследствие исключительно напряженных отношений между Испанией и Францией остров со стратегической точки зрения не может быть отдан под столь благородный проект.

В сентябре 1936 года Эссер приезжает в Берлин. Профессора-евреи, которых он знал еще в двадцатых годах, преследуются или вы-

нуждены покинуть Германию. Но он настолько увлечен своим планом, что согласен закрыть глаза на все ради достижения становящейся навязчивой идеей мечты и всеми силами добивается аудиенции у Геббельса.

Хотя под петицией Эссера подписываются известнейшие немецкие медики, ему не удастся выйти с проектом на самый высокий уровень и он вынужден ни с чем покинуть Германию.

Кое-кто утверждал, что Эссер сам был наполовину еврей, другие полагали, что он был антисемитом. Если первое не подтверждается документами, то что касается второго...

Дочь Эссера Эли вспоминала, что отец был крайне расположен к евреям, а немцев всегда называл мофами*. Другая дочь Эссера говорит: «Евреям приписывались особые способности в делах коммерции и, как следствие, многие относились к ним с неприязнью; отец же восхищался ими. Ему было приятно переигрывать их в областях, где они издавна считались мастерами».

В Мадриде в 1936 году на первом конгрессе пластических хирургов Эссера избирают президентом, а на следующий год в Брюсселе – почетным президентом. На его счету десятки статей в медицинских журналах, и специалисты говорят о его неоспоримых заслугах и новаторстве. Мнение португальского профессора Боргеса де Сауса: «Нет никакого сомнения, что блестящая, богато иллюстрированная книга Эссера, где его гениальный метод изложен до мельчайших деталей, будет прочитана с величайшим вниманием и оценена коллегами по заслугам».

Эссеру уже шестьдесят, но ему не сидится на месте. Он отправляется в Рим: голландский доктор обнаружил там типографию, заказы в которой исполняются много быстрее мадридской, к тому же она дешевле; он хочет издавать медицинский журнал на всех европейских языках, включая русский, и занят поисками хорошего переводчика на этот язык.

Голландский друг сообщает Эссеру, что идеальная страна для независимого хирургического государства – Греция с ее множеством островов, и что у него имеются там кой-какие связи. Эссер незамедлительно отправляется в Афины, где ему удастся встретиться с королем Георгом Вторым. Королю приходятся по душе идеи Эссера, и он тоже соглашается стать почетным президентом института. Эссер становит-

* Моф – презрительное слово для немцев по-голландски

ся своим человеком при дворе, а его проект — постоянной темой бесед в королевской семье.

Создана специальная комиссия, и Ян Эссер отправляется на осмотр островов. Его привлекает небольшой островок Кира Панагия — Мать Богов, площадью всего 28 квадратных километров. Пароход встречает все население острова: два монаха и три пастуха с семьями. Пастухи предлагают гостям скромный завтрак: свежий творог, черный хлеб и козье молоко. Эссер наслаждается необыкновенно чистой водой, но главное — восхитительным видом: синее море, две маленькие гавани, песчаные пляжи и девственная природа. Островок расположен в 75 милях от Салоник; уже готово и новое название его — отныне он будет называться «Мать всех увечных».

Сообщения о «его» острове появляются в европейских газетах. «Пари Суар», публикуя статью об Эссере на первой странице и называя его «хирургом с волшебными руками», сообщает: греческое правительство дарит всем увечным остров, где будет основано новое государство с собственным гражданством и валютой; окончательные законы этого государства будут выработаны комитетом хирургов во главе с Яном Эссером. Тут же фотографии голландского доктора — высокого импозантного человека нордического склада, с характерным лицом, светлыми глазами и приковывающим к себе взглядом.

Греческий диктатор Метаксас поручает министру провести окончательные переговоры с Эссером и решить все практические вопросы. Эссер требует абсолютной независимости: собственной таможни, финансовой системы, почты и телеграфа: он не хочет иметь ничего общего с цензурой, существующей в Греции.

Проект поступает к Метаксасу, который соглашается со всем, за исключением пустяка: он настаивает на размещении на острове двух полицейских, чтобы подчеркнуть хоть как-то греческое присутствие. Функции полицейских чисто символические, но и это не устраивает доктора: Эссер не потерпит на «его» острове кого бы то ни было. Метаксас стоит на своем, но и Эссер не желает уступить ни на йоту. Ничтожный конфликт становится на пути великого замысла. В день, когда Эссер покинул Грецию, он писал жене, что греки в конце концов согласились на одного жандарма, но даже это не устроило его.

Он находится еще в состоянии эйфории и теряет чувство реальности: если греки не соглашаются на его условия, так и не надо. Он с гордостью сообщает домой о новых, грандиозных планах: получено официальное приглашение из Белграда — югославские профессора уже

давно наслышаны о его операциях и теперь хотят воочию убедиться в уникальных возможностях знаменитого хирурга. Если ничего не получится в Югославии, он снова намерен предложить свои услуги Франко. В случае неудачи у каудильо можно попытаться счастья в Японии.

В июле 1938 года в Милане проводится третий конгресс общества. На нем по предложению итальянских коллег Ян Эссер объявляется почетным пожизненным президентом. Следующий конгресс должен состояться в Париже, потом в Берлине, но история вмешивается в далеко идущие планы.

Наступает 1939 год. Эссер в Голландии. Надо привести в порядок коммерческие дела, разобраться с архивами. Он работает без устали и спит четыре часа в сутки. Когда кто-то спрашивает его, будет ли война, Эссер отвечает не задумываясь: «Вы задаете неправильный вопрос. Война уже повсюду».

1 сентября началась Вторая мировая война. Как и четверть века тому назад, Эссер предлагает свои услуги французскому правительству; он готов осуществлять операции безвозмездно. И на этот раз французы отвергают предложение Эссера: пусть и в качестве хирурга, во время Первой мировой войны он «коллаборировал» с немцами.

Теперь ему нечего делать в Европе, его цель – Америка. Сначала Эссер отправляет туда сына, потом сам с двумя чемоданами налегке пересекает Атлантику. В Монако осталась молодая жена с тремя маленькими детьми.

Поначалу его дела в Соединенных Штатах складываются отлично: 24 мая 1940 года американское Общество пластической хирургии объявляет Эссера почетным членом и дает в Нью-Йорке обед в его честь. Но очень скоро начинаются будни. Вся недвижимость Эссера осталась в Европе, но у него значительный капитал в ценных бумагах. Он вкладывает все, что у него есть, в акции Боинга, будучи уверенным, что их стоимость пойдет вверх. Происходит обратный процесс, причем настолько резко, что в мгновение ока Эссер теряет абсолютно все.

Банкир, на глазах которого произошла катастрофа, вспоминал впоследствии: «На протяжении моей долгой профессиональной деятельности я никогда еще не видел человека, который бы с таким полным безразличием отнесся к потере столь огромной суммы денег».

Деньги были для него не более чем мишурой, блестками на рождественской елке. Увы, жизнь почти всегда много прозаичнее: именно сейчас, в Америке эти елочные блестки оказались бы для него очень кстати.

Эссеру шестьдесят три года. Он еще надеется получить разрешение оперировать. Пустые надежды: у него ведь нет даже официального диплома. Правда, его еще принимают в разных городах Америки, он читает лекции в Нью-Йорке, Бостоне, Кливленде, Филадельфии, Детройте, Чикаго, Нью-Орлеане и по-прежнему пытается собирать подписи под своим проектом, но что толку: у него нет влиятельных знакомых, которые могли бы замолвить за него словечко.

По Америке они с сыном перемещаются в купленном по случаю старом Форде. Переезжая из штата в штат в расчете на помощь и поддержку, они живут и ночуют в этом выдавшем виде фургончике. Зимой морозы достигают 20 градусов, вода ночью замерзает, а печурки явно недостаточно. «Мы жили как бродяги, как нищие», — вспоминал сын Эссера Мартен. — Однажды в Филадельфии мы провели в зале ожидания вокзала несколько часов, что-то читали, могли воспользоваться туалетом, помыться...»

Наконец они поселяются в Чикаго; в маленьком пансионе на Хай Парк Бульвар им удастся снять небольшую комнату. Но очень скоро они оказываются совсем на мели, и даже эта комната становится им не по карману. Отец и сын переезжают в другую, совсем крохотную, без окна, с двуспальной кроватью, столиком, одним стулом и умывальником.

Эссер понимает, что его институт, его мечта никогда не осуществится, но теперь у него возникает новая, не менее благородная цель: написать книгу, которая включила бы в себя все дисциплины: философию, медицину, биологию, физику. Это будет Гигантская Теория Всего, объединяющая все теории, известные до сих пор. В этом труде он пойдет много дальше Эйнштейна и Дарвина, он обозначит человечеству путь в будущее. Пока отец пишет книгу, сын подрабатывает грузчиком на близлежащей фабрике; Мартен доволен, что получил хоть какую-то работу.

Эссер диктует мемуары. За ним записывают два секретаря; это бывшие пациенты Эссера, имеющие к нему безграничное уважение. Они не берут ни гроша за свою работу, если не считать вознаграждением трапезу, состоящую из сардин с хлебом, которую они делят с доктором.

Но они упорно приходят в пансион на Хай Парк Бульвар, и Эссер безостановочно диктует им мемуары и свои мысли по проблемам переустройства мира. По правде, он предпочел бы работать без секретарей, но так экономится драгоценное время, к тому же его английский не столь хорош.

В конце 1942 года Эссер обнаруживает в Чикаго на Лейк Парк Авеню совершенно заброшенный полуразрушенный дом. В нем двадцать пустых комнат, но крыша протекает, а в оконных рамах почти нет целых стекол. Дом в настолько запущенном состоянии, что Эссеры могут снять его за 25 долларов в месяц, при условии, что контракт будет заключен сразу на пять лет.

На последние деньги они покупают старую мебель, и доктор немедленно приступает к работе. Эссер все делает сам: он ведь лучше любого водопроводчика, штукатура, кровельщика и маляра знает, как все должно быть приведено в порядок в кратчайшее время. Ремонтируя пол, он проваливается в подвал дома и вынужден провести несколько месяцев в постели.

Он пишет жене и детям длинные письма почти каждый день. Пишет, что очень скучает, что хочет видеть их всех, но сейчас должен выполнить свой долг: «Или мне ничего не удастся, или я добьюсь признания в этой стране. Я получил возможность в течение продолжительного времени обдумать как следует все теории об эволюции и соединить их в одну. Теперь я снова в порядке и пишу, пишу с утра до ночи. Как начинающий студент, я должен знакомиться с многими науками, о которых знаю очень мало, но, к счастью, я могу всегда проконсультироваться со знакомыми профессорами. Один очень способный студент философии помогает мне с английским. Он утверждает, что от контакта со мной он получает больше, чем от всех своих преподавателей вместе взятых».

Консультироваться с профессорами Эссеру непросто. Он крайне осторожен: ему постоянно кажется, что кто-то хочет похитить его идеи, тем более сейчас, когда он стоит на пороге великих открытий...

Прибыв в Соединенные Штаты, Эссер нередко высказывал свои соображения по поводу наилучшего устройства человеческого общества, утверждая, что потеря тысяч человеческих жизней не играет столь большой роли по сравнению с грандиозной задачей объединения Европы. Такого рода мысли иммигранта без профессии не могли не вызвать подозрений в Америке в военное время, и в конце концов он попадает в поле зрения ФБР.

Эссер был подвергнут двум продолжительным допросам по подозрению в шпионаже. На этих допросах его жизнь в Европе и в Америке была обговорена до мельчайших деталей. Он заявил, что находится в переписке с женой и детьми, которые по его совету продали прина-

длежавший ему дом в Монако и поселились во Франции. Объяснил, что занимался устройством независимого хирургического государства; на вопрос о том, как он видел финансовое обеспечение своего проекта, Эссер отвечал, что не сомневается в том, что немало частных лиц пожертвовали бы значительные суммы на такое благородное дело. Подтвердил, что после неудачной денежной операции у него осталось только 500 долларов, что в настоящее время у него нет постоянной работы, что он не располагает банковским счетом и живет на заработки сына. В ответ на вопрос, что он делает целыми днями, доктор сказал, что работает над автобиографией и пишет книгу научного характера. По поводу ситуации в мире в настоящее время он заявил, что, являясь пацифистом, принципиально отвергает какую-либо войну и не имеет никакого интереса к событиям в мире в этот момент. Его идеал — мировое правительство, которое поделило бы поровну все запасы ископаемых и энергии, и его не интересует, кто претворит этот идеал в жизнь.

На вопрос, как он относится к частной собственности, Эссер отвечал, что относится к ней положительно при условии, что частная собственность не мешает людям проявить все лучшее, что заложено в них. Все запасы энергии и ископаемых на Земле зависят от солнечной энергии, и никакая группа людей не может предъявлять эксклюзивных прав на них. Он добавил, что политическая система может функционировать успешно только в том случае, если правительство управляет этой системой квалифицированно и честно. Давая показания, доктор Эссер не жалел красок для описания своих выдающихся достижений, перечисляя знаменитых людей, которых он знал в Европе.

Второй допрос Яна Эссера был произведен 8 мая 1945 года, когда война в Европе уже фактически закончилась. Сотрудники Федерального бюро расследований отметили, что допрашиваемый очень хорошо осведомлен о текущих событиях, о сан-францисской конференции, закончившейся, по его мнению, неудачей потому, что Иден и английское правительство избрали неправильный курс на раскол между США и Россией. Он говорил очень подробно и о беспомощной политике министра финансов страны Моргентау. И хотя он, Эссер, через голландского консула предпринимал шаги, чтобы встретиться с министром, дабы разъяснить тому ситуацию, получить аудиенцию у Моргентау доктору Эссеру так и не удалось. Он пробовал также войти в контакт непосредственно с правительствами США и России. Безусп-

пешно. Он считает, что человечество заслуживает лучшей участи и что он, доктор Эссер, посвятив всю свою жизнь борьбе за его благо, знает, какие шаги должны быть предприняты в этом направлении. Он не сомневается, что Американская хирургическая ассоциация из зависти так и не разрешила ему практиковать в качестве хирурга. Впрочем, он и не так уж заинтересован в этом. Всю свою энергию он отдает теперь автобиографии, которая далеко еще не закончена, и на изучение различных дисциплин, с тем чтобы завершить работу жизни.

Бесстрастный стенографист из ФБР записывает: «Доктор Эссер с уверенностью говорит, что он всегда был абсолютным авторитетом в любой области, какой бы ни занимался. Он уверяет, что он рожденный гений, и здесь, в Соединенных Штатах, это должны в конце концов понять». Беседующие с Эссером агенты констатируют, что имеют дело с человеком не от мира сего. Его оставляют в покое.

Война кончилась, и теперь наконец стало возможным урегулировать все его довольно запутанные дела, связанные с движимым и недвижимым имуществом, оставшимся в Европе. Немалые суммы денег помещены в самые различные предприятия и фирмы, не говоря уже о ценной коллекции картин, частично хранящейся в надежном месте, частично одолженной музеям. Но душа не лежит к этому: его работа, его книга занимает Эссера больше всего.

19 июня 1945 года он пишет жене: «Я не имею ни малейшего понятия, когда мы вернемся в Европу. Я по-прежнему очень интенсивно занимаюсь своей книгой и считаю крайне важным закончить и опубликовать ее здесь. Я пишу шестнадцать часов в сутки и почти не выхожу на улицу. Поверь, я стал очень разносторонним ученым, и эта работа увлекает меня больше, чем какая-либо, которую я делал раньше. Известнейшие профессора, частично ознакомившись с моей работой, дают ей самую высокую оценку. Я не хочу терять ни минуты времени и надеюсь, что эта книга явится самым большим достижением моей жизни».

В конце 1945 года после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Эссер рассуждает об атомном оружии, в котором видит идеальное средство, чтобы, сплотив человечество, предотвратить войны. Он пишет: «Народы должны работать вместе, чтобы достичь максимальной продуктивности и честного распределения продуктов. Но без трудолюбия какое бы то ни было счастье невозможно».

Он повторяет, что с планами его возвращения в Европу следует повременить. «Я полагаю, что важнейшая цель моей жизни — обес-

печить счастье всего человечества; поэтому я обязан закончить книгу об эволюции мира. И не только о людях, животных и растениях, но и о появлении и исчезновении материи вообще, начиная с Млечного Пути, дезинтеграции всех физических и химических субстанций и создании новых Млечных путей. Теории Эйнштейна и Дарвина очень расплывчаты и ограничены. Как макроскопическая жизнь со всеми ее особенностями, так и микроскопическая материя становятся менее понятными по мере того, как в них углубляешься».

В июне 1946 года в последнем письме он советует дочери: «Я был самым плохим учеником в классе и сумел подготовиться к экзаменам только после того, как научился играть в шахматы. У меня был тогда комплекс неполноценности, но благодаря успехам в шахматной игре мой характер совершенно изменился. Я стал в состоянии противостоять неудачам и ударам судьбы и почувствовал, что могу победить всех соперников вследствие решительности и силы воли; я приобрел эти качества благодаря шахматам. Они научили меня смелости и оптимизму, дали немалую толику уверенности в том, что я смогу взяться за любую работу и успешно выполнить ее. Если ты захочешь добиться успеха в какой-либо области, надо регулярно тренировать свой мозг, например, той же шахматной игрой».

Он теряет сознание в офисе чикагского университета, но его приводят в себя. «Меня реанимировали. Я не знаю, сколько мне еще остается, но очевидно, что я должен очень экономно расходовать свои силы. Я переработался с ремонтом дома, и мое сердце не выдерживает перегрузок», — пишет Эссер жене.

Его предупреждают об опасности, но он прекращает принимать лекарства, прописанные ему врачами. Что они понимают, эти доктора! Он все знает лучше: токсические вещества, образовавшиеся в организме вследствие долгого употребления медикаментов, могут принести только вред, и вот он, голый, стоит перед раскаленной печью, чтобы пропотеть и вывести из органов эти ненужные вещества.

Перемены в нем видны невооруженным взглядом. Он сильно исхудал, костюм висит на нем мешком. Его состояние ухудшается с каждым днем, но он не хочет мириться с этим.

Мартен: «Его воля к жизни была невероятной. Неудачи не могли его сломить: он их просто-напросто отрицал. Он напевал частенько немецкую песенку: “Пусть завтра нас ждет холодная могила, сегодня мы еще тра-ля-ля...” Он знал, что своей силой воли может преодолеть

все. Но силы его таяли, и мне кажется, в глубине души он сознавал, что потерпел поражение...»

Когда 3 августа 1946 года они с сыном возвращаются домой из магазина, трость выпадает из его рук. «Подбери ее», — говорит он Мартену. Дом совсем рядом, он проходит еще сотню метров по направлению к нему и падает замертво.

На похоронах присутствуют только двое: сын и бывший пациент Эссера. Его хоронят в общей могиле в самом дальнем углу кладбища. Через полгода сын ставит плиту на этом месте. Надпись на ней — JOHANNES F.S. ESSER 1877-1946 A STRUCTIVE SURGEON — еще раз подчеркивает антипатию, которую Ян Эссер имел к термину «пластическая хирургия». Его могилу никто не посещает; когда Мартен несколько лет спустя приходит на кладбище, он видит, что плита исчезла. Он находит ее где-то на другом конце кладбища в куче мусора и обломков.

После смерти отца Мартен получил письмо от одного из крупнейших американских философов Пауля Схилпа. Тот писал: «Я не только любил твоего отца, но и преклонялся перед ним. За время своей долгой жизни я никогда не встретил никого, оставляя в стороне Эйнштейна, кого можно было бы сравнить с твоим отцом. Тот факт, что он делился со мной своими откровениями и позволил заглянуть в рукописи, был самой большой радостью в последние годы моей жизни, и я вынес из этих встреч с ним незабываемые воспоминания. И как я умолял его опубликовать хотя бы этот материал. Все напрасно. Все, что он подарил нам, внезапно остановилось в своем развитии. Рукопись с одной из его теорий сейчас передо мной на письменном столе. Что случится со всем этим? Кто возьмет на себя труд привести все в порядок, чтобы представить его труды миру? Есть ли шанс, что ты или бывший секретарь отца возьметесь за эту работу?»

Когда дети Эссера подросли и спрашивали мать об отце, глаза ее становились влажными, и все свои рассказы она кончала словами: «Это был выдающийся человек, с которым было трудно, неимоверно трудно быть вместе». Она просила детей после ее смерти перечитать все его письма, чтобы они могли по-настоящему оценить того, кто был ее мужем и их отцом.

То, что умеешь делать лучше всего, более всего и достойно быть сделанным — считает большинство людей. Не таков был Ян Эссер. За

чечевичную похлебку житейского успеха он не желал продавать находящийся в непрестанных поисках нового дух.

Решив проблему, он терял к ней всякий интерес. Каждое исполненное желание, каждая осуществленная цель означала для него начало рутинной жизни, погружение в стоячую воду. Это было мучительно для него, можно сказать, что и невозможно. Поэтому во всех его проектах, какими блестящими они бы ни были, было уже зерно поражения; поражением оказалась в конечном итоге вся его жизнь, во всяком случае, с точки зрения тех, за права которых он боролся и кого презирал в глубине души.

Он был человеком крайностей, не желал говорить «да», когда, очевидно, это было выгодно, не хотел идти на компромиссы, без которых невозможно представить себе любую человеческую жизнь. Его непреклонность создавала ему больше врагов, чем друзей. Его несговорчивость, неуступчивость вызывали неприязнь, а блеск личности только усиливал раздражение.

Многим не нравилось, когда он еще и еще раз хотел продемонстрировать, что правда на его стороне, а если так и оказывалось, отторжение только увеличивалось. Людское мнение его мало трогало; он был как бы закован в броню. Не потому ли он читал только те книги, которые соответствовали его ментальности. Его любимая? «Дон Кихот Ламанчский».

В нем сочетался благородный идеализм с расчетливостью и жесткостью, и хотя манеры его были безукоризненны, в действительности он мало считался с окружающими его людьми.

Он писал жене: «Я вижу, что намного превосхожу других. Я просто физически чувствую, что я выше их...» В его мании величия было что-то от сверхчеловека, но не в примитивном смысле — фанатичного воителя, вооруженного до зубов, как понимали этот образ идеологи Третьего рейха. Нет, скорее он приближался к идеалу Ницше: гордой личности, благодаря образованию, способностям, упорным размышлениям и безграничному эгоизму поднявшейся над посредственностью и ортодоксальностью.

Знавшие Эссера свидетельствуют о его фотографической памяти. Каждый новый случай в только начавшей развиваться отрасли медицины требовал от него особого решения, и каждый такой случай откладывался в его памяти навсегда. Он обладал блестящей интуицией, редкой работоспособностью, силой воли и умением сразу обнаружить существо вопроса. Он не подстраивался под чужие мнения и пренеб-

регал правилом: если хотите здобиться успеха, не демонстрируйте свою образованность и осведомленность, не ущемляйте тщеславие других. Не отходите слишком далеко от общепринятых представлений, потому что общество довольно часто прощает преступника, и никогда — мечтателя.

Он предвидел глобализацию, появление современной системы медицинской помощи населению и был уверен, что пересадка органов скоро станет рутинной операцией.

У него были высокие этические нормы медика, но как бизнесмен он не сторонился сомнительных операций. Он боролся за всеобщее равноправие, но был грозой для своих слуг и сотрудников и не терпел никаких возражений. Он был безоговорочным сторонником демократии, но без зазрения совести общался с диктаторами, потому что те могли единолично принимать решения, не советуясь с парламентом. Он был равнодушен к славе, но церемониальный прием производил на него огромное впечатление. Как-то он был совершенно убит, когда его, прославленного хирурга, голландский дипломат спросил, а в чем, собственно говоря, заключаются его заслуги. Он был вежливым и предупредительным, мило шутил в поезде с пассажирами третьего класса, но без зазрения совести выжимал последние соки из безработных.

Его очень легко обвинить в эгоцентризме, бессердечности и расчетливости, если вспомнить, как он обращался с детьми, слугами, как мог быть скуп, высокомерен и невозможен в повседневной жизни. Но все эти качества сочетались у него с редкими способностями, широким кругом интересов, добротой и целеустремленностью, любовью к женам и детям, даже если слово «любовь» должно быть принято со многими оговорками.

Находиться рядом с такими, полностью сфокусированными на себе людьми — задача не из легких. Обладая талантами самой высокой пробы, они могут быть капризными, равнодушными, подозрительными, погруженными в себя и совсем не считающимися с окружающими, и только родные и близкие друзья знают, как трудны, а порой и невыносимы бывают в каждодневном общении эти не похожие на нас с вами люди.

Человеческую жизнь непросто разложить по полочкам. Еще труднее сделать это с жизнью Яна Эссера. Кем он был? Неврастеником? Сибаритом? Коммунистом? Фашистом? Самодуром? Новатором? Спекулянтом? Мечтателем? Шарлатаном? Провидцем? Тираном? Гением?

Его нельзя причислить ни к каким человеческим типам; каждая такая попытка обречена на неудачу, и мы будем вынуждены собирать разлившуюся по полу ртуть и ловить руками воздух. Он жил таким количеством жизней, что сейчас, пристальнее вглядываясь в каждую из них, можно только удивляться, что они прожиты одним человеком.

Эссер сказал как-то о себе, что был коктейлем, в котором смешались самые различные составляющие. В наше время, когда многое, если не все, объясняется наследственностью и генами, попробуем бросить взгляд на детские и юношеские годы Яна Эссера.

Его дед Мартинус Эссер порвал с семейной традицией: под впечатлением ужасов, увиденных им во время бельгийской кампании 1831 года, молодой офицер не стал продолжать армейскую службу и рано вышел в отставку. Эссер купил небольшую гостиницу в центре Лейдена и вел безмятежное существование до тех пор, пока его не посетило озарение: в январе 1846 года он основал «Фонд помощи Человечеству».

Вследствие нехватки докторов во время разразившейся в Лейдене эпидемии помощь оказывалась только очень состоятельным больным, и Мартинус Эссер задался целью помочь беднякам, не имеющим возможности лечиться и покупать медикаменты. За очень низкую ежемесячную плату они могли постоянно пользоваться услугами начинающих врачей и получать бесплатно таблетки и мази. Личный доход учредителя был невелик, но Мартинус Эссер преследовал совсем другую цель: помощь страждущему человечеству. Идеи обуревали его, и несколько лет спустя он открыл первую в Голландии страховую компанию; она называлась «Лейденская компания по страхованию жизни».

Его сын Йоханнес Фредерикус, отец Яна, начал работать в этой компании, но видели его там нечасто. Он прекрасно разобрался в искусстве, отлично музицировал, был заядлым спортсменом, ценителем и знатоком лошадей.

Ян был любимцем деда, который учил его быть экономным во всем: во времени, мыслях, деньгах. И дед, и отец мальчика умерли, когда ему едва исполнилось четырнадцать лет. Мать, страдавшая от хронической депрессии, была помещена в лечебницу, и мальчик стал воспитываться в чужой семье. В эти годы Ян Эссер – робкий, отстающий по всем предметам подросток, всегда занимающий место на последней парте в классе.

Возможно, что так бы все и продолжалось, если бы сосед-молочник не научил Яна новой игре. Игра называлась шахматы. Хотя шахматы

поначалу и не особенно понравилась Яну, после двух уроков он выиграл партию у своего учителя; выиграл и вторую, когда расстроившийся молочник запросил реванш.

Сосед приводит мальчика в местный клуб, где через пару месяцев Ян побеждает лейденских корифеев. Газеты пишут о вундеркинде. Учителя в школе ставят его в пример. Мальчишки, еще недавно терроризировавшие Яна, просят обучить их шахматной игре. Он организует в гимназии клуб, носящий имя его кумира – Пола Морфи. Не беда, что членами этого клуба становятся только двенадцать подростков; все они вдохновлены энергией и успехами их первой доски и тренера. Денег, чтобы снять какое-либо помещение, у мальчиков нет, и они играют в полутемном подвале, где молочник хранит сырные круги. Ведомые Эссером подростки вызывают на матчи команды из Делфта, Роттердама, Амстердама и побеждают их всех.

Вскоре Ян становится лучшим шахматистом города; он выигрывает матч у бессменного чемпиона Лейдена доктора ван Рейна. На него производит большое впечатление вила доктора, огромная, с замечательным садом. Он поступает на медицинский факультет лейденского университета. Высокий импозантный молодой человек принимает участие в соревнованиях по боксу, велосипедным гонкам, участвует в регате. И, конечно, кто как не Ян Эссер должен стать президентом студенческого шахматного клуба «Алапин».

На фотографии 1898 года его можно видеть рядом с Эмануилом Ласкером, игравшим тогда в Амстердаме и встретившимся с лейденскими студентами. Эссер – почетный член клубов Лейдена, Ниймегена и Делфта и даже в период работы над дипломом не смог отказаться от участия в небольшом турнире в Гааге. Еще в студенческие годы Эссер много писал о шахматах, вошел в редакцию голландского шахматного журнала, потом был главным редактором. Он вел еженедельную колонку в газете «Алгемейне Ханделсблад», отказавшись от нее только в связи с отъездом за границу. Ему нравилось быть на виду: несмотря на молодость, он одно время был даже президентом голландской шахматной федерации.

Ему на все хватало времени: сестра Бетси училась на зубного врача, и чтобы помочь ей, Ян слушал лекции по ее специальности, проходил практику в Утрехте. Они вместе готовились к экзаменам. В 1903 году Бетси получила диплом, но и брат с тех пор чувствовал себя весьма уверенно в стоматологии.

В 1904 году Эссер сам заканчивает медицинский факультет и в качестве судового врача отправляется в дальнее путешествие: Азоры,

французская Гвиана, Суринам, Венесуэла, Нью-Йорк. На корабле мало работы для молодого доктора, и он при первой возможности играет в шахматы с капитаном и дает сеансы одновременной игры вслепую членам экипажа. Восхищение способностями врача столь велико, что капитан телеграфирует в Каракас о прибытии «чемпиона». В столице Венесуэлы прямо в гавани Эссера встречает целая делегация: это члены местного клуба с шахматными досками подмышкой. Судовой врач дает сеанс одновременной игры прямо на палубе корабля. На обратном пути в Европу Эссер с успехом повторяет его; голландского доктора награждают «Большим орденом Боливара». Он возвращается в Голландию, работает деревенским врачом в маленьком местечке недалеко от Утрехта, время от времени выбираясь на своем мотоцикле в Амстердам в шахматный клуб. Когда он видит объявление, что столичный доктор ищет работу в провинции, он не колеблется ни минуты, переезжает в Амстердам и начинает работать домашним врачом. Это произошло в 1906 году. Остальное вы знаете.

Остается добавить, что когда молодой доктор поселился в Амстердаме, он жил в доме 91 по Йоханнес Верхюлстраат. От этого дома пять минут пешего хода до другого под номером 183. Декабрьским днем 1935 года все пространство перед этим домом будет заполнено народом, приветствующим нового голландского чемпиона мира по шахматам, но этого Ян Эссер знать тогда не мог.

Нет никакого сомнения, что Эйве и Эссер были знакомы, и сейчас мне жаль, что среди вопросов, которые я не задал Максиму Эйве, мог быть и вопрос о Яне Эссере. Оправданием может быть только то, что я никогда не слышал этого имени, да и вряд ли рассказ о нем был бы мне тогда интересен.

Эссер был прочно и надолго забыт. В шахматном журнале после его смерти не было напечатано ни строки, а в программах чемпионатов Голландии, где обычно перечисляются все победители, рядом с годом 1913 стоял прочерк. Прочерк стоял и в турнирной программке чемпионата страны 1973 года, первого выигранного мной чемпионата, игравшегося ровно шестьдесят лет спустя после триумфа Эссера. Помню, скользнул взглядом по длинному списку, где рефреном повторялось имя Эйве и совсем равнодушно — по этому прочерку. Мог ли я тогда предположить, что однажды мне предстоит совершить паломничество в беспокойную и такую многоликую жизнь Яна Эссера.

ДЯДЮШКА

Аршинный заголовок «Платил ли Пагель по-черному голландским шахматистам?» привел в уныние многих членов Королевского клуба. Целый разворот с фотографиями гроссмейстеров и мастеров появился 11 января 1986 года в крупнейшей газете страны «Телеграаф».

Шахматисты подозревались в получении крупных сумм денег от находящегося под арестом владельца клуба, бетонного короля Арнфрида Пагеля. Эти суммы, не заявлявшиеся в налоговых декларациях, варьировались, как сообщала газета, от нескольких сотен гульденов за партию до годовых контрактов, составлявших десятки тысяч.

Чиновник налогового ведомства недвусмысленно заявил: «Нам интересны не только размеры доходов самого господина Пагеля. В документации Королевского клуба нет даже намека о выплате каких-либо денег шахматистам. Тем не менее очевидно, что на протяжении семи лет они получали немалые гонорары».

Арнфрид Гюнтер Дагоберт Пагель, немец по рождению, поселился в голландском Бергене в конце семидесятых годов. Он был владельцем нескольких бетонных фабрик на юге Германии, выпускавших исключительно прочный бетон, который так и назывался «Пагель-бетон».

Помимо того, что этот бетон широко использовался в строительстве, он был хорош и для производства атомных бункеров. Бункер был абсолютно герметичен, свежий воздух в него постоянно нагнетался специальными установками, а запасов воды и продовольствия могло хватить на длительное время. Несмотря на значительную цену бункера — 300 тысяч дойчмарок — продукция расходилась отлично: угроза ядерного удара со стороны Советов была, по мнению покупателей, совсем не теоретической.

В бомбоубежище, принадлежавшем самому Пагелю, был винный погреб: владелец его справедливо замечал, что даже во время атомной атаки не следует пренебрегать стаканчиком-другим хорошего винца.

На вопрос о назначении развешенного при входе в бункер автоматического оружия Пагель отвечал, что в случае паники, которая возникнет в результате ядерного удара, множество людей может ринуться в бункер, поэтому меры самообороны не помешают.

Круг интересов бетонного короля не ограничивался бизнесом: Арнфрид Пагель был страстным любителем шахмат. Игрок солидного маневренного стиля и силы примерно 1600-1700 пунктов рейтинга, он несколько раз принял участие в низших группах фестиваля в Вейк-ан-Зее, без особого, впрочем, успеха.

Поселившись в Бергене, он стал посещать шахматный клуб этого небольшого голландского городка. Секретарь клуба вспоминает, что Пагель никогда не признавал поражения: если его позиция становилась совершенно проигранной, он отправлялся в бар и оставался за стойкой до тех пор, пока флажок на его часах не падал. В легких партиях или партиях блиц он невозмутимо делал ход после того, как его королю был объявлен мат.

Когда его не включили в клубную команду, он, рассорившись с его членами, принял решение создать свой собственный клуб. Дав ему звонкое имя «Королевский», Пагель зарегистрировал клуб в Голландской федерации шахмат и решил выиграть на следующий год командный чемпионат страны. «Мы сметем всех с лица земли», — объявил Пагель. Но на деле все оказалось не так просто.

Ему вежливо объяснили, что сразу это сделать нельзя, надо начинать с провинциальной лиги и, только поднимаясь со ступеньки на ступеньку, можно достичь высшего дивизиона. Весь путь должен был занять семь лет, при условии, разумеется, перехода каждый год в следующую лигу. «Отлично, — сказал Пагель, — я никуда не спешу».

На первый матч команда Королевского клуба отправилась на машинах под водительством самого Командора. Уже в дороге обнаружилась недостача в людской силе: на последнюю доску выставить было некого.

«Вы умеете играть в шахматы?» — ошарашил Пагель неожиданным вопросом шофера такси. Сейчас трудно установить, как закончилась партия свежее испеченного члена Королевского клуба, но первый матч был выигран.

Пагель решил в дальнейшем не рисковать и не доверяться случаю. Он поместил объявление в шахматном журнале, на которое откликнулось несколько игроков силы кандидата в мастера; они составили ядро команды Королевского клуба. Наибольшее впечатление стилем своих

побед производил эмигрировавший из Аргентины и поселившийся в Голландии Хеберт Перес Гарсия, чей рейтинг не намного превышал 2200. В глазах Пагеля он был гроссмейстером.

Первым настоящим гроссмейстером, начавшим выступать за команду Королевского клуба, стал Лев Альбурт. Он познакомился с Пагелем в январе 1980 года во время трапезы на закрытии турнира в Вейк-ан-Зее. На салфетке рядом с тарелкой традиционного горохового супа – обычай, ведущий начало с трудных военных времен – Пагель собственной рукой начертал условия контракта, предусматривавшего выплату 2000 долларов за партию, не считая всех дополнительных расходов. Эта сумма многократно превышала гроссмейстерский гонорар в высшей лиге голландского чемпионата и соответствовала тогда первому призу в неплохом международном турнире. Хотя о хозяине клуба говорили всякое и он показался Альбурту человеком несколько странным, предложение было слишком заманчивым, чтобы от него отказаться.

Самолет из Нью-Йорка прилетал рано утром. В аэропорту гроссмейстера ждал «Мерседес» с шофером, и уже через пару часов он сидел в маленьком деревенском кафе за партией в шахматы с любителем, не всегда твердо знающим правила игры и постоянно забывающим нажимать на кнопку часов. Число ходов частенько не выходило за пределы первого десятка. Неудивительно: сила соперников Альбурта едва соответствовала пятой категории. Их квалификация выросла только через пару лет, хотя и тогда разница в классе оставалась гигантской.

К тому времени относится разговор голландского гроссмейстера Ханса Рее со своим приятелем, жившим в окрестностях Бергена. «Ты помнишь Япа? – спросил тот Ханса, имея в виду очень слабого шахматиста, проигравшего Рее в сеансе одновременной игры вслепую, который Ханс давал на какой-то домашней вечеринке. – Так вот, вчера я видел этого самого Япа, когда он играл один на один против чемпиона Америки гроссмейстера Альбурта...»

Вслед за Альбуртом цвета Королевского клуба стали защищать и другие гроссмейстеры: Адам Кулиговский, Яков Мурей, Дмитрий Гуревич, Сергей Кудрин, Леонид Шамкович, Лев Гутман.

Случалось, на последних досках, где обычно играли аборигены, Королевский клуб отдавал половинку или очко, но большинство матчей выигрывалось с сухим счетом. Неудивительно: соперниками любителей, пришедших в субботу сыграть партийку для собственно-

го удовольствия, были наигранные профессионалы, прибывавшие из Нью-Йорка, Чикаго, Варшавы.

Вызывая их в Голландию, Пагель нередко предупреждал: «Имейте в виду — ваша фамилия Янсен или Дейкстра». Не все гроссмейстеры находились в предварительном заявочном списке, а в федерации только и ждали, чтобы уличить Пагеля в каком-либо нарушении. Скорее же всего, Командору просто нравилось, когда гроссмейстер Шамкович, надвинув шляпу на самый лоб, представлялся измененным голосом ничего не подозревающему сопернику как Виттеброд. Любители, редко выходявшие из дебюта без крупных материальных потерь, даже не задавались вопросом, почему люди с типично голландскими фамилиями говорят только на английском, к тому же опуская за ненадобностью артикли.

Пагель был директором и единственным режиссером в своем собственном театре, а труппа соглашалась на любые предложенные им роли: возможности профессиональных шахматистов в те, равно как и во все времена, были очень ограничены. Для гастролеров не имело значения, что было на душе у импрессарио — их интересовало только имеющееся у него за душой, вернее, какую сумму из этого имеющегося он готов выплатить им. Ангажементы такого порядка им не предлагал никто, и можно только гадать, как бы они повели себя, если бы подобные ставки им предлагали в других театрах.

Не думаю, что Пагель задавался вопросом, не переплачивает ли он своим легионерам; полагаю, что его это и не особенно интересовало. Он попросту забавлялся, как в свое время венецианский расточитель, пуская блинки по воде золотыми и серебряными монетами.

Но какие бы цели ни преследовал Пагель, ему нравилось общение с теми, кто достиг в шахматах высшего звания. В самих звуках слова «гроссмейстер» Дядюшке слышалось что-то божественное. Правда, период, когда Пагель относился со священным трепетом к гроссмейстерскому титулу, длился недолго, и очень скоро его первоначальное представление о гроссмейстерах как о людях с другой планеты не вполне подтвердилось, чтобы не сказать — не подтвердилось вовсе.

«Основное качество этих людей, бесполезных и упорных в своем подвиге, это отвращение ко всякой профессии, почти всегда отсутствие серьезного профессионального образования, отсутствие вкуса ко всякому ремеслу», — писал Осип Мандельштам о молодых поэтах в 1923 году. Думаю, что, близко познакомившись с шахматными про-

фессионалами, Пагель, согласился бы с этим мнением, даже если никогда не слышал о существовании такого поэта.

Сейчас трудно установить, кто первым стал называть Пагеля Дядюшкой. Наверняка это был кто-то из американских гроссмейстеров русского происхождения, выступавших за Королевский клуб. Прозвище прикинулось, и в разговорах между собой все так и стали называть Пагеля. Хотя Дядюшка был осведомлен об этом, в глаза ему говорили, разумеется, «господин Пагель». Сам он никогда не впадал в фамильярность, обращаясь к своим гвардейцам «мистер Гуревич» или «мистер Кулиговский», но даже по-голландски, где «вы» довольно быстро переходит в «ты» и обращение по имени, все оставались для него «господин Рее», «господин ван дер Стеррен» и «господин Тимман».

Ошибались те, кто полагал, что корректное обхождение и улыбка Дядюшки гарантируют ему место в команде. «Очень милый человек гроссмейстер Шамкович, но для блица уже не годится...» — делал немолчаливый вывод Пагель после командного первенства страны по молниеносной игре в Бевервейке. Леонид Александрович проиграл там несколько партий, и больше Пагель его в Голландию не приглашал.

В Бевервейке Королевский клуб был представлен двумя командами, члены которых перед междоусобным поединком получали инструкции от Дядюшки, лично утверждавшего счет в матче. Второй состав Пагель решил набрать, когда количество желающих выступить за команду Королевского клуба стало по понятным причинам превышать число досок.

Первая команда продолжала крушить соперников, всякий раз завоевывая первенство в своей лиге; вторая начала успешный путь вверх с более низкой ступени. «Я хочу, чтобы Королевский клуб выступал во всех лигах. Первая команда через несколько лет выиграет голландский чемпионат, потом европейский Кубок, другие будут побеждать во всех остальных лигах», — делился далеко идущими планами Пагель.

Дебаты в федерации о допуске второй команды Королевского клуба в одну из лиг чемпионата выдалась на редкость бурными. Из циркулярного письма Пагеля по этому поводу: «Во время короткой паузы я оказался среди тех, кто возражал против нашего предложения. Эти кальвинисты, заключившие союз с дьяволом, хотели, чтобы мы предали вторую команду и отказались от наших планов, но когда

вопрос был поставлен на голосование, мы выиграли. Кто же голосовал против?» Далее следовал список клубов и логический вывод: «Они сами напросились на разгромный счет в матче против Королевского клуба!»

Пагель не любил, когда партии заканчивались вничью без его ведома. В этом случае ему казалось, что его просто-напросто обманывают, и сыгравшего вничью, не говоря уже о проигравшем, Дядюшка мог пересадить на последнюю доску. Однажды он запретил заключить мир мастеру Хартоху, игравшему за Королевский клуб едва ли не со дня основания. «Какие могут быть ничьи? Вам нужно играть слоном туда, потом конем на соседнее поле, и дело в шляпе....» — объяснил тому Дядюшка. Нелишне заметить, что матч к тому времени уже давно был выигран с разгромным счетом, и результат партии Робби не играл никакой роли. Партия продолжалась, и когда спустя несколько ходов соперник мастера, сбив пешку на проходе, поставил свою на место неприятельской, Пагель заявил: «Партия проиграна, сделан невозможный ход», и арбитру пришлось приложить максимум усилий, чтобы успокоить его. Матчи с участием Королевского клуба имели в судейских кругах репутацию повышенной трудности, каковыми и являлись.

В другой раз Хартох, имевший обыкновение отправляться в постель далеко за полночь, запаздывал на партию в Бергене, начинавшуюся в час дня. Позвонили в Амстердам, Робби тут же взял такси, но дорога до Бергена занимает три четверти часа. Когда машина подкатила к залу и Хартох стремительно выскочил из такси, флажок на его часах начал подниматься, и все, бросив свои партии, смотрели из окна, чем закончится этот поединок с временем.

Когда флажок достиг горизонтального положения, Пагель, чтобы предотвратить неизбежное, передвинул ладейную пешку на два поля и со стуком перевел часы. Судья опешил, вернул пешку в исходное положение и снова включил часы Хартоха. Флажок упал, когда запыхавшийся Робби уже появился в зале.

Следует заметить, что, несмотря на солидный стиль игры, Пагель и в собственных партиях иногда открывал игру ходом пешки на два поля от ферзевой или королевской ладьи: дебют большого значения не имеет, полагал он, а предприимчивой игрой всегда можно склонить фортуна на свою сторону. Однажды ему довелось сыграть несколько легких партий с Робертом Фишером. С ним он тоже несколько раз на-

чинал игру ходами 1.h4 и 1.a4. Хотя Дядюшка позже рассказывал, что ему удалось добиться победы в одной из партий, Вим, его секретарь, присутствовавший при встрече, не подтверждал этого. По его словам, Фишер отнесся к игре очень серьезно, громил Дядюшку беспощадно, а когда Пагель попытался смухлевать, по-ноздревски переставив фигуру на другое поле, не понял шутки и заявил, что тут же восстановит всю партию, начиная с первого хода.

Иногда, чувствуя, что дело на одной из досок клонится к мирному исходу, Пагель прибегал к крайней мере: предлагал игроку команды соперников сдать партию, недвусмысленно запуская руку в карман... Одни не могли преодолеть соблазн, другие отказывались. Кто-то даже пожаловался в федерацию, и Пагелю было указано на недопустимость такого поведения.

Когда пагелевцы играли еще в провинциальной лиге, команда Королевского клуба в матче с местными любителями добилась по обыкновению сухого счета. Неоконченной оставалась только одна партия, но и ее исход был предрешен: у польского гроссмейстера Адама Кулиговского была выигрышная позиция. Дело приближалось к сороковому ходу, после которого партии, согласно тогдашним правилам, откладывались и должны были доигрываться через неделю. Подойдя к сопернику Кулиговского, Пагель вынул из кармана стогульденовую купюру, предложив тому не затягивать бессмысленного сопротивления: ужин, посвященный очередной победе Королевского клуба, был уже сервирован. К тому же Кулиговский должен был на следующий день вылетать в Соединенные Штаты на какой-то опен и просто не мог прибыть на доигрывание. Последний факт был известен и его партнеру, и соблазн отказать нелюбимому всей округой бетонному королю возобладал над более низменными чувствами.

«Не глумитесь, не глумитесь...» — стал увещевать того Дядюшка, присовокупив к стогульденовой бумажке еще одну, но любитель остался непреклонен.

На следующий день Кулиговский улетел в Америку, а через неделю в день доигрывания как ни в чем не бывало появился в Бергене. Несмотря на то, что соперник польского гроссмейстера сдал отложенную партию без доигрывания, Пагель торжествовал, а история появилась на страницах голландских газет.

Дядюшку это совершенно не смутило: ему нравилось быть в центре внимания и он никогда не отказывал журналистам, охотно давая интервью. Шокируя и провоцируя, он всегда говорил что-либо шедшее

вразрез с общепринятым мнением, следуя старому правилу, что совсем не важно, что о тебе пишут, лишь бы писали.

Он играл несколько раз в чемпионате Голландии по переписке. Понятно, что в гроссмейстерах, помогавших ему в анализе, недостатка не было. Однажды, решив действовать самостоятельно, Дядюшка послал открытку со своим очередным ходом, оказавшимся зевком ладьи. Его соперник Мартен Этманс принял подарок, заметив, что, вероятно, Пагель имел в виду другой ход, при котором ладья перемещалась на соседнее поле, и посетовал, что жаль интересно начавшейся партии, но таковы уж правила...

«Именно этот ход я, конечно, имел в виду, партия продолжается», — отвечал своему партнеру Пагель. Когда Этманс написал, что считает игру законченной, Пагель обратился к главному судье, а потом и в апелляционный комитет, оставивший, разумеется, результат в силе. В другой раз, добившись подавляющей позиции, он позвонил своему сопернику, поинтересовавшись, когда же тот наконец прекратит бессмысленное сопротивление. За многочисленные нарушения турнирных правил Пагель был снят с дистанции.

Ему нравилось манипулировать людьми; как и многие, добившиеся финансового успеха, он думал, что знает цену людям и, наверное, действительно знал ее. К обладателям высшего звания Пагель имел все же определенный пиетет. Если с персоналом и с шахматистами низшей квалификации Дядюшка обращался как Кирилла Петрович Троекуров со стремянными и псарями, с гроссмейстерами он вел себя как Кирилла Петрович с дочерью Машей, обходясь с ней «со свойственным ему своеобразием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением».

Лев Альбурт вспоминает: «Оплату он производил всегда в гульденах. Позвонив в банк и справившись о курсе доллара и гульдена, Дядюшка обычно начинал длинные расчеты, которые почему-то всегда оказывались в его пользу. Было видно, что эта маленькая победа приносила ему психологическое удовлетворение, хотя я никогда не мог избавиться от ощущения, что все это было для него только игрой. Отсчитывая купюры, он мог отложить стопочку совсем новых в сторону, замечая: «А эти, пожалуй, я оставляю себе...» Хотя он обычно соглашался с моими аргументами, при предъявлении счета на дорожные расходы и оплату суточных мог пуститься в рассуждения, что в Нью-Йорке я ведь тоже должен питаться. Однажды, когда я, находясь в его офисе, поп-

росил разрешения позвонить по телефону, он заметил с улыбкой: «Я надеюсь, вы не в Японию намереваетесь звонить...»

Он любил постоянные подтрунивания, не делая разницы между шуткой и замечанием, могущим унижить человека. Эго собеседника мало принималось им во внимание, и порой нелегко было определить, потешается ли он или говорит серьезно.

Однажды, отправляясь на какой-то матч, он гостеприимно распахнул дверцу своего серебристого «Мерседеса» перед голландским мастером Питом ван дер Вейде: «Прошу вас». Когда Пит занял место рядом с Пагелем, тот заметил: «Превосходно. Я, как вы знаете, господин ван дер Вейде, не люблю медленной езды, так что вы будете все время смотреть в зеркальце, не сидит ли у нас на хвосте полиция...»

Одна из его любимых шуток при расчете с заграничными гроссмейстерами: «Что-то я запомнил, мы с вами улаживались об оплате в долларах или гульденах?» (Соотношение этих валют варьировалось, но в среднем один доллар соответствовал тогда двум с половиной гульденам).

У Адама Кулиговского был счет в банке, о котором Пагель был осведомлен, вернее, счет и существовал благодаря Пагелю, и Дядюшка мог при всех начать обсуждение деталей этого счета с польским гроссмейстером.

«Разве мы с вами договаривались на эту сумму?» — спросил Дядюшка Сергея Кудрина, морща лоб при выплате тому гонорара, и был очень доволен, когда ему удалось «отбить» пару сотен долларов. После ужина в его любимом «Привале охотника» в Бергене за кофе с коньяком Пагель, разжигая сигару, заметил американскому гроссмейстеру: «Тушенный заяц был превосходен, тем более что мы ужинали за ваш счет, господин Кудрин. Ха-ха-ха...»

Пагель обожал дорогие эксклюзивные рестораны, хотя не чурался и ресторанчиков средней руки, с оленьими рогами, висящими при входе, и картинами соответствующего охотничьего содержания. «Привал охотника» в Бергене он посещал чаще всего, впрочем, нередко его можно было встретить и в кафе «Дыра в песке». Бывало, зал снимался полностью, и шахматисты могли угощаться за его счет без ограничений. Понятно, что Дядюшка был желанным гостем во всех кафе и ресторанах Бергена и окрестностей.

Подготовка к очередному туру начиналась загодя: рассылались циркулярные письма, каждая страница которых была украшена гер-

бом Королевского клуба, представлявшим изображение двух львов с фигуркой шахматного короля посередине. Передовую всегда писал сам Пагель, подписываясь Amfried Pagel Jr. Dr., но проверить, обладал ли он этими титулами, не представлялось возможным. Напутствия его были довольно однообразны: «В предстоящем матче мы должны устроить настоящую резню, поголовный забой скота. Никакой пощады неприятелю», — напоминал Дядюшка членам клуба о тактике борьбы перед каждым поединком.

«В субботу мы играем не против Aartswoud, но против artsvijand* — нашими заклятыми врагами — клубом “Берген”. В последний раз мы растерзали неприятеля со счетом 8:0 и теперь должны поступить с презренными точно таким же образом. Я ожидаю, что мы разгромим их именно с таким счетом, но никто не должен думать, что наши соперники пойдут на заклание, как ягнята. Предельная концентрация и никакой снисходительности!» — напутствовал он своих гвардейцев перед матчем с давними обидчиками.

Пышные трапезы, устраиваемые для команды после очередной победы Королевского клуба, Пагель называл «Праздниками забоя». Во время ужина Дядюшка любил порассуждать об экономике, литературе, политике, но любимой темой разговоров Пагеля был секс.

Дядюшка не скупился на подарки своим подружкам: весь Берген веселился, когда в холодное время года на улицах замелькали, подозрительно оглядывая друг друга, блондинки, одетые в одинаковые шубки. В другой раз, выказав живой интерес к проекту, связанному с игрой в шахматы в «Ориент-Экспрессе», Пагель предложил составить смету, но, увидев ее, заметил составителю: «Вы представляете себе, что на такую сумму я могу приобрести дом, поместить в него очаровательную девушку и трахаться с ней с утра до вечера?»

При наборе персонала Пагель первым делом осведомлялся о сексуальной жизни собеседника, независимо от того, велся ли разговор с пожилым мужчиной или с молоденькой девушкой: как часто, с кем и каким образом. «Ничего, что вы проиграли, главное, чтобы ваша сексуальная жизнь была в порядке», — утешал Пагель гроссмейстера, зевнувшего фигуру в удачно складывавшейся партии.

После десерта мог огорошить гостя вопросом: «Вы что предпочитаете — дуэ или трио?» Попавшие на такое празднество впервые и наслы-

* Игра слов по-голландски. Aartswoud — название места. Artsvijand — закоренелый враг.

шанные о пристрастии Дядюшки к сексуальной тематике, смущенно улыбались, но здесь на его жаргоне «дуэ» означало – кофе и коньяк, а «трио» – кофе, коньяк и сигару.

Он придавал большое значение внешнему виду человека, его манере вести себя, одеваться. Вспоминаю Альбурта, покупавшего в одном из самых дорогих магазинов Амстердама шикарный, классического покроя английский костюм: кто-кто, а Дядюшка сумеет оценить его по достоинству. Равно как и умопомрачительный, слоновьей кожи дипломат, приобретенный американским гроссмейстером в магазине Тедди Лapidуса на Пятой Авеню Нью-Йорка.

Познакомившись с Ясером Сейраваном, Пагель остался под впечатлением манер молодого американца, его одежды, обуви. Но дело было не только во внешнем виде: в начале восьмидесятых годов Сейраван был одним из самых многообещающих гроссмейстеров в мире. Ясер сыграл за Королевский клуб пару партий, и начались переговоры о постоянном контракте. Помимо гонорара и всех расходов по проживанию, Дядюшка соглашался предоставить в распоряжение американца машину с шофером. За партию Ясер должен был получать 3000 долларов. Все шло к подписанию контракта, но камнем преткновения оказался вопрос о поваре, на котором, по словам Пагеля, настаивал Сейраван. «Ну зачем ему повар, даже у меня нет повара», – жаловался Дядюшка.

Какое-то время Пагель увлекался идеей организации турнира, в котором, помимо его самого, участвовали бы Корчной и гроссмейстеры, выступавшие за Королевский клуб. «Я выиграю в этом турнире все партии, – ну, может быть, сделаю парочку ничьих – с Корчным и с вами, – объяснял он Альбурту. – Я заработаю самый высокий рейтинг в мире, после чего, как Фишер, прекращу игру...»

Впрочем, довольно скоро Пагель оставил свой замысел, и когда с ним заводили речь об организации международного турнира, отвечал, что все, находящееся вне сферы Королевского клуба, его совершенно не интересует. Может быть, на его решение повлиял факт, что когда он начал зондировать почву в голландской федерации о проведении международного женского турнира, от него потребовали представить финансовые гарантии, что Дядюшка расценил как личное оскорбление. Этот случай относится к периоду в истории Королевского клуба, когда Пагель решил время от времени выставлять на игру в третьей лиге исключительно женский состав. С известными шахматистками и талантливыми юниорками, никогда не получавшими

ни цента за свое хобби, были заключены неслыханные контракты, и их соперники, откровенные любители, к удовольствию Дядюшки раз за разом должны были признавать преимущество прекрасного пола. Команда Королевского клуба выиграла лигу, но на следующий год Пагель не решился повторить эксперимент, снова бросив в бой тяжелую артиллерию.

По мере того как Королевский клуб, круша соперников одного за другим, с блеском переходил каждый год в следующую лигу, репутация Пагеля как вздорного, эксцентричного, склонного к эпатажу богача, швыряющего деньги направо и налево, постепенно смягчалась, и все больше гроссмейстеров соглашались выступать за клуб из Бергена.

Сыграли свою роль и матчи, которые устраивал Пагель после окончания сезона с чемпионом страны, чтобы показать, какой клуб в действительности является сильнейшим в Голландии. Один раз Королевский клуб играл с амстердамским «Ватерграфсмеер», другой – с «Фолмаком» из Роттердама, и организация этих матчей была на самом высоком уровне. Помимо немалых гонораров, выплачиваемых игрокам обеих команд, в их распоряжение предоставлялся замечательный отель у моря, а пышный заключительный банкет подводил итог шахматному празднику. Следует заметить, что Пагель держал своих соперников в состоянии нервного ожидания до последней минуты, выплачивая обещанный гонорар только после банкета. Делал он это в своих любимых тысячегульденовых купюрах, предоставляя неприятелю самому делить добычу (банки в столь поздний час были уже закрыты).

Однажды Пагель предложил спонсору «Фолмака» Йопу ван Остерому померяться силами. Шеф роттердамской команды, довольно сильный игрок, бывший в свое время чемпионом страны среди юношей, немедленно согласился, предложив поставить на кон еще большую сумму. Хотя Дядюшка и рвался в бой, трезвые головы отсоветовали ему рискованную затею.

Многие побывали в те годы в Бергене. Кто-то сыграл пару партий, другие – несколько сезонов, но цвета Королевского клуба защищали почти все сильнейшие шахматисты Нидерландов. На заре существования клуба сеанс одновременной игры в Бергене давал Макс Эйве, с похвалой отозвавшийся о роли Пагеля в голландских шахматах. Ян Тимман вспоминает, что хозяин клуба был с ним абсолютно корректен, и хотя за Тимманом присылалась машина с шофером, Пагель, вручая гонорар, добавлял еще дополнительно сотню гульденов на дорожные расходы.

Выступали за Королевский клуб Ханс Рее и Паул ван дер Стеррен. Когда Пагель позвонил ван дер Стеррену, Паул играл за команду «Ваттеграфсмеер», получая пятьсот гульденов за партию. Перед тем как отправиться на переговоры, он решил посоветоваться с друзьями.

«Кто-то говорил — попроси тысячу, другие советовали не мелочиться, сразу запросив две, — вспоминает Паул. — Я решил остановиться на полуторах тысячах гульденов за партию — неслыханная сумма по тем временам. Когда я назвал ее, Пагель не выказал никакого удивления. Он достал записную книжку, вписал туда мою фамилию и, проставив против нее цифру 1500, вручал мне наличные всякий раз сразу же после партии».

Оставшись на пару дней после турнира ИБМ в Амстердаме, сыграли однажды за Королевский клуб Портиш и Смыслов. Дважды партии матча прерывались, и Василий Васильевич исполнял русские романсы из своего обширного репертуара. Сигнал к остановке часов давал сам Пагель, напоминая всем еще раз, кто именно заказывает музыку.

Я играл тогда в высшей лиге командного чемпионата, получая гонорары, значительно уступавшие пагелевским. Несмотря на то, что Альбурт не раз предлагал мне оставить любительство и перейти под знамена Дядюшки, я отнекивался: «неудобно», «что скажут?», «что подумают?» В конце концов я сдался: воистину карманы некоторых набиты такими аргументами, против которых невозможно устоять.

В сезон, когда Королевский клуб выступал в первой лиге, я выиграл все девять партий. Через две недели мы играли матч с чемпионом страны «Фолмаком», и мне удалось выиграть у Корчного (1,5:0,5). Сразу же после того, как Корчной остановил часы во второй партии, Дядюшка пожал мне руку и с улыбкой передал несколько крупных купюр. Было видно: на этот раз он не сердится, что победа одержана не с сухим счетом. Осенью 1984 года мы с Тимманом играли в Бергене короткий матч, щедро финансировавшийся Пагелем.

Пагель не раз говорил о своем рационализме и что не следует думать, будто он является филантропом. Он утверждал, что деньги, которые он тратит на шахматы, сделали марку «Пагель-бетон» очень известной, а крохи, перепадающие шахматистам, возвращает с лихвой. Мне всегда представлялось крайне сомнительным, что шахматное паблисити играло какую-нибудь роль в его коммерческих затеях, но у Дядюшки был свой взгляд на все.

Начав выступать за Королевский клуб, я чувствовал себя не вполне комфортно. Шальные деньги с легкостью заглушили угрызения

совести. Герой библейской притчи, женившийся на дочери богача, до свадьбы терпеть не мог будущего тестя. Его раздражало все: внешний вид торговца, его вульгарность, грубость. Но странное дело, через полгода он с ужасом заметил, что хотя тесть совершенно не изменился, он уже не замечает ни его отвратительного смеха, ни грубости и бесцеремонности. Более того, находит в нем все больше и больше симпатичных черт. Вспомнив эту притчу, я начал испытывать угрызения совести от того, что совсем не испытываю угрызений совести. Более изощренных переживаний мне испытать не удалось: очередной сезон оказался для меня последним в Королевском клубе.

Не помню, в каком туре моя партия закончилась вничью. Хотя предложить мне играть в очередном матче на последней доске Пагель не решился, именно после этой партии начались перебои с оплатой. Тогда же с аналогичными проблемами столкнулись и другие легионеры: без какого-либо объяснения их гонорары были уменьшены вдвое, а выплаты стали нерегулярными. Я больше не играл за Королевский клуб, а Пагеля увидел в следующий раз в зале суда.

Если верить строчкам Талмуда, что «тебе действительно принадлежат только те деньги, которые ты тратишь», Пагель обладал немалым богатством. Богатство очень часто избавляет от необходимости иметь дарование, но люди, обладающие богатством, видя талант в других, порой ценят его и поощряют. Здесь имеет место и психологический момент: если бы я в молодые годы продолжал играть в шахматы (сочинять стихи, играть в теннис, рисовать картины), то и я мог бы достичь в этих областях таких же высот.

Пагель был очень богатым человеком, но было абсолютно невозможно понять, где кончается реальность и начинаются его фантазии. Однажды он уверял, что оценивает свое состояние цифрой с восемью нулями; в другой раз утверждал, что после взлома в его доме глупые грабители удовлетворились наличными, хранившимися в попавшемся им на глаза сейфе, в то время как в других сейфах, оставленных ими без внимания, находились драгоценности на сумму во много миллионов.

Ходили слухи, что у него в карманах было всегда наготове несколько пачек зелененьких тысячегульденовых банкнот, но это, конечно, было преувеличением. Хотя... Когда Вилко Бергманс — голландский журналист, снимавший у Пагеля один из принадлежавших тому домов, явился к бетонному королю, дабы вручить арендную плату, ему

представилась следующая картина: Пагель сидел в гостиной, со всех сторон обложенный пачками тысячегульденовых ассигнаций, от которых исходил специфический запах. Плотные спрессованные, они хранились под самой крышей и, слипшиеся от непрекращающихся дождей, отсыхали теперь в тепле. «На скорую руку я насчитал семь толстенных пачек ...» — вспоминал Бергманс.

Когда Королевский клуб только начинал путь вверх, в столовой школы, где проводился матч провинциальной лиги, Пагель заказал чашечку кофе и бутерброд. Цена заказа составила 75 центов. Достав из кармана по обыкновению пачку тысячегульденовых бумажек, Пагель отделил одну и попытался вручить ее изумленной буфетчице, никогда не видевшей таких купюр. «Я рассчитаюсь, я рассчитаюсь, господин Пагель», — протягивая опешившей женщине три монетки, затарахтел один из ординарцев, сопровождавших мецената.

Пагеля всегда окружали секретарь, оруженосцы и «шестерки». Это были члены Королевского клуба, находившиеся на подхвате, в вечном резерве, смотревшие ему в рот и исполнявшие его желания и мелкие поручения. Они получали крохи с господского стола, которые совсем не казались им таковыми.

Иногда он говорил, что он дьявол во плоти, в другой раз — что будет жить вечно. При этих словах, правда, улыбка играла на его лице, по которому пробежал легкий тик. Он не портил его: Пагель был очень импозантным мужчиной выше среднего роста, с приятным лицом и зачесанными назад русыми волосами. Время от времени он отпускал небольшие бакенбарды, на пальцах его ухоженных рук бросались в глаза дорогие перстни.

Он жил на широкую ногу: в его огромной, расположенной в самом престижном районе Бергена богато обставленной вилле за порядком надзирал персонал, а дверь открывала горничная в наколке, осведомлявшаяся, по какому делу явился посетитель. Замечу, что это была настоящая горничная, в отличие от соседки Якова Борисовича Эстрина по московской коммунальной квартире. Однажды та вышла на звонок шведского шахматиста, приехавшего в Москву в начале шестидесятых годов и зашедшего повидать известного теоретика. Увидев молодую женщину в переднике и анфиладу комнат, коллега Эстрина писал потом, что жизнь в советской Москве не так уж и плоха: ему открыла горничная, а по всей длине коридора огромной квартиры он мог заметить немало дверей, ведущих в покои маэстро.

И успех, сопутствовавший Пагелю в деловой жизни, и довольно либеральные законы Федеративной Республики и Голландии создали у него ощущение неуязвимости и вседозволенности. Он излучал чувство: с ним никогда ничего не может случиться, он всегда перехитрит полицию и этих безмозглых чиновников из налогового управления.

До поры до времени Пагелю удавалось, презирая общественные условности, не вступать в конфликт с этими условностями. Он часто оперировал на грани фола, нередко и переходя эту грань, но если в шахматах это ограничивалось репримандами и дисциплинарными взысканиями, в реальном мире по отношению к нему применялись более суровые меры.

Чиновник министерства юстиции утверждал, что повестками с вызовом в суд, напоминаниями о просроченных платежах, последними предупреждениями, постановлениями об арестах, наложенных на его имущество, Пагель мог бы обклеить все стены своей виллы. Однажды он получил строгое предупреждение, что не может больше использовать имя Арнфрид Пагель как рабочую марку своей фирмы. При неисполнении он должен будет выплачивать штраф 25000 гульденов за каждый случай. Излишне говорить, что Пагель проигнорировал решение суда и продолжал выпуск продукции под своим именем как ни в чем ни бывало. По мнению чиновника, он нарушил закон по меньшей мере десять раз, но получить четверть миллиона с человека, официально объявленного банкротом, представлялось нелегкой задачей.

Нельзя сказать, что слухи о финансовых проблемах Пагеля и предстоящем банкротстве не достигали шахматистов, но когда с ним осторожно заводили разговор на эту тему, Дядюшка уверял, что это полнейшая чепуха, на обсуждение которой ему жалко тратить драгоценное время.

В налоговом ведомстве думали иначе. Он был объявлен банкротом дважды. Общая сумма долгов составила миллионы, которые он, по мнению голландской юстиции, не выплатил в Федеративной Республике, но и в его новом отечестве ему был предъявлен счет на сумму с шестью нулями.

На деньги был наложен арест, и без ведома сотрудников налогового ведомства он не мог потратить ни цента. «У нас есть сильные подозрения, что хотя Пагель и объявлен банкротом, в его распоряжении имеются огромные суммы...» — заявил чиновник министерства юстиции.

Во время обыска в доме Пагеля была найдена только что полученная выписка с банковского счета на 350 000 гульденов. В другой раз

внимание сотрудников налогового управления, внезапно появившихся на вилле в Бергене, привлек шум заработавшего факса. Послание было из Женевы. В нем спрашивалось, как следует поступить со счетом Пагеля на сумму в 400 000 гульденов...

15 декабря 1985 года Пагель устроил пышный банкет в шикарном ресторане, где в числе приглашенных было немало известных в Голландии актеров, певцов и конферансье. В самый разгар празднества в зале появились полицейские.

«Господин Пагель, ведь у вас на счету ничего нет, как вы можете устраивать такие пиршества?»

«А я не имею к этому банкету никакого отношения».

«Но на приглачительных билетах, да и на меню стоит ваше имя...» (стоимость ужина составляла 25 тысяч гульденов).

«Вы ошибаетесь, приглашение послано от имени моего племянника. Его тоже зовут по случайному совпадению Арнфрид Пагель, не желаете ли познакомиться...»

Все дела Пагеля официально вел теперь его племянник, имя и фамилия которого полностью совпадали с дядюшкиными, что еще больше запутывало чиновников налогового управления. На банкете в карманах у Пагеля-сеньора оказалось восемь купюр достоинством в тысячу гульденов каждая. Деньги предназначались шахматистам, одержавшим победу в предыдущем туре командного чемпионата. Они появились в ресторане уже после визита полиции и должны были распрощаться со своим гонораром.

Пагеля арестовали. «Принимая во внимание все, что вменяется ему в вину, создается впечатление, что теперь господину Пагелю придется долгое время играть в шахматы разве что по переписке...» — иронизировал сотрудник министерства юстиции.

В сезоне 1985-1986 годов Королевский клуб выступал уже в высшей лиге, и через несколько дней должен был состояться решающий матч с «Фолмаком». Секретарь клуба навестил Пагеля в тюрьме. Не без гордости Дядюшка поведал тому, что стены камеры, в которой он пребывает, выложены бетоном его собственной марки, поэтому любая попытка бегства заранее обречена на неудачу, что же касается всего остального, ему не на что жаловаться. Действительно, пенитенциарные учреждения в Голландии известны своим на редкость мягким режимом: с телевизором в камере, телефоном в коридоре, курсами иностранных языков, сеансами одновременной игры в шахматы и регулярными посещениями заключенного женой, подругой

или другом, дабы состояние того не подвергалось сильным перепадам и после освобождения он мог бы снова стать полноценным членом общества.

Пагель лично определил состав на решающий поединок и просил секретаря немедленно после окончания доставить ему бланки всех партий. Матч состоялся в банкетном зале «Привала охотника» в Бергене при большом стечении журналистов и публики. Здесь и там были установлены телевизионные камеры. Еще никогда за всю историю клубных чемпионатов голландские СМИ не проявляли такого интереса к шахматам. Оба клуба подошли к этой встрече, выиграв все матчи, и победа фактически определяла чемпиона. Излишне говорить, что журналистов интересовала не только спортивная подоплека поединка.

Первые грозовые облака стали появляться на горизонте еще до начала схватки: мастер Джон ван Барле, получавший пособие по безработице, опасаясь, что в случае тщательного расследования дело может дойти и до шахмат, отказался выступать за клуб, но не это оказалось решающей причиной поражения Королевского клуба.

Выплаты за игру стали в последнее время настолько урезанными и носили такой нерегулярный характер, что иностранный легион, прибывший на решающий матч в Голландию, состоял только из Кулиговского и Литтлвуда, и у Пагеля даже возникли проблемы с комплектованием команды.

В партии против Тиммана на первой доске по воле Командора был принесен в жертву заведомо слабый игрок. Чуда не произошло. Проиграли и другие голландцы: ван дер Стеррен, Лангевег и Хартох. Та же участь постигла и варягов.

Матч закончился разгромом Королевского клуба 2,5:7,5. Семь лет кряду Королевский клуб не проигрывал. Более того, победы, в которых поверженным командам удавалось наскрести несколько очков, рассматривались Пагелем как не вполне убедительные. Теперь же наступило горькое похмелье: клуб потерпел жестокое поражение, а хозяин его сидел за решеткой.

Ханс Рее и я побывали однажды на процессе Пагеля в Амстердаме. Когда его ввели в зал, мы кивнули ему, он улыбнулся в ответ. Это было очень запутанное дело, связанное с обманом банка и с налогами, которые он, по мнению обвинения, задолжал государству. Хотя его выплаты шахматистам составляли ничтожную часть этих сумм, когда зашла

речь о Королевском клубе и сидевший рядом с нами на скамье для публики инспектор налогового ведомства прошептал своему коллеге: «Оказывается, и шахматисты получали деньги по-черному», — мы с Хансом переглянулись.

Максимальное наказание по всем предъявленным ему пунктам обвинения предусматривало срок заключения до шести лет, но доказать ничего не удалось, и судья вынес непомерно суровый приговор — год тюрьмы за незаконное владение оружием. Пагель был немедленно освобожден из-под стражи: он находился за решеткой уже больше года. Выйдя на свободу, он с улыбкой говорил всем, что гол как сокол и что ему не остается ничего другого, как запросить пособие по безработице.

Королевский клуб еще продолжал свое существование, но осенью 1986 года выплаты прекратились окончательно. Из легионеров не осталось никого, и на последних досках Пагель частенько вынужден был выставлять игроков с рейтингом 1500-1600 пунктов Эло. Тем не менее тон его циркулярных писем не стал менее бравурным.

«Я уверен, — писал Дядюшка, — что на зависть и откровенную вражду конкурирующих с нами клубов мы ответим несокрушимой мощью, которую в очередной раз продемонстрирует Королевский клуб, возродившийся из пепла, как птица Феникс. Кое-какие ничтожные клубики пока обходят нас. Но мы должны проявить характер и добиться наконец сухого счета. Расстановку на очередной матч я определил таким образом... Каждый, кто сомневается в своих силах, должен вовремя доложить мне, с тем чтобы я мог заменить его».

Несмотря на оптимизм, излучаемый Пагелем, он постоянно сталкивался с проблемами при комплектовании команды. Прощальный залп прозвучал в седьмом туре: на игру пришли только четверо: у остальных истощилось терпение, и поняв, что денег от Пагеля не дождешься, они попросту не явились на партию.

В самом последнем циркулярном письме говорилось о скоропостижной смерти секретарши Клуба и ее похоронах, день которых совпадает с очередным туром командного первенства. Проверить факт смерти секретарши не представлялось никакой возможности, тем более что ее саму никто в глаза не видел, но эта внезапная смерть и эти похороны явились похоронами самого клуба. Королевский клуб снялся с соревнования. По решению федерации клуб должен был начинать борьбу с самых низов, и путь наверх снова занял бы семь долгих лет.

Пагель переехал в Бельгию — в Остенде, где снял на Променаде Альберта Первого огромный пентхаус с видом на море и на Казино, в котором в начале прошлого века проводились знаменитые шахматные турниры. На стенах апартамента снова висели дорогие картины, почетное место занял бронзовый бюст самого Дядюшки. Пагель совершенно отошел от шахмат; по слухам, он полностью ушел в бизнес. Говорили, что его частенько можно видеть в Германии, что после падения Стены он перебрался туда окончательно и даже основал совместную компанию с бывшим главой ГДР Эгоном Кренцем. Говорили всякое.

Потом прошел слух, что он арестован в Англии. Из доверху набитого грузовика вывалился мешок, на котором было написано «Пагель-бетон», а из мешка посыпался какой-то белый порошок, не имеющий ничего общего со строительным материалом.

Уверяли, что знают точно, что его судили в Объединенном Королевстве, где в отличие от Нидерландов статьи законов, связанных с торговлей наркотиками, далеко не такие аморфные, да и тюрьмы мало напоминают голландские. Другие утверждали, что знают доподлинно, что Пагель умер.

Душным вечером 26 июля 2004 года я стоял перед дверью дома на улице Перлебергер в районе Тиргартен в Берлине. Рядом с дверью — звонки, над каждым фамилия жильца; над звонком в квартиру, которую снимает Арнфрид Пагель, висит табличка с фамилией Крамане. Это фамилия Тани, она родом из Риги, они вместе вот уже пять лет.

Парадная. Деревянная лестница, квартира на втором этаже. Ошибается думающий, что годы проходят только для него самого, они проходят и для других. Я не стал спрашивать у бывшего бетонного короля, считает ли он по-прежнему, что бессмертен. Ему семьдесят два и он не выглядит моложе своих лет.

Только пристально вглядываясь, можно признать его на портрете тридцатилетней давности, висящем при входе в гостиную между портретами его родителей. Аккуратно зачесанные назад, поредевшие седые волосы, очки с толстыми стеклами. Он слегка хромот — следствие автомобильной катастрофы, в которую попал несколько дней назад в Лондоне, откуда собирался лететь в Соединенные Штаты. Он отделался ушибами, но полет в Америку пришлось отменить, и Пагель был вынужден вернуться в Берлин. Он сокрушенно говорит о 750 евро, заплаченных за пропавший билет. За неделю до несостоявшейся по-

ездки Пагель позвонил Альбурту и просил подыскать какую-нибудь гостиницу в Нью-Йорке на несколько дней. Когда американский гроссмейстер предложил ему пару отелей на выбор по цене 250 долларов за ночь, Дядюшка спросил, не знает ли он какой-нибудь другой, долларов на 100, 150...

Когда после ужина я включил магнитофон, Пагель признался, что хоть и не помнит, когда в последний раз говорил на голландском, но предпочитает говорить на этом языке. Несмотря на немецкий акцент и время от времени встречающиеся германизмы, язык у него сохранился, и хотя мы соскальзывали порой на английский, он всегда возвращался к голландскому.

«Фамилия Пагель – старинная, она встречается еще в описании знаменитого наводнения 1152 года. Пагели родом из Эгмонта, но один из них поселился в Кольберге, женился на богатой невесте и стал собственником четырех домов. В Кольберге я и родился 1 января 1932 года. Кольберг расположен в Померании, она была тогда частью Германии, а в настоящее время принадлежит Польше; по-польски этот городок называется Колобжег.

Я очень хорошо помню Рождество 1937 года, бой церковных часов, страшный мороз. Я получил множество подарков, среди которых были и кубики, из которых можно было строить различные сооружения, скрепляя их раствором. Через несколько дней мне исполнилось шесть лет и мне подарили комплект шахмат. Эти два подарка во многом определили мое будущее. Я много играл в шахматы с отцом и в своих мечтах был известным гроссмейстером. Но постепенно страсть к игре остыла, год спустя началась война, и было уже не до шахмат.

Серьезно я начал играть, когда мне было уже под тридцать и по-настоящему сильным игроком так и не стал. Я не уделял большого внимания дебютной теории и старался с первых ходов играть сам. Мне нравились легкие партии – дома, с гостями, разговорами, шутками за стаканчиком вина – я люблю эту атмосферу. И мне всегда было интересно придумывать комбинации и отыскивать лучший ход, постоянно упражняя мозг.

Я помню войну очень хорошо, помню, как русские вошли в Кольберг – это был март 1945 года. Хотя рвались снаряды и смерть была рядом, я просто не понимал, насколько это опасно. Чувства страха у меня не было ни тогда, ни на протяжении дальнейшей жизни. И в детских играх, и во время учебы мне хотелось выделяться; я всегда, всю

жизнь был перфекционистом и стремился быть в первых рядах. В жизни, как и в шахматах, я признаю только одно — успех.

У меня обнаружился талант к бегу; тогда на пляже дети вырывали ямки, и я несся вдоль этих ямок, опережая всех. Я был очень хорошим спортсменом и был отобран даже в национальную немецкую команду по легкой атлетике. Это было в 1956 году, но в конце концов я не поехал на Олимпиаду в Мельбурн; уже тогда я не особенно придерживался спортивного режима: девушки, сигареты...

Я купил дом в Голландии еще в 72-м году, но поселился в Бергене только в конце семидесятых. В Бергене ведь все знают друг друга, место это имеет особую репутацию в Голландии: миллионеров здесь пруд пруди.

Я был тогда еще относительно молодой человек и был не прочь войти в местное общество. В одном из баров я познакомился с дамой и обещал ей, что если она придет ко мне в гости, то сможет принять ванну, наполненную настоящим французским шампанским. Зная, что местный виноторговец ужасный болтун, я позвонил ему и спросил, сколько бутылок шампанского требуется, чтобы заполнить ванну до краев, так как ожидаю визит дамы. Торговец совершенно опешил, но отвечал, что по его мнению бутылок сто пятьдесят будет достаточно. Так как у него в наличии имелось только пять бутылок французского шампанского, он предложил остаток заменить шипучим вином. Я заметил, что эта идея не представляется мне правильной, так как шипучее вино плохо действует на женскую кожу, к тому же я обещал даме ванну из настоящего шампанского, а я человек слова. Не прошло и часа, как весь Берген знал об этом разговоре; нашлись и другие любопытные дамы, которые тоже не прочь были узнать, такое ли уж замечательное действие на кожу оказывает французское шампанское, ха-ха-ха...

Ах, уж эти дамы! Когда я был молод, я был однажды с другом в Кении и мне там не очень понравилось. Завязать знакомство с дамами в Найроби было совершенно невозможно, а с проститутками нам не хотелось иметь дело. Кто-то посоветовал отправиться на рынок и просто купить там женщину. Что мы и сделали. За 400 марок. Это была замечательная покупка, мы с другом занимались с ней не только сексом, и женщина была нам очень благодарна. Уезжая из Найроби, мы продали ее за 200 марок, ха-ха-ха...

Когда я жил в Бергене, я любил выходить по вечерам, — что и говорить, я ведь был ловеласом. Ведь все в этой жизни основано на сексе и если не будет хорошего секса, то не будет успеха, и вообще ничего не

будет. Раньше, для того чтобы выжить, надо было иметь много детей. Кто мало трахался, был обречен на смерть, потому что когда человек становился старым, некому было позаботиться о нем. Поэтому я решительно против гомосексуализма: тот, кто не хочет размножаться, обречен на вымирание. Сегодня у людей больше денег и обладающий сексуальной силой, но не имеющий детей, должен выражать свою потенцию в чем-нибудь другом.

Нет, я не религиозный человек, ведь все, что сказано или написано о потусторонней жизни, не подтверждено фактами, потому что оттуда никто еще не возвратился. В жизни, конечно, нет смысла, и каждый должен решить для себя — для чего он живет. Люди хотят жить вечно и не хотят умирать. От природы им дано размножаться и умирать. Так нет, они хотят еще чего-то... Смешные люди.

Я постоянно занимаюсь изобретениями. Так и сейчас я запатентовал идею на одну деталь, поверьте, это будет настоящая революция в производстве машин. На следующей неделе я собираюсь учредить политическую партию, которая будет называться «Научная партия». Она не будет иметь никакого отношения к политике, хотя, конечно же... Это будет переворот в политической жизни Германии, совершенно новое течение. Кроме того, я придумал план — я ведь в свое время очень много занимался экономикой — как в один день покончить с безработицей. Как? Да очень просто: нужно взять всю землю, принадлежащую государству, и отдать в аренду населению. После чего вопрос решится сам собой. Я вам потом расскажу детали, если вам будет интересно...

Я еще здоров и не знаю, что такое усталость. Наверное, это в генах — все в нашей семье обладали отменным здоровьем. У меня столько энергии, что я просто не знаю, что делать с этой энергией. Я работаю каждый день, с раннего утра принимаю заказы, веду переговоры с клиентами. В моей фирме постоянно работают два человека. Две недели назад мы решили уйти в отпуск, но неожиданно стали поступать заказы и мы вынуждены были работать целыми днями. Не зря говорят: кто не знает имени Пагеля, тому нечего делать в строительном бизнесе.

Как проходит мой день в Берлине? Я поднимаюсь очень рано и часов с семи-восьми начинаю работать. Я звоню клиентам, они звонят мне, я заключаю контракты, принимаю заказы. Примерно в пять я прекращаю работу и немного отдыхаю. Могу и соснуть полчаса. Вечером я ужинаю. Ем почти всегда только раз в день. С детских лет

я приучен не завтракать. Маленьким я мог выбирать между завтраком и возможностью поваляться в постели лишние полчаса, и я всегда предпочитал последнее. Кофе я сейчас пью довольно редко. Раньше я любил сигары, но хорошая сигара требует расслабления — часа, а то и полутора, а для этого у меня нет времени.

После ужина я пишу стихи. Я сочиняю стихи с тех пор, как себя помню. Мне было шесть лет, когда я написал первое любовное стихотворение моей тогдашней подружке. Она показала его своим родителям, те — моим. Родители указали мне на пару грамматических ошибок — ну что можно ожидать от мальчишки в шесть лет....

Конечно, мне проще писать по-немецки, но иногда я пишу и по-голландски. Вот два стихотворения на голландском, одно очень романтическое, другое шуточное. Какое бы вы хотели получить? Оба? Отлично. Хотите, я подпишу их?

Я всегда стремлюсь найти в литературе свой собственный стиль. Не хочу сказать, что чтение так уж этому мешает, но оно не столь уж важно — ведь можно очень много читать, но в конце концов убеждаешься, что прочел далеко не все...

Если у меня есть настроение, я рисую. В каком стиле? Нет, это не абстрактная живопись, скорее это реалистические изображения, хотя и не фотографии с натуры. Конечно, вы можете посмотреть. Взгляните на эту папку...

Мой любимый художник? Для меня этот вопрос равнозначен вопросу — какой цвет волос у женщины самый красивый: для меня все цвета привлекательны. Для того же, чтобы дать вам представление о моих художественных предпочтениях, скажу, что я люблю Ван-Гога, Тулуз-Лотрека и Гогена. Рембрандт, конечно, очень хорош, хотя слишком много работал со световыми эффектами. В этом нет, разумеется, ничего плохого, но и техника его, и все окружение, в котором он работал, говорят мне мало...

Иногда я играю в шахматы против компьютера. Когда я ставлю его на высокий уровень, у меня мало шансов, но чем ниже уровень, тем выше мои шансы; если я очень утомлен, я заставляю его играть на самом низком уровне, и тогда прибиваю его всегда, ха-ха-ха...

В 1981 году я встречался с Фишером. Это было в Пасадене. Альбурт помог мне с установлением контакта, началась переписка с посредниками Фишера, но дело подвигалось с большим трудом. Неожиданно Фишер сам написал мне и предложил контакт напрямую. Целью встречи было предложение в следующем сезоне выступать за Коро-

левский клуб. Первоначально Фишер требовал за встречу сто тысяч, причем по какой-то только ему самому ведомой причине в золотых Южноафриканской Республики, но потом согласился на трехчасовую беседу за пятьдесят тысяч долларов.

Я видел Фишера только на фотографиях и сначала даже не узнал: он отрастил бороду и сильно постарел. Хотя у нас была договоренность только на одну встречу, мы виделись и на следующий день, потом еще раз. В итоге я провел в Пасадене едва ли не целую неделю. Люди из его секты были удивлены, что он подпустил кого-то так близко, но это произошло потому, что я воспринимал его абсолютно серьезно, давал выговориться и слушал самым внимательнейшим образом. Я быстро понял, что нужно полностью разделять его точку зрения, потому что любая попытка противоречить обречена на неудачу и может положить конец отношениям.

Для того, чтобы войти в контакт с ним, нужно провести строгую границу между мистером Фишером и Бобби. Нечего и думать, чтобы войти в контакт с мистером Фишером — все попытки здесь обречены на неудачу. Поэтому я ориентировался на «Бобби».

Он всегда был абсолютно серьезен и, недоверчивый, все принимал на веру. Когда я стал говорить о многочисленных изобретениях и упомянул о машине, на которой можно путешествовать в прошлое, он спросил, нет ли машины, на которой можно переноситься в будущее. Я заверил его, что модель такой машины уже мною разработана, остается только решить проблему возвращения обратно.

Он спрашивал, что я думаю по поводу того, что евреи живут так долго. По его мнению, они могут жить восемьсот лет, даже тысячу. Над такого рода высказываниями ни в коем случае не следовало смеяться: такая наглость могла испортить все дело.

Наши прогулки по городу и походы в рестораны были нелегким для меня испытанием. Его же кондиции были превосходны: обладая характерной раскачивающейся походкой, он ходил очень быстро.

Фишер делал все, чтобы остаться незамеченным: то он резко сворачивал на другую улицу, то мы должны были продираться сквозь какие-то заросли: он был убежден, что его все время кто-то преследует. В ресторанах он всегда выбирал столик в углу, чтобы держать весь зал под наблюдением. Фишер очень много пил, но только воду. Ел он с очевидным удовольствием и тоже очень много. Если что-нибудь оставалось на тарелке, он просил завернуть и брал мешочек с собой: у меня создалось впечатление, что у него дома было какое-то домашнее

животное, думаю, собака. Мы и в шахматы играли. Легкие партии, без часов. Мне даже удалось выиграть одну из десятка; он зевнул в ней, конечно, но так уж было.

После первой встречи, продолжавшейся несколько часов, пришло время расчета. Я открыл свой дипломат и выложил на стол пять пакетов, в каждом было по десять тысяч долларов, как мы и договаривались. Бобби посмотрел на деньги, похлопал меня по плечу, засмеялся и сказал: «Ты хороший парень и ты мне нравишься. Двадцати тысяч будет достаточно», — и отодвинул три пачки в сторону.

Считаю ли я его нормальным? Для начала мы должны условиться, что понимать под определением нормального человека. У каждого человека имеются какие-то отклонения, и у Фишера имеются особенные отклонения. Я сказал бы суперотклонения. Он, конечно, немного сумасшедший, но сумасшедший с интересными, порой оригинальными идеями. У него свой взгляд на историю, на Гитлера. Какой именно? Гитлер был, конечно, ужасный человек, но что бы о нем ни говорили, в последовательности ему не откажешь. Своих врагов он просто отправлял в газовые камеры. Поймите, я ни в коем случае не оправдываю его, напротив. Но я говорю о подходе к делу.

Сделать фотографии Фишера оказалось нелегким делом. Я нанял двух частных детективов, чтобы они следовали за нами по пятам и сфотографировали его, но осуществить это не удалось, так как Фишер все время озирался по сторонам. Приятельница, которая была со мной в Пасадене, забралась в контейнер недалеко от гостиницы, и приподняв крышку, сделала несколько снимков. Потом ей удалось сфотографировать нас обоих на улице. Фишер заметил это — ведь он все время был настороже, но ему даже не пришло в голову, что мы из одной компании. Он думал, что это какой-то выследивший его фотограф из местной газеты.

Нет, этих снимков у меня сейчас нет, к сожалению, они сгорели, когда случился пожар на моей фабрике. Вы ведь видели эти фотографии, когда я после Пасадены приехал в Лон Пайн. Фотографии находились в том же альбоме, что и письмо Карпова ко мне. Я виделся с Карповым однажды; это было в 1981 году. Зная, что я увижу Фишера, он просил передать ему привет.

Фишера арестовали? В Японии? В первый раз слышу об этом. Ребенок на Филиппинах? Не может быть. Мы с ним ни разу не говорили о женщинах, его это просто не интересовало...

Слежу ли я за турнирами в последнее время? Нет, не могу сказать этого. Нет, фамилия Илюмжинов мне ничего не говорит. Поймите,

шахматный мир был для меня Королевским клубом, и все, что лежало за его пределами, мне было малоинтересно.

Если вы думаете, что я вспоминаю о том времени с сожалением, это не так. Бергенский период был только одним из периодов моей жизни, но он не был более важен, чем другие. Вот вы говорите о золотых временах Бергена — поймите, все времена в моей жизни были золотыми, и то время в Бергене — только один из таких золотых периодов. Вот сейчас вы правильно поняли меня: я ничего не хотел бы изменить в своей жизни. Ничего. Я не считаю, что делал ошибки, ведь все, за что бы я ни брался, мне в конечном счете приносило успех. Могу сказать, что в моей жизни были периоды, которые я не хотел бы повторить, но это не значит, что я испытываю какие-либо сожаления. Мое пребывание в тюрьме в Голландии было несправедливо, совершенно несправедливо. Это было дело о налогах, и в Голландии требовали, чтобы я заплатил налоги за то время, когда я жил в Германии, хотя уже в 1981 году я получил голландское гражданство. Я прямо сказал об этом на суде, и прокурор попросту ничего не мог на это ответить.

Что произошло в Англии? Со мной в контакт вошел человек, который хотел открыть представительство в Англии. Когда пришел первый транспорт с грузом, все было в порядке. Потом я поехал в Англию встречать второй транспорт и выяснилось, что мой груз подменен в Голландии: там оказались наркотики. Я ничего этого не знал, я просто попал в ловушку. Меня арестовали... Был громкий процесс, мне дали четырнадцать лет за торговлю наркотиками и еще десять за извлечение прибыли, если бы эта операция увенчалась успехом. Итого — двадцать четыре года. Я провел в тюрьме семь лет. Английская юстиция прекрасно знала, что я невиновен, и это было очень, очень несправедливо. Человеку, организовавшему транспорт с наркотиками, удалось скрыться, позднее его арестовали в Голландии и дали два года условно...

Нет, я не сидел в одиночной камере. Сначала это была камера на четверых, потом на двоих. В основном там были англичане, но попадались и иностранцы. Подавляющее большинство их не было интеллектуалами, их больше привлекали, как бы это сказать, — различные физические упражнения, если вы понимаете, что я имею в виду... Там не было людей моего уровня и мне было трудно найти с ними общий язык. Тем не менее я научился в тюрьме контролировать свои мысли, я бы сказал, протоколировать их, поэтому в духовном смысле я не был так уж обделен, и мое время там не было настолько пропавшим.

Я всегда был человеком идеи, тюрьма принесла мне необходимый покой, там я начал интенсивно писать и думать о многих, очень многих вещах, и можно сказать, что время пролетело незаметно. У меня в камере был комплект шахмат, но к сожалению, там совершенно не было приличных игроков. Неудивительно, что все турниры, а их было что-то около двадцати пяти, я и выиграл, ха-ха...

За время существования Королевского клуба я видел множество шахматистов из самых разных стран мира. Кто из них произвел на меня самое большое впечатление? Пожалуй, я назвал бы Альбурта. Может быть потому, что он первым из гроссмейстеров начал играть за Королевский клуб и у меня всегда были с ним особые отношения. Правда, в Америке он быстро приобрел болезнь, которая называется «долларитес», если вы понимаете, что я имею в виду, ха-ха-ха...

А как долго вы будете в Берлине? Всего-то? Жаль, а то давайте в четверг вместе в Кольберг поедем, это совсем близко, полтора часа до границы с Польшей, потом еще полтора часа и мы на месте. У меня там дом, я бываю в Кольберге регулярно и с превеликим удовольствием. Это очень красивое место. Море и люди очень приятные... Можно ли сказать, что мои поездки туда в каком-то смысле *back to the roots*? Пожалуй. Нет, по-польски я не говорю и из того довоенного времени никого не встречаю, да большинства уже и нет. Дом, в котором я родился и жил до войны, не сохранился, но есть планы постройки другого, на том же самом месте. Если это случится, я продам свой теперешний и перееду в новый, он ближе к морю.

У меня есть проект построить там несколько домов для пенсионеров из Германии; брошюры уже напечатаны. Апартаменты из двух-трех комнат и сравнительно недорогие. С Германией это совсем рядом, я уверен, что проект будет иметь большой успех. Вот смотрите, все видно на плане очень хорошо...

Можно и я у вас спрошу кое-что? Вы сказали, что совсем оставили практическую игру. Что же вы делаете? Пишете? И что же вы пишете? О чем, например, будет ваша очередная книга? Есть ли у вас уже план? Хотите, я подскажу вам ключ к успеху? Надо писать смешные рассказы. Смешные и доходчивые. Чтобы публике было смешно и понятно. Вот что хочет публика...»

Несколько лет назад в Голландии была популярна телевизионная программа под названием «Черная овца». Человек, бывший притчей во языцех в сфере политики, коммерции, спорте или любой другой,

защищал свою точку зрения перед телевизионной камерой в присутствии публики, придерживающейся зачастую совершенно противоположных взглядов. Страсти частенько накалялись и температура достигала очень высокого градуса. Так было и в программе, где роль «черной овцы» была отведена Арнфриду Пагелю. Он знал, что его ждет, но сразу согласился на предложение голландского телевидения.

В студию пришли многие из тех, кто без зазрения совести пользовался его щедростью, а теперь обличал его, припоминая нелицеприятные поступки и эскапады бывшего бетонного короля и шахматного мецената, прилюдно беря реванш за унижения и обиды.

Единственным мастером, принявшим участие в той программе, был Робби Хартох. Он сказал с улыбкой: «Что бы вы ни говорили, я не вижу ничего плохого в том, что деньги, которые должны были быть переведены на счет налогового ведомства, получали мы, шахматисты...»

После того как передача закончилась, мне позвонил приятель и стал убеждать, что такой экстравагантный человек, столь неожиданно возникший в мире шахмат и так же внезапно покинувший его, заслуживает того, чтобы о нем написали. Я подумал тогда, что он прав.

ОРАНЖЕВАЯ ЗАЩИТА

В мае 1984 года мне довелось сыграть партию с принцем Бернардом, мужем Юлианы, тогдашней королевы Голландии. Дебют партии, быстро ставшей известной коллегам-шахматистам, был столь необычен, что они окрестили его Оранжевой защитой. Дело в том, что оранжевый — национальный цвет Нидерландов, а королевский дом Оранских правит страной, начиная с 16-го века.

Мне позвонили из федерации шахмат и, сообщив, что в спортивном центре Голландии в Папендале через пару дней организуется большая выставка, попросили побыть несколько часов в шахматном павильоне. Я не очень люблю такого рода публичные сборища, но дал себя уговорить: функционеры объяснили, что это очень важно для развития шахмат в стране, к тому же ожидается приезд высоких, очень высоких гостей. Возможно, самой королевы.

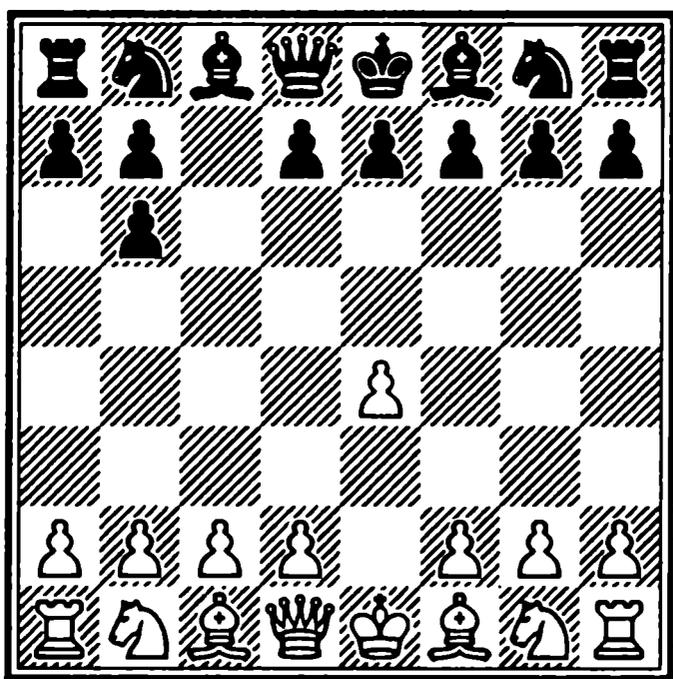
Был дождливый день, какие часто случаются в Голландии, посетителей на выставке было мало, и я, скучая, почти все время проводил в расположенном прямо напротив шахматного баскетбольном павильончике, где непрерывно крутили по видео лучшие матчи НБА. Наконец в дальнем конце зала появилась длинная процессия: бургомистр с массивной цепью на шее — обязательным атрибутом официальных приемов и торжественных процедур — и внушительная свита, сопровождавшая высокого импозантного человека, лицо которого было мне знакомо по фотографиям. Это был принц Бернард. Очки с дымчатыми стеклами, клетчатая рубашка, элегантный галстук; в петлицу пиджака вде́та большая белая гвоздика. Замыкали процессию многочисленные фотографы и операторы, дабы увековечить всё происходящее на пленку.

Принц Бернард, немец по происхождению, хотя и стал мужем голландской королевы еще до войны и жил в стране почти семьдесят лет, так и не избавился от немецкого акцента и время от времени вставляемых в речь германизмов. Он был знаком с президентами и премьер-министрами многих стран, состоял в родственных отно-

шениях с представителями всех королевских домов Европы и дружил со многими крупнейшими банкирами и промышленниками. Надо ли говорить после этого о политических пристрастиях принца: он ненавидел коммунизм и не делал из этого большого секрета. Когда меня представили принцу и мы обменялись парой фраз, он сказал: «А вы говорите по-голландски с акцентом, ведь это не ваш родной язык, не так ли?» Я подумал, что его замечание относится и к нему самому, но у меня хватило ума сдержаться и только вежливо подтвердить его слова. «И где же вы родились, позвольте полюбопытствовать?» – продолжал принц. «В Советском Союзе», – честно ответил я, добавив, что это не моя вина, так уж получилось. Принц расцвел, полюбил меня и стал что-то говорить о Солженицыне и о свободе слова, без которой трудно представить себе современное общество.

Шахматный столик стоял внутри павильона, фигуры были расставлены, и бургомистр почтительно осведомился у принца, нет ли у того желания сыграть партию. Через мгновение мы уже сидели за доской; по какой-то причине у меня оказались белые, но перед тем как сделать первый ход, я спросил принца, не хочет ли он сам начать партию. «О, нет, – ответил, улыбаясь, мой соперник, – это не играет абсолютно никакой роли». Так же с улыбкой он отрицательно покачал головой, когда я спросил у него, не предпочитает ли он играть с часами.

Я двинул вперед королевскую пешку, и партия началась. Чуть-чуть подумав, принц взялся за пешку «с». Вспышки магния, стрекот камер. «Попал, – сказал я себе, – ты же никогда не играешь 1.e4. Вариант Найдорфа, там все может произойти, представь, что партия будет опубликована... какой бламаж...» Пока мысли такого рода обуревали



меня, принц, доведя пешку до с5, вернул ее на с6, подумал еще мгновение, после чего резко переставил пешку на соседнее поле. Позиция после 1.e2-e4 c7-b6 стояла на доске.

Я поднял голову: бургомистр, официальные лица и придворные дамы с улыбкой на лице, но с полной серьезностью изучали положение, оценивая шансы сторон. Что делать? Я с тревогой взглянул на принца, тот улыбнулся мне

очень подбадривающе. Подумав несколько, я сыграл 2.a2-b3, отметив про себя, что даже в экстремальных обстоятельствах не мог позволить себе такого антипозиционного хода от центра, как 2.c2-b3, и что на стороне белых уже немалое позиционное преимущество.

Принц совсем не удивился моему ответу, было видно, что он заготовил свой ход независимо от того, как сыграю я. Как только моя пешка появилась на b3, принц решительно побил своей пешкой «f» мою центральную пешку: 2...f7:e4! Я не был готов к такому повороту событий, но сразу заметил, что от перевеса белых не осталось и следа, более того, материальное преимущество уже на стороне черных. «Что ж, — подумал я, — в его манере игры есть своя логика: в конце концов, он принц, и кому как не ему определять правила королевской игры». Но здесь мой соперник улыбнулся. «Вы, наверное, уже заметили, что я не умею играть в шахматы», — сказал он и добавил, что принц Клаус, муж его дочери Беатрикс — теперешней королевы Голландии — играет довольно прилично, а принц Константин, сын Клауса, был в студенческие годы даже членом шахматного клуба в Гааге. Принц поднялся, мы пожали друг другу руки, и через мгновение вся процессия стояла уже у павильона конькобежцев: коньки до сих пор являются одним из самых распространенных видов спорта в Голландии.

Именно тогда дебют моей партии с принцем получил название Оранжевой защиты, и до сих пор кое-кто из моих коллег применяет этот термин, когда видит пешечное взятие от центра.

Партия с принцем принесла мне немалые дивиденды. Перед процедурами открытий или закрытий крупных турниров, при встречах с организаторами и спонсорами мне часто звонят из федерации и просят, чтобы я рассказал что-нибудь о шахматах. Когда я спрашиваю о теме выступления, мне отвечают, что оно должно быть не слишком длинным, не слишком специфическим, не очень утомительным, короче, было бы хорошо, если бы я... рассказал о своей партии с принцем Бернардом.

Когда после десерта и кофе я выхожу к демонстрационной доске и замечаю разом поскучевшие лица спонсоров, я тут же успокаиваю их, предупреждая, что речь пойдет не о тонкостях староиндийской защиты и дебюта трех коней, а кое о чем другом. Признаюсь: когда я, порассуждав немного о преимуществе выступки и о прелестях первого хода королевской пешкой, перехожу непосредственно к Оранжевой защите, смех в зале раздается не всегда...

Вспоминаю, что во время нашего разговора в мае 1984 года принц заметил, что не все так плохо в Советском Союзе, вот, например, ба-

лет, как он называется, нет, не Большой, другое слово. Да-да, Киров, Киров-балет, который ему довелось видеть, был очень хорош.

Принц Бернард умер первого декабря 2004 года — в семидесятую годовщину убийства Кирова. Ему было девяносто три, и его похоронили, как он указал в завещании, в полной военной форме, при всех регалиях и многочисленных наградах. Еще совсем недавно он вспоминал, что годы войны, которые он провел в Лондоне, были самыми насыщенными в его жизни, а счастливейшим — 1944-й, когда союзники произвели его в генералы и назначили главнокомандующим голландской армией.

Незадолго до смерти принца в немецких архивах обнаружили документы, свидетельствующие о членстве в нацистской партии графа Бернарда Леопольда Фридрика Юлиуса Курта Карла Готфрида Петера фон Липпе-Бистерфельда, как звали его до того, как он стал принцем Бернардом. Период этот длился совсем недолго, и как утверждал принц, его имя просто вписали в партийный реестр вместе с другими именами студентов летной школы, которую он тогда посещал, но к нацистской партии он не имел никакого отношения. Во время войны принц Бернард яростно выступал против режима, установившегося на его бывшей родине, и сидя за штурвалом самолета, участвовал в бомбардировке немецких позиций. Пятого мая 1945 года в Вагенингене он принимал капитуляцию Германии. Из года в год в этот день перед ним строем проходили увешанные орденами и медалями ветераны, бок о бок сражавшиеся вместе с Бернардом в годы войны. Они гордились принцем, а глава десантников говорил, что самым смелым голландцем во время войны с Германией был немец. Принц тоже не забывал никого из бойцов Сопrotивления, а за день до смерти поздравлял с девяностолетним юбилеем штурмана, летавшего с ним.

В годы холодной войны этот безоговорочный друг американцев, ярый сторонник НАТО и ненавистник коммунизма открыто поддерживал самые лучшие отношения с друзьями Кремля — людьми, стоявшими во главе коммунистической партии Голландии, которых он превосходно знал еще со времен борьбы с нацизмом. В ответ на недоуменные вопросы журналистов принц отвечал, что это его друзья и для него не имеет значения, каких политических взглядов придерживаются его друзья. Бенно, как они его звали, делал для друзей все.

Принц был прирожденным рассказчиком. В его историях часто фигурировали такие фигуры, как Монтгомери, Черчилль, Эйзенхауэр и де Голль, которых он знал лично и с которыми неоднократно встре-

чался. Он был дружен с иранским шахом и был на короткой ноге с Джоном Кеннеди.

К своим обязанностям принц относился не без иронии: «Официальные приемы – лишь пустая трата времени. Это просто карнавал с переодеваниями, бесконечными пожатиями рук и сплошная обжираловка». Но обладая согласно конституции Королевства Нидерландов только церемониальным статутом, принц часто брал на себя много больше, и его поведение не всегда было безупречным. В некоторых газетах уже после его смерти можно было прочесть, что принц не раз вторгнулся в и без того «минированное поле международных отношений, результатом чего являлись оглушительные взрывы, последствия которых до сих пор чувствуют члены королевского дома».

В 1976 году правительственная комиссия под руководством известного профессора Пита Хейна Доннера (родного брата гроссмейстера) признала, что принц Бернард зашел слишком далеко в своих контактах с компанией «Локхид» и принял подарки, которые не должен был принимать. За такой обтекаемой формулировкой скрывался факт, что принц получил сумму в миллион долларов за то, что заказы на производство самолетов были отданы именно этой компании.

«Я не знаю, какой бес вселился в меня тогда, – чистосердечно признавался принц десять лет спустя. – Денег у меня на счетах в Голландии, Соединенных Штатах и Швейцарии пруд пруди, сейчас я просто не понимаю, что меня толкнуло на это...» Принц вынужден был сложить с себя все официальные функции, и ему было запрещено носить военную форму.

Эта афера с «Локхидом» внесла изменения в жизнь Бернарда: его теперь чаще можно было увидеть не среди самых богатых и знатных людей земного шара, а среди слонов и носорогов. Страстный охотник, он встал на защиту животных, организовав Всемирный фонд защиты природы, президентом которого оставался до самой смерти. Он был заядлым фото- и кинолюбителем и, снимая членов своей семьи, делал цветные фильмы во времена, когда это было еще большой редкостью.

Он обожал гоночные машины, был неутомимым путешественником и большим поклонником верховой езды, а за штурвалом самолета принц провел пятьдесят три года. Самым большим грехом единожды данной нам жизни он считал неиспользование ее полностью и до конца. Церковь Бернард посещал крайне редко, называя себя «просто

христианином, без какой-либо склонности к теологии». Он не расстался с трубкой, и отпустив к старости бородку, выглядел очень импозантно до самого последнего дня.

Он был бонвиван, и выражение «ничто человеческое не было ему чуждо» присутствовало почти во всех некрологах о нем. Официально он оставил после себя четырех дочерей, но все знали, что у него была еще одна дочь, родившаяся вне брака в Париже. Правда, наличие двух сыновей в Лондоне, о чем писала время от времени бульварная пресса, принц всегда категорически отрицал.

За год до смерти принц указал редакции журнала «Форбс», где был опубликован список богатейших людей страны, что состояние королевского дома составляет не два с половиной миллиарда евро, как полагали они, а меньшую сумму, и удовлетворился, только когда было опубликовано опровержение. Тогда же принц публично высказал возмущение денежным штрафом, к которому приговорили двух продавцов большого супермаркета: не дожидаясь полиции, они сами решили расправиться с вором, пойманным на месте преступления. Принц заявил, что лично заплатит шестьсот евро, потому что эти люди только выполняли, по его мнению, свой долг.

Он перенес за свою жизнь более пятидесяти операций. В 1937 году в автокатастрофе он сломал шею, несколько ребер и получил серьезные травмы черепа, а четыре года спустя бомбардировщик, которым управлял принц, перевернулся при посадке. В начале 1995-го у него был обнаружен рак, зафиксированы метастазы; дело осложнилось двойным воспалением легких, но и тогда принцу удалось благополучно ускользнуть от смерти, как бы показывая, что если она для кого и существует, то только не для него.

«Я слышал уже голос, зовущий меня на небо, но решил про себя: нет, так просто я не поддамся», — сказал он тогда. Хотя официальной причиной смерти принца был объявлен рак, на самом деле, я думаю, что это он, он сам смирился с тем, что и его жизнь конечна. Наверное, и саму смерть он рассматривал как начало какого-то нового приключения. За день до смерти он сообщил знакомому журналисту, что в последнее время обзванивает своих недругов, чтобы высказать им всё, что о них думает. «И авторам только что вышедшей детской книжки с картинками, где я изображен в форме СС и СД, я позвонил тоже. Нет-нет, я не перешел допустимых границ. Но разговаривал с ними строго. Ах, пусть они думают обо мне всё, что хотят. Ведь через несколько дней я буду лежать в земле».

Принц был знатоком и ценителем вин, обожал розовое шампанское и за несколько часов до смерти выпил за обедом стакан белого вина, что делал каждый день. Знакомый уже со своим диагнозом, попав в больницу, он еще раз подтвердил, что отказывается от лечения, означающего только временную отсрочку и мучительное продление жизни: под словом «жизнь» принц понимал что-то совсем другое.

Уже через несколько часов после смерти принца на ступенях Королевского дворца в Сустдейке, где он прожил последние шестьдесят семь лет, появились живые цветы, потом еще и еще: хотя к институту монархии в Голландии относятся с некоторой долей иронии, принца по-своему любили, и даже недруги его не отрицали, что принц Бернард был неординарной личностью. У меня даже закралась мысль: не положить ли тоже букет на ступени Королевского дворца в память об Оранжевой защите, изобретенной принцем в нашей партии, но потом я передумал и написал то, что вы только что прочли.

P.S. Принц не был бы принцем, если бы и после ухода в небытие не позаботился о сюрпризе. Ровно через две недели после его смерти разорвалась бомба: одна из крупнейших газет Голландии «Фолкскрант» опубликовала разговоры, которые принц Бернард вел с главным редактором и ведущим журналистом газеты. Условие публикации было оговорено заранее: рассказ может увидеть свет только после смерти принца. При жизни Бернарда неоднократные официальные просьбы такого подводящего итоги интервью всегда встречали вежливый, но категорический отказ как от Королевской информационной службы, так и от самой королевы.

Журналисты беседовали с принцем на протяжении двух недель, с десяти утра до половины первого дня в его кабинете во дворце в Сустдейке, причем всем слугам и секретарям принца было дано строгое указание не тревожить его в это время ни в коем случае. Единственными свидетелями бесед были слоны: макеты, изображения, рисунки и фотографии этих животных, к которым Бернард был особенно неравнодушен, заполняли весь его кабинет, называвшийся в дворцовом обиходе «слоновьей комнатой». Неуверенной походкой и внешним видом принц и сам к концу жизни напоминал старейшего слона амстердамского зоопарка Мурагана, подаренного городу совсем маленьким слоненком еще Джавахарлалом Неру. Когда в августе 2004 года Мураган умер, остальные слоны собрались вокруг мертвого тела и долго в задумчивости стояли вокруг него, нежно лаская хоботами усопше-

го. Принц пережил Мурагана только на четыре месяца; в завещании он оговорил процедуру собственных похорон до мельчайших деталей, предписав первоначально членам королевской семьи следовать за катафалком на слонах, но потом все же решил, что это будет чересчур.

«Я совершенно равнодушен к собственной смерти и полностью вверяю свою судьбу в Его руки. Посмотрим, что будет дальше», – сказал принц. Когда ему давали знать, что час кого-нибудь из его друзей близится, он с бутылкой розового шампанского приезжал для прощания: последний разговор, последний бокал... На похоронах его представлял только венок – принц терпеть не мог похорон, избегая их, как саму смерть.

В последнем интервью принц рассказал об отношениях со своей женой, королевой Юлианой, дал характеристики многим здравствующим особам королевского дома, рассказал о своих отношениях с премьер-министрами страны за весь почти семидесятилетний период его пребывания в качестве Принца Королевства Нидерландов.

Вновь коснулся он и своей роли в деле с компанией «Локхид», настаивая на своей наивности и неосведомленности. «Я не возражаю остаться в памяти людей бесшабашным человеком, но я не хочу, чтобы обо мне думали как о шабашнике», – сказал принц.

Бернард признался, что на самом деле у него не одна дочь, родившаяся вне брака, француженка Алексия, а две; другой дочери Алисии, живущей в Соединенных Штатах, почти пятьдесят. Принц указал в завещании, что его имущество должно быть поделено поровну между всеми его шестью дочерьми, включая двух внебрачных, которые дороги ему не меньше.

«Ах, королева принимала философски все мои эскапады, – заметил принц. – Когда она спросила в Лондоне, есть ли у меня подруга, я сказал – да. То же повторилось и на следующий год, и год спустя. Когда королева поинтересовалась, идет ли речь о той же самой особе, и я подтвердил это, королева заметила, что в этом случае хотела бы с ней познакомиться, если я так долго нахожу ее привлекательной. На моих похоронах должны исполняться две песни: мексиканская «Ласточка» и другая – «Прощайте все чудесные леди, которых я знал».

Когда утром 14 декабря 2004 года я услышал о посмертном интервью принца и вышел из дома, чтобы купить газету, то увидел в киоске необычное объявление: «Извините, весь выпуск “Фолкскрант” распродан, ожидаем, когда подвезут допечатанные экземпляры».

За добрых три десятка лет, что я живу в Голландии, такое случилось в первый раз.

ДЕЛО ТАБАК

Шахматы и курение испокон веков ассоциировались друг с другом. На старинных гравюрах можно видеть сидящих в задумчивости мужчин в кофейнях, где, кроме крепчайшего кофе и холодной воды, ничего не подавали. Но неизменным атрибутом кофейен были кальян или трубка, набитая душистым табаком. Такие кофейни на Востоке собирали определенную публику: поэтов и негоциантов, путешественников, любителей кофе, табака или гашиша.

В кофейнях играли во всевозможные игры, в том числе и в шахматы. Играли, сидя на подушках, иногда лежа или полулежа. В Турции такие подушки-возвышения получили названия «диван». Слово «диван» потом перекочевало в английский, и первое шахматное кафе в Лондоне на Стрэнде так и называлось «Симпсон диван» или «Сигар диван», еще раз подчеркивая связь шахмат и курения. Такого рода кафе были во всех европейских городах; дым в них стоял столбом, все курили напропалую. Трубка, сигары, в России папиросы — всегда сопутствовали шахматной партии.

Победитель турнира 1895 года в Гастингсе, где участвовали все сильнейшие шахматисты мира, Гарри Нельсон Пильсбери не выпускал сигары изо рта, выкуривая до шести «гаван» за партию. Почти все участники того турнира курили сигары, и только некоторые, как Джозеф Блэкберн, предпочитали трубку. Трубку курил и Генри Бёрд, покусывая то ее, то вставную челюсть, которой время от времени, обдумывая ход, поигрывал во рту.

В наше время сигары, не говоря уже о трубке, у шахматистов не в почете. Сигара требует длительного процесса. Сигара — символ размеренности, неторопливой беседы. Сигару не спеша раскуривают за рюмкой коньяка. В не меньшей степени это относится к трубке. Трубка — это домашний уют, размягченность, мир; выражение «раскурить трубку мира» стало штампом журналистов, когда они пишут о закончившейся вничью партии.

Можно представить себе профессора-бородача вечером в гостиной, попыхивающего трубкой у камелька за партией в шахматы со старинным приятелем, но профессионала? Сигарета, конечно же, сигарета! Сигарета – символ беспокойства, напряжения, войны; современные профессионалы курят (если курят) только сигареты. Сигарету можно выкурить несколькими нервными затяжками, тем более что во время партии особенно и не раскуришься: соперник может сделать ход в любой момент.

Курение и шахматы до недавнего времени были неразделимы. Папиросы в набоковской «Защите Лужина» рассыпаны едва ли не на каждой странице. Главный герой курит и во время турнирных партий, и в «поздний час шахматных раздумий, когда папироса, словно кем-то другим незаметно всунутая ему в рот, сразу выростала, утверждалась, плотная, бездушная, косная, и вся жизнь сосредотачивалась в одно желание курить, хотя Бог весть, сколько папирос было бессознательно выкурено».

В «Шахматной новелле» С. Цвейга, за исключением малосимпатичного Чентовича, курят все. Курит сам рассказчик, курит шотландский инженер МакКоннор, курит сигарету за сигаретой и доктор Б. во время партии с Чентовичем.

Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц курил сигары. Эмануил Ласкер тоже во время партии не выпускал сигары изо рта. Когда вельтмейстер жил в Советском Союзе, к нему даже навевались представители табачных фабрик, привозя для дегустации первые сигары советского производства.

Образ курящего сигары Ласкера использован авторами «Двенадцати стульев». Остап Бендер говорил восторженно глядящим на него васюкинским любителям шахмат: «Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Об обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым был противней. Шахматный мир в беспокойстве».

Без сомнения, Ильф и Петров вложили эту тираду в уста «потомка янычар», увидев сообщение, появившееся на страницах журнала «Шахматы» после Нью-Йоркского турнира 1924 года: «Во время игры немецкий маэстро курил длинные черные пятицентовые сигары (black cheroots), которые вызывают сильное раздражение в носу и горле. Как только бывший чемпион мира зажигал свое пятицентовое страшилище, все окружающие наперебой предлагали ему первоклассные си-

гары. Но доктор Ласкер откладывал их про запас, продолжая дымить своей ужасной черной сигарой».

Курил и Алехин. Русский чемпион пристрастился к курению еще будучи гимназистом, и сестра Варвара вспоминала о Саше, у которого «за игрой лицо горит огнем, едва сдерживаемые жесты, пальцы, дергающие и мнущие сигарету».

А вот зарисовка с натуры, сделанная журналистом во время партии Алехина с Блэкберном на международном турнире в Петербурге в 1914 году: «От страшного напряжения налились и вздулись вены на его склоненном челе. Нервно хватает он папиросу за папиросой, торопливыми движениями подносит ко рту и короткими непрерывными затяжками выкуривает ее в одну минутку».

Первая Всесоюзная шахматная Олимпиада, выигранная Алехиным, проводилась в голодной Москве 1920 года. Когда стало совсем невмоготу, участники забастовали, потребовав увеличения пайка, но главное — папирос, папирос!

А вот как запомнил чемпиона мира Сало Флор на турнире в Цюрихе в 1934 году: «Никогда раньше я не видел такого взволнованного Алехина. Он нервно курил папиросу за папиросой. И неудивительно: ему в первый раз в жизни удалось победить Ласкера».

Во время турнира в Ноттингеме в 1936 году дотошные журналисты подсчитали, что Алехин выкуривает во время партии до сотни сигарет, правда, гася каждую в пепельнице после двух-трех затяжек.

На следующий год Алехин играл турнир в Кемери: «Во время турнира он пил только молоко и поедал шоколад в огромных количествах. Но от курения отказаться не мог, и стол, за которым играл Алехин, был всегда завален окурками. Курил он непрерывно, нередко прикуривая одну сигарету от другой...»

У Алехина бывали периоды в жизни, когда он пытался обойтись без никотина. Тогда он становился ярким борцом с курением. Поражение одного из участников турнира в 1929 году Алехин объяснял тем, что тот много курил: «Никотин ослабляет способность мыслить, столь необходимую для шахматиста. Я могу сказать, что и сам получил уверенность в выигрыше матча за мировое первенство лишь тогда, когда отучился от страсти к табаку».

После проигрыша в 1935 году матча Максу Эйве Алехин откровенно анализировал причины неудачи: «Чтобы заставить себя думать о шахматах, я должен был пользоваться несколькими стимуляторами — табаком в избытке и, прежде всего, алкоголем. Вряд ли нанесло бы

это вред во время короткой борьбы, но оказалось абсолютно роковым во время продолжительного поединка».

Два года спустя во время второго матча с Эйве Алехин уже не курил, но окончательно избавиться от этой страсти ему, увы, не удалось. За две недели до смерти он жаловался своему другу португальскому мастеру Люпи: «У меня совершенно нет денег, и я должен немного заработать на сигареты...»

Анекдотическая история, связанная с именем Нимцовича, без сомнения, имеет под собой какой-то реальный факт. Однажды рижский гроссмейстер, не терпевший табачного запаха, должен был играть с Видмаром, большим любителем сигар. Вспомнив, что Нимцович не переносит табачного дыма, Видмар положил незажженную сигару на стол и начал партию. Но рыцарский поступок не успокоил Нимцовича, нервно поглядывавшего на возможный источник опасности. Наконец, он не выдержал и обратился к судье с жалобой, что не может играть из-за сигары. «Но ведь Видмар не курит...», — удивился тот. «Да, но он может закурить. Угроза сильнее ее исполнения...» — якобы проворчал Нимцович.

Неисправимым курильщиком был Земиш. Людек Пахман, игравший с ним в Праге в 1943 году, вспоминал, что во время партии Земиш курил непрерывно, а если задумывался, пепел падал на его брюки, на доску, повсюду. Полностью погруженный в свои мысли, он сдувал пепел на своего противника и продолжал размышлять над позицией. Пахману вторит Доннер, игравший с престарелым маэстро уже после войны: «Земиш всю партию посасывал трубку, постоянно вынимая ее изо рта и выбивая, так что весь стол к концу партии был усыпан пеплом».

Сам Пахман курильщиком не был и с трудом переносил табачный дым, но когда Фидель Кастро, предложив ему огромную «гавану», сказал: «Если вы друг Кубы, выкурите эту сигару до конца», не нашел в себе смелости отказаться. Чешский гроссмейстер вспоминал, что с тех пор у него появилось такое отвращение к курению, что он старался каждого курильщика наставить на путь истинный — отказаться от вредной привычки.

Заядлым курильщиком был Сэмми Решевский. В шаббат, когда курение строго запрещено, ему приходилось нелегко, но избавиться от курения Решевскому так и не удавалось. Не знаю, как он бросил курить, но когда я играл с ним, он уже не курил, а на протяжении всей партии сосал, причмокивая, какие-то леденцы.

Ботвинник утверждал, что в молодости танцевал фокстрот и чарльстон на уровне профессионала. Это трудно себе представить, так же

как и молодого Мишу Ботвинника, затягивающегося сигаретой. Курил Михаил Моисеевич, по собственному признанию, только два месяца в молодости.

Известно, что Рагозин по просьбе Ботвинника беспрестанно обкуривал его во время тренировочных партий. А для того, чтобы создать обстановку, максимально приближенную к боевой, радио во время игры было включено на полную громкость, и соперники в течение нескольких часов могли выслушивать сообщения о ходе посевной на Кубани или о происках поджигателей войны. После такой артподготовки Ботвиннику не был страшен никакой курильщик, а шум публики должен был казаться пением сирен.

Тигран Петросян рассказывал, что в молодости тоже пробовал курить — для солидности, — но юношеская шалость не перешла в привычку.

А вот Михаил Таль был неисправимым курильщиком. По-настоящему Таль пристрастился к курению после выигрыша матча у Ботвинника в 1960 году. Ему было тогда 23 года, и жизнь превратилась для Миши в нескончаемый праздник, одной из составляющих которого было курение. В шутке: Талю спички не нужны — он прикуривает каждую новую сигарету от предыдущей, была доля правды.

Однажды в советское время, увидев огромный плакат: «Человек, брось курить! Помни, что за всю жизнь ты прокуриваешь 4187 рублей 70 копеек», Таль заметил: «Эх, забыли добавить: лучше эти деньги пропить!»

Таль не только курил сам, он любил курящих людей. Заметив, что собеседник тянет сигарету из пачки, он с удовольствием чиркал спичкой и одобрительно смотрел на прикуривающего: правильно, чего уж там, ты тоже из нашей команды. Вероятно, для того, чтобы подчеркнуть это пристрастие гения шахмат, на могильном памятнике он изображен с сигаретой во рту.

Не думаю, что для Миши свобода курения являлась сопротивлением утилитаризму, утверждающему, что всякое действие должно служить какой-то определенной цели. Просто сигарета была для него одним из удовольствий в этой чудной и быстротекущей жизни, а то, что курение таит в себе опасность, что ж, так это ведь и привлекательно; в конце концов, жизнь — это не только заботы о здоровье с целью prolongation ее во что бы то ни стало.

Заядлым курильщиком был и Виктор Корчной. В молодые годы он курил папиросы, предпочитая ленинградский «Беломорканал», но

потом перешел на сигареты. На моей памяти он неоднократно бросал курить, но всякий раз срывался. Несколько раз Корчной прибегал к совершенно невозможному: во время турнира, наказывая себя за плохую игру, он в одночасье прекращал курить. Добровольно надевая на себя вериги, он, закаляя дух, подвергал плоть ужасному испытанию. Одно время у него была пластиковая сигарета, выглядевшая как настоящая. Корчной поигрывал ею, вертел в руках, во время партии клал рядом на стол, иногда брал в рот. Но в конце концов подделка надоела, и он возвратился к табачной продукции.

Несколько лет тому назад Корчной бросил курить окончательно. Внутренний голос совершенно явственно приказал ему навсегда расстаться с вредной привычкой, и Корчной не решился ослушаться этого приказа.

Страстным курильщиком был Ефим Геллер. На открытии чемпионата Советского Союза в 1977 году уже после жеребьевки объявили о запрещении курить во время игры. Вальяжной походочкой Геллер подошел к судейскому столу, демонстративно положил на него только что вытянутый номер и сказал, что в этом случае отказывается от участия в турнире. Возбуждение, шум. На скорую руку прямо за сценой была оборудована комнатка, которой мог пользоваться Геллер для курительных пауз. Хорошая американская сигарета была для гроссмейстера из Одессы воплощением блаженства. Борис Спасский вспоминал, что за границей Геллер расслаблялся: выпивал кока-колу, закуривал свой «Честерфильд» и был вне времени и пространства.

Неисправимым курильщиком был рано ушедший из жизни Леонид Штейн. Роберт Фишер, сам никогда не куривший, сказал, услышав о смерти Штейна: «Он умер от инфаркта совсем молодым, потому что разрушал свое здоровье непрерывным курением. Я однажды засек на часах, как долго продолжается его затяжка. 31 секунду! Просто удивительно, как взрослый человек мог так хищнически относиться к своему здоровью и сам рыть себе могилу!»

Не знаю, сколько секунд длилась затяжка Штейна, но Борис Спасский предпочитал вообще не ингалировать при курении, хотя в молодые годы его довольно часто можно было видеть с сигаретой.

Всю жизнь курил Андрэ Лилиенталь (1911-2010), что не помешало ему достичь очень преклонного возраста. Едва ли не до последнего дня сигарета была неизменным спутником анализов Лилиенталья, а замечательный гроссмейстер очень любил анализировать.

Страстным курильщиком был московский гроссмейстер Владимир Симагин. Мало того, что он почти непрерывно курил во время партии, Симагин имел обыкновение, просыпаясь под утро, закуривать папиросу, читать с полчаса или смотреть что-нибудь на карманных шахматах и засыпать, чтобы, окончательно проснувшись, первым делом снова потянуться к пачке папирос.

Трудно представить себе без папиросы и Александра Толуша. Одно время гроссмейстер пользовался антеникотиновыми прокладками. Это было целое действо: Толуш не спеша вынимал папиросу, постукивал ею по крышке коробки, продувал, загонял в полую часть пропитанную чем-то ватку, чиркал спичкой, глубоко и с наслаждением затягивался. Толуш курил с детства и в самом конце врачи, зная о его неизлечимой болезни, даже не настаивали, чтобы он оставил курение: польза от этого вряд ли превысила бы муки, которые ему пришлось бы претерпеть.

С детства курил и замечательный гроссмейстер Ратмир Холмов. Он рассказывал, что среди многого, произведшего на него впечатление в Соединенных Штатах, куда он попал во время войны, были и американские сигареты: «Ты можешь представить себе, чем был для нас, моряков, “Кэмел”, особенно после рвавшей горло махорки?»

В 1968 году я делил с Холмовым две недели номер в гостинице в Риге. Перед тем как заснуть, Ратмир Дмитриевич обычно уже в кровати закуривал последнюю сигарету, и случалось, так и засыпал. Болгарская сигарета продолжала тлеть, и когда огонь подбирался к губам, с соседней кровати доносилось что-то похожее на мычание. Я вставал и, осторожно вынув изо рта гроссмейстера окурок, гасил его в пепельнице.

Эдуард Гуфельд никогда не курил. Однажды, правда, играя в чемпионате страны и не будучи в силах держать под контролем переполнявшие эмоции, он выбежал на сцену с дымящейся сигаретой. Судьи тут же бросились к экспансивному гроссмейстеру и вырвали сигарету из его рук. Поступок Гуфельда объяснялся, впрочем, довольно прозаично: победный исход его партии с мастером Г. был предрешен заранее, но он счел нужным внести в спектакль еще одну блестку, чтобы создать впечатление суровой борьбы и накала страстей.

Неисправимым курильщиком был голландский гроссмейстер Хейн Доннер. По собственному признанию, он выкуривал больше ста сигарет в день, и следы этой привычки были заметны на его пожелтевших от никотина пальцах. Мальчишки-демонстраторы вынуждены были ме-

нять пепельницу, стоящую на его шахматном столике, по несколько раз во время игры.

Мастер Баймейстер жаловался, что порой становился жертвой перекрестного окуривания. Так было на Олимпиаде в Лугано в 1968 году, когда он играл на второй доске между Доннером и Принсом. Один непрерывно курил сигареты, другой не вынимал изо рта длиннющую сигару. Однажды, когда табачный дым стал совсем непереносимым, Баймейстер пожаловался Доннеру: «Хейн, это уже переходит всякие границы...» «Границы, любезный Ханс, — не дал ему договорить Доннер, — определяются тем, что мне доставляет удовольствие!»

Во время турнира ИБМ в Амстердаме в 1976 году, когда Доннер в партии с Майлсом, глубоко затянувшись, выпустил дым, английский гроссмейстер, недовольно поморщившись, начал разгонять руками табачное облачко. Доннер тут же подозвал судью: «Господин Майлс мне мешает. Скажите ему, чтобы он больше не махал руками у меня под носом...»

Не знаю, сделал ли арбитр замечание Майлсу, но тогда права курильщиков строго оберегались: о пассивном или вынужденном курении никто и слыхом не слыхивал. Курили и сами шахматисты, курили и зрители, и после нескольких часов игры в зале обычно висели клубы сизого дыма. Герт Гийссен вспоминает, как перед началом тура контролировал наличие пепельниц на столиках, и зная о привычке курильщиков сбросить пепел или загасить окурок в первую попавшуюся пепельницу, убирал их со столов некурящих.

На Олимпиадах курить, разумеется, тоже разрешалось. Площадку, где играла команда Индонезии, всегда можно было унюхать издали: индонезийские сигареты имели такой специфический запах, что ошибиться было невозможно.

Не помню, когда запретили курить во время партии, но уже на Олимпиаде 1988 года в Салониках для курильщиков было отведено специальное помещение при входе в зал, и чтобы выкурить сигарету, они должны были преодолевать немалое расстояние.

Попытки борьбы с курением делались и раньше. В Советском Союзе брежневского периода такие попытки предпринимались, как правило, местными начальниками. Ханс Рее, прилетев в 1976 году в Сочи, несмотря на крайне ограниченное знание русского, расшифровал, подъезжая к городу, огромный транспарант: «В городе-курорте Сочи не курят!»

«Если бы я знал об этом, я бы не приехал на турнир...» — заволновался голландец. Организаторы успокоили его: не следует слепо верить всему, что написано на растяжках. Действительно, прибыв в гостиницу, он увидел те же воззвания, прямо под которыми были расставлены столики с пепельницами, и все дымили, не обращая внимание на чистое небо и руку рабочего на плакате, решительно отстраняющую от себя пачку сигарет.

Виктор Давыдович Батурицкий тоже был заядлым курильщиком. По Центральному Шахматному клубу на Гоголевском он ходил с зажженной сигаретой в зубах. Всем прочим курить категорически воспрещалось. «Кого увижу в Клубе с сигаретой, лишу права играть в шахматы на территории СССР!» — угрожал то ли в шутку, то ли всерьез глава советских шахмат.

Однажды в Москву приехали шахматисты из Зальцбурга и, зайдя в Клуб, попросили организовать матч с москвичами. Надо ли говорить, что все австрийцы были откровенными любителями. Работники Клуба на скорую руку мобилизовали всех, кто оказался в этот день на Гоголевском. Матч игрался в Большом зале. Курящие австрийцы, не знакомые с местными порядками, немедленно задымили, и воздух в зале очень скоро стал сиреневым. Глядя на такое раздолье, закурили и москвичи. Вдруг в холле появился окруженный свитой Батурицкий с дымящейся сигаретой во рту. Ужасная картина предстала перед его глазами, он едва не лишился дара речи. В добавление ко всему из зала вышел юноша в свитере и джинсах с незажженной сигаретой в руке. Не говоря ни слова, он подошел к Батурицкому, вынул у того изо рта сигарету, прикурил, вставил ее обратно в вельможный рот и, не торопясь, вернулся в зал.

Очевидец вспоминает, что дальнейшее напомнило немую сцену из «Ревизора»: «Батурицкий начал хватать ртом воздух, но, наконец, совладав с собой, просипел: “Наш или австрияк?” Кто-то из свиты успокоил босса: “Да австрияк, Виктор Давыдович, не волнуйтесь, австрияк, наш бы не позволил себе!”»

В последние годы Батурицкий перешел на сигары, его кабинет на Гоголевском был всегда полон дыма, а сам хозяин сидел за столом с сигарой во рту, напоминая акулу империализма, а не главу советских шахмат, которым в действительности являлся.

Когда запрет на курение за доской стал официальным, поначалу права курильщиков как-то еще оберегались. В рейтинговом уложении ФИДЕ имелось смешное правило, сохранившееся, насколько я знаю, и поныне, что турниры могут быть обсчитаны, только если

в помещении, где игрался турнир, было специальное место для курения.

Во время кандидатских матчей 1991 года в Брюсселе для Корчного и Тиммана — единственных курильщиков — был отведен специальный закуток, откуда они могли следить по монитору, сделал ли соперник ход. Тогда это было в новинку.

Комнаты для отдыха имелись, правда, уже во время матчей между Карповым и Каспаровым, но там вопрос о курении не вставал вообще: оба чемпиона мира никогда не курили.

Перед началом мемориала Доннера в Амстердаме в 1994 году разгорелась жаркая дискуссия: некоторые участники предлагали почтить память голландского гроссмейстера разрешением курить за доской. Гийссен настаивал на строгом соблюдении правил. В конце концов был достигнут компромисс: прямо на сцене была построена избушка, где курильщики могли предаваться никотиновым ингаляциям, пока соперник размышлял над ходом.

Компромиссный период длился не очень долго. Террор, обрушившийся на курящих, в наши дни перешел в беспощадный. Этот террор коснулся, разумеется, и шахматистов. В Голландии, как и в большинстве европейских стран и в США, курение запрещено сегодня не только в поездах, самолетах и в публичных зданиях, но с недавнего времени даже в кафе и ресторанах.

В традиционном фестивале в Вейк-ан-Зее принимают участие сотни шахматистов. Среди гроссмейстеров, мастеров и просто любителей, приезжающих в январе каждого года в голландскую деревушку на берегу моря, есть, конечно, и курильщики, хотя в старое время их было много больше.

Еще недавно в огромном зале «де Мориаан» для курильщиков отводилось специальное помещение, но сейчас курение запрещено во всем зале. Для курильщиков отведен небольшой загончик перед входом в помещение, куда в любую погоду, когда и под дождем, устремляются любители никотина. В этом загончике можно увидеть шахматиста с рейтингом 1600 и гроссмейстера, играющего в главном турнире. Несмотря на огромную разницу в силе игры, все они образуют некое братство, для которого в большей степени, чем для ФИДЕ сегодняшнего дня, применим лозунг *Gens una sumus*.

Наверное, вспомнив о стародавней связи шахмат и курения, спонсором матча на мировое первенство между Крамником и Лeko в 2004

году стала фирма «Даннеманн», тем более что Владимир Крамник покупает время от времени. До матча он даже продегустировал сигары швейцарской фирмы и дал им высокую оценку.

Крамник начал курить еще школьником и довольно долго не мог расстаться с вредной привычкой, за что его в свое время поругивал Ботвинник. Перед матчем с Каспаровым в 2000 году Крамник занялся спортом, сбросил вес, прекратил курить. Но потом закурил снова. И снова бросил. И снова закурил. Год назад они вместе с женой решили окончательно расстаться с курением.

Сильнейшие молодые гроссмейстеры начала XXI века, как правило, не курят. Только Грищука, Бакро и Ван Юэ можно увидеть с сигаретой, вот, пожалуй, и все.

Шахматы стали спортом, потеряв все черточки богемности, которые были им присущи еще совсем недавно. Если из основного состава олимпийской команды Голландии в Ницце в 1974 году курили все: Тимман, Доннер, Рее и я, среди молодых гроссмейстеров, выступающих за команду Нидерландов сегодня, не курит никто.

В Вейк-ан-Зее, забредя как-то вечером в кафе, где в старые времена среди шахматного планктона можно было увидеть немало гроссмейстеров, я не заметил ни одного участника главного турнира. Какие там долгие сидения в кафе с сигаретой и с бокалом вина в компании заглянувших на огонек местных девушек? Какой бридж? Какой блиц навылет и со звоном? Какие долгие разговоры обо всем и ни о чем далеко за полночь?

Без всякого сомнения, всех гроссмейстеров можно было найти в гостиничных номерах, прочесывающими еще и еще раз партии застрявшего соперника, освежая собственные анализы или следя онлайн за партиями турниров, играющихся одновременно с фестивалем в Вейк-ан-Зее.

У читателя может создаться впечатление, что я скорблю о старых временах и ратую за снятие запрета на курение за доской. Ничуть не бывало; если и есть какая-то правда в этом, то только в первой части фразы.

Сам я бросил курить в 1974 году после турнира ИБМ. Партия тринадцатого тура с Велимировичем получилась очень острой, и я хватался за пачку крепких голландских «Кабальеро» едва ли не после каждого хода. Попав в сильный цейтнот, я просрочил время, не успев сделать пять ходов до контроля в худшей, хотя и не вполне ясной позиции. Помню, что очень удивился, когда судья, зафиксировав падение

флажка, остановил мои часы. В самом конце я потерял контроль над партией и не знал, курю ли, чтобы играть, или играю, чтобы курить. Решение покончить с курением пришло само собой, хотя и далось нелегко. С тех пор за исключением нескольких сигар, выкуренных больше для форса, я не курил никогда.

Уже несколько лет я не играю в шахматы и думаю порой — не вернуться ли к привычке молодости? Ведь курение когда-то доставляло удовольствие, да и должен же я иметь какое-то занятие. К тому же мне нравится совет врача жалующемуся не известно на что пациенту.

«Вы должны немедленно бросить курить», — объявил тому эскулап. «Но я не курю», — удивился мнимый больной. «В таком случае вы должны немедленно начать курить», — тут же посоветовал доктор.

Вспоминая этот совет, я думаю порой, а не начать ли мне снова курить? Когда я объявляю об этом, близкие удивляются: «Ты что, не в себе? Для чего тебе это нужно?»

«Для того, чтобы снова бросить...» — говорю я. Они смотрят на меня долгим взором и многозначительно крутят пальцем у виска.

ГЕННА АДОНИС

О стремлении к славе, к признанию писали еще древние. Хрисипп и Диоген считали, что из всех наслаждений нет более губительного, чем одобрение со стороны. Другие философы тоже утверждали, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы палец. Полагали, что стремление к славе и забота о добром имени из всех призрачных стремлений нашего мира является самым распространенным заблуждением. В погоне за этой призрачной тенью, этим пустым звуком, неосязаемым и бесплотным, мы жертвуем и покоем, и жизнью, и здоровьем, и богатством — благами действительными и существенными. «Молва, которая своим радостным голосом чарует исполненных тщеславия смертных и кажется столь пленительной, — не что иное как эхо, как сновидение или даже тень сновидения; она рассеивается и исчезает при малейшем дуновении ветра».

Впрочем, такое мнение было тогда не единственным. Другие философы, наоборот, очень высоко ценили стремление к всеобщему признанию, а Цицерон, утверждая, что сама добродетель желанна только ради почета, неизменно следующего за славой, был абсолютно поглощен страстной жаждой ее. Да и Аристотель отводил славе одно из первых мест среди остальных благ, хотя и оговаривался, что следует избегать неумеренности как в стремлении к славе, так и в уклонении от нее.

Но даже те из философов, кто презирал славу, полагая, что трудно найти другой предрассудок, чью суетность разум обличал бы столь ясно, нередко отказывались от славы с большой неохотой. Презрению к ней учил и Эпикур, но уже на смертном одре продиктовал письмо, в котором заметно желание славы, так порицаемое им в своих учениях. И как заметил однажды Цицерон, даже те, кто считает славу ничего не стоящей мишурой, стремятся к ней, ибо, написав о том, что следует презирать славу, они хотят прославить себя именно тем, что презре-ли ее. Человек может пожертвовать очень многим, но уступить свою

честь, подарить другому свою славу – такое увидишь нечасто. Так было в прежние времена, то же можно наблюдать и сегодня.

Нет никакого сомнения, что Роберт Фишер стал чемпионом мира благодаря своему выдающемуся таланту. Но не только. Огромное честолюбие и желание доказать всем, что он, именно он – первый и лучший, его страстное стремление к победе, признанию и славе сыграли не меньшую роль. Фрэнк Брэди вспоминает, как в 1959 году, когда шестнадцатилетний Фишер испытывал трудности с финансированием поездки на турнир претендентов в Югославию, он уговорил Бобби встретиться с нью-йоркским бизнесменом, заинтересовавшимся юным талантом и выразившим желание помочь ему. Когда Брэди и Фишер оказались в фешенебельном офисе бизнесмена, Бобби поначалу терпеливо и с улыбкой отвечал на его вопросы. Все шло превосходно и, заканчивая беседу, бизнесмен сказал долговязому подростку: «О'кей, Бобби. Ты мне нравишься. Ты славный парень, и я готов оплатить поездку в Югославию и все расходы, только одна маленькая деталь: если ты выиграешь этот турнир, то в интервью журналистам должен будешь сказать коротенькую фразу: “Эта победа была бы невозможна без помощи Сэма Бланкера”». Здесь, вспоминает Брэди, что-то изменилось в лице Фишера, он поднялся со своего стула и произнес: «Я не смогу сделать этого, сэр. Если я играю в турнире и выигрываю его, я выигрываю его сам. Благодаря моему собственному таланту. Я делаю это сам и никто больше. Я сам». С этими словами Бобби вышел из комнаты.

В дневнике Томаса Манна есть запись: «Никакого желания завтракать. Яйца здесь мне противны. Никакого удовольствия от трюфельной колбасы, о которой позаботилась Катя. И от сигарет тоже. Что мне нужно, так это радость. Меня совершенно оживило бы окончательное решение из Парижа, я это точно знаю». Это пишет один из самых выдающихся писателей 20-го века, лауреат Нобелевской премии, умнейший человек, обеспеченный и прославленный. Что же так портит ему настроение и омрачает жизнь? Что доставило бы ему радость? Томас Манн с нетерпением ждет награды из Парижа – орден Почетного легиона...

Жажда славы может принимать самые различные формы, и характер, пол или страна проживания человека, стремящегося добиться признания, не играют никакой роли. Один голландский мастер, пару раз выступавший в чемпионатах страны, без особого, впрочем, успеха, в повседневной жизни обычный служащий, спокойный, уравновешенный человек, вздохнул однажды: «Если бы мне сказали: завтра ты

победитель главного гроссмейстерского турнира в Вейк-ан-Зее, — я согласился бы умереть на следующий день», заставив меня вздрогнуть и посмотреть на своего собеседника совсем другими глазами, чем теми, которыми я смотрел на него в течение нашего двадцатилетнего знакомства.

Привыкнув к славе и знакам почитания, человеку бывает непросто обойтись без них. Среди членов амстердамского клуба «Де Кринг» можно было встретить журналистов, писателей, шахматистов. И актеров. Некоторых — в уже преклонном возрасте. Давно сошедшие с подмостков, они не могли забыть огней рампы, но главное — сладостных звуков, которые слышали всю жизнь. Раз в месяц, в заранее оговоренный день престарелые актеры встречались в клубе и после совместного ужина по очереди выступали друг перед другом. И каждое такое выступление заканчивалось бурными аплодисментами коллег, создававшими иллюзию успеха и признания.

Хотя и здесь случаются исключения. В Соединенных Штатах известен синдром Шерри Стрингфилд, ушедшей на пике популярности из шоу Эн-би-си и начавшей преподавать в актерской школе. Она так объяснила свое решение: «Слава разрушительна, и мне не нравится, как устроена эта индустрия славы». Впрочем, к тому времени Шерри была уже финансово независима, в отличие от многолетнего чемпиона мира Стейница, сказавшего после проигрыша матча Ласкеру: «Слава? Слава у меня уже есть. Теперь мне нужны деньги».

Доннер полагал, что негативной стороной известности являются интервью, давая которые, надо все время быть настороже. Я испытал это на собственном опыте. Свое первое интервью я дал в октябре 1972 года: тогда любой, вырвавшийся из-за железного занавеса на Запад, считался если не героем, то уж точно заслуживающим внимания прессы.

Журналисты, записав мое имя со слуха, интерпретировали его по-разному. Один сделал из меня Генну ди Сосонко, в другом я превратился в Гемму, и редактор, на стол которого легло это интервью, поняв из текста, что речь идет о персоне женского пола, так и выстроил весь рассказ. После того как я выиграл чемпионат страны, такие ошибки больше не повторялись, но беды стали приходиться с других сторон.

Я столкнулся с нередко встречающимся приемом интервьюеров: выудить из ответов наиболее выигрышные куски и, вложив их в свои собственные уста, оставить тебя самого с более прозаическим повествованием. Развернув однажды субботнее приложение к одной из центральных газет с моим интервью на всю полосу, я увидел, что журна-

лист, давеча разговаривавший со мной и имевший очень отдаленное представление о шахматах, спрашивал: «Тарраш говорил, что недостаточно быть сильным игроком, надо еще хорошо играть. Что вы думаете по этому поводу?» Предоставляя мне что-то вякать в средне-серой тональности, после чего он же, продолжая беседу, небрежно ронял: «А вот Цинциннат у Набокова утверждал, что хорошие игроки долго не думают», — снова оставляя за мной право робко комментировать цитату, тоже похищенную из моего же ответа.

В этом столкновении умов я напоминал зайчонка из детской книжки, безмятежно занятого рыбной ловлей, а интервьюер — медведя, стоящего за спиной зайца и извлекающего из ведерка весь улов. Правда, в отличие от книжного медведя, журналист сортировал рыбу, бросая обратно в зайчишкино ведерко плотву и пескарей, а себе оставляя лосося и белугу.

Не без некоторого удовольствия, правда, я констатировал несколько раз, что журналисты, подготовившись к интервью, оперировали сведениями, почерпнутыми из предыдущих бесед со мной и их же коллегами. Случалось, я говорил тем первое, что приходило в голову, но переписанные в еще одном интервью сведения обрастали новыми подробностями и становились уже общепринятыми фактами.

Во время одного из турниров в Голландии, в котором играл Василий Иванчук, журналисты спросили меня о странной манере украинского шахматиста, обдумывая ход, смотреть не на доску, а куда-то вдаль, отрешившись, как во всяком случае казалось непосвященным, от шахматных фигур.

«Видите ли, — отвечал я, — когда Вася был совсем маленьким, он каждый день отправлялся на поезде из своей деревни во Львов на тренировку. Дорога была неблизкой, примерно два часа в один конец, и мальчик, одержимый шахматами, беспрестанно анализировал в уме позиции и рассчитывал варианты. Таким образом, когда он оказывался за доской, шахматы ему были особенно и не нужны, и привычка эта сохранилась до сих пор». Это была чистая импровизация с моей стороны, но ведь для журналистов, да и для публики, истории такого рода много интереснее рассуждений о тонкостях сицилианской защиты. После того как эта история была переписана еще раз и еще, она стала фактом биографии Иванчука.

«Занятно, — прокомментировал сам герой рассказа, когда его пару лет назад спросили об этом, — но совершеннейшая чепуха...» Это за-

явление журналисты пропустили мимо ушей, и совсем недавно я снова увидел в испанском шахматном журнале свою версию привычки Иванчука. Так пишется история.

Мне пришлось столкнуться и с беззастенчивой перелицовкой сказанного, когда приходится краснеть, совершенно не узнавая собственных мыслей, положенных на бумагу. Испытав пару раз чувство стыда, я стал соглашаться на интервью только при условии непременно прочтения его перед отправкой в печать. Условие это сплошь и рядом нарушалось, но даже в том случае, когда листки, полученные от журналиста, возвращались к нему испещренные моими пометками, это тоже не гарантировало верного переноса мысли на бумагу.

Я знал, что существует еще более жесткое правило, которого придерживался Владимир Набоков. Именно: все вопросы поступали к нему в письменном виде, и через обусловленное время он возвращал ответы на них тоже в форме машинописного текста. Такие интервью превращались в до блеска отточенные самостоятельные произведения, читающиеся и сегодня с не меньшим интересом, чем романы прославленного писателя. Я даже не предпринял попытки к такому трудоемкому процессу: помимо того, что у меня не было ни таланта, ни амбиций для того, чтобы писать для вечности, было просто жаль времени для газетной бабочки-однодневки или даже для журнальной публикации, которой суждена чуть более долгая жизнь.

К лукавой формуле, применяемой иногда звездами спорта и экрана в ответ на просьбу об интервью: «У меня совершенно нет времени», намекая прозрачно на материальное вознаграждение, я не прибег ни разу, и не столько из-за отсутствия меркантильных соображений, сколько из сознания того, что настольная игра не может настолько заинтересовать какое-либо издание, чтобы интервью с шахматистом было бы еще и оплачено. Если твое имя не Бобби Фишер, разумеется.

Поэтому я принял единственно разумное решение: прекратить давать вообще какие-либо интервью, а мое последнее, напечатанное пару лет назад в российском журнале «64», вряд ли может быть причислено к этому жанру, потому что я не только ответил на вопросы, но сам же их и придумал, вынеся себя на читательский суд, в котором являлся одновременно истцом и ответчиком.

В отличие от Доннера, я не могу сказать, что женщины-журналистки отличались от мужчин какой-то особой изощренностью и хитростью и что в контактах с представительницами второй древнейшей профессии следует быть особенно настороже.

Хотя... Однажды милый женский голос, представившийся по телефону журналисткой популярного в Голландии еженедельника, сообщил, что у них готовится большой материал на тему: «Секс накануне ответственного соревнования» и что она уже имела беседы на эту тему с футболистами и конькобежцами (при этом журналистка упомянула несколько очень известных имен). А что думают по этому поводу шахматисты? Самым верным здесь был, конечно, ответ: «No comments», — но я ввязался в разговор, заметив, что, в отличие от других видов спорта, в шахматах секс возможен не только в канун матча или забега, но и в самом процессе партии, пока соперник думает над ходом. Моя собеседница очень оживилась, начала расспрашивать о моем собственном опыте на этом поприще, но я, одумавшись, быстро свернул разговор и повесил трубку. Тем не менее в вышедшем через несколько дней номере еженедельника один из броских подзаголовков гласил: «Гроссмейстер Сосонко рекомендует секс во время партии...», а на фотографии, бог знает где ими найденной, я сидел почему-то с кошкой на коленях и многозначительно улыбался.

Впрочем, нельзя забывать и о том, что заголовки всех статей и интервью даются выпускающим газету редактором, в спешке пробегающим текст глазами и выхватывающим оттуда какую-нибудь выигрышную фразу, чтобы привлечь внимание читателя, а за неимением таковой он придумывает ее сам. После того как я официально объявил, что не поеду на Олимпиаду в Элисту (1998), журналист крупнейшей вечерней газеты страны проинтервьюировал остальных членов команды. «Нам хотелось бы узнать у Генны, почему он принял такое решение, хотя это, конечно, его личное дело», — был основной смысл всех ответов. Интервью вышло под шапкой: «Шахматисты категорически требуют ответа от Сосонко», так что друзья, звонившие мне и не заставшие дома, решили даже, что я, опасаясь расправы коллег, переменял номер телефона.

В Голландии шахматы очень популярны, и после первых успехов я быстро привык к тому, что мое имя стало регулярно появляться на страницах газет, звучать по радио и телевидению. Во время традиционных январских турниров, где играют сильнейшие гроссмейстеры мира, прямо напротив станции в Бевервейке развешивались огромные портреты участников, и меня, приехавшего на поезде из Амстердама, чтобы продолжить путь до Вейк-ан-Зее, встречал многократно увеличенный и погруженный в раздумья над шахматной доской ясам.

Во время турнира в Тилбурге 1977 года один из лучших ресторанов города составил специальное меню, блюда которого были названы именами участников этого соревнования. Меню открывалось омаром по-карповски со спаржей и различными соусами, были в нем и свиная отбивная по-гортовски, политая сливовицей и украшенная ветчиной, и огромная чаша мороженого по-исландски с горячим шоколадным соусом – «Олафссон». На мою долю выпало экзотическое блюдо «Лягушачьи лапки “Сосонко”», в коньяке и со сложными специями, названия которых я не мог найти даже в очень толстом французском словаре. Как-то я решил поужинать в этом ресторане и, заказав, без корыстных, признаться, соображений эти самые лягушачьи лапки, признался в конце обеда, что я и есть само блюдо. Но ожидаемого эффекта это не принесло, разве что я должен был подписать десяток-другой ресторанных карт вместе с поданным счетом.

После переезда на Запад я испытал некоторые проблемы со своим именем. В русском языке существует имя Геннадий, Гена. Оказавшись в Голландии, я остановился на последнем, кратком варианте. Но, произносимое по-голландски, Гена звучало, образуя открытый слог, как Хейна: в голландском языке вообще отсутствует буква «г» и есть склонность к горловым, хриплым звукам. Пару лет я откликался на имя Хейна, пока не решил для твердости и правильности произношения добавить в него еще одно «н», тем более что с одним, с двумя ли «н» было крайне маловероятно, что имя это будет вообще когда-нибудь напечатано по-русски в те славные времена Советского Союза. Случилось по-другому. И если в публикациях на русском я сохранил свое краткое имя с непривычным двойным «н», то ничего не имею против обращения старых друзей, знавших меня еще Геной. Как коротко написал в Питере Виктор Топоров на книге своих переводов, мне подаренной: «Генне, которого помню еще Геной...»

Двенадцатого августа 1992 года я увидел в отделе объявлений сообщение о рождении в семействе Ховелинг в городе Гронингене первенца, нареченного Генной Адонисом. Я не поверил своим глазам! Разъяснение пришло на следующий день, когда я получил письмо от отца ребенка, большого любителя шахмат, сообщавшего, что мальчик назван в мою честь. Отец знал, что имя Геннадий в переводе с древнегреческого означает «благородный», но что значит имя Генна по-русски? Мое прозаическое объяснение, связанное с особенностями произношения в голландском языке, как мне показалось, несколько разочаровало отца Генны Адониса.

Прочтя письмо о новорожденном Генне, я был польщен и вспомнил, что Керес при получении сообщения о том, что родившегося младенца в его честь назвали Паулем, немедленно переводил десять рублей на счет родителей. Я подумывал, не поступить ли и мне по примеру Кереса, но не зная, на какой сумме остановиться, так и не сделал подарка своему тезке. Как бы то ни было, на свете есть два человека с именем Генна: я и крепко сбитый мальчик с льняными волосами на севере Голландии.

Когда я бываю теперь в России, молодые люди нередко называют меня совсем непривычно – Геннадий Борисович. В некоторых случаях я говорю, что достаточно просто Генна. Обычно это приводит к тому, что они не решаются перейти на краткое имя, но и не говорят больше Геннадий Борисович, обращаясь ко мне безлично.

Известность может принимать различные формы. Однажды на амстердамской улице человек, шедший мне навстречу, остановился, пристально посмотрел мне в лицо и, вопросительно покрутив пальцем одной руки у виска, другой произвел жест, который должен был означать передвижение шахматной фигуры. Я утвердительно кивнул головой, и человек, удовлетворенный тем, что зрительная память его не подвела, пошел своим путем.

К тому же периоду относится и проживание двух котов – Доннера и Сосонко в семье одного амстердамского любителя шахмат. Доннер умер сразу после смерти самого Хейна; впрочем, Сосонко ненадолго пережил его. По рассказам, они обладали совершенно разными характерами.

Примерно раз в год мне звонит мама одной девочки, играющей в шахматы (сейчас ей двенадцать лет). Они приехали в Голландию из Минска и живут уже лет восемь где-то в Лимбурге. «Вы извините меня, – начинает обычно мама, – но мою Леночку снова обидели: она выиграла первенство провинции, а кубок ей дали какой-то завалящий, его и в руки-то стыдно взять. Не думает ли знаменитый гроссмейстер, что это просто дискриминация? И не мог бы он позвонить в шахматную федерацию страны и замолвить словечко за талант, не получающий заслуженного признания? Это ведь уже семнадцатый кубок, так что Леночке будет что показать внукам, когда она станет бабушкой...»

Я отвечаю вежливо, но твердо, что сам в шахматы уже не играю, к федерации не имею никакого отношения и о системе детских шахмат в стране ничего не знаю. Пусть это и неполная правда, но зато такой ответ – единственно правильный.

Когда в нашем первом разговоре я попытался объяснить, что не в кубках дело, то натолкнулся на полное непонимание. В ответ на недоуменный вопрос: «Что же вы делаете тогда с полученными наградами и что собираете вообще?» — я неосторожно ответил: «Воспоминания», что вызвало сначала длинную паузу, а потом и другие вопросы.

Я вынужден был признаться, что храню, да и то в сарае, только один приз — за победу в барселонском турнире 1975 года; о пальмовую металлическую ветвь кубка я, набирая однажды зимой дрова, чтобы разжечь камин, порезал палец и, рассердившись, засунул его подальше с глаз долой. Потом, не к месту вспомнив Горация: «Прожил не худо и тот, кто безвестным родился и помер», я перевел разговор на неправильную философскую стезю, выбраться из которой оказалось не так-то просто. Поэтому я согласен с Доннером: краткость и жесткость абсолютно необходимы при разговорах подобного рода.

Человек привыкает ко всему, и в какой-то момент я прекратил собирать собственные фотографии из газет, статейки из журналов, привык к интервью, перестал удивляться, когда на паспортном контроле служащий в окошечке, возвращая паспорт, спрашивал: на турнир или просто отдохнуть? Привык к тому, что время от времени получал письма от любителей, хотя никогда не ленился, поставив подпись на листке бумаги или на собственной фотографии, отослать письмо по адресу, указанному собирателем шахматных автографов.

Все это, конечно, щекотало самолюбие, однако настоящая известность заключалась для меня не в упоминании моего имени, а в полном игнорировании его. Когда я в 1973 году выиграл чемпионат Голландии, московский остроумец Яков Исаевич Нейштадт заметил: «Сосонко овладел Голанскими высотами». Не до шуток было советской шахматной федерации: увидев на следующий год мое имя в списке участников главного турнира в Вейк-ан-Зее, ее руководство решило на всякий случай вообще никого не посылать на турнир. Об этом мне сообщил взволнованный директор фестиваля, а Виктор Корчной, игравший тогда еще под советским флагом и позвонивший с какого-то заграничного турнира, поощрительно-язвительно посоветовал поскорее начать играть и в других турнирах, чтобы тоже закрыть их для советских гроссмейстеров. Но до этого дело не дошло, и в январе 1975 года Геллер и Фурман уже играли в Вейк-ан-Зее как ни в чем не бывало.

Мое имя на протяжении почти всего периода до перестройки не появлялось на страницах советской печати, и сейчас, когда эмиграция из

России является больше географическим перемещением в пространстве, трудно представить, как относилась тогдашняя власть к тем, кто решился навсегда покинуть социалистическое отечество. Оглядываясь назад, я понимаю, что запрет на имя в той, не существующей сейчас стране являлся очень сильным стимулом в моей шахматной карьере и приносил какое-то тайное удовлетворение, которое я не могу выразить словами. Теперь из *persona non grata* я превратился в России в *persona gratissima*, но знаю точно, что тот, кем я стал сейчас, появился именно в тот период, когда я был там *persona non grata*.

В 1977 году после турнира в Сан-Паулу я, возвращаясь в Европу, решил остановиться на несколько дней на Кюрасао. Разместившись в гостинице и найдя телефон президента федерации шахмат бывшей голландской колонии, я позвонил ему и представился. «Не морочь голову, ты уже мне надоел со своими шутками», — ответил он и повесил трубку. Когда я снова набрал номер, выяснилось, что он принял меня за секретаря федерации, склонного к розыгрышам и на этот раз представившегося голландским гроссмейстером.

Вероятно, услышав мой неподдельный акцент, президент понял, что это не шутка, принес тысячу извинений, через полчаса был уже у меня в гостинице и сделал все, чтобы мое пребывание на острове стало как можно более приятным. Следует заметить, что известность шахматиста распространяется в основном на круг людей, которые в состоянии оценить его искусство, то есть бескорыстных любителей игры. Действительно, если бы в мире шахмат существовали только чемпионы и гроссмейстеры, то некому было бы и оценить их искусство по-настоящему. Поэтому я очень удивлялся, когда известные шахматисты заносчиво и пренебрежительно обращались с любителями, в среде которых в первую очередь и ценится их мастерство и талант.

Блестки славы, пусть однодневной, были для меня странным образом совсем не связаны с шахматами. В конце 1991 года кончалась эра Михаила Горбачева. В тот день, когда в его резиденцию в Кремле должен был официально въехать Борис Ельцин, мне позвонили из редакции новостей голландского телевидения и попросили сказать несколько слов о Горби, которого очень любили на Западе. Выступление предназначалось для вечернего восьмичасового выпуска, который смотрит вся страна.

— Что-нибудь коротенькое, минуты на две-три, — сказал мне режиссер. — Сегодня у нас большая программа, посвященная отцу перестройки.

– Миша – это уменьшительное русское имя от Михаила. Но Мишей в народе любовно называют и бурого медведя, – начал я издали, после того как оператор включил камеру. – В старой России в праздничные дни по ярмаркам водили медведя, ставили его на задние лапы напротив подвешенной к дереву большой колоды и начинали потихоньку раскачивать ее. Колода ударяла медведя, тому, естественно, это не нравилось, и он давал сдачи. Колода, получив ускорение, ударяла медведя еще сильнее, безропотно принимая на себя еще более тяжелый удар от несчастного животного. Действо это повторялось, медведь распался всё больше, сила ударов колоды увеличивалась, народ веселился.

Здесь я сделал короткую паузу, чтобы дать телезрителям возможность представить наглядно картину народного гуляния. Я знал уже, что если хочешь рассчитывать на успех у публики, надо не скупиться расцвечивать общие места красивыми сравнениями, и подумывал о том, чтобы сказать еще, что медведя приучали стоять на задних лапах, ставя передними на раскаленные угли; но не сделал этого, решив, что это уведет слушателя от главной темы, тем более что в Голландии очень болезненно относятся к жестокому обращению с животными.

– Шесть лет назад, – продолжал я, – молодой и энергичный Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, Миша, начал раскачивать колоду гласности, свободы и демократии...

Здесь я снова выдержал паузу и сказал:

– Тогда же Горбачев заявил: «Жизни моей не хватит, чтобы вывести из спячки эту сонную страну».

Оператор дал мое лицо крупным планом, и я, глядя прямо в камеру и сощурился, медленно произнес:

– Хватило, Михаил Сергеевич...

Я не был уверен, что мое описание народной забавы на Руси точно соответствовало действительности, еще меньше – в словах Горбачева, но успех был полным, и на следующий день незнакомые люди на улице, взглянув мне в лицо и на мгновение задержав на нем взор, поднимали кверху большой палец, как это делают футболисты, получившие хороший пас от коллеги по команде.

Слава очень часто граничит с тщеславием. За несколько месяцев до Олимпиады 1998 года я побывал в Элисте со съемочной группой голландского телевидения, все видел своими глазами и многое мне не понравилось там. Не понравились портреты президента республики, которые были на каждом перекрестке; не понравилась клеть в центре

города, где на всеобщее обозрение были выставлены пьяные, подобранные милицией на улице накануне вечером; не внушали особого доверия и постройки под названием City Chess, равно как и огромный котлован, на месте которого еще только должен был быть выстроен игровой зал. Я решил не ехать на ту Олимпиаду. Убийство журналистки единственной оппозиционной газеты в республике за два месяца до ее начала вызвало большие дискуссии повсюду, в том числе и в Голландии, но в конце концов федерация все же решила направить команду в Калмыкию: ах, если ориентироваться только на страны, где совершенно не нарушаются права человека, тогда скоро и играть будет негде.

Все эти события происходили на фоне очень важного для меня медицинского обследования, результаты которого должны были дать окончательный ответ о состоянии моего здоровья. В день, когда на первой полосе одной из крупнейших голландских газет была опубликована статья, в которой говорилось, что во всей шахматной Голландии нашелся только один человек, принявший достойное решение, я сидел в приемной доктора, еще раз перечитывая лестные строки. Наконец доктор вышел из кабинета и, протягивая мне руку, произнес с улыбкой: «Поздравляю вас!» Будучи уверен, что врач уже прочел утренние газеты, я склонил голову, с притворным смущением принимая его похвалу. Когда мы оказались в кабинете, он подвел меня к пюпитру с подсветкой, на котором были развешены рентгеновские снимки.

— Взгляните сами, — продолжал врач, — картина идеальная, всё в полном порядке, результаты превосходны. Опасения, высказанные на прошлой неделе, оказались беспочвенными. Так что еще раз поздравляю, вы совершенно здоровы...

Через минуту, выйдя из кабинета доктора, я подумал: «Вот они — суэта и тщеславие. Еще вчера в мучительных раздумьях ты ворочался всю ночь, размышляя о жизни и смерти, обуреваемый одной мыслью: а что если? Сегодня же, забыв обо всем, радуешься дешевому газетному комплименту, который завтра будет забыт начисто, если вообще кто-нибудь, кроме твоих близких друзей, обратил на него внимание. Воистину прав был философ, знавший людскую природу: мы теряем с радостью даже жизнь, лишь бы об этом говорили...»

И так ли далеко отстоял этот сентябрьский амстердамский день от такого же в Ленинграде в 1957 году? Мелкая осенняя морось, улица Восстания, стенды, на которые наклеивались тогда газеты для

публичного чтения. Хотя большинство мужчин изучают «Советский спорт», есть читатели и у стенда со «Сменой». Вглядевшись, среди читателей этой молодежной питерской газеты можно заметить и подростка, одетого в демисезонное пальто, которое через пару месяцев в связи с наступающими холодами он будет называть уже зимним. Мальчик снова и снова перечитывает коротенькую заметку о традиционном шахматном празднике во Дворце пионеров, о сеансах одновременной игры, проведенных бывшими его воспитанниками, а ныне известными гроссмейстерами Корчным и Спасским. Корчной, играя с часами на десяти досках с сильными перворазрядниками, проиграл одну партию и сделал две ничьи, и об этом мог прочесть сейчас каждый. Мальчик исподволь поглядывает на читающих, и, когда их взоры переходят, как ему кажется, на эту шахматную заметку, ему хочется закричать: «Да это же я, тот самый, о котором вы читаете в газете, который сделал ничью с самим Корчным! Вот он стоит рядом с вами, вот же он!..»

С того дня прошла жизнь. Сегодняшние турниры сплошь состоят из людей, по возрасту годящихся мне во внуки. На сцене новые герои, как и положено в шахматах и в жизни. Фамилию мою помнят только люди в возрасте, хотя бывают и исключения, конечно. Совсем недавно, когда я примерял очки с понравившейся оправой и попросил отложить их на несколько дней до принятия окончательного решения, продавец, записывая мою фамилию, поинтересовался, не из семьи ли я известного шахматиста. Услышав, что я и есть тот самый шахматист, молодой человек очень удивился, полагая, что Сосонко давно умер. Я счел это нехорошим знаком, очков не заказал и больше вообще не заходил в тот магазин.

Я привык к латинскому написанию своего имени, видел его напечатанным на китайском, иврите, индонезийском. Но самое лестное его упоминание относится к 19 февраля 1976 года, когда оно появилось в рубрике знакомств еженедельника «Свободная Голландия», и этот пожелтевший от времени номер журнала я храню до сих пор. Вот это коротенькое объявление, набранное очень мелким шрифтом:

«Молодая женщина тридцати шести лет из хорошего общества принимает мужчин за вознаграждение. Предпочтительнее тип Генны Сосонко и Нейла Даймонта».

Подразумевалось, что читающая публика поймет без объяснений, кто имеется в виду, и, увидев свое имя рядом с именем известного американского певца, чьи пластинки заполняли витрины всех музы-

кальных магазинов, я понял: какие бы вершины в шахматах или в любой другой области мне ни удалось бы еще покорить, выше этого пика уже не подняться. Несмотря даже на то, что после наших имен в тексте объявления была еще одна фраза: остальные тоже не будут отвергнуты...

СОДЕРЖАНИЕ

ТОГДА.....	5
ТАЛЬ.....	13
ОСЕНЬ ПАТРИАРХА	79
АВГУСТ 1991 ГОДА	107
«НАПЕЧАТАТЬ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. СТАЛИН».....	120
Я ЗНАЛ КАПАБЛАНКУ.....	132
СМЕРТЬ, ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО?	150
ПОРТРЕТ НА БАНКНОТЕ	186
ДРЕССИРОВЩИК ФИГУР	205
ЗАБЫТЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ	229
В ЛУЧШЕМ УГОЛКЕ РАЯ	234
«ВАМ, К СОЖАЛЕНИЮ, ПАСПОРТ НЕ ВЫДАЛИ...»	240
СУДЬБА МИНОМЕТЧИКА.....	255
CARUS AMICUS.....	271
МНОГИЕ ЖИЗНИ ЯНА ЭССЕРА	315
ДЯДЮШКА	342
ОРАНЖЕВАЯ ЗАЩИТА.....	371
ДЕЛО ТАБАК	379
ГЕННА АДОНИС.....	391



В московском театре Эстрады каждый вечер был аншлаг: игрался матч на мировое первенство Ботвинника с Талем. Не попавшие в зал следили за партиями по демонстрационной доске прямо на улице. Четвертая партия, 22 марта 1960 года.



За несколько месяцев до матча Таль спросил у известной пианистки Беллы Давидович, есть ли у нее в репертуаре «Элегия» Рахманинова.

Узнав, что нет, попросил: «Обещайте, что вы будете играть эту вещь на заключительном концерте». Вечером после 17-й партии, когда счет в матче стал 10:7 в пользу Таля, в квартире Давидович раздался телефонный звонок: «Можете начинать разучивать "Элегию"»



Чемпионат Советского Союза 1974 года. Партия Таль – Альбурт. Пять лет спустя Лев Альбурт после турнира в ФРГ не вернулся в Советский Союз. В центре судья – мастер А.М. Батуев.



Галстуков не любил и носил только, если к тому принуждали обстоятельства.



В январе 1973 года мы увиделись впервые после моей эмиграции из Советского Союза. Выходной день на турнире в Вейк-ан-Зее. Таль, Сосонко, Сейбрандс.



За анализом Таль мог зажечься идеей, особенно если в ней был тактический элемент. Немало дней провели мы в поисках компенсации за пожертвованную фигуру в крайне сомнительном варианте ферзевого гамбита. Гаага, январь 1973.



Когда соперником Карпова стал молодой Каспаров, Таль отказался помогать чемпиону мира, отшутившись: «Родина теперь вне опасности...» М. Таль, Г. Каспаров, Г. Сосонко. Брюссель, 1987.



Не один гроссмейстер жаловался на взгляд Таля. Выходной день на турнире в Брюсселе (1987). Кто кого?



За партией Талья наблюдает молодой Карпов. Оба еще не знают, что на матче Карпов – Корчной (Багио 1978) Таль будет помогать чемпиону мира.

Несмотря на физический недостаток, – на правой руке его было только три пальца – играл на фортепиано и неплохо. С азартом играл в настольный теннис и в бадмингтон.



Грозный соперник в турнирах 80-х годов. Таль – Сосонко. Вейк-ан-Зее, 1983.



Таль не только сам острил, но ценил юмор в других, радовался хорошей шутке, удачному каламбуру. Тилбург, 1980. Таль, Подгаец, Сосонко.



*Он был совсем не стар, но выглядел как глубокий старик.
Неудивительно: интенсивность прожигания жизни им была такова, что месяц можно было смело считать за год. Тилбург 1980. У. Андерссон, М. Таль, Г. Сосонко.*



Ботвинник был членом Совета экспертов при Гроссмейстерской Ассоциации. В конце восьмидесятых годов он часто бывал в Брюсселе и Амстердаме. Михаил Моисеевич Ботвинник, Генна Сосонко, Бессел Кок.



Ботвиннику 80. Брюссель 17 августа 1991 года. Бессел Кок, Михаил Моисеевич Ботвинник.

Американский журналист: «Как вы относитесь к роли Горбачева?»
 Ботвинник: «Вы хотите, чтобы я критиковал человека, который только что прислал мне поздравительную телеграмму с днем рождения?..»
 Брюссель. Август 1991 года.



Чествование нового чемпиона мира. В редакции «Иллюстрированной России». Алехин с женой (стоит в центре). Евгений Зноско-Боровский (стоит за чемпионом мира). Осип Бернштейн – крайний справа. Париж, 4 февраля 1928 года.

№ 16 (153)
Самъ, суббота 14 Апрель 1928 г.
Цѣна отд. № 3 фр.
во Франціи

№ 16 (153)
Samedi, 14 Avril 1928, Paris
Prix du numero 3 fr.
en France

LA RUSSIE ILLUSTRÉE

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

5-й годъ изданія
Редакторъ: М. В. МИРОНОВЪ

Редакция и Глав. Контора
24 RUE DE MOSCOU PARIS (8^e)
Tel. Central 92-24

РОССИЯ

5-ème année
Directeur M. MIRONOV

Rédaction et Administration
24 RUE DE MOSCOU PARIS (8^e)
Tel. Central 92-24

Сенсаціонная партія



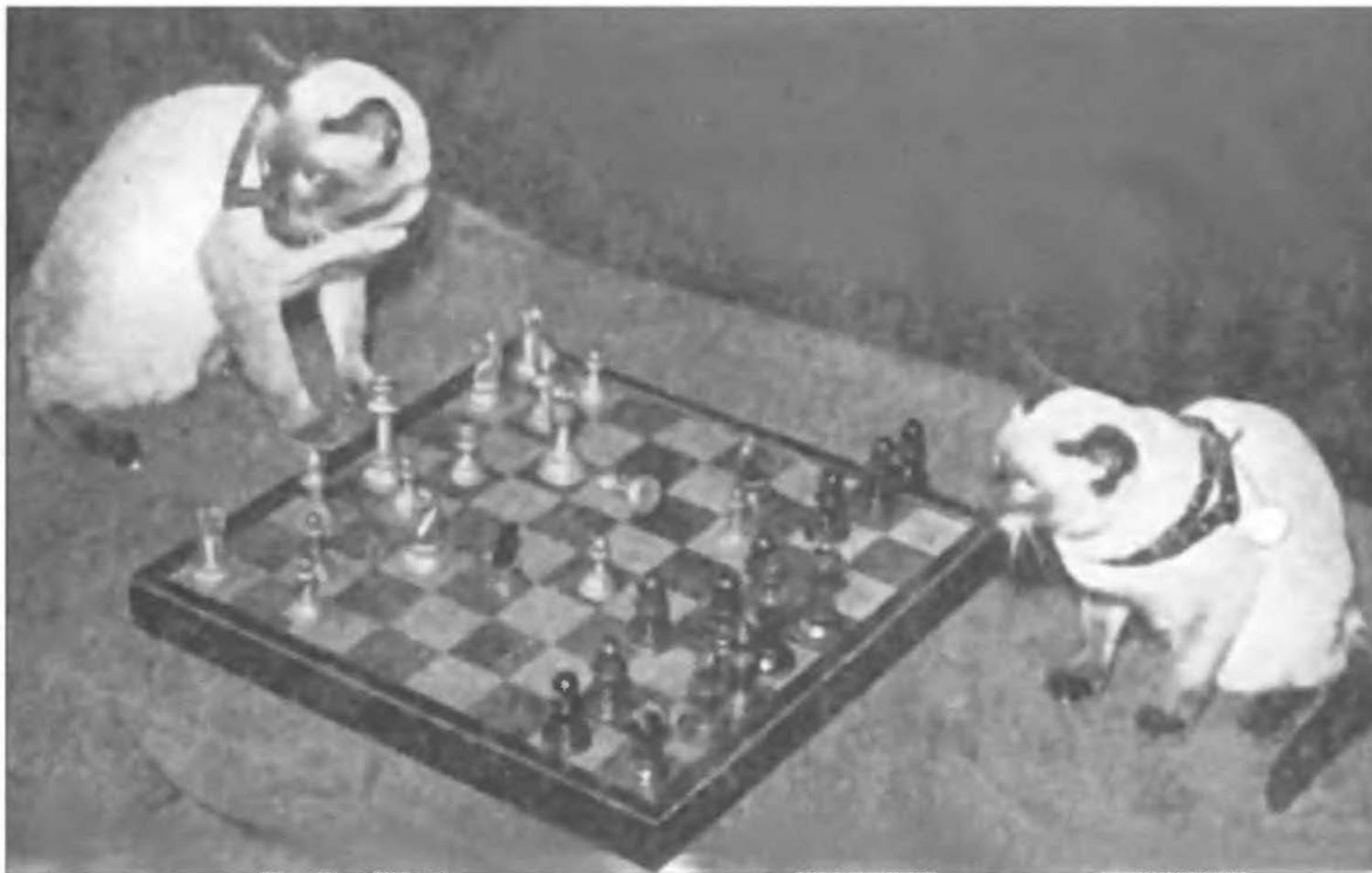
**П. Н. Милюковъ и П. Б. Струве играютъ въ шахматы.
Рядомъ съ ними (стоитъ) — шахматный король А. А. Алехинъ**

(Фотографія снята 25-го февраля 1928 г. — подробности см. стр. 5)

На время были забыты распри и ссоры, поздравляли друг друга даже непримиримые враги: еще бы! – их соотечественник стал самым сильным шахматистом в мире. Париж, 1928. За партией в шахматы П.Н. Милюкова и П.Б. Струве наблюдает А.А. Алехин.



Эйве рассказывал, что на партиях матча 1935 года Алехин пару раз появлялся в пуловере с изображением кота.



Алехины путешествовали почти всегда с двумя сиамскими котами, к которым супруги были крайне привязаны. Одного звали «Чесс», другого – «Лобейда».



В 1935 году в Амстердам Алехины тоже прибыли со своими любимцами. На вокзале их встречал Макс Эйве.



В 1934 году Алехин играл матч на звание чемпиона мира с Ефимом Боголюбовым. В Германии, где проходил матч, к власти уже пришел Гитлер, и повсюду висели флаги со свастикой. Несколько раз оба гроссмейстера были гостями рейхсминистра Ганса Франка, будущего губернатора Польши.



Замок «Шателлени» в маленьком местечке Сант-Обэн-Ле-Кауф близ Дьеппа, владельцем которого были супруги Алехины, производит внушительное впечатление.



Сейчас в замке гостиница, насчитывающая всего пять комнат. Каждая носит название шахматной фигуры: король, королева, ладья, конь. Самая лучшая комната носит имя Алехина.



«Капа ведь был красавец: аристократические пальцы, которые он скрещивал, задумавшись, как это бывало во время симультанов, серо-зелёные глаза, замечательная улыбка, женщины прямо преследовали его...»



Шестого мая 1984 года в Манхеттенском шахматном клубе Нью-Йорка я познакомился с Ольгой Евгеньевной – вдовой Хосе Рауля Капабланки.



*Откровенен он был только со своей женой, Надеждой Андреевной, Надюшей, Надин, но это было не откровение, а что-то другое: можно ли быть откровенным с собственной рукой?
Москва, 2004.*



«Всё посчитали, Генна? А под атаку попасть не боитесь? Пешка лишняя, конечно, но ведь и мат получить можно...» Тилбург, 1981.



«Тимману привет передавайте, только этюды мои не похожи ни на селезневские, ни на григорьевские. Смысловские этюды!» Москва, ЦШК 1999.



Виделись мы бесчисленное количество раз: в Швейцарии, Франции, Бразилии, Англии, Аргентине, Югославии... И конечно, в Москве у него дома и на даче, у меня – в Амстердаме. За несколько дней до того, как он отправился в больницу, откуда уже не вернулся, мы говорили по телефону. Москва, 2003.



«А вы потом, Генна, напишите, что не считал калорий Смыслов, да и сочком по утрам сверх меры баловался... Ничего не перепутаете? Все напишете? Не забудете?» «Не забуду, Василий Васильевич». Амстердам, 1981. Турнир ИБМ.



Виделись мы бесчисленное количество раз: в Швейцарии, Франции, Бразилии, Англии, Аргентине, Югославии... И конечно, в Москве у него дома, и на даче, у меня – в Амстердаме. За несколько дней до того, как он отправился в больницу, откуда уже не вернулся, мы говорили по телефону. Москва, 2003.



Как сложилась бы карьера Пауля Кереса, если бы он оказался тогда в свободном мире? Керес с женой и детьми (крайние справа во втором ряду). Район Хаапсалу, сентябрь 1944 года.



В таллинском кафе, получая сдачу, спросил у молоденькой официантки:
«Вы знаете, чей портрет изображен на банкноте?»
«Конечно», – ответила девушка. Это Пауль Керес».



Памятник перед входом в гимназию, где учился Пауль Керес. Б. Спасский, В. Корчной, Г. Сосонко. 2007.



Практицизму, реальному взгляду на борьбу Тартаковер так и не научился. Если ему приходилось выбирать между надежным продолжением и заманчивым, пусть и сомнительным, он всегда выбирал последнее.



Добровольцем Тартаковер участвовал в обеих мировых войнах. В Первую он сражался на стороне Германии, во Вторую – против нее, всякий раз поступая так, как считал правильным.



Тартаковер был пионером новой манеры комментирования: эрудиция и глубокое понимание игры сочетались у него с высокими литературными достоинствами. Он был корреспондентом множества газет и в пресс-центре турнира перед ним всегда лежали десятки листов, в которые он по ходу игры вносил не только варианты, но и экспромтом сочинявшиеся комментарии. Савелий Тартаковер и Пауль Керес. Авро-турнир 1938. Амстердам.



Нет никакого сомнения, что сотрудничество с Алехиным в 1937 году очень благотворно сказалось на игре Элисказеса: в следующем году он первенствовал в сильном турнире в Нордвике, опередив Эйве и Кереса.



Элисказес выиграл сильный турнир в Мар-дель-Плате в 1948 году (+9-0=8), но на межзональном турнире в Сальтшобадене (1952) был только десятым; наступила гегемония советских шахмат. Соперник Элисказеса голландский гроссмейстер Доннер.



*«Олечка – моя третья жена. У меня все жены были русские...»
Ольга и Андрэ Лилиенталь. Будапешт, 1995.*



У Ратмира Холмова был равный счет с Анатолием Карповым. Он побеждал Роберта Фишера. В 60–70-х годах Холмов сражался со всеми сильнейшими шахматистами мира, и никто из них не рискнул бы сказать, что выиграет у него «по заказу».



«А из тех, кого лично знал, Миша Таль был чистый гений, конечно, да и Леня Штейн. Пусть они и другой национальности, но близки были мне по духу, по восприятию жизни. Любил обоих». (Холмов)



«А потом сталинский указ вышел: для усиления армии послать на фронт курсантов, так вот я, недоучившийся, на фронт и пошел. Рядовым». (Хасин).



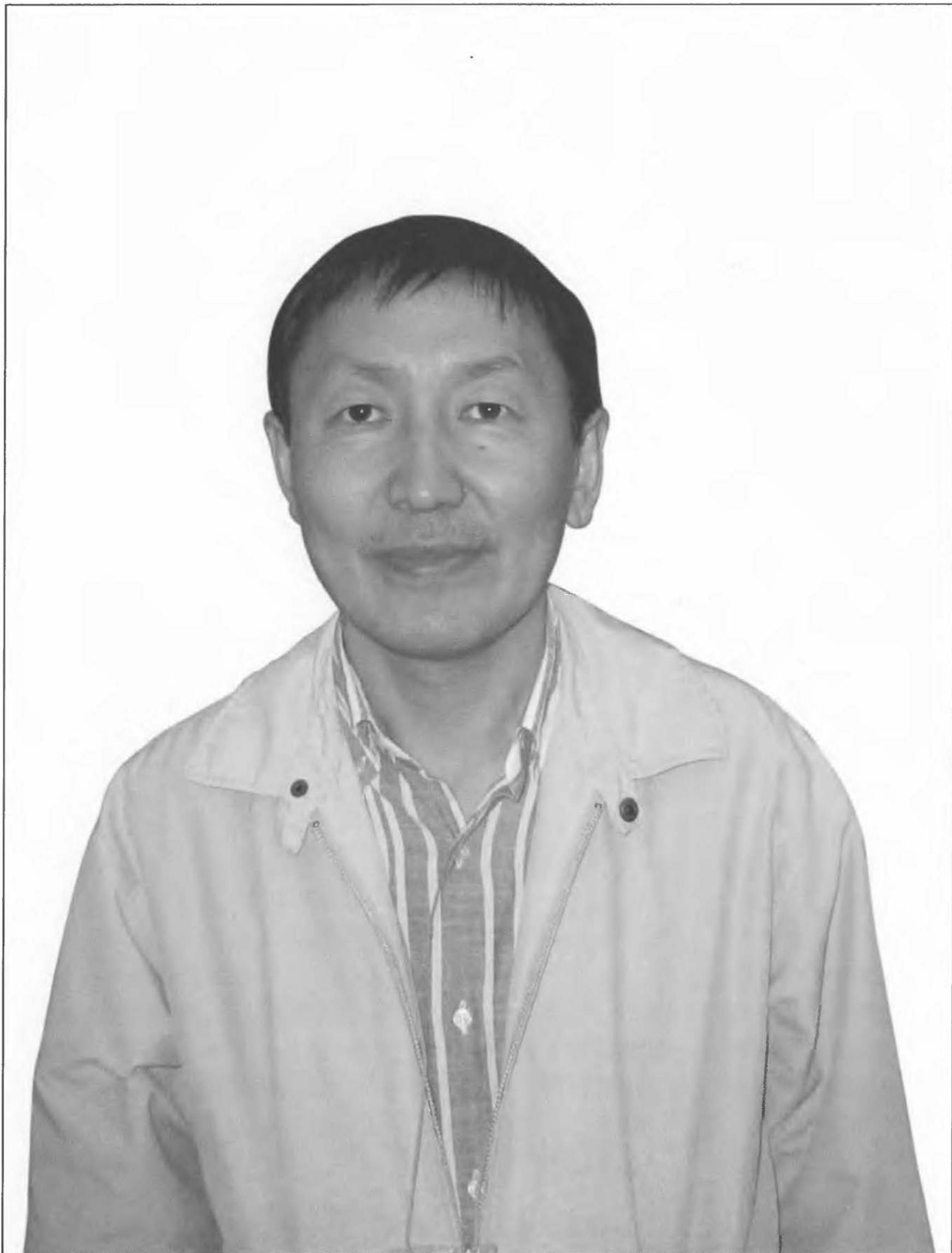
Самое памятное время для Хасина – вторая половина семидесятых годов, когда он преподавал на шахматном отделении спортивного интерната.



«Я в преферанс во время турниров почти каждый вечер играл, частенько и часов до четырех ночи засиживался. Это ведь повальное увлечение на турнирах тогда было» (Хасин).



Хасин пять раз играл в сильнейших турнирах того времени – финалах первенства Советского Союза и, хотя в верхней половине турнирной таблицы не оказывался ни разу, каждый гроссмейстер, садясь за партию с ним, знал: этот мастер может обыграть любого. (Семен Фурман, Абрам Хасин, Владимир Симагин, Марк Тайманов)



Когда Сережа упал, закричал еще: «Что вы делаете, ребята, я свой! Свой!» По языку, воспитанию, всему был он абсолютно русским человеком, а выжженную клеймом виктимность носил с рождения на своем неславянском лице. Последнее фото Сергея Николаева (1961-2007).



Колоссальная самоотдача его поражала: в каждую партию Николаев вкладывал всего себя. Утверждал, что связь между игроками есть, что сам может воздействовать каким-то образом на соперника.



На выходной частенько отправлялся с друзьями сначала в баню, потом в ресторан. Любил эти пирушки задушевные с разговорами, шутками, всем, что греки называли сладкой отрадой. Но паблисити чурался, фотографироваться крайне не любил.



Ян Эссер – почетный член шахматных клубов Лейдена, Ниймегена и Дельфта. Даже в период работы над дипломом он не смог отказаться от участия в небольшом турнире в Гааге. 1898, Ян Эссер (слева от Эмануила Ласкера).



Недостатка в пациентах у него не было: непрерывным потоком поступали в больницу искалеченные люди. С обезображенными лицами, оторванными носами, вывороченными скулами, искаженным ртом, жуткими ожогами. Брно, 1915. Ян Эссер (в центре, в белом халате).



Слава Эссера растет, и посмотреть на его операции прибывают медики из многих стран. Коллеги в восхищении: статьи в медицинских журналах пестрят заголовками «Замечательные идеи голландского врача», «Новое слово в хирургии», «Блистательные операции Яна Эссера».



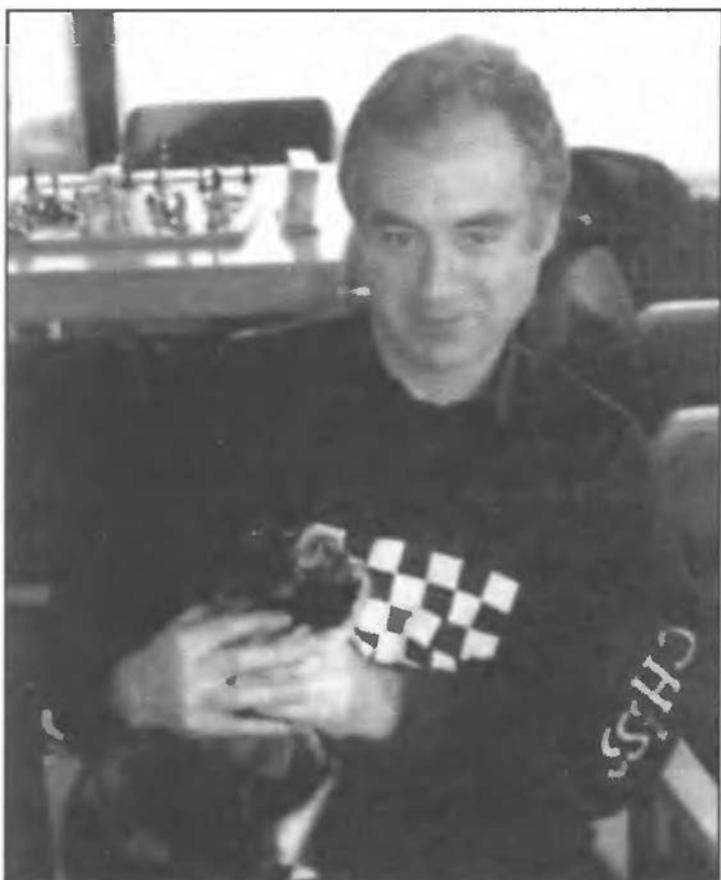
Пагель был очень импозантным мужчиной выше среднего роста, с приятным лицом и зачесанными назад русыми волосами. Время от времени он отпускал небольшие бакенбарды, на пальцах его ухоженных рук бросались в глаза дорогие перстни.



«Все времена в моей жизни были золотыми, и то время в Бергене – только один из таких золотых периодов. Нет, я ничего не хотел бы изменить в своей жизни». Арнфрид Пагель, Мариетта Хилсон и Генна Сосонко. Берлин 2004.



*«Примерно в пять я прекращаю работу и немного отдыхаю. После ужина я пишу стихи».
А. Пагель, Г. Сосонко, Берлин 2004.*



Один из броских подзаголовков в журнальной статье гласил: «Гроссмейстер Сосонко рекомендует секс во время партии...», а на фотографии я сидел почему-то с кошкой, многозначительно улыбаясь.



*Раньше курить разрешалось прямо за шахматным столиком, и мальчишки-демонстраторы меняли пепельницы по несколько раз во время игры.
Любош Кавалек – Хейн Доннер.
1973. ИБМ-турнир. Амстердам.*



Решение покончить с курением пришло само собой, хотя и далось нелегко. За исключением нескольких сигар, выкуренных больше для форса, я не курил больше никогда.



Питерцы, выпускники университета: Б. Спасский (Франция, факультет журналистики), В. Корчной (Швейцария, исторический), В. Салов (Испания, экономический), Г. Сосонко (Голландия, географический). Роттердам, 1991.

На сайте www.chessm.ru представлено около 3000 наименований на шахматную тему. Это литература последних и прошлых лет, периодика и спецвыпуски, издания «Информатора», филателия, инвентарь, атрибутика и символика, базы данных, программы для ПК, шашки и др. Приводится стоимость, изображение и краткая аннотация каждого наименования.

В ЧИСЛЕ МНОГИХ ДРУГИХ имеются такие издания:

- *М. Дворецкий, О. Перваков* «Этюды для пратиков», М., 2009;
- *М. Дворецкий, А. Юсупов* «Секреты дебютной подготовки», Харьков, 2009;
- *А. Карпов* «Школьный шахматный учебник. Начальный курс дебютов», М., 2009;
- *А. Карпов, А. Шингирей* «Школьный шахматный учебник. Начальный курс»;
- *А. Карпов, Н. Калиниченко* «Методы шахматной стратегии», М., 2009;
- *Г. Каспаров* «Мои великие предшественники» тома 1-5, М.;
- *Г. Каспаров* «Великое противостояние. Мои поединки с Анатолием Карповым», тт. 1–3, 1988-2009, М.;
- *А. Костенюк, Н. Костенюк* «Как научить шахматам», М., 2009;
- *А. Халифман* «Дебют белыми по Ананду 1.e4» тома 1-12, СПб.;
- *В. Костров, П. Рожков* «1000 шахматных задач. Решебник», 1, 2, 3 год, М., 2009;
- *Э. Ласкер* «Все партии» т. 1 (1899–1903), т. 2 (1904-1940), М., 2009;
- *Н. Крогиус* «Шахматы. Игра и жизнь», М., 2010;
- *В. Голенищев* «Программа подготовки шахматистов IV и III разрядов», М., 2011;
- *Г. Богданович* «Система Цукерторта. Дебют ферзевых пешек», М., 2011;

Серия «Шахматный университет»:

1. *А. Карпов* «Учитесь играть защиту Каро-Канн», (2-е изд.) М., 2008;
2. *А. Карпов, А. Мацкевич* «Оценка позиции и план», (3-е изд.) М., 2009;
3. *А. Нимцович* «Моя система», М., 2003;
4. «Два турнирных триумфа Алехина. Сан-Ремо 1930, Блед 1931», М., 2004;
5. «Третий международный шахматный турнир», М., 2004;
6. «Программа подготовки шахматистов-разрядников. I разряд – КМС», М., 2004;
7. «Программа подготовки шахматистов-разрядников. II–I разряд», М., 2005;
8. *Н. Калиниченко* «Дебютный репертуар атакующего шахматиста», М., 2005;
9. *Н. Калиниченко* «Дебютный репертуар позиционного шахматиста», М., 2005;
10. *И. Одесский* «Невозможное начало», М., 2005;
11. *А. Нимцович* «Моя система на практике», М., 2005;
12. *Е. Свешников* «Выигрывайте против французской защиты», М., 2009;
13. *А. Карпов, М. Подгаец* «Защита Каро-Канн. Атака Панова», М., 2006;
14. *А. Карпов, М. Подгаец* «Защита Каро-Канн. Закрытая и гамбитная системы»;
15. *А. Панченко* «Теория и практика шахматных окончаний», М., 2005;
16. *А. Карпов* «Учитесь играть английское начало», М., 2006;
17. *Е. Свешников* «Сицилианская для любителей» т. 1, М., 2006;
18. *Г. Богданович* «Сицилианская защита. Вариант Рубинштейна», М., 2007;
19. *А. Карпов, Н. Калиниченко* «Секреты русской партии» т. 1, М., 2007;
20. *И. Липницкий* «Вопросы современной шахматной теории», М., 2007;
21. *А. Котов* «Как стать гроссмейстером», М., 2007;
22. *А. Морозевич, В. Барский* «Защита Чигорина по Морозевичу», М., 2007;
23. *Е. Свешников* «Сицилианская для любителей» т. 2, М., 2007;
24. *А. Котов* «Тайны мышления шахматиста», М., 2008;
25. *А. Карпов, Н. Калиниченко* «Дебют ферзевых пешек» т. 1, М., 2008;
26. *А. Карпов, Н. Калиниченко* «Дебют ферзевых пешек» т. 2, М., 2008;
27. *А. Карпов, Н. Калиниченко* «Секреты русской партии» т. 2, М., 2008;
28. *А. Карпов, Н. Калиниченко* «Секреты русской партии» т. 3, М., 2008;
29. *И. Одесский* «Изумительная жизнь вместе с 1.b2-b3», М., 2008;
30. *Э. Гуфельд* «Искусство староиндийской защиты», М., 2008;

31. М. Тайманов «Шахматная школа Марка Тайманова», М., 2008;
32. А. Карпов «Учитесь играть защиту Каро-Канн», М., 2008;
33. А. Котов «Учебник шахматной стратегии», М., 2008;
34. В. Корчной, В. Оснос «Сицилианская защита. Атака Раузера», М., 2008;
35. И. Михайлова «Стратегия чемпионов. Мышление схемами», М., 2008;
36. А. Белявский, А. Михальчишин «Стратегия изолированной пешки», М., 2009;
37. Д. Нанн «Секреты практических шахмат», М., 2009;
38. В. Попов «Шахматы: работа над ошибками», М., 2010;
39. А. Суэтин «Шахматы: искусство середины игры», М., 2009;
40. А. Карпов, Н. Калиниченко «Испанская партия. Открытый вариант», М., 2011;
41. М. Марин «Учитесь у шахматных легенд» т. 1, М., 2010;
42. М. Марин «Учитесь у шахматных легенд» т. 2, М., 2010;
43. «Триумф Алехина в Баден-Бадене», М., 2009;
44. В. Корчной, А. Калинин «Прогулки с французской защитой» т. 1, М., 2010;
45. Я. Тимман «Шахматы. Уроки стратегии», М., 2011;
46. А. Раецкий, М. Четверик «Принятый ферзевый гамбит», М., 2009;
47. И. Бердичевский «Играйте 1... Ксб!», М., 2010;
48. В. Бейм «Шахматная тактика. Техника расчета», М., 2011;
49. Я. Нейштадт «Ваш решающий ход», М., 2009;
50. «Неизвестное шахматное наследие Фишера», М., 2011;
51. А. Раецкий, М. Четверик «Шахматы. Озадача соперника в дебюте», М., 2011;
52. Д. Нанн «Шахматы. Практикум по тактике и стратегии», М., 2011;
53. А. Карпов, Н. Калиниченко «Учитесь играть испанскую партию», М., 2011;
54. А. Карпов, М. Подгаец «Защита Каро-Канн. Классическая система», М., 2011;
55. А. Карпов, Н. Калиниченко «Практический эндшпиль. Стратегия, тактика, техника», М., 2011;

Серия «Великие Шахматисты Мира» (ВШМ):

- Х.Р. Капабланка «Автопортрет гения» (в 2-х томах), М., 2006;
- В. Корчной «Мои 55 побед белыми» М., 2004;
- В. Корчной «Мои 55 побед черными» М., 2004;
- Р. Фишер «Мои 60 памятных партий» М., 2006;
- В. Ананд «Мои лучшие партии» М., 2009;
- А. Алехин «Полное собрание партий с авторскими комментариями» тт. 1–2, М.;
- Г. Кмох «Рубинштейн выигрывает. 100 шахматных шедевров великого маэстро»
- А. Михальчишин, О. Стецко «Магнус Карлсен. 60 партий лидера современных шахмат», М., 2011;
- Г. Мароци «Шахматные партии Пола Морфи», М., 2010;

Серия «Живые шахматы»:

1. М. Левидов «Стейниц. Ласкер» М., 2007;
 2. «Шахматные новеллы» М., 2009;
 3. А. Котов «Белые и черные» М., 2008;
- «Шахматные комбинации. Чемпионы мира. От Стейница до Петросяна» М., 2011;
 - «Шахматные комбинации. Чемпионы мира. От Спасского до Пономарева» М., 2011;
 - А.А. Иванов «Энциклопедия шахматной статистики», М., 2010;
 - М.И. Чигоринъ «Шахматный листокъ. 1876–1877», М., 2010;

А также: шахматные часы, деревянные и клеенчатые доски, деревянные стаунтоновские шахматы (стандарт ФИДЕ), блокноты для записи партий, магнитные шахматы (аналог «Симзы») и др.

По Вашему запросу на e-mail мы можем отправить каталог на Вашу электронную почту. Также Вы можете прислать заявку на ЛЮБУЮ шахматную литературу (по электронной или обычной почте), в том числе и на отсутствующую в Интернет-магазине или в каталоге.

Наш почтовый адрес: **107076, Москва, а/я 6, Аманназарову Мураду.**
 Тел./факс: **(495) 963-8017**, e-mail: **murad@chess-m.com** или **andy-el@mail.ru**
 Интернет-магазин: **www.chessm.ru**

Генна Sosonko (Геннадий Борисович Сосонко, 1943) – международный гроссмейстер, двукратный чемпион Голландии. Эмигрировал из Советского Союза в 1972 году и с тех пор живет в Амстердаме. Победитель и призер многих международных турниров. На протяжении четверти века Сосонко защищал цвета Голландии на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.

Последние годы Генна посвящает литературному творчеству. Его книги выходили на английском, русском, голландском, испанском, чешском и польском языках. Вот что писал о его книге «Мои показания» Гарри Каспаров:

«Генна Сосонко видится мне сегодня бесспорно пишущим шахматистом «номер один». Он смог стать по-настоящему свободным человеком, подняться над схваткой, над условностями шахматного мира. Очень важно, что он превосходно знает этот мир и сам является его неотъемлемой частью, однако именно занятая им позиция независимого наблюдателя, зорко подмечающего и хорошее, и плохое, делает его рассказы такими насыщенными и увлекательными».

В своей новой книге голландский гроссмейстер рассказывает о выдающихся людях, чьи судьбы были связаны с шахматами, рассматривая их через призму времени, в которое им довелось жить. Многих из них (Ботвинника, Смыслова, Таля) Сосонко знал лично, играл и постоянно общался с ними. Некоторые имена неизвестны читателю, но всех их объединяет необычность судеб и беззаветная любовь к игре.

ТОГДА



ISBN 978-5-94693-219-6



9 785946 193219 6

Генна Сосонко